

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

11



1970

1970

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVI

№ 11

Ноябрь, 1970 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПИМЕН ПАНЧЕНКО — Мои наставники, стихи. Перевел с белорусского Яков Хелемский	3
ВЛАДИМИР ФОМЕНКО — Память земли, роман (Книга вторая)	5
БОРИС СЛУЦКИЙ — Первый день войны, стихи	87
АНАТОЛИИ АРДАТОВ — Там, в почтовом дворе..., стихи	94
ОЛЬГА НИКОЛАЕВА — Не ложись на траву, стихотворение	96
ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ — Мои позывные — РАЕМ. Окончание	97

ПУБЛИЦИСТИКА

К 150-летию со дня рождения Фридриха Энгельса

Г. БАГАТУРИЯ — Диалектика природы — диалектика истории — диалектика будущего (Энгельс о возрастающей роли общественного сознания)	167
ГАЛИНА СЕРЕБРЯКОВА — Титан	181

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

В. ЗАТВОРНИЦКИЙ — Семьсот первый этаж (Повесть о жизни)	187
---	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

И. И. СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ — Перед Октябрем. Публикацию подготовили Н. Д. Черников и Ю. П. Шарапов	218
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Наука о литературе сегодня

М. БАХТИН — Смелее пользоваться возможностями	237
Г. КУНИЦЫН — Специфика искусства (Заметки и полемика)	241

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	267
Л. Лебедева. Странствие по дорогам времени.— В. Шитова. Необременительные уроки психологии.— Лев Озеров. Читая Блока и о Блоке.	
<i>Политика и наука</i>	278
Б. Мейлах. Проблемы психологии научного творчества.— Ю. Рубинский. Жизнь великого трибуна.	
КОРОТКО О КНИГАХ — В л. С о л о в ь е в.— А. Нинов. Современный рассказ. Из наблюдений над русской прозой (1956—1966). А. Л и п е л и с.— Русские сказки в обработке писателей	285
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ПИМЕН ПАНЧЕНКО

★

МОИ НАСТАВНИКИ

С белорусского

С пожелтевших пергаментных свитков
И пропыленных фолиантов,
Изо всех щелей минувшего
Таращат на меня глаза
Мудрые разбойники,
Болезненные философы,
Фанагики и пророки.
И каждый
Догматическим пальцем
Тычет в мое наболевшее сердце:
— Я твой наставник.

Послушаешь одного —
Необходимо уничтожить половину человечества.
Послушаешь других —
Придется истребить и вторую половину.
На каждой версте истории,
На необозримом пространстве —
От каменных баб
До атомных шахт —
Оставили свои меты
Алчность, ненависть, злоба.

Но для меня неприемлем гнет
Во всех его проявлениях,
И я проклинаяю
Багровое око войны.
Мне хочется видеть планету
В лучах вдохновенья и дружбы,
Озаренную солнцем, и верной любовью,
И немеркнувшей песней
«Интернационал».

Поэтому я избрал своими наставниками
Ленина, правду и мой народ.
Им всецело можно доверить
Землю, революцию, детей.

РАВНОПРАВИЕ ДЕРЕВЬЕВ

Пора подумать о равноправии деревьев.
 Довольно подглядывать за тем,
 Как прижимается тонкая рябина
 К самоуверенному дубу.

Вы клянетесь в любви к белокорой березе,
 А сами ее предали,
 Вонзив свой отточенный нож
 В эту грудь, защищенную тонкой берестой,
 Чтобы спешно напиться
 Свежайшей весенней крови.
 Но этого вам показалось мало.
 Вы перерезали сухожилия дерева
 И швырнули березовые поленья
 В хищную печь,
 Чтобы этим последним теплом
 И жарким дымом
 Согреть свой старческий ревматизм.

Итак, я — о равноправии деревьев.
 Слава тебе, ольха!
 Ты самая преданная и смелая
 Охранительница наших речек
 И защитница стыдливых купальщиц.

Осина моя, осина!
 Я больше никому не позволю
 Удаться на твоём суку.
 Пусть безумец, которому жизнь опостылела,
 Разбивается на равнодушной машине.
 А ласковая твоя листва
 Пускай журчит и щебечет,
 Плещет и переливается,
 Вторя горлышкам птичьим.

Хвала и вам,
 Терпеливые тополи!
 Пусть руки отсохнут у тех,
 Кто безвременно вас вырубает.
 Эти злыдни страшатся
 Лебединого вашего пуха,
 Их одурманивает
 Ваш аромат соловьиный,
 Их раздражает
 Ваша праздничная красота.
 Им нравятся только столбы
 На пустых большаках
 Да изредка кактусы.

Перевел Яков Хелемский.



ВЛАДИМИР ФОМЕНКО

★

ПАМЯТЬ ЗЕМЛИ

Роман

(Книга вторая)

Как бы ни хотелось верить, что начало этого романа живет в памяти читателей,—надеяться на это, увы, трудно, так как первая часть появилась на страницах «Нового мира» почти десять лет назад, и необходимо хотя бы вкратце напомнить начало.

Речь шла о создании Цимлянского моря. Донские станицы, от века лежавшие в благодатной цветущей пойме, должны были уйти под волны; уходил и хутор Кореновский — колхоз имени Матвея Щепеткова, героя давно отшумевшей гражданской войны Семья и односельчане легендарного Щепеткова — коренные хуторяне — стали в реальной действительности участниками переселения из затопляемой зоны, а для автора — литературными персонажами.

Вошли на страницы и люди, по станичной терминологии иногородние, такие, как председатель сельсовета Степан Конкин и начальник волго-донских каменных карьеров Илья Солод. Многое связано с Любой Фрянсковой, свадьба которой открывала первую книгу

Сейчас повествование продолжается так, будто между двумя частями не было и минутного перерыва. Вот прошло, а вернее, сорвалось переселенческое собрание в хуторе Кореновском, на улицу вышли недовольные друг другом молодой секретарь райкома партии Сергей Голиков и опытный, отлично знающий жизнь Борис Никитич Орлов — председатель районного исполкома.

Автор.

Глава первая

1

С вежий воздух врвался в широкие ноздри Орлова. Снежины, распушенные на морозе, кружились густо, а залетая в нос, весело и остро покалывали. Борис Никитич на всю силу вдохнул, качнулся от рывка саней, играючи взятых с места кормленной парой, заскрипевших прочными деревянными связями. Сено под боками и ногами подпружило, потек разбуженный морозом августовский запах сухой травы.

«А жить-то хорошо!» — подумал Борис Никитич и, как бывало в детстве, радостно ощутил это каждой частицей теплой кожи, каждым ногтем. Здорово!

Из-под брезента, поднятого от поземки над его высокой полковничьей папашой, он глянул на поплывший в темноту клуб с электрической лампочкой, летающей на ветру, с множеством людей на крыльце и, решив мириться с Сергеем Голиковым, эпически произнес:

— Вот эти, что на крыльце, товарищи не начнут завтра выселяться, а хотением вашей левой пятки снова примутся изыскивать земли с молочными реками, сахарными пляжами. Еще бы, когда вы так соблазнительно рекомендовали товарищам это занятие!..

Он тиснул плечи Сергея, кивнул на белую в сумерках быструю поземку, которая мела уже на уровне окошек в домах, а в степи, на открытом, задувала небось посерьезнее, и предложил:

— Давайте-ка, Сережа, вернемся! Выспимся на кроватях, к утру, может, и погода наладится, поедем нормально, своими машинами. А перед выездом соберем народ, вы доложите, что пошутили, что ваша драгоценная пятка передумала. Нет, ей-богу! Отмените свое предложение о новых поисках, и пусть народ любо-мило переселяется в Подгорнов.

— Да вы ж знаете,— не принимая благодушного тона, ответил Сергей,— что Подгорнов — гиблое место, дыра. И задачи наши знаете — вдесятеро улучшить жизнь этих людей.

— Нет,— оживленно подхватил Орлов,— переселенцы сейчас даже не просто люди! Они в глазах миллионов те избранники, для которых развернута эта махина, стройка. От наших волго-донских переселенцев, Сережа, вся страна ждет свершений как от своих героев. Именно потому недопустимо, чтоб они обманули общественность, тотчас же не развернулись на новых полях.

Сергей хмыкнул:

— Влипли в герои — значит, валите в бесперспективный сухой Подгорнов на голодранство! Точней, на нищенство, на то, чтоб тянуть руку за дотациями, христарадничать!

Орлов оглянулся — не слушают ли их? Спина кучера в напаянной кулем венцераде маячила впереди в крутящемся снегу; четвертый попутчик, работник с невероятным титулом — «заместитель начальника комплексной экспедиции по изысканию и проектированию населенных пунктов в связи с затоплением», — словно обремененный столь длинным наименованием своей должности, с первой еще секунды пристроился спать, натянул на уши каракулеву кепку, зарылся в сене под толстой овечьей полостью, на которую сразу намело густой поземки. Нет, никто их не слышал.

— Бесспорно, этому хутору будет не мед,— сказал Орлов.— Но весь-то район важнее одного хутора! Он первый, где собрание проведено, и у всех переселенцев он теперь на виду, все будут коситься на него, смекая про себя: можно или не можно тянуть волюнку с переездом.

Орлова раздражало, что он упрашивает. И без толку, наверно... А ведь продолжайся дружба его и Ольги Андреевны с Сергеем и его женой, все б легко утряслось дома за добрым разговором, за рюмкой водки, которую Орлов не пьет, между шутками передергивает; да и Сергей не пьет, а лишь для куража, для душевного настроения любит, когда графин на столе, потереть руки, чокнуться, словно заправский гуляка.

— Да,— подытожил Орлов,— несмотря на неудобства, хутор обязан ехать.

— А если эти, что на крыльце, имеют другое мнение? — спросил Сергей.— Или прикажете не считаться с их активностью, их творчеством, идущим от пупка, от земли?.. Наконец, с кровью их сердца!

Борис Никитич сморщился. За все нынешнее собрание, за весь идиотский суматошный день единственным со стороны Голикова нераздражающим, разумным было его согласие уезжать санями, бросить машины в хуторе. Сани даже здесь, среди затишной улицы, скрипя, резко дергаясь, врезались в переметы снега; по брезенту, поднятому над головами, сеяло точно песком; рядом этот Голиков молчал об активностях, кровинах, сердцевинах... Да откуда в нем, современном парне, такие древности?! Разве вдолбишь ему, что точно так же, как изжили себя лошади, остались в нашем мире техники лишь для призовых скачек и киносъёмки, так же эта активность колхозников с хватаниями за

грудки, с басовыми выкриками о правдах-матках осталась лишь для книг и опять же для кинофильмов... Орлов терпеть не мог игру в бирюльки, и теперь, когда освещенный клуб скрылся из глаз и возвращение отпало, он сказал:

— Послушайте, Сергей Петрович! Вы — секретарь районного комитета партии, я — председатель исполкома. Куда и когда двигаться заготовительным колхозам — зависит от нашего с вами сознания. И смешно, когда вы долдоните еще о чьих-то активистах. Их на практике нету. Уразумейте — отсутствуют!.. Станицы десятки уж лет, еще с коллективизации, переключились на другое. На хозяйство. А во всем остальном полагаются на указание: они ведь не мужики, они колхозники — народ дисциплинированный, реальный.

— Но тогда зачем же правительственная директива — поднимать инициативность переселенцев, их творчество?

— Тьфу! — сплунул Орлов. — Короче! — сказал он. — Кампания поручена райисполкомам, то есть в нашем районе — мне! А вы, если уж так хочется, воображайте, что вот те товарищи сгрудились сейчас там на крыльце, шибко переполненные проблемами, творчеством; что они митингуют, толкают огненные речи!..

2

Нет, речи и лозунги никто не выкрикивал. Хуторяне, едва собрание закончилось, разбрелись; лишь колхозное начальство привычно задерживалось на клубном крыльце, да от нечего делать топталась молодежь.

Люба Фрянскова стояла в новой юбке, в новых светлых туфлях, всунутых в галоши. После банной духоты помещения она дышала морозом, нижняя рубашка просыхала, отлепливалась на спине от лопаток, и тело начинало зябнуть. От голода тянуло под ложечкой, но идти домой к тетке Лизавете не хотелось. Не хотелось и думать об освоении Волго-Дона. Комсомольский билет, лежащий, как ему и следует, в левом нагрудном кармане блузки, находился на груди лишь потому, что был туда положен и пристегнут пуговкой.

Правда, позавчерашний выезд Любы с Голубовым, ее удачный доклад на ферме как бы приобщи ее к волго-донским свершениям. Но это было позавчера, а теперь опять стало ненужным все: и эти светлые дурацкие туфли, и эпонжевая обтягивающая юбка, украшенная на бедрах крупными квадратными пуговицами, и особенно призывы секретаря комсомола — Милки Руженковой, разглагольствующей рядом в толпе девчат. По какому праву Милка поучает, когда на уме у нее никакие не гидростанции, а старый кобель Ивахненко? Этот Ивахненко, гладкий, довольный, покуривает в стороне с мужчинами, Милка стоит под электрической, летающей на ветру лампой, воспитывает комсомольцев, а сама ждет не дождется, чтоб они заодно со всеми прочими поскорей убралась. Люба знает: для виду не оборачиваясь, зашагает и Ивахненко, обогнет улицу с обратной стороны и Милка, воровато озираясь, отомкнет для него клубные двери, бросится ему на шею — счастливая безмужняя жена. Люба тоже была теперь безмужней. Разведенкой... Делая равнодушное лицо, она наблюдала за хорошенькой Руженковой. Сама Люба — она в этом не заблуждалась — даже в лучшие свои времена не была хорошенькой. Была просто здоровой, крепкой девахой, теперь осунувшейся, поумневшей.

Не сладилось все: служебное, семейное. Весь хутор видел, как, уходя от мужа, толкала она двуколку со своим барахлишком. Шла точно голая, как во сне, когда тянешь на себя одежду перед смеющимися

людьми, а одежда расплзается, уплывает из рук и в пальцах уже пусто, нечем прикрыться...

Люба всматривалась в быстро говорящие губы Руженковой. Эти губы, вернее розовые губки, всегда произносили лишь передовые, образцово правильные слова. «Погоди,— думала Люба,— бросит тебя Ивахненко — посмотрим, какая станешь!» Было отвратительно желать зла, но желалось.

С крыльца сходили руководители. Штатные отцы колхозников. Боги, которые прохлопали пустошь — лучший участок над морем, с будущими поливами, с линией высоковольтки, с завтрашней пристанью здесь же, на берегу моря. Взамен всучили им, лопухам, занюханый Подгорнов; следом перечеркнулось и это — мол, чиликайтесь, ищите, балбесы, сызнова; а они представлялись теперь, что все в порядке. Они будто демонстрировали свое семейное благополучие, вышагивали парами. Черненко с мужем, Конкин с Еленой Марковной, Щепеткова с начальником карьера Солодом. Правда, Щепеткова отбрила его: «Отцепились бы, Илья Андреевич». Но кто бы кого ни отбрасывал — все спешили в свои дома к разогретому ужину, к горячему чаю... Нет, не все. Валентин Голубов в своей по-чапаевски кинутой на затылок кубанке с красным бархатным верхом, с золотым перекрестьем догнал на ступенях Андриана Матвеевича Щепеткова и Любиного свекра, Дмитрия Лавровича, задержал их. Сделал это робким, несвойственным для него образом. Коснулся пальцем спины одного, потом другого, произнес, сконфуженно хмыкнув:

— Я до вас как директор курсов преобразования природы... Остановись, ребята.

Сказал это с таким заигрыванием, что Люба опешила. Да Голубов ли перед ней?.. Не сразу сообразила, что это у него от неумения, от ненадтренированности просить. Он торопливо говорил, что демократия, конечно, демократией, но что сколько бы товарищи ни брыкались, а верх все равно возьмет партийный актив.

— Ты, Андриан Матвеевич,— говорил он, прижимая руку к горлу,— человек реальный, уразумей: хутор, хоть небо рухни, поедет к воде! Возьми на курсах лекции по орошению винограда... А ты, Дмитрий Лаврыч,— по полководству. Ей-богу. Ведь вы обое, считай, профессора, академики!

Дмитрий Лаврович стоял спиной, разглядывал летящий снег, а Андриан, всем корпусом оборотясь к Голубову, далеко отставив ногу, с явным удовольствием ждал, что же еще будет?.. Даже Люба, совсем не дипломат, понимала, что разговаривать бы Голубову не следовало. Но он проглатывал оскорбление, просил. Он стоял под самой лампой. Четко были видны его глаза — светлые, вызывающие, чуть навывкат. Такие же глаза — белые от волнения, одержимые — Люба видела у наглых базарных парняг, которые, называя себя защитниками Севастополя, так угрожающе просили на водку, что им давали. Девчонкой видела такие же глаза в районной станице у гвардейцев-танкистов, что выбили немцев из центра, сутки дрались на окраине, а потом — немногие, возвратясь в очищенную станицу,— ехали мимо людей, стояли в танках с открытыми люками...

Голубов просил:

— Не злись, Андриан Матвеевич, за старое, что было меж нами. Хочешь — ударь. Только слушай. Ну кому ты мстишь? Хутору? Делаю, за которые и твой отец боролся, и ты?

Андриан слушал не перебивая, потом сказал:

— То-то и оно, Валентин Егорович, что дело, за которое до вас, сморкачей, люди воевали, вы гробите. А я в угроблении не участник.

Он взял под руку Дмитрия Лавровича, пошел с ним со ступенек. Голубов крутнулся, как бы ища, чем запустить вслед. Заметив Любу, выдохнул:

— Видала?!

Ткнул ей мешающие рукавицы, принял закуривать. Закуривал, как перед своей,— потому ли, что она свидетель, потому ли, что совсем недавно вдвоем ездили на фермы. Из этой поездки Люба знала, что раненая кисть Голубова немеет на холоде, как немеет и обрубок уха, на который Голубов для обогрева и, должно быть, для красоты начесывал шевелюру. Сейчас все было на ветру. Она вернула рукавицы, сказала, чтоб надел. Он послушался. Увидя маячащего перед клубом Ивахненко, буркнул:

— Пошли. Не желаю смотреть на это падло.

Они шагали по тихой улице, а в сорока километрах, на трассе канала, бесчисленные, присланные со всей страны машины, скрежеща, газуя, долбили в свете прожекторов грунт, свершали то, что делала природа с Земным Шаром, когда Шар был юным, еще горячим и, остывая, корежился, горами вспучивал кору, заливал низины водой. Сейчас на трассе в каждую смену происходило большее, чем тогда за тысячелетия, но Люба отмечала это лишь в мыслях, а ее душу это не трогало; ее неудачи были самым важным, единственно огромным в мире. Даже думалось ей, заяц, который скачет из-под автомобильных колес,— он для себя самый главный в мире. Передави его колеса — кончатся для него и небо и кусты... Голубов рядом доказывал ей, как замечательно, что ее свекор и Андриан — эта поганая шушера, отделись, не будут путаться под ногами, и он, Валентин Голубов, теперь без помех вобьет в людей высокую мораль, поднимет на освоение завтрашних поливов!

«Боже,— думала Люба,— какая чушь... Машинами Волго-Дона легко вырыть каналы, понаворочать любые горы, но рядом, в хуторе, поднять жителей на то, что не полапали, не пощупали пальцами,— это ж глупость».

Никогда не рассуждала Люба с Орловым о духовном потенциале хуторян, но ее убеждения полностью сходились со взглядами Орлова. Лишь слова были разными. То, что Борис Никитич именовал современным масс, их высокой дисциплиной, Люба называла кугутским равнодушием, знала, что не нужны переселенцам ни поливы, ни переливы, им бы ровной, спокойной жизни, им бы, как овцам на ветру, скорей бы уж до места....

И было чудно слушать Голубова, который бодро объяснял, как завтра он по партийной линии — хрен отвертись! — мобилизует на чтение полеводства доктора наук, что прибыл в МТС делиться опытом и воображает, что ему, командировочному профессору, можно здесь байдеки бить, что тут ему Сочи!.. А преподавать орошение виноградников Валентин убедит председательницу колхоза. Откажет она, что ли?! Да ему, Голубову, Новочеркасский институт мелиорации и тот не отказал, телеграфировал: «Высылаем лекторов по дождевальным машинам». Уж за курсы не печальтесь, курсанты получают не только передовое, а ультрасовременное; взялся не кто-нибудь, взялся сам Голубов!

Его яканье резало ухо, Любу окружали плотные мысли о себе самой, а все же этот тип вызывал удивление. Конечно, он фигурировал перед ней, как фигуриал бы и перед палкой в заборе: такой характер. Но ведь действительно в нем сила! Только что провалилась бесценная для него пустошь, следом два мужика обидно его отщелкали, а он от неудач становился еще нажимистей, нахальной.

Люба так не умела. У нее убывали силы, когда ее преследовали обстоятельства. От преследований она терялась. Этот же даже к снегу

относился, как ошипанный в драке несдающийся петух, вышагивал зобом вперед, с голой шеей, распахнутой до ключиц, готовый вбивать в хуторян высокую мораль. Господи, да не нужна им эта высотность! Они пошумели сегодня на собрании — и им хватит; они разошлись по домам, взяли за болт вот эти вот завешанные крутящимся снегом ставни, сидят там, и разве выковырнешь их оттуда?..

А он верит! Отчего так? От ума или, наоборот, от дурости?

3

Снег валил сплошняком, и блондинистое, без того белесое лицо Голубова, с забеленными снегом бровями, чубом, ресницами, походило при вспышках сигарки на лицо альбиноса. Он вдруг остановился, за плечо цапнул Любу:

— Слышишь?

Да, Люба тоже услышала непонятный плач. Всклипывания были тупыми, задавленными, шли будто из-под земли... Голубов спрыгнул в канаву, провалился до колен и, словно бы нюхая снег, словно играя в сыщика, двинулся понизу, потом вылез, пошел на пустырь к стожку соломы. Люба следом. С обратной стороны стожка, засыпанный поземкой, лежал человек. Люба отступила, а Голубов чиркнул спичкой, повернул за плечо человека. Это оказалась Вера Гридякина. Всклипывая, она хватала воздух, губы толчками втягивались в рот. Час назад, на собрании, когда верх брали желающие переезжать в хутор Подгорнов, она выступила в защиту пустоши. Если всегда на Гридякиной, этой чужой девахе с темным, пугающим названием «репатриантка», хуторяне проявляли свой патриотизм, презирали ее с высоты собственных — не придерешься! — биографий, то сегодня сорвали на ней всю ярость, какую хотели бы, но остерегались сорвать на местном и приезжем начальстве. На Гридякину хором заулюлюкали. засвистели, как на волка во время облавы.

— Сволочи, сволочи!..— выдохала Гридякина, каталась затылком по стогу.

Ее бил озноб, на ее застывшем лбу не таял снег, и Голубов обхватил ее, повел вместе с Любой к халупе, где у двух стариков квартировала Гридякина. В халупе, стоящей в глубине двора, вдали от флигеля стариков, Голубов посадил Веру на койку, засветил в лампе огонь, стал растапливать печку, ломая ветки сложенного в углу терновника. Вера, в платке, в солдатской шинели, лежала на койке так же ничком, как недавно на пустыре. В халупе стало теплей, Голубов сел на койку, положил руку на голову Веры, раздраженно говорил:

— Хватит. Брось ты, понимаешь.

Люба огляделась, подняла крышки над двумя кастрюлями (обе оказались пустыми) и, найдя в углу горку картошки, начистила, поставила на огонь.

Ели картошку у нагретой печи все втроем. Вера аккуратно макала картофелину в соль, в самый край насыпанной на газете кучки, осторожно жевала, и ее тяжелые надбровья, морковно-розовые от недавнего плача, шевелились. Она рассказывала о немецком маленьком городишке, где была в войну, о подругах по плену, вчерашних десятиклассницах. Им и Вере повезло. Им давали даже маргарин, по восемнадцати граммов. Их не били, но работали они в химцехе. Воздух там настолько напоит парами анилина, что на человеке за одни сутки гибнут все вши в волосах и в одежде. Человек тоже долго не тянет. Вере повезло больше всех: она дважды попадала в больницу. Один раз над

ней лопнул баллон с кислотой, в другой раз она потеряла сознание, упала спиной на раскаленный реостат.

По газетам и книгам Люба знала, что в фашистской неволе создают подпольные комитеты, ведут работу и в определенный момент — лучше пуля, чем рабство! — узники бросаются на вооруженную до зубов стражу. От Гридякиной она ничего этого не слышала. Она спросила:

— И ты, Вера, не проявила никакого героизма?

— Нет,— ответила Гридякина.— Мы помирали...

Ощущая, что спрашивать не следует, Люба слушала о германском чистеньком городке, в котором даже снаружи, с улицы, моют мылом и щетками стены домов, а за стенами — пленники, и в ней поднималась злоба к односельчанам. Не к женщинам, а к здоровенным мужикам, которые тоже улюлюкали на Гридякину. Да разве же не вина этих мужиков, не вина других живущих в стране героев, что Веру, в те дни подростка, наверно комсомолку, угнали в плен? Разве они не обязаны просить у Веры прощения? Но они преследуют Веру, будто она в ответе, что ее не уберегли, не заступились за нее... Один такой — офицер Голубов — сидит рядом. Совестно ли ему? Наверно, нет: он за обе щеки уминает картошку. А может, все-таки совестно: он не поднимает глаз, смотрит в пол.

Бледные губы Веры, когда она произносит свое круглое вологодское «о», вытягиваются в белую пухлую дудку. Люба понимала, что никакой парень никогда не целовал эти крупные, будто у гериллы, губы и, наверно, никогда не поцелует. Но Вере, кажется, было сейчас хорошо. Она рассказывала, как в городок вступили русские солдаты, а навстречу повыползли пленники. Солдаты согнали окрестных коров, принались доить. Вера рассказывала:

— Бойцы налили мне кружку и говорят: «Пей молочко, бабка». Потом пригляделись, говорят: «Это не бабка, а женщина». А еще через время совсем разобрались: «Да это ж, говорят, девка!»

Она смеялась, морща белые губы, деликатно прикладывая к ним кончик платка. Голубов встал, чтоб уходить, сжал ее плечи, как сжал бы мужчина мужчине. С порога объяснил Гридякиной, что у него дела. Любе тоже пора было вставать, но она давно уже знала, что никуда отсюда не уйдет, останется у этой печи, если хозяйка не выгонит.

Глава вторая

1

А в степи разрастался ветер. Он шевелил облака, натягивал линии проводов на столбах и, пробуя силу, вплетал свой голос в гудение трансформаторных будок. Шел он не с моря — влажного, мягкого, а с яростного востока. Астраханец.

Давно известно: если астраханец не «убьется» в трое суток, он будет дуть до шести, не утихнет в шесть — перевалит на девять, затем на двенадцать. От этой арифметики теперь отвыкают, все заранее общается в метеопрогнозах. Но степная живность задолго до прогнозов начинает жаться к человеческому жилью, к корму. Лисы подходят к птицефермам, заяц, преодолевая страх перед машинами и ненавистным духом бензина, залегает близ хуторских садов на пахоте, иногда в шаге от шоссе, дороги; куропатки летят на тока к просыпанной с июля пшенице, хоронятся у стожков, под зимующей в бригадах техникой,— чувуют приближение астраханца.

Без прогнозов чуял и Степан Конкин. Уж несколько дней его легкие не справлялись с атмосферным давлением, сердце дергалось, как на бегу, а тело было пустым, омерзительно бескостным. Дни, пока он агитировал людей за пустошь, он хорохорился, теперь же, приволочась с собрания, дал Елене Марковне стягивать с себя галстук, ботинки. Раздетый принялся дышать. Дыхание не было простым процессом. Следовало находиться в почти вертикальном положении на подсунутых под спину подушках, плечи держать развернутыми, локти оттянутыми книзу, а воздуха — сколько ни вбирай его — не хватало.

И все же отдых был отдыхом. Без стука, без выкриков из зала и президиума. Славно быть не в жмущих ботинках, а в ласковых, надежных для дома шерстяных носках, шевелить в них пальцами, слушать воркование кипящих кастрюль, что вливается из кухни. Цветы на окнах жена отодвинула от стекол, чтоб наступающим морозом не приварило листья, но тебе нет до этого дела, ты лежишь, вдыхаешь запахи свежепротертых полов. Книги над головой, тоже с ходу протертые влажной тряпицей, источают чудесные, разбуженные запахи коленкора и ледерина.

А подними веки — и вот жена. Елена Марковна. Лёля. Можно не говорить с ней, чтоб не работать губами. Просто смотри, как она — розовая, с усиками, с подбритыми на подбородке волосками — шьет на машине «Зингер» халаты для молочной фермы. Одна рука управляет блестяще-синюю набегающую матерью, другая так быстро крутит колесико, что, кажется, стоит на месте, отсвечивает на тыле таким же бликом, что никель колеса. Сияет и обитый фанерой, крашенный глазурью потолок, и вся комната — умытая, согретая, наверно, сотая в кочевой жизни Конкина и Лели.

Славно лежать в этой комнате.

2

Он лежал и знал, что ни черта ничего в этом славного нет, что он уже два часа кряду врет, что единственно ему нужное — разобраться, почему не выбрали пустошь.

Собственно, в чем разобраться? Вот колхоз имени легендарного Матвея Щепеткова — первого председателя Совета; а вот полуторчком на мягоньких, видите ли, подушках — нынешний председатель Конкин. Пешка. Ноль без палки. Для него пустошь — мечта, для колхозников — пустое место. Он и они... Он — одно, они — другое. Блеск, твою в душу!.. Встать бы! Но попробуй нарушь режим — не оберешься напуганных, лакированных улыбками жениных взглядов.

Боящийся взглядов жены, Конкин годами угнетал ее свирепей, чем пьяница-громобой, работающий во хмелю кулаками. Пьяница протрезвляется — и тогда испытывает раскаяние, а Конкин не протрезвлялся от своих идей, без перерыва давил ими жену, хотя испытывал угрызения от ее старательной улыбчивости. Особенно от вздохов. Начнет вздох — и сразу же сморкнется или скрипнет стулом, вроде и не вздыхала. Будь перепрокляты эти скрипения, да лучше шархни к едреной бабке мужа-туберкулезника утюгом — избавь от своей психотерапии!..

Чтоб все же лежать, он определял, что на улице. Царапаний по стеклу уже не было — значит, снегопад убился, ветер сдул тучи, и ничто не загораживает свет между полями и луной. Ясно видать, как по полю текут белые бесшумные, как дым, крупницы. А может, уже шипят, завихряются стружками. Конкин знает: стружки будут расти, делаться бегущими бурунами, а через день-два весь снег летом пойдет по воздуху, догола обнажая посевы. Когда Елена Марковна затормаживала ма-

шину, с крыши доносился говор флюгерка-пропеллера. Шест под флюгерком еще не скрипел, но пропеллер тарахтел уже напряженно. Под это тарахтение Конкин, выискивая дело, складывал куплет для будущей агитбригады. У него получалось:

На колхоз, ты брось, не вей,
Астраханец-сухойей.

Пойдет, если исполнять хором, под хорошую музыку. Или еще злободневней:

Ты для нас фашист! Не вей!
Будешь свергнут, сухойей!

А может, «раззараза сухойей»?.. Нет, ерунда все же получается.. Надо спать. Локти оттянуты правильно, грудь развернута, но увилывать от самого себя и дальше не вмоготу. «Колхозники на нас нахаркали, а мы утерлись, вроде это божья роса, и пошли отдыхать! Почивать!! Погружаться в руководящие сны!!!»

Хоть он не шевелился, Елена Марковна остановила машину, сказала:

— Степан, ты опять жуешь свое сердце.

— К черту! — заорал он, освобожденно раскрывая глаза. — Ты прикинь, Леля, на пальцах, сколько нас было сегодня начальников. Сельсовет, партбюро, правление, райком, райисполком, представитель области по затоплению. И все вместе, всем кагалом, не воспламенили колхозников. Еще, спасибо, Голиков предложил не закруглять поиски..

Чтоб отвлечь мужа, Елена Марковна приложила к себе необмятый стромкий халат, прихваченный по синему белой наметкой, спросила, скусывая с плеча конец наметки:

— Как ты считаешь, если нашить сюда спереди карманчик?

— Да к чертовой, говорю, матери. Я говорю: не сумели повернуть людей! — взвился Конкин.

Елене Марковне хотелось уговорить мужа. Но разве уговоришь?.. И как уговаривать, если сама страдала, что с хуторянами потерял контакт, если сама до старости прожила вечной комсомолкой в душе, активисткой двадцатых годов — той самой Лелей Борман, какой была на гомелевской белешвейной фабрике, откуда, бросив отца, сестер, теток, всю нескончаемую гомелевскую родню, она — шуплая девчонка, узкоплечая, большеглазая — уехала по комсомольскому призыву в Кулунду, в первый создающийся там колхоз, где и познакомилась со Степаном, навсегда приняла его жизнь, как собственную. Поэтому сейчас — уж не Леля Борман, а гражданка Конкина, уже не узенькая девчонка, а пожилая женщина с круглыми плечами — она кивала мужу. На его работе надо или вовсе не путаться под ногами, или отдавать людям все!.. Прежде она тоже отдавала все, работала и в женотделах, и в детдомах. Чудесно дышалось, когда слышала слово «критика» и понимала его действительно так, как оно звучит, а не так, что «убирайся с нашей дороги». Теперь она помудрела. Большой плюс, когда умнеешь, хотя мало радости от этого. Или, может, значение слов не изменилось? Степан уверен, что не изменилось. Степан услышит «комсомольцы» — значит, подавай ему ребят, которые и рюмки водки не выпьют. Ничего не желает признавать. Наверно, оттого, что везет ему, как пьяному. Ведь даже в ежовщину прямо на партконференции бахнул, что протестует, и хоть его с первых трех слов — из зала да в трибунал, но раз везет, то везет: началось разоблачение ежовщины и не доехал до Воркуты — реабилитировали, еще и объявили героем.

Она смотрела на его худой, цыплячье-острый кадык, размешивала мед в стакане молока. Мед этот — столовая ложка на стакан парного козьего молока — настоящий майский. Чистая глюкоза и витамины. Степан не любит сладкого, но когда отвлекается, не замечает, что пьет, и выпьет.

Однако он отпихивал ее руку, говорил:

— Возьми Матвея Щепеткова, на должности которого я тру штаны. Умел же он убедить любого пахаря, даже крепкого хозяйственного казака, бросить дом — полную чашу, малых детей и с песней идти на смерть!

Степан объяснял, что сегодня не требуется сиротить детвору. Не надо даже бросать дом. Лишь перевези его на правильное место, на пустошь; но все мы всей дивизией штатных, платных деятелей не смогли убедить хуторян. Тех самых, которые с восторгом и трепетом слушались одного-единственного Щепеткова.

«Играешь комедию?» — хотела спросить Елена Марковна. Но лишь постучала по столу, чтоб под грудой материи отозвались ножницы, и изъяснилась мягче:

— Ты не диалектик, а чудак. Путаешь наше деловое время с гражданской войной, когда Щепеткову — командиру с лентой на шапке — помогал сам тот воздух, сама революция.

Степана передергивало. Провались Лелино философствование! Революция... Революций было много, начиная от Парижской коммуны, от Кромвеля, и никто в прошлой истории не сумел удержаться. А мы держимся. Первые в мире держимся! Так отчего ж теперешнее — с земснарядными, с шагающими экскаваторами — зажигает людей меньше, чем революция?

Через секунду он сказал:

— Вообрази, Леля... Слышим с тобой — кто-то обивает ноги в сенях, отрывается дверь и входят Сталин и Карл Маркс. Лично. Спрашивают: «Как дела?» Я отвечаю, что хуже некуда, что хлебороб нам не верит.

— Кто ж в этом виновен? — спрашивают вожди. — Хлебороб?

Подчиняясь фантазии мужа, его расширившимся глазам, Елена Марковна тоже как бы видела вошедших вождей. Они стояли над койкой, на которой, не успев подняться, сидел Степан, спрашивали: кто виновен?

— Я им отвечаю, — говорил Конкин жене, — что виновны мы, демобилизовавшиеся коммунисты, позволяющие чиновникам отравлять душу хлебороба. По уставу, товарищ Маркс, по этому самому, что утвердил Иосиф Виссарионович, высшая власть колхоза — общее собрание. И этим-то чиновники пользуются, жмут на собравшихся. То уломают пахать не так, а наперекосяк, то сократить коров, завести кроликов. Вожди темнеют лицом, спрашивают: как же я, замещающий здесь прославленного красногвардейца Щепеткова, оцениваю это? Я отвечаю: «Раз решите я свою оценку покажу в своей работе».

Конкин сунул ноги в обрезные валенки, превращенные в чувяки. Когда валенки были новыми, они рассчитывались на две портянки, и теперь ноги в одних носках входили в них легко. В тишине турчал сверчок, для которого Елена Марковна, чтоб он не точил хорошие вещи, держала за печкой манжеты сношенного шерстяного платья. Днем и когда шумели, он молчал, а ночами принимался турчать: как всякий певец — щегол или чиж — выводить музыкальные колена...

Ветер на улице начался по-настоящему, свершил в погоде перелом, и Степану, как всегда после переломов, становилось легче, тело торжествовало. В гостях у Степана были вожди, волновали его, волновали под-

чиненную ему Елену Марковну, и он излагал ей свое объяснение с высокими гостями:

— Товарищ Маркс, мы носим ваше имя. Мы марксисты. А под вашим, Иосиф Виссарионович, водительством шагаем в строю. Раненные, мы не падаем, потому что кричим: «Вперед за Сталина!»; в госпитале слышим в наушниках гимн: «Нас вырастил Сталин на верность народу» — и выживаем, знаем, что эпохе нужны солдаты. Я солдат. Я давно рвусь открыть вам глаза на тех, кто губит в землеробе веру, да ваши адъютанты не пускают.

— Воображаешь, — не выдержала Леля, — что,пусти тебя, Степана Конкина, к Сталину, ты раз-два — и все устроил. Да что ты делаешь из меня козла и барана?.. Сталин привык к победам, а ты явишься и — здрасьте! — давай радовать своими хуторянами!

Конкина бесила жена. Вождя не нужно замазывание. Да и чего страшиться черных фактов, если над ними, как лучезарное солнце над свалкой, торжествует идея! Надо сказать Марксу: «Здорово разработали вы закон исторической неизбежности. Как социализм ни тормози, сколько ни сыпь песок в подшипники, — движется!» — «Так вы только и делаете, что швыряете песок в подшипники?!» — спросит тебя Маркс.

— Нет, — отвечаю я, — мы управляем машиной. А песок сыплют враги.

Больше Степан на жену внимания не обращал. Он говорил с Марксом, который, при всей великости, не знал, каково придется его партийным потомкам. Он писал про загнивающий капитализм. А видел он, когда капитализм не загнивает, а уже действительно гниет, производит фашистов? Не видел. А Советский Союз фашистов видел. Фашисты ему вот тут!.. И ликвидацию засух на планете Советский Союз развернул!.. Так разве ж, товарищ Маркс, это — боевое сегодня! — не требует, чтоб ободрали с него всякую накипь? Допустимо разве, чтоб наши дела зажигали людей меньше, чем революция?!

Степан стоял перед женой.

— Гунишь мне, что в дни Матвея Щепеткова дано было агитировать, а теперь не дано. Вечно суешь мне палки в колеса.

3

Грохнув дверьми, он ушел на кухню. В провале собрания виноват лично он. Продолжатель Щепеткова, он не ораторствует перед народом, а плямкает губами. Подогревает колхозников на каких-нибудь восемьдесят градусов, как молочко на пастеризации, вместо того чтоб жечь, взрывать каждым своим словом.

На оконце, разморенные теплотой, зеленели аспарагусы и фикусы — плантация Елены Марковны, забота о кислороде для мужа; на плите сыто ворковали кастрюли; отгороженный в углу двухдневный козленок толкал мешающую ему фанеру, пробовал ударять ее мягким шелковым лбом. Благодушье, сонность. Весь хутор закис в этой сонности. Даже Леля! Изобретает для супруга оправдания с научной, видишь ли, позиции!..

— Думаешь, это помощь — оправдывать? — крикнул он в дверь. — Какое мне оправдание, если я даже на Любу Фрянскову, единственную свою штатную единицу, не смог воздействовать? Вижу каждый час — и не сагитировал.

— Что ты хочешь? Чтоб я тебя за это колола ножницами? Сагитируй! — стараясь говорить весело, отозвалась Елена Марковна, зная, что лучше задеть мужа, чем возражать. — Только выпей наконец этот чертов стакан, — добавила она как бы между прочим.

Неожиданно Степан выпил, потребовал еще. На той волне, на которой Елена Марковна не имела над ним ни малейшей силы, стал одеваться для улицы, коротко сообщил, что хватит отсыпаться-обжираться, когда дел в кабинете пропасть.

Глава третья

1

Восток нарядно светился. Из-под оранжевой, будто дынная скиба, полосы тянул ветер. Скотины и собак на улицах не было; ребятишки бежали в школу быстро.

Шагая на работу, напрягаясь от стеклянного холода, охватившего за ночь мир, Люба чувствовала, что озябли не только ее колени, лоб, но от постоянных неудач иззябла душа. Все внутри было так заторможено, что походило на замедленную киносъемку, когда актер, прыгая с дерева или забора, не летит, как полагается, стремглав, а тягуче висит и висит в воздухе. Люба, собственно, не висела. Этой ночью она уже упала, поселившись в каморке Веры Гридякиной, самой горькой в хуторе девахи, и уныло теперь решала, что надо раньше уйти со службы, перетащить в эту камору свои вещички. Не каторга, наконец. Может же человек освободиться пораньше!..

На крыше сельсовета она увидела вместо вчерашнего линиялого флага — новый, шелковый. Этот флаг сберегали к Первому мая, хранили в сейфе рядом с печатью и особо важными документами, а сейчас он пружинисто разворачивался, стрелял на ветру. Снег вдоль дома был отброшен, на расчищенном крыльце стоял вербовый краснокорый веник для обметания сапог, обе доски — «Совет депутатов трудящихся» и «Курсы преобразователей природы на землях и водах Волго-Дона» — были протерты.

«Только рассвело, когда ж Конкин успел все это?» — встревожилась Люба, предчувствуя от такого парада неприятности. Действительно, лишь вошла, Конкин сказал:

— Немедленно меняй физиономию.

— То есть как?..

— С похоронными глазами, — ответил он, — в Совете не работают. Посетители явятся не для того, чтоб помирать от твоих взглядов.

Он сидел перед разложенными на столе бумагами и бритвенным прибором, был свежевыбрит, резко пахнул тройным одеколоном, которого Люба не выносила.

— С траурным твоим настроением, — подытожил он, — будем кончать.

Он потребовал от Любы набраться фантазии, представить, что живет она за тысячи километров отсюда, в залитой солнцем Испании. В сегодняшней, франкистской. И она не Люба, а, к примеру, Сильвия...

Любе только этого не хватало. Мало ей вчерашней трепотни Голубова, так теперь слушай еще эту алалу. А Конкин всерьез требовал представить, что она — донна Сильвия. Но не та донна, которая имеет длинный автомобиль, виллу, а такая же, как здесь, трудяга, комсомолка!.. Франкисты среди солнца, прямо среди яркого дня, расстреливают демонстрацию. Залп — и нет двух женщин, может, Любиных подруг по подполью. Лежат вот они под окнами франкистов-аристократов, мажут асфальт кровью!.. Так неужели ж, мол, Люба не рванулась бы, не бросилась вперед, не отдала б свою жизнь, чтоб кровь по мостовым не лилась?

— А тут,— заорал Конкин,— тоже сложно! Залп — и нет решения хутора Кореновского ехать на пустошь. Еще залп — и хутор Червленов с ними! А в эти минуты Любовь Фрянскова, секретарь Совета, томность глазами производит!..

Люба была подчиненной и молчала, но глядела на Конкина будто на маленького. Неужели и он и Голубов всерьез считают, что можно расшевелить чувства хуторян, что кому-то что-то требуется, кроме двух коров и двух кабанов в сарае?.. Конкин тем временем говорил, что надо использовать начавшийся астраханец, ткнуть его в глаза людям: дескать, доколе, товарищи, можно терпеть произвол стихии?

В общем, сегодня внеочередной исполком! Состоится днем, чтоб к вечеру освободить помещение для курсантов — преобразователей природы. Любе на двенадцать дня — вызвать членов исполкома, проживающих в Кореновском. Уложиться в пятьдесят минут, ехать бедарой. За исполкомовцами червленовскими Конкин съездит сам.

2

На улице стягивало кожу. С востока, из-под солнца, тянул ветер; на солнце он пожестчел, смахивал с сугробов мелкую снеговую пыльцу, и она крупитчато искрила. Люба в Совете не только не отогрелась, но и снег не выбила из туфель. «Зато перевоспиталась, походила в испанских доннах»... Жеребая, запряженная в бедару кобыла Сонька была привязана к столбу ременным чембуром, туго натянула его, и Люба, с тоской вынув из рукавов руки, принялась раскачивать захлестнутый, окостенелый узел. Сонька презрительно смотрела, как она делает это, и пыталась то притиснуть ее оглоблей к столбу, то хватануть зубом. Бока Соньки, покрытые зимней густой шерстью, распушенной от холода, были широко расперты; внутри меж ними, в таинственном непроницаемом тепле, лежал живой маленький жеребенок, которому скоро рождаться. Но у Любы имелось лишь пятьдесят минут, жалеть жеребенка было некогда, и она погнала Соньку в галоп, натягивая на ходу перчатки.

Ночью Гридякина взяла эти перчатки — мокрые от снега, прохудившиеся на пальцах, — высушила, заштопала, и это ее внимание было тяжело, окончательно отделило Любу от прошлого. До этого она на что-то надеялась, вела себя как человек, который потерял бесценную вещь, сто раз обшарил карманы, а все-таки опять сует в них руку. Теперь все определилось, и она гнала Соньку, плакала. Подкатывая к дверям очередного члена исполкома, вытирала глаза, сообщала о вызове Конкина, а отъехав, всхлипывала снова, решала практические вопросы. У Гридякиной есть сковорода, две кастрюли, стол. Люба принесет подушку, трюмо, подарит Гридякиной свою новую юбку — и надо жить. Главное ж — поставить вопрос, чтоб никакая дрянь не издевалась над Гридякиной. Это еще с утра следовало обсудить с Конкиным, но разве было возможно, когда на него — испанца! — накатило перевоспитывать. Небось и в Червленов ринется выгрызать людям кишки.

Она за сорок минут обскакала адреса, а Конкин все равно уже ждал. Оглядел мокрые, в наледи Сонькины бока, ходившие ходуном, но ругаться номер не прошел: сам же приказывал — скорее. И все-таки, влезая в бедару, бросил Соньке с явным расчетом на Любу:

— Желаеть уважения — бегай.

Люба отвернулась. Сколько можно ее воспитывать! Воспитывали в пионерах, в техникуме, ежедневно воспитывают в газетах, в радиопередачах. Но кто думает: хочется тебе дышать или нет?.. Гидростанции,

будущий Сонькин жеребенок — все для человека. А сдохни этот человек — она или Гридякина,— решат, что тоже правильно: химия для орошаемых земель.

3

Люба банила к исполкому полы. Вода у нее — две полные цибарки — хранилась в кабинете, за сейфом, была, спасибо, тепловатой; боты лежали в столе, и она, сняв туфли и чулки, чтобы не намочить, мыла в ботах, торопилась скорей кончить, чтоб сбежать домой. Ведь свинство — сидеть у Гридякиной на шее. Если одна штопала перчатки, другая должна хоть растопить печку.

Орудя тряпкой, Люба прислушивалась через приотворенную в коридор дверь: не появился ли какой посетитель? Когда появлялся, она выскакивала из бот, втискивала босые ноги в туфли и, выходя, приглашала в кабинет, брала заявление или записывала устную просьбу. Кончив дело, каждый посетитель благодушно отдувался с мороза, прочно расслаживался, и попереть его не полагалось. Он, как долдонил Любе Конкин, избирал этот Совет, был здесь хозяином. Появлялся и Валентин Голубов. Правда, не засел. Сунул с порога газетный сверток, сказал, что на новое хозяйство Любе и Гридякиной. В свертке битый гусь и кочан капусты с длинным комлем, с корнями, чтоб до весны был сочным.

Стекла позванивали от ветра, холод проникал через все поры стены, и Люба, домыв пол, разожгла печь, завалила ее доверху, потом заправила авторучку, разложила для протокола бумагу, даже написала: «Слушали — постановили» — и совсем было выскочила домой — поставить на малый огонь гуся и капусту. Гридякина придет, глядь — обед сварен!.. Но когда Люба уже схватила сверток, подъехал Конкин.

Она увидела его в окно. За окном играло солнце, погода была такой пронзительно ясной, что если смотреть не вниз, на снег, а в небо, лазурное, солнечное,— подумаешь: лето. Конкин сходил с бедары, было видать, что он окоченел. Вожжи держал как бы не руками, а протезами, ноги, которые переносил через колесо на землю, не гнул и весь — в ярко-свирипом ледяном солнце, в бьющемся на ветру пальто — казался словно механическим. Люба завела его в кабинет, стянула пальто, сапоги. Варежки он зубами снял сам, тер о пиджак пальцы, согнутые скобами. Она обхватила их — жесткие, пугающие, — стала тереть, боясь разреветься, заорать на этого больного старого болвана, которого носило черт-те куда по открытому астраханцу в открытой бедаре.

4

Раньше, когда еще училась в техникуме, Люба была уверена, что каждый коллектив дышит лишь общественными задачами. Но в хуторе она каждый день убеждалась, что люди есть люди, с их житейскими унылыми делишками, шуточками.

Вот и сейчас, собираясь после проваленного вчера собрания, исполкомовцы спокойно зубоскалили, что покоряем-де природу, а задуло — и автомобили районных покорителей, Орлова и Голикова, со вчерашнего вечера загорают в хуторе, и когда б не лошадки, то и сами Орлов с Голиковым загорали б как миленькие. Люди позевывали, недоумевали, зачем приспичило их вызывать, и Любе было стыдно за Конкина, который поднялся над столом и вместо того, чтоб просто сказать: «Товарищи», вдруг весело выкрикнул: «Друзья!» Затем еще веселей: «Бра-

тья!» Это с черным-то лицом! С чугунными, не отогрившимися еще губами!..

Все глядели мрачно, испуганно — и председательница колхоза, и секретарь партбюро Черненкова, и даже Голубов, не говоря уж о червленовцах, приехавших в эмтээсовском автобусе. Люба их понимала: веселиться надо, когда весело, не тогда, когда тоскливо. Кореновский парторг, Дарья Черненкова, повернулась с передней скамьи, приставив к виску палец, покрутила — дескать, с приветом, чокнулся с морозу Степан Степанович.

А он еще и повестку дает какую-то поэтическую: «Агитработе — солнечную дорогу». И объявляет, что все сидящие здесь, на этих скамьях, являются не только сыновьями Плеханова, Ильича, Сталина, но и родоначальниками будущих великих деятелей России, что иными они исторически не имеют права быть! Поэтому обязаны покорять бандитствующий за окнами астраханец, вести хуторян на орошаемую землю, не допуская в Подгорнов — к допотопной мотыге, к ярму на шеях быков и на собственных своих шеях!

Любе что? Она вносит это в протокол. Хоть рука у нее быстрая, но полностью, конечно, не запишешь, когда Конкин цитирует вчерашние выступления, громит их казенщину, считает безобразием, что еще ночью не созвал исполком, не обсудил по горячему следу — как убеждать хуторян. А убеждать так, чтоб речи походили на «Интернационал», который поют стоя, произнося слова с бьющимся сердцем, с гордым сознанием, что хозяева мира мы, народ, и нам никто не указ — ни царь, ни сам бог, ни герой!

Люба и это пишет. Ясно, опять не успевает, когда Конкин, говоря про вдохновение, которым обязаны пылать агитаторы, приводит стихи Пушкина «Пророк» и, чтоб доказать, насколько агитатор должен презирать всяческую неискренность, каким обязан быть прямо-таки святым, дает наизусть:

И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый.

Сам отошел уже от озноба, порозовел, и члены исполкома, говоря по правде, тоже стали изменяться, подтянулись. Но Любе чихать. Ей противно, что Конкин говорит исполкомовцам, а сам и ее стрищет глазами, продолжает перевоспитывать. Ей не перевоспитываться, ей сбегать бы домой.

Сбегай, если в повестке Конкина двенадцать пунктов!.. Каждый начинается словами: «О создании», «О сотворении», «О рождении». Немедленно, мол, рожать группу добровольцев-разведчиков из стариков и молодежи, чтоб самостоятельно разведывали участки для переселения. Отыщут что-нибудь лучше пустоши — на здоровье. Избрать разведчиков независимо от их партийности-беспартийности, независимо от их должностей. Лучше всего рядовых землеробов. Выделить им грузовик — пусть катают по собственной воле!

5

Записывая, Люба видела, что хотя исполкомовцы и загорались уже огнем Конкина, но на их пламя ведрами рушилась вода таких настоящих слов, как «независимо от партийности-беспартийности». Пугала их и дезорганизующая, пускающая на самотек формулировка: «По собственной воле».

Конкин втолковывал, что беспартийность людям не криминал, что говорит он о беспартийности как о массовости, а воля нужна для хуторян, владельцев колхозной пашни.

Он давно сбросил пиджак, вспотел, крахмальная пикейная рубашка была на нем мокрой даже у манжет. Его с лета во всем поддерживал Голубов, но при этом кидался на окружающих, пришивал им такие оскорбительные ярлыки, что шум разрастался, затягивался, и Любе хотелось бы убить Голубова.

Вечерело. Перерыва не делали. Когда утвердили наконец все двенадцать пунктов, Конкин предложил разобрать «за одним рипом» текущие вопросы, чтоб после уж не отвлекаться от боевых задач!.. И опять прения до семи. В семь — курсы, но курсантов нет. Решили, конечно, что раз вчера провалили поливной участок — пустошь, то и учеба поливальщиков ни к чему. Конкин закрывает заседание, мобилизует исполкомовцев собирать по хатам курсантов, изучать, видишь ты, те самые поливы, которые в глаза не видели ни ученики, ни сами лекторы... Выскакивает первый, потный, хоть выжми. В коридоре Елена Марковна с корзиной, где тарелка, ложка и кастрюля, закутанная ватником для сохранения тепла. Все-таки мерзавцы мужики! Елена Марковна, видать, не один час дежурила, чтоб накормить своего Степана, а он и глядеть не стал. Мимо.

— Хоть ты, Люба, может, покушаешь? — спросила Елена Марковна. — Тут суп из курочки. Наваристый. Горячий!..

— Что вы! Спасибо! — отмахнулась Люба.

6

Ветер на улице не усилился, флаг над крышей хлопал по-прежнему, лишь зарево стройки за горизонтом светилось пронзительней. От этого свечения, от мыслей о горячем супе из курицы Любу зазнобило. В руках сверток, будто у последней дуры. Главное, сама понимала, что она здесь лишняя, — она не умела шутить с возмущенными курсантами, как шутил Конкин. Он лупил во все двери. и как бы ни бросались собаки, как бы хозяева ни орали, что пользы с этих курсов, как с поганого рака шерсти, что поперетопить бы к дьяволу в тех орошениях шибких умников, которые эти орошения придумали, — Конкин отлаивался, а если какая тетка пыталась захлопнуть двери, он совал ногу в щель, называл тетку розой, лапушкой, раскрасавицей.

Люба мрачно молчала, но он все равно держал ее. Для воспитания!.. Голубов тоже не умел балагурить. Когда курсанты, особенно фронтовики, отказывались учиться, он без разговоров хватал их за грудки. Таких громовых ругательств, какие раскатывались вокруг, Люба еще не слыхала. Парторг, Дарья Черненкова, не согреваясь руганкой, подбивала мужчин добыть хоть с-под земли пол-литра, оттепелить душу. Гусь и капуста в газетном Любином свертке закоченели, как ее пальцы, которых она не чувствовала.

Наконец курсантов собрали, подвели к Совету; ей можно было отправляться домой, но здесь-то и получилось совсем невероятное. К ней подошли Конкин с Голубовым, и Голубов сказал:

— Все же, Люба, мы к тебе. Преподавателей сегодня не хватает. У тебя образование. Прочитай лекцию по истории. Два часа, и все.

Так и сказал. Говорит, изложи про забитость при царских династиях, чтоб сопоставить с нашей эпохой. Для подъема духа аудитории. А сам смотрит на нее зверем. И она ткнула сверток Конкину, чтоб положил на сейф, и согласилась. Как идиотка. От отчаяния, что некуда уж деваться.

Глава четвертая

1

Когда лекция началась, Голубов собрался в овцеводческую бригаду — проводить занятия с чабанами.

Настроение было отвратительным. Утром произошла очередная ссора с женой, оба выискивали слова, какими можно несправедливой ударить, и, находя, умело бросали друг другу. Это происходило ежедневно, Голубов к этому тяжело привык, отходил душой лишь на работе, в стороне от дома. Вот и сейчас, растворив тяжелую под напором ветра дверь конюшни (требовалось подседлать лошадь, до бригады пять километров), он ощутил радость.

В конюшне, освещенной пропыленными соломенной пылью лампочками, было отраднo от запаха лошадей, от живого их тепла. Только что прошла вечерняя раздача сена; слышалось хрумтание, отфыркивание, довольное пристукивание лошадиных колен по доскам яслей. Голубов бросил дневальному: «Здоров, Петро Евсеич», — и оба двинулись по проходу мимо конских высоких круп, начищенных, местами присыпанных только что розданным сеном. В каждом хвосте, вплетенная высоко у репицы, белела фанерная бирка с кличкой; вправо от каждой лошади на столбе, скобленном до белого мяса, висели, тоже забиркованные, щетка со скребницей, хомут с оголовьем, а над верховыми конями красовались козелки с седлами, с перекинутыми поверху стремянами, надраенными сухим мелом. За все это, заведенное кавалеристом Голубовым, старики величали его Егорычем, сносили его вздорный характер, впрочем не без приятности напоминавший им характеры прежних сотников.

В конце прохода, далеко от дверей, от сквозняков, помещались привилегированные жители конюшни — жеребцы. Два, ходившие между случками в легкой упряжке председатели колхоза, один под седлом Голубова. Они жили беспривязно, каждый в отдельном вольном подклетке, деннике. Голубов остановился у денников. Он не спешил в бригаду. Зимой дела у чабанов мало, успеют и назаниматься и выдыхнуться. Жеребцы оторвались от сена, глядели сквозь дверные решетки на подошедших. Голубовский Радист был потоньше, поделикатней кражистой щепетковской пары с раздобревшими подгрудками, с лишними килограммами во всем теле, и даже Петр Евсеевич, сколько ни был горд своей парой, любовался статями Радиста. Словно собака когтем, Радист царапал передним копытом дверь, одновременно толкал носом решетку, и за решеткой, будто вытянутый свежий бинт, сверкала полоса, идущая от лба вдоль храпа. Полоса розовела к ноздрям, кожа под нею была такой нежной, что Голубов всегда, когда гладил храп, слышал под этой теплой, почти горячей кожей все живые, пульсирующие жилочки. И сейчас, открыв дверь, взявшись за храп, чтоб втиснуть в зубы удила, он ощутил и эти жилки, и породную шелковую мягкость ноздрей, из которых Радист упряго, влажно дул воздухом.

Петр Евсеевич, с удовольствием держа седло, оглядывал жеребца и его хозяина, который, несмотря на погоду, был в куцей щеголеватой кожанке, в шевровых, тоже куcych, сапожках и при этом орудовал с коном дай бог.

Голубов принял седло, отряхнул от возможной соринки спину лошади, с одного движения отряхнул и потник легонького офицерского седла, кинул его на холку, ссунул к хребту по движению шерсти и, хлопнув под брюхо Радиста, чтоб тот выдохнул, затянул подпругу. Кобылы в конюшне, еще не чующие весны, за день натрудившиеся, равнодушно же-

вали, тогда как Радист, выведенный в общее помещение, выворачивал верхнюю, кровавую с-под низу губу, с прихлобом тянул ноздрями.

— Сатана! — поощрительно-завистливо говорил Петр Евсеевич. — Даже не в сезон охотник.

2

На улице мело, Радист — латунной нарядной масти — враз посе- рел с головы и наветренного бока, зябко передергивал кожу. Голубов, остыв за день от возмущения женой, мечтал сказать ей примиритель- ные слова, несмотря на то, что и сейчас твердо чувствовал свою право- ту. На ерике, как из противотанкового ружья, стрелял лед, а километра за два, на буграх, на профиле вспыхивало пламя — должно, какой-то бедолага-шофер возился с отказавшим мотором, жег на ветру масля- ную паклю... Голубов в обратную сторону развернул Радиста, погнал на минуту к дому, к разговору с женой, хотя и знал, что хороших раз- говоров не выйдет.

Познакомился он с Катериной прошлым летом в Ростове, в управ- лении сельским хозяйством, куда приехал на совещание. Утром ему ска- зали, что его вызывает экономист планового отдела Екатерина Несте- ровна Георгидзе. Георгидзе поразила его огромной, тугой массой волос, скрученных в башню, поднятых надо лбом, над тонкой шейкой и ма- ленькими ушами. Должно, жесткие, волосы были такими черными, сияю- щими, будто свежая, живая нефть с просвечивающей из глубины рыжи- ной. Таким же цветом поражали неестественно огромные спокойные гла- за; только нефть их была еще ярче, отражала стеклянные двери и окна комнаты.

Как всегда в присутствии всякой красивой женщины, Валентин ожи- вился; подойдя, привычно кинул сверху взглядом в вырез платья. Ки- нул быстро, но враз отметил, что глянуть стоило. Тридцатичетырехлет- ний холостяк, любитель рискануть насчет сердечного дела, он, еще фрон- товым офицером, знал себе цену и дома и за рубежом, приручал со взгляда как наших девчат, так равно венгерских, болгарских, словацких. Георгидзе уточняла по его колхозу число овец сальской породы, а он, вперясь в ее подмалеванные, крепкие, с привздернутыми уголками губы, по-петушьи чертя крылом, повел издали:

— Вы, как специалист, какую предпочитаете породу—сальскую или романовскую?

— Я не специалист,— ответила она.— Ничего здесь не знаю и не значу.

Ее голос звучал хрипло, и эта не украшающая женщину хриплость нравилась Валентину. Он заметил, что косточки на ее руках растерты, по-особенному чисты. Наклонясь, спросил:

— С утра уже настирались?

Он обнаружил, что с ним происходит не такое, как обычно, и попро- бовал сопротивляться. Уже в коридоре, думая о зрачках, о волосах Георгидзе, хмыкнул: «Много делов — черная расцветка!.. Красящий пиг- мент, и все. У любой кобылы его еще больше». В перерывах совещания он ходил мимо стеклянных дверей Георгидзе. «С чего б ей с таким фор- сом держать на голове свою башню?!» Улучив момент, когда никого ря- дом не было, он зашел.

— Объясните! Сами говорили, что ничего не значите. Почему ж смотрите вот так? — Он вздернул нос, показал, как она смотрит.

— Я не всегда ничего не значила,— сказала она, видимо ожидая, что он пойдет, и, видимо, находясь в том же, что он, состоянии.— Не всегда ничего не значила. Я пела. Потом простудилась. Слышите, как

хриплю? Это неисправимо уже... Но, быть может, найду в жизни, что делать, чтоб иметь право так смотреть,— засмеялась она.

Вечером Голубов вроде бы случайно догнал ее на выходе, и она спросила:

— Выследили?

Она несла портфель, настолько набитый папками, что застежка не закрывалась. Голубов терпеть не мог таскать что-нибудь. Свои бумаги, даже вещи, всегда рассовывал по карманам, чтоб руки были свободными, но этот портфель понес с наслаждением. Асфальт вяз под каблучками, не остывший от солнечного зноя, а может, еще больше раскисающий в вечерней духоте, напитанной стоялым жаром высоких домов, газом автомобилей. Освещенный неоновыми вывесками, окнами идущих троллейбусов, он белел окурками, смятыми картонными стаканчиками из-под мороженого, которые тут же выметали дворничихи и, к ужасу Голубова, едва не хлестали метлами по ногам Екатерины Нестеровны.

— Ох и дрянь же у вас в городе,— сказал он.

— А что у вас?

— Что! — Голубов присвистнул.— Пески, чистые травы. Кто ж их замусорит в степи? — Он даже остановился, заговорив о степи.— Сейчас еще что. А в апреле, когда сплошь тюльпаны! И не пройдешь из-за них, и наступать жалко. Вы ж только сорванные видели. А когда тюльпан на земле — живой, тугой, как голубь!.. Вроде ударь в ладоши — он и взлетит, росу с себя посыплет.

Валентин не представлял, что умеет говорить о таких вещах, что можно идти с женщиной, не выпив для храбрости двухсот граммов. Она тоже разглядывала его — фатоватого, районного образца мужчину, словно это не тот, кого она вызывала утром, даже не тот, кто спросил о стирке.

— Осенями у нас,— говорил Валентин,— гуси на отлете. Ночью над бригадами: «Кы-гы, кы-гы». Смотришь на звезды: раз — какая-нибудь мигнула. Это гусь крылами закрыл. Раз — и еще мигнула. Значит, другой прошел. Все к морю.

— Я этих ваших гусей,— сказала Георгидзе,— как живых вижу. Вы не охотник?

— Малость есть.

— У меня отец был охотником. Мы в Крыму тогда жили...

Она заговорила про детство, про отца и мать, про старую, в медном ошейнике собаку на веранде, рассказывала, как училась то в консерватории, то в Литинституте, и все было не по ней — все бросала; а возможностей было много, и они уходили, словно вода, когда несешь в пригоршнях и толкаешься локтями о все выступы...

Еще утром Голубов решил бы: «Бабочка с жиру бесится». Теперь слушал, жмурился от ее немигающих глаз. Такая красивая, ни на кого не похожая, а мир не понимал ее, бил...

Говорила и о муже. С прежним, режиссером, разошлась в Москве. Нового Валентин знал. Это был работник управления. Толковый агроном, хороший человек. Он не любил ее. Сама не представляя зачем, она боролась за каждый день, за каждую хоть сколько-нибудь нормальную ночь. И Голубов без ошибки ощущал: женщина доверилась ему и не стыдилась, не хотела сдерживать годами накопленного горя. Он дослушал, за плечи повернул к себе Екатерину Нестеровну.

— Бросайте все к черту. Езжайте в любую станицу. Дел там — во! — Он размахнулся обеими руками, задел проходившую компанию.— Какое там море создаем! Получше, чем в вашем Крыму. Только с культурой у нас плохо. Вот и беритесь! Ну что вам здесь, среди брехни этой?

Она стояла, держась за рукав его гимнастерки.

— Хороший вы человек, Голубов,— грустно сказала она.— Очень хороший. Знаете что? Мне есть захотелось, я с утра не ела.

Они купили в ларьке кило хлеба, разламывали и ели. На при базарном бульварчике, под фонарями, облепленными вьющейся мошкой, желтел гравий. Видно, насыпанный только сегодня, он был крупитчатым, с еще не подавленными, хрусткими под ногой ракушками... После победы, когда Ростов начал жить, устраивать среди обугленных развалин клумбы и дорожки, а демобилизованный Голубов сделался студентом, он по таким же рубчатым звонким ракушкам ходил в институт.

— Правда,— усмехнулся он,— гравий студенческий?

— Правда,— убежденно ответила Георгидзе.

Усмехнулся он по привычке говорить с бабами в шутку, и ему стало отвратительно от своих ухажерских навыков. Оказывается, можно быть с женщиной и не лезть к ней под юбку, говорить о «студенческом» гравии и вообще не говорить — чувствовать, что она знает твои мысли. Голубов держал ее руку, ощущал взгляды прохожих, которые небось думали, что подвыпившая парочка не отыскала другого места, как под базаром... Доев хлеб, сидели, счастливые, на рундуке, в котором лежали свезенные с базара дынные и арбузные корки. Когда давно уже не слышалось трамваев, он довел Екатерину Нестеровну до ее дома.

Он, в сущности, не знал, кто она. Какой у нее характер, какие привычки? Это было безразлично. Он заранее принимал все, что в ней есть; даже ее плохое было б ему подарком.

Развиднялось. Пора было уезжать в Кореновку, а он не ехал, набрел на «Дом колхозника», где вчера остановился, лег на койку, кажется, спал, потом ел в буфете какую-то колбасу и лежал опять. В конце дня пошел в управление, набрал в вестибюле телефон экономотдела. Отозвался знакомый зоотехник. Валентин, пытаясь изменить голос, проклиная себя, попросил Екатерину Нестеровну и, когда она взяла трубку, озлобленно сказал:

— Это Голубов. Выходите на улицу. Я жду.

В трубке замерло. Должно быть, он говорил так громко, что всем в комнате было слышно, чего он требовал. Потом тишина оборвалась, Георгидзе четким, полным радости голосом ответила:

— Конечно. Иду!

— Ты поедешь со мной. Сегодня,— сказал Голубов, когда она вышла.

Она раскрыла портфель. Внутри были туфли, свернутые платья.

— Видишь? Я не вернусь к нему.

Она объясняла, что хотя еще сегодня днем не могла до конца поверить в счастье, но уже утром ушла из дома. Уйдет и с работы, но это надо оформить. Голубов не желал ждать. Она взяла его за уши, пригнув, уперлась лбом в его лоб.

— Не дергайся, дай отдохнуть.

* * *

Ночью на Новочеркасском шоссе он высматривал попутную машину. Дождило, он газетным листом повязал Катерину, и она походила на хуторскую чернявую девчонку, укутанную платком. Очередной остановленный грузовик ехал на Цимлу. Голубов сунул шоферу свой портсигар и спички.

— Закуривай, я с женой прощусь.

Катерина встала на цыпочки, сцепила руки на затылке Голубова.

3

Когда влюбленные стали мужем и женой, пошло скверно. Видать, сколько ни замазывай этот вопрос, но даже в сорока километрах от стройки коммунизма люди разных кругов не могут создать семью. Голубов, автор такого открытия, убеждался, что Катерина, со своими киностудиями, консерваториями, и он, окончивший лишь трехгодичную послевоенную школу, условно названную институтом, — не были парой. Он сознавал: его мужицкая сила, со взгляда поразившая Катерину, обращившись изнанкой — неотесанностью. Голубов считал, что в глаза Катерине лезли грубые его привычки, в уши — хуторские слова «степ», «голуб», «твой полотенец», «моя ружье».

Голубов желал считать, что дело только в этом. Считать иначе — значило покончить с мечтой, что Катерина любила его хотя бы в Ростове. Катерине тоже удобней было думать так. Трудно признать себя истеричкой, закутившей с — каким уж по счету — нелюбимым человеком.

Все бы, уверял себя Голубов, снівелировалось, когда бы не великая стройка. Не будь ее, он учился б тому, что знает Катерина, отдавал бы ей каждый вздох.

Но стройка тоже требовала каждого вздоха, и он выбрал стройку — готовил фермы к жизни на поливных землях. Домой он заскакивал лишь ночами, и то, если не было отелов, ожеребов, окотов, опоросов. Когда же переселенческая кампания развернулась еще шире, он — член исполкома сельсовета, член партбюро, член колхозного правления — стал вдобавок директором курсов и вовсе ушел в волго-донские дела.

Смеялась ли жена над Волго-Доном? Нет. Наоборот! Голубов знал: она устала от недовольств, ухватила сердце за эту стройку, называла ее очистительной грозой, сотворением мира, но считала: стройка — одно, а хуторская мышьяная возня — другое. Голубов видел: она стыдилась за него, носящегося среди кур и растерянных колхозников со своими курсами. Слово «курсы» она не выносила. Она обвиняла мужа в хвастовстве, в пошлой манере «выдирать жабры» всем и каждому.

Той работы «по подъему культуры», о чем он говорил в Ростове, не было. Место завклубом занимал комсомолец Щепетков, после него секретарь комсомола Руженкова, а про Катерину, прозванную в хуторе профессоршей, не могло быть и разговора. Ясно, не мед ей среди чужих, день и ночь одной в четырех стенах... Но он ведь умоляет работать на курсах. Нельзя же только листать свои книги! Он не знал их даже по названиям, и когда их проглядывал, чтоб быть в разговоре под стать жене, получалось еще хуже. Вворачивая вычитанное словцо, видел, как морщилась Катерина. Он срывался на крик, орал: неужели она воображает, что те, кто до грамма позазубрил все это, делают для народа больше его, Голубова? Долдонят стишки про занюханную яблоньку под луной, про одну-единственную... А станичники этих яблонь сотни миллионов планируют. Вокруг всего моря! И море это не с воздуха в руки колхозникам падает! И животные, что выйдут на берега, тоже не с воздуха, а их растит он, Голубов! Он швырял ногой табуретку, спрашивал:

— Тебя саднит, что Вольтера назвал неверно? Так предположи, что я прибыл с Марса, что мы с тобой сошлись, а языки у нас разные. Ну и обучай, если любишь.

Катерина ладонями зажимала его рот, просила:

— Успокойся, милый. Ты прав.

— Знаю, что прав. Разговор не обо мне, о тебе.

Отрывая ее ладони, доказывал, что весь Дон живет грандиозными свершениями, кроме нее одной. Не выйдет!

Он восставал против всего. Против отношения к курсам, против от-

каза оформить брак, против нежелания иметь детей. В минуты любви он с раздражением смотрел на впалый девичий живот, на строгие груди никогда не рожавшей Катерины. Он в тысячу раз преданней полюбил бы эти груди, будь они сморщенными, в прожилках, выпитыми ее и его сыном.

Сегодня она сказала:

— Мы оба ошиблись. Я уйду от тебя, Валя.

Так говорила не раз, он к этому притерпелся.

* * *

Сейчас он придержал Радиста на своей улице. Отсветы гидроузла поднялись вполнеба лентами, против его дома грудились соседи, подзрительно весело разговаривали. Заметя его, смолкли. Он с седла отшвырнул ногой калитку, въехал во двор. Соседка, молодуха Ванцецкая, крутилась возле общего плетня, оживленно глядела на непритворенные сени голубовского дома, на самого Голубова.

— Где Катерина Нестеровна? — тихо спросил он.

— А токо-токо уехала. На грузовике. С чемойданом! — стала докладывать Ванцецкая, стараясь поотчетливей, позвонче, чтоб доставить развлечение всем, кто слушал этот спектакль на улице.

— Должно, в Цимлу на базар, — говорила она. — Одну б малую минуту — и встретились!

Профиль на Цимлу — Ростов вился высоко по буграм, обходя балки, и Голубов рванул напрямую, на эти балки — перехватить грузовик. Не думая, что на глазах всех ведет себя последним из идиотов — брошенным, заматавшимся мужем, — он поскакал не в калитку, а в глубь двора, на забор. У забора плеткой резнул жеребца под брюхо меж ног, по чувствительному месту. Позади щелкнули о сарай ледяшки из-под копыт; на прыжке, над забором, веткой жерделы сорвало шапку.

Радист не хотел удаляться от жилья, упорно сворачивал к хуторским домам. Валентин вывернул ему голову к полю, и он скакал боком, подаваясь к хутору, зажав зубами удила, как тиски зажимают болт. Валентин обманул Радиста. Отпустив поводья, враз рванул на сторону, выдернул из зубов удила, врезал в угол нежных конских губ, — и Радист пошел прямо, стал ронять красную слюну. Валентин гнал и гнал, горько ощущая, что ему среди всех бесчисленных заседаний, прений, руганок нужна хоть одна такая минута, чтоб его, точно малого ребенка, приголубили, прижали бы его голову к себе, и сидел бы он с закрытыми глазами, не шевелясь, до конца доверившись... А потом много, очень много смог бы человек за короткое это счастье.

В первой же балке Радист начал по брюхо проседать в снег, за ушами, четко видные в отблесках стройки, проступили потеки, зачернелись погом ложбины между шеей и лопатками. Все же балку, за ней подъем на бугор взял наметом.

На высоте бугра ветер давил будто резина, непокрытая голова Голубова замертвела, и он не ушами, а ногами, телом слышал под собой идущие толчками храпы, похожие на стук барахлящего мотора. Сознывая, что запаливает колхозного племенного жеребца, он работал каблуками и плетью. Зачем? Не знал. Ну, догонит грузовик, остановит. Что скажет Катерине, если не сказал за месяцы? Надо было гнаться тогда, с самого начала. А еще верней — не забывать: баба купит, продаст и пойдет объяснять очередному остолопу, какая она несчастная... И все равно, хоть потоп, хоть все вверх дном — ему нужна Катерина, только Катерина.

На подъеме второго бугра, где, по словам геодезистов, предполагалась граница будущего моря и суши, Радист оступился и, счесывая

боком снег, оставляя широкую сглаженную полосу, заскользил вниз. Голубов выдернул из стремян носки, скатывался рядом. Они одновременно встали на ноги. Голубов попытался прыгнуть в седло, но животное не давалось, дрожащим оседающим крупом пятилось книзу, все дальше от цели.

— В Христа! В богородицу! — хрипел Валентин, до треска в руке натягивал повод.

Не оступись Радист, может, и дотянул бы до профиля, а теперь никакая сила не поднимет его на бег. Поняв это, Голубов взялся за голову. Волосы были забиты снеговой крупой, на лбу намерз пот, уши одеревенели. Массировать их было делом долгим, требовалось немедленно вываживать Радиста, и Голубов потянул его за повод, на ходу натираясь снегом. Первым стало оживать здоровое ухо, потом израненная половина. Тогда он сбросил кожанку и гимнастерку, снова надел кожанку, а гимнастеркой обмотал голову, повел жеребца к дому.

Глава пятая

1

Не обошлось Конкину ни промерзание в бедаре, ни хождение в метель за курсантами. Всю ночь он прокашлял, уже не сопротивляясь Елене Марковне, виновато глотал ее чай, а наутро, задыхающийся, видя, что от районной больницы не отвертеться, собирался в дорогу.

Под окнами стояли две «Победы», Орлова и Голикова, и эмтээсовский трактор, наряженный сопровождать в райцентр автомобили начальства. Елена Марковна несла в машину Голикова подушку, тулуп, бутылку молока, укутанную в полотенце. Измельченный снег взвивался, словно бы паровал над обеими машинами; казалось, что внутри их кипят воду и пар вырывается из-под остекленных лакированных коробок, взлетает легко и весело. Уже одетый, Конкин инструктировал Любу:

— Остаешься председателем. Обстановка такая.— Он протянул Любе телефонограмму.

Орлов вызывал к себе на двенадцать дня председателя сельсовета. На райисполкоме председатель должен доложить — куда в ближайшую пятидневку переселяются хутора Кореновский и Червленов.

— Работай. Никуда не езд. Отвечаю я,— говорил Конкин.

В груди у него, как в гитаре, гудело. Говорил он трудно; поэтому Люба, и когда слышала, и когда недослышивала, понимающе кивала.

— Задача обоих хуторов,— наставлял он,— проводить решенное на вчерашнем сельисполкоме. Это ты знаешь. Как говорить с людьми — тоже знаешь.

Он отстранил Елену Марковну, берущую его под руку, подмигнул Любе и пошел к уже сигналившим машинам.

2

Оставшись одна, Люба не сразу направилась в Совет, сперва заглянула в сарай к козе и Соньке. Хотя перед козой лежали картофельные очистки, брошенные уехавшей Еленой Марковной, Люба подкинула еще и бурак, потрогала козу за плоский, прозрачный витой рог. Добавила сена кобыле Соньке, которой следовало есть побольше — за себя и за детеныша, что рос в ней, в ее распертом брюхе. Сонька и пила, несмотря на мороз, много, чтоб хватило на двоих... Сарай был плотным, но ветер находил сюда ходы. На стенах, под неприметными щелями, пушистились на бревнах серебряные полосы снега. Люба потрогала их пальцем, потопталась и, махнув рукой, пошла в Совет.

Там достала из перчатки переданный Конкиным ключ от сейфа, вставила в скажину звонкой стальной дверцы, чтобы в любой момент без суетливости перед посетителем вынуть из сейфа печать, приложить к документу. Затем с усилием села не на свою табуретку, а на стул Конкина и, услышав в коридоре шаги, придала глазам бесстрастное выражение. Появился бригадир полеводческой, Герасим Савватеевич Живов — гроза, ругатель, от которого, было известно, плакали в бригаде колхозницы. Не зависящая от него Люба и то боялась его. Он сонновато огляделся, словно комната была пустой, буркнул:

— Обратно нема.

— Председатель в больнице,— сказала Люба.— Я замещаю.

Живов всмотрелся, и Люба поняла, что этот короткошейей бугайнолобастый дядька никогда раньше не замечал ее.

— Мне справку заверить,— наконец произнес он, выложив заготовленный листок.

«Дана,— стала читать Люба толстые буквы,— участнику Отечественной, а также гражданской войны, что он за свою работу в колхозе ежегодно имел районные, а также областные грамоты. Дважды командировался в Москву на Всесоюзную выставку».

Все было так. Правда, на описи переселенческих домов он скверно проявил себя в идейном смысле, назвал переселение раскулачиванием. Но это не меняло отмеченных в справке фактов; Любе следовало дохнуть на печать, стукнуть по фиолетовой подушечке и приложить. Она обмакнула перо, вежливо спросила:

— Герасим Савватеевич, кому будем адресовать справку?

— Бабке Фене!.. — отрезал Живов.— То я сам проставлю — кому. А ты заверяй.

Люба возразила. Совет должен знать, какой организации адресуют документ. Живов распорядился:

-- Пиши: колхозу «Коминтерн-1».

«Зачем же «Коминтерну-1?»» — воскликнула было Люба, но вдруг сообразила, что этот всеми почитаемый специалист, бригадир попросту дезертирует, хочет сбежать в горовой непереселяемый «Коминтерн-1». При этом трусит общего собрания, решил выхитрить документ в Совете.

Будто не Живов, а она попала в грязном деле, Люба смешалась. Однако ее должность требовала действий, и Люба встала над столом, объявила, что справку не заверит. Должность требовала еще большего — осуждения посетителя, не глядя на то, что посетитель этот, когда Любы не было и в помине, рубил белогвардейцев вместе с Любиным отцом, а после плечом к плечу с ним воевал с фашистами. Она набрала воздуха, спросила Живова: неужели он так же, как сейчас из колхоза, бегал с фронтов гражданской и Отечественной?

Тяжелые, толстые губы Живова были приоткрыты, обнажали стальные, отлитые сплошняком пластины зубов, блестящие, как и медаль, видная под распахнутой тужуркой.

— Эх вы! — давя в себе неловкость, говорила Люба.— Еще и заслуженный. Стыдно!

В дверь заглянули две старушонки. За ними выросла хозяйка парт-организации Дарья Черненкова — вечный враг норовистого Живова. Отсунув старушонку: «Не спешит помирать, девочки», — она шагнула в дверь, и Живов пошел из кабинета.

— Что это занудилось Гераське? — подозрительно спросила Дарья Тимофеевна.

— Так... Узнавал о Конкине. О здоровье.

— Эйшь, — засмеялась она, — нежный!

Люба была горда, что самолично отбрила «Гераську»; она не мог-

ла знать, что, желая оставить колхоз, без шума перейти в другой, но нараввшись на оскорбление, он психанет, кинется разнорабочим-незнайкой на гидроузел, где печать превознесет его как героя-патриота, который век пробыл в поле, а нынче не утерпел, рванулся сердцем на великую стройку; и он будет матюгаться, читая о себе, а земля потеряет редкостного умельца.

«Нет! — чуя за спиной крылья, думала Люба. — Руководить не так уж трудно!»

Черненкова села на ее стул, усадила появившуюся Милку Руженкову, распорядилась, чтоб Люба попроворней достала им решения вчерашнего исполкома. Конкин, мол, слег, и действовать надо ей, Дарье Тимофеевне, и комсомольскому богу — Руженковой. А Любаша, канцелярская-де крыса, пусть откапает им протоколы.

Стараясь говорить без запинки, Люба сообщила, что осталась за председателя и что записанное исполкомом будет выполнять она лично. Черненкова даже крикнула. Мигнув Руженковой, поинтересовалась: от куда, к примеру, по мнению нового председателя, брать куплеты для самодетельности, внесенной в решение?

— Привлечем старика Фрянкова, Лавра Кузьмича, — ответила Люба. — Для побрехачек сочиняет, почему для нас не сочинит? Только надо поднести ему из кладовки стакан-другой.

— Да у тебя не башка, а Совет Министров! — изумилась Черненкова.

О Лавре Кузьмиче Люба бахнула неизвестно как, по наитию, и, продолжая плыть на той же волне, удивляясь собственным действиям, послала сельисполнительницу за Лавром Кузьмичом, принялась обсуждать с оживившейся Черненковой, что из записанного вчера поручить правлению или активу, что комсомольцам Милки Руженковой, а когда привели Лавра Кузьмича, сама объяснила ему задание, сказала и о выпивке, которая не пропадет, и хористках, которые завтра будут ждать его на репетиции.

Чернильные пятна на столе были прежними, арбузное семечко, запавшее в щель меж досками, оставалось там же, а Люба чувствовала себя другой. Было здорово три часа кряду сидеть с секретарями партийной и комсомольской организаций, обсуждать и оперативно выполнять план агитационного наступления. Агитация — участок решающий!

После ухода секретарей появилась лично Настасья Семеновна Щепеткова, заметила, что агитация — это неплохо, но надо бы и работать... Инженеры приступают к описи общественного сектора, а тут и в секторе частном, уже законченном, так понапортачено, что приехал следователь-полковник, вот-вот в Совет припожалует.

Люба давно была по-девчачьи влюблена в Щепеткову, в ее резкие на темном лице, будто синькой подсиненные зубы и белки; Любу покоряла эта смешливая, уверенная председательница колхоза, хотелось повторять ее легкие движения, ясные слова и с такой же как бы горделивостью одеваться. Вот и сегодня, в метель, народ кулёмал на себя что ни попада, лишь бы теплей, а эта была в коротком, присборенном в талии колушке, в козьей шали, брошенной на затылок, открывающей со лба тугие, совсем цыганские волосы, заметенные снегом; и было очень обидно, что Любина агитработа не вызвала в гостье радости.

— А полковничек легок на помине! — ухмыльнулась Щепеткова, кивнула за окошко.

Там остановился армейский вездеход — железный ящик с намотанными на скаты цепками, с пристегнутым к борту шанцевым инструментом, которым густо запорошенные шофер и пассажир, видно, не раз откапывались дорогой. Щепеткова засмеялась:

— Несло ж по такой погодушке. Вроде на гулянку...

Полковник был в гражданском. Он стянул меховые, набитые снегом перчатки, за руку поздоровался с обеими женщинами и, узнав, что из них двоих советская власть — Люба, предъявил ей документ. Затем сказал шоферу привезти руководителя описи, инженера Петрова, и общественную представительницу на описи — Марию Зеленскую. Его бесцветные крохотные глазки были вялыми, но, кажется, отмечали все, что ему надо и даже чего не надо. Во всяком случае Любу спросил сразу:

— Учитесь управлять?

Когда появился Петров, сзади растерянная Маруся Зеленская с измазанной в муке щекой — видать, бросила дома тесто, — он сообщил, что приехал установить, нет ли в хуторе приписок в пользу домовладельцев, что явилось бы уголовным преступлением; или, наоборот, ущемления переселенцев, что явилось бы преступлением политическим и за что придется отвечать председателю колхоза, председателю Совета и инженеру Петрову... Излагал это однотонно, без выражения, должно быть, объездив с такими задачами уже не один затопляемый колхоз и устав от разговоров.

— С какого двора приступали? — спросил он поникшего Петрова.

— С двора Фрянсковых...

— Отлично, — сказал полковник. — Едемте.

3

Порог Фрянсковых Люба переступила, как все. Взяла и переступила!.. Хозяева находились в кухне. Был тот предобеденный час, в какой еще недавно Люба помогала здесь Фрянчихе ставить миски, говорила ей «мама» или, улыбаясь Василию, возилась с прибежавшими из школы Гришкой и Ленькой.

Сейчас семейство недоуменно оглядывало вошедших, особенно Любу. Она натыкалась глазами на Василия и свекровь, на вопросительные физиономии мальчишек; отворачиваясь, упиралась в котят, играющих на подстилке, и, чтоб не бежать отсюда, старательно снимала перчатки. Полковник пояснил, для чего он с товарищами явился, и Фрянчиха, не овладевшая собой вначале, засияла, принялась уверять, что котята только что умывались, намыли — такие молодцы! — хороших людей; кинулась ставить на стол борщ с гусятиной, двигать к столу табуретки, уверяя, что хоть бога нема, а вот привел же дорогих людей на обед!..

Полковник твердо отказался, но она не сдалась, на обе половины распахнула двери в зал, певуче шутила:

— Заходите, гости будете. Водки купите — хозяева будете.

Всегда, завидя, бывало, в окне Зеленскую, она говорила Любе: «Ишь, пошла гадюка». Теперь же двигала к Зеленской стул, с угодливостью обметала полотенцем, и Люба от стыда не знала, куда деваться. Фрянчиха и ей двигала стул, сметала с него несуществующие пылинки. Дмитрий Лаврович вздыхал, Гришка с Ленькой ничего не понимали; Василь, к его чести, мрачно глядел мимо матери. Брачная никелевая кровать Любы и Василия сияла белизной накидок. Над нею на стене улыбалась намалеванная на клеенке пышногрудая дева, как всегда нюхала сирень и кормила лебедей, а из-под кровати виднелись желтые выходные туфли Василия, стояли на том месте, где был недавно Любин чемодан.

Инженер Петров держал перед полковником акт описи, прибрав к самым краям пальцы, чтоб не мешали. Полковник прошел по акту глазами, потом наторенною рукой специалиста, косточкой среднего пальца обстукал стены зала и кухни. Он не обращался ни к Любе со Щепет-

ковой, ни к вызванной им же Марусе Зеленской; явно за все поездки ему надоело заниматься формальной ерундовиной — советоваться с несведущими людьми. Кончив обстукивать, достал из кармана электрический фонарь, полез на чердак, затем в подпол, вылез злой, спросил Дмитрия Лавровича:

— Жалобы?

Дмитрий Лаврович потупился, а Фрянчиха, делая игривое лицо, кидая просительные взгляды на женщин и на Петрова, поспешно заулыбалась полковнику.

— Оно все правильно, все по-хорошему, — весело заговорила она. — Но курень-то у нас новый, а сад старый; а понаписано, мать его курица, наоборот.

— Хватит! — оборвал полковник. — Акт верный. Сами это знаете, а строчите прокурору, мотаете всем нервы. — И обернулся к Любе: — Помоему, вы, хозяйка советской власти, зря не привлекаете кляузников.

* * *

Покинув двор, комиссия опять втиснулась в пахнущую бензином железную коробку вездехода, полковник распорядился ехать к домовладельцу Голубову Валентину Егоровичу. Щепеткова заметила, что прошлой ночью Голубова бросила жена и сейчас бы не следовало его тревожить. Зеленская, за все время не открывавшая рта и вообще никогда по общественным вопросам не открывавшая, теперь тоже заявила, что беспокоить человека в такой момент — это не по-людски. Люба, узнав о происшедшем только сейчас, молчала, а инженер Петров, счастливый развязкой дела у Фрянсковых, стал докладывать, что Голубов во время описи отказывался в пользу государства от компенсации за все дворовые постройки. Проявил патриотический поступок. При слове «патриотический» полковник кивнул, сказал, что все равно заехать надо.

У дома взял Любу под локоть, отвел ото всех, сказал, что она, лицо официальное, должна помочь следствию; спросил, какие у нее добавления к тем фактам, что этот «патриот» в своей квартире на описи подпаивал председателя колхоза Щепеткову и инженеров Юзефовича и Петрова? Полковник пояснил, что если домовладелец уговорит внести в акт лишние, не существующие в его саду деревья или не имеющиеся в его постройке бревна, он тем самым огреbet у государства лишнюю сумму.

...Голубов, готовый буквально умереть за преобразование людей, преобразование земель, обвинялся в жульничестве на волго-донской описи, и за судом обращались к ней, Фрянсковой, которая сто раз плевала на эти волго-донские преобразования.

— Как же так?.. — проямлила она.

Для нее было естественно не найтись, но от возмущения она все-таки нашлась, заявила:

— Это безобразие и свинство. Мы будем врываться к хорошему человеку, да еще когда у него несчастье. Еще и впутывать Щепеткову... Да это просто хамство!

Полковник, до этого говоривший ей «товарищ председатель», сожалеюще назвал ее девушкой, сухо заметил, что надо идти заниматься делами.

В комнате Голубова было нетоплено. У двери висела шкура лисицы. Она была напаяна на рогулю мехом внутрь, а наружу — белой пергаментной кожей, поклеванной дробью, окрашенной кровяными прожилками. Голубов сидел с забинтованными ушами, из-под бинта клоками торчала светлая смятая шевелюра. На стене — цветной портрет Сталина, стоящего в рост в сапогах и бриджах, а рядом — круглое, обрамленное полотенцем зеркало. Люба ясно представляла, как в это зер-

кало смотрелась женщина, которая недавно жила, спала здесь, трога-ла, наверно, пальцем лисицу, а теперь бросила мужа.

Он кивнул вошедшим. предложил сесть. На вопросы полковника о характере отношений с инженерами и руководительницей колхоза отве-чал четко и, готовясь идти на курсы, выбривал подбородок; кипяток для бритья взял из термоса, но никелевую крышку не завинтил. Завинтила Настасья Семеновна. Она и Зеленская отводили глаза от хозяина, от разбросанных вещей, а полковник сверял акт с натурой, не пропускал ни оконной рамы, ни двери; и хотя кашлял, зябко поеживался,— вышел из дома, бродил в снегу по саду, считал небось деревья; потом приказал шоферу привезти инженера Юзифовича, принялся сталкивать его объ-яснения с объяснениями Петрова и Настасьи Семеновны; Люба слуша-ла. Знай она, что наклеузничал, то есть, на официальном языке, «давал материалы» Ивахненко, она потребовала б его сюда, но она не знала автора сигнала, во всем винила полковника и теперь решала: как ей поступать с этим зверем-полковником?

На нее всегда лишь потом, когда уже не надо, накатывали громя-щие противника фразы, поразительно хлесткие, разящие!.. Сразу же это никогда не подворачивалось, и она напряженно думала: что сделал бы Конкин, если б это при нем копали под честнейшего человека? Она старалась вообразить не только слова, но и действия, жесты Конкина, и, на-конец вообразив, решила копировать.

За калиткой, около вездехода, она, нарочито не отзывая полковни-ка, а именно при всех поверяющих и именно громко спросила: в какой гадости теперь, после проверки, он обвиняет Голубова и Щепеткову? Если сказал об этом ей, то пусть говорит всем!

Полковник произнес «кгм», через время опять произнес то же, но вдруг неожиданно весело фыркнул, уставился на Любу. Оглядел и ос-тальных, замерших от ее вопроса. Снеговая крупа щелкала по железу и стеклу машины, по лицам, и полковник, отдуваясь, сказал:

— Я, девочка, не обвиняю. Обвиняют ваши хуторяне. В данном случае, думаю, зря.

4

Вечером, когда третье намеченное полковником хозяйство было ос-мотрено и Люба уже одна завернула в глухой переулок, из-за дерева появился Василь, резко шагнул к ней. Она охнула, попятилась, но он умоляюще протянул руки: мол, не поднимай шума, не беги, пожалуйста. От движения с рукавов обвалилась наметенная крупа. Он был за-бит крупой весь — видать, долго выслеживал, пробирался по пятам за комиссией.

Он горячо забормотал что-то просящее, несуразное и, озираясь на-зад, поверх поднятого воротника, отгораживая собой Любу от возмож-ных прохожих, стал заталкивать ее в угол меж забором и стеной сарая. Несмотря на сумерки и поземку, Люба увидела, какое у него обесмыс-ленное, мутное выражение. Она поняла: с Василем происходило то, что как великое счастье обещали ей женщины-советчицы: «Ты, милая, жди. Мужик — он без бабы долго не выдерживает».

Любе всегда были отвратительны положенные меж супругами отно-шения. Она носила это лишь потому, что это полагалось в семейной жизни, как полагается в амбулатории вырывать большой зуб. Она не от-казывала Василию, когда он был человеком, но сейчас в ней исчез даже ужас.

Продолжай она бояться, Василь наступал бы. А теперь она оттолк-нула его, зашагала, и он бежал рядом, повторяя одно и то же, словно заскочившая патефонная пластинка: «Ну, пожалуйста, пожалуйста, по-

жалуйста», и обесмысленно пытался останавливать, домгаясь своего здесь же, прямо на улице.

Люба сознавала, что он был мужем и, значит, в своих домогательствах, в сущности, был прав; но она не могла быть справедливой. Она уже отмучилась во все ночи за его глухой, в бязевой солдатской сорочке спиной, она отплакала его и втихомолку в конторе, и навзрыд в темных переулках, и теперь — дотла выгоревшая, пустая к нему, — лишь ушами вбирала его бормотания, а душой думала о себе.

Разве знала она любовь?! Были сковороды, которые она начищала золой, вырывая из рук свекрови, заслуживая ласку, смягчая свою вину бесприданницы; была мечта усвоить кугутские замашки в доме, принять их в обмен на доброту свекрови, на привязанность несмышленных Гришки и Леньки; было спокойствие, когда Василь, входя к ней перед сном, оставлял двери открытыми ко всей остальной семье, и тоска, когда он, сам смущаясь, притворял за собой дверь, обеспечивал на ночь уединение... Это можно было терпеть, пока не вторгся Волго-Дон, не привел семью к оскорблениям, драке, затем к разделу вещей, к тачке с барахлишком... А ведь было в мире, что писали женщинам в альбомы:

Я помню чудное мгновенье...

Как связать это с прыгающей по колеям тачкой, на которой Люба повезла от Василя свое трюмо и чемоданишко? Как связать с Василем, который после комсомольского собрания заругался на Любу матом?

Она не поворачивалась к нему, забегающему с боков, деревянно отмечала, что он — здоровенный, как трактор, лишь потому не кругит ей руки, что видел уважительность полковника к ней и боится; но все же знает свое право мужа, отмеченное в документах, еще не вычеркнутое из документов, и желает получить законное, сопит на ветру... Все было душным, безысходным, даже не являлось желанием разжать рот. Все-таки она выдавила:

— Уходи.

Выдавила, наверно, даже не с омерзением, а с такой мертвой деревянностью, что Василь очнулся, отстал.

* * *

Бродила она долго, безразлично. Но по астраханцу очень уж безразлично не походишь. Поземка физически выбивала из головы отупение. На его место вливались мысли, и Люба стала плакать. Плакала оттого, что разведенка, и оттого, что целый день не ела, и оттого, что все было непосильным с самого начала, с разоблачения Живова, соратника ее отца.

В какой именно момент и почему как раз среди плача блеснуло облегчение — она не поняла. Но становилось ясным, что больше не будет спины в бязевой ночной сорочке, что Василь отбит. Не только на этот час, а на все ночи, абсолютно на все времена, ждущие ее в жизни!.. Хотелось еще больше, но уже по-другому разреветься. Хотелось распахнуть дверь в каморку Гридякиной, схватить ноздрями запах супа, сбросить настывшие галоши, ощутить пальцами горячий, ласкающий черенок ложки, наполненной варевом. Да, домой! Только забежать сперва в беспризорный двор Конкиных.

5

Люба была из той сельской молодежи, которая, с детства занимаясь науками, не отличает кнута от хомута. Сейчас в сарае Степана Степановича, выдаивая рвущуюся козу, дергая ее соски, она мучила себя и ее, но когда струи все же начали ударять не в пол, а в стиснутый

коленями подойник, когда и коза и лошадь напились вытянутой из колодца воды и припали к наваленному сену,— она почувствовала себя героем.

В комнатах, куда Елена Марковна вернется только завтра, на стеклах вырос лед. Люба составила цветы с подоконников, досыпала доверху печь, подставила таз с водой на случай — выпадет уголек; напоила козленка парным молоком, устроила ему из старого ватника гнездо. Теперь к Гридякиной! Только глянуть мельком по дороге — не сорвались ли курсы?

У Совета стояла пара нераспряженных лошадемок. Чужих. У шепетковцев не водилось таких головастых, мелких. Они дрожали кожей, ветер поднимал на них брезент — жесткий, негреющий, как жесьть консервной коробки. Люба чиркнула спичкой, огонь задуло, но она увидела выпуклые, фиолетовые, тоскующие глаза лошадемок.

В коридоре Совета, в дальнем конце, где было затишней и где через двери доносились голоса курсантов, стоял кучер — огромный, точно скирда, дядька. Снежная пыль на нем еще не растаяла, он вздрагивал сильнее, чем его лошади.

— Вам кого? — спросила Люба.

Оказалось, он прибыл из района, где прежде работал Степан Степанович Конкин, добирался к нему, своему знакомцу, за шестьдесят километров, и теперь не знает, что делать.

— Как в сказке! — сказал он.

Люба отомкнула кабинет, пустила дядьку к печи, побежала пристроить лошадей в колхозной конюшне. Когда вернулась, гость уже сбрасывал на пол гору верхней одежды, сидел, обняв ногами печь, поставив сверху кружку с водой из графина. Теперь было видно, что это вовсе не дядька, а здоровеннейший, лет девятнадцати, парень. Он зажимал гревшуюся кружку опухшими от мороза, розово-залосненными руками; оборотясь, сказал:

— Едешь порожним, так и то кони становятся. Глаза им выстебывает землей.

Люба и без объяснений, оглядывая грязное лицо парня, его красные, настеганные веки, понимала, что на буграх несет землю.

— Ехал за сухофруктой для колхозных детясель, а Степана вот Степановича нету...

Едва она зайкнулась, что попробует добыть сухофрукты, парень вскочил и, странно для Любиного глаза сгибаясь, стал кланяться. Никогда она не видела, чтоб молодой человек, возможно десятиклассник, комсомолец, делал такое...

— Да ты что! Да ты давай к огню, грейся.

Он сел, принялся стягивать сапоги, наверно, сорок пятого-шестого размера. Стыдясь, отворачиваясь, выпростал грязные ноги, начал двигать у огня огромными, как картофелины, пальцами, проверять — действуют ли? Затем свернул папиросу, вынул спичку, чиркнул было этой спичкой, но тут же бережно вложил ее обратно в коробок, сэкономил, потянулся сигаркой к печи... От тепла, от света и, наверно, от стремления разжалобить пояснял, что он женат, что у него пацаненок в детях, что дома нечего «кусать»: на трудодень вышло по восемьдесят копеек. Что на них купишь? Соль в сельмаге? Так и без того солоно. Была швейная машина, женино приданое. Сменяли на мешок кабаков, съели. Пацаненку подай молока, а молоко у жены пропало: грудь застудила в бригаде.

Когда Любе с третьего языка приходилось слышать подобное, она отмахивалась, как от вредных разговоров... Хорошо бы отмахнуться и теперь, но гость явно говорил правду.

Довольный, что подсыпать в печь ему не запрещают, он все подсыпал и все больше вздрагивал. Из него выходил холод.

— Ох, у вас тут и садочки, затишки! Въехал до вас в хутор — прямо рай, курорты. А вы вдумайтесь, что у нас!..

Не отпуская Любу глазами, он рассказывал, как на ихние степные села с самой послевоенной налетает астраханец, каждый раз — будто специально! — угадывает к наливу хлебов... Этим летом пшеница поднялась — раскрасавица. Народ уж прикидывал в головах всю бухгалтерию, радовался: каждая ведь зернина вымахала размером в кукурузину, налилась молочком, придавишь — аж прыснет! Ей бы декаду еще, чтоб завосковела, взяла б мучнистость. А тут подуло и подуло... За шесть дней сорок один колхоз — нищий. Картошка на огородах и та поварилась. Копнешь, а она морщенная, мертвая. Горячая вся.

Он шевелил разутыми пальцами и, подобострастно-почтительно обращаясь к Любе на «вы», жаловался:

— Главное ж, опять катастрофа. Вы поезжайте степью, вы гляньте. Как в сказке.

Он объяснил, что снег сорвало, озимку раздело, уже рвет из-под нее почву, и ростки выются, держатся на кончиках корешков. Ну, а сколько ж, объясните вы мне, продержатся?!

Люба со страхом слушала и опять представляла: что делал бы Конкин? Конкин врезал бы парню, что надо не скулить, а помогать возведению гидроузла. Она сделала то же. Сказала, что хутор Кореновский — рай и курорт — для того и уходит под воду, чтоб шла эта вода в степь, устремилась бы к корням пшеницы, к лесополосам, которые навеки останвят астраханца. Чувствуя, что получается складно, она набирала голос, втолковывала, что кореновцы отдают не только свой хутор, но даже собственные семьи ломают.

«Погоди, погоди. Но это ж так и есть! — вспыхнуло в Любе. — Это не просто агитация, это ж действительно!.. Разве я на комсомольском собрании не потому рассорилась с Василем, что агитировала его за преобразование природы? Разве мы, целиком Кореновский и Червленов, не отдаем свое благополучие, чтоб спасти степные колхозы, которые мы даже в глаза не видели?»

— Ну и зря, — неожиданно буркнул парень. — Воображаете, спасибо вам скажут?

Но его неблагодарность была чепухой. Главное было в том, что перенавязшие в зубах официальные фразы, если их произносишь сама, оказывались не такой уж выдумкой. Вообще не выдумкой! И, значит, Люба не зря корпит в Совете. И это не корпение канцеляристики, а действительно всенародные дела!.. Было позарез необходимо одарить других своим открытием.

— Да нет же, господи! — стала говорить она парню, но ему были безразличны ее слова, он приехал не за ними, а за сухофруктами, и она бросила его, вышла в коридор.

Из закрытого класса доносился размеренный, опытный голос доктора наук, которого приволок-таки Валентин Егорович Голубов. У выхода на улицу, под электрической лампой, стоял он сам. К сожалению, его нельзя трогать. Он поглощен сбежавшей женой, этой профессоршей. Такой глазастой, что в книге написали б, «как серна». А вообще-то, как худая корова. Правда, завидно красивая...

Сию минуту Люба тоже чувствовала себя красивой. Не только красивой, а безудержно смелой, удачливой. Она победила Живова, окончательно разорвала с Василем, открыла для себя смысл Волго-Дона, тот смысл, что превращал ее, канцелярскую крысу, в человека!

Этого мало. Ничего не пугаясь, она заступилась за Голубова

и теперь испытывала к нему льстящие сердцу покровительственные чувства, глядела на него, освещенного летающей на шнуре лампы. Да, все-таки надо ему сказать о своем открытии!

Она приблизилась и, словно между прочим, сказала о парне, бывшем за сухофруктами.

— За сухофруктами? — спросил Голубов.

Его глаза походили на неживое стекло, губы, когда он спросил о сухофруктах, почти не пошевелились. Голубов не отворачивался от поземки, покачивал себя с каблучков на носки. Через секунду словно бы вспомнил, что он Голубов, и засмеялся. Сперва голосом, затем и лицом.

— Вот, девка, и дали мне прикурить.

Он сделал головой движение, каким всегда отбрасывал кубанку, и хотя кубанка сидела на забинтованной голове туго, на затылок не отбросилась — этого не заметил. Ухмыляясь, сказал, что, уж поскольку не вышел в мужья, придется выходить в двухсотпроцентные активисты.

— В активисты элита-рекорд! — Он цокнул языком, кривляясь, выламываясь в своей шутке.

Но Люба видела: это не такие уж шутки. Действительно, он притянул ее за отворот пальтишка, так что перед ее носом оказалась крупная рука с елочкой шрама, и, не отпуская, дыша в лицо табаком, заговорил:

— Вертим же языками, как пропеллерами, что самое для нас дорожное-предорожное — это будущее. Так кто же теперь мешает тебе, Голубов, развернуться? Ни супруги, ни психологий с нею. Вот и переключайся полностью на это будущее, чтоб расцвело оно, как цветок. А подлецов, а сволочей крой по черепакам дубиной; измочалишь дубину и кулаки — догрызай зубами!

Люба смотрела в обрамленные красными от стужи веками глаза, полные решимости бить по черепакам, грызть подлецов, — и совершенно реально представляла, что если б на всех континентах мира, на всех островах люди, которые против капитализма, вдруг сделались такими же, как Голубов, то капитализм за неделю был бы уничтожен. Давно был бы уничтожен и астраханец, не дающий жить этому парню, что сидит у печки в ее кабинете, думая о своем пацаненке, о жене, у которой пропало в груди молоко.

Выросшая до крыш поземка шипела, небось на буграх она поднимала, перла по пахоте снегозадержательные щиты, заматала овчарни, колодцы. Природа давала реванш покорителям. Натя вам!.. Люба глядела перед собой, было похоже, что поземки не было, а они с Голубовым стремительно летели. Хотелось — и летели, и крепкая рука высоко держала ее лацкан, касалась подбородка, и от этой мужской цепкой руки исходило тепло.

Сегодня весь мир был доступным. Было возможно все. Даже вдруг вспомнить, что она в конце концов кровная казачка, которой черт не брат. Даже взять и вообразить, что Голубов любит не ту, а ее... А почему бы нет? Чем Люба хуже? У той, у глазастой, такие чернющие волосы, будто их выватляли в мазуте; вроде даже мазали, как помелом, ее шею. Грязношея... А косы Любы — все говорят! — похожи на пшеницу. Только взяты зачем-то в узел, скрыты для чего-то платком... Ее будоражили преступные, дикие, как все сегодня, мысли: «Хорошо, что та, черномазая, ушла». Разве Люба не лучше ее своей силой, своей молодостью, только-только начавшейся? Голубов должен, обязан ответить ей, стоящей рядом.

Продолжая играть в чудеса, с удивлением и счастливым ужасом чувствуя, что это перестает быть игрой, она летела, трогала подбородком руку Голубова. «Сумасшедшая? — спрашивала она и отвечала: — Ну и ладно!»

Глава шестая

1

Молодой специалистке доктору Голиковой повезло. Спонтанный пневмоторакс, известный ей лишь по институтскому курсу, был налицо. Четкий, классический. Со слов жены больного (снятый с машины, он уже не говорил), Шура Голикова установила, что он ездил в неудобной повозке — «бедаре», испытывал, вероятно, резкие толчки, вследствие которых разорвалась спайка. Завболицей Октябрина Максимовна, сокращенно — Инна Максимовна, или заглазно Инеса, жена заворотделом райкома, подлая, с Шуриной точки зрения, баба, но прекрасный, когда хочет, врач, — подтвердила и диагноз доктора Голиковой, и ее решение: дренаж, то есть отводную трубку. Инеса деликатно консультировала во все время, пока Шура делала трудное.

Закончив все, совершенно счастливая своей практикой, Шура за дверью палаты столкнулась с мужем. Сергей стоял в персональном запасном халате заведующей — профессорски-снежном, с вышитыми на кармане инициалами Инесы, а сама она щебетала, пыталась отвернуть Сергея от облупленной, давно не беленой стены и, потрагивая надбровья — дескать, вот как измоталась, как отдаюсь работе, — мягко улыбалась, говорила, что Сергею Петровичу можно в любую палату, что Сергей Петрович, хозяин райкома, — хозяин везде. «Зараза», — подумала Шура. «Не буду мешать вам», — улыбнулась Инеса.

Со Дня Победы отвыкший от вида убитых, изувеченных, Сергей задержался перед палатой, расспрашивая жену о Конкине. Он узнал, что в легком Степана Конкина инфильтрат, то есть пораженный микробами участок. Инфильтрат прирос к плевре — эластичному мешку вокруг легкого, а когда оторвался — воздух пошел через прорыв под плевру.

Излагала Шура ясно, явно не думала о Конкине-человеке, его идеях, его судьбе, а только о Конкине — объекте своего труда. Из ее слов Сергей понимал, что в коммунисте Конкине, будто в аварийной машине, случилась поломка, имеющая специальный термин «спонтанный пневмоторакс», и не просто спонтанный, а «спонтанный клапанный», так как в участке аварии надорванная ткань сделалась клапаном, выпускающим воздух внутрь и не выпускающим обратно.

— У нас с тобой легкое прилегает вот так. — Шура плотно прижала ладошку к ладошке, все еще испытывая возбуждение от своей работы, проделанной над Конкиным. — А у него между плеврой и легким набился воздух, механически сдавил легкое и сдавливал, компрессировал с каждым вздохом все больше.

— И что сделано?

— Прорезь между ребрами, — ответила Шура и, оглянувшись — нет ли кого в коридоре? — чмокнула мужа в щеку, по-девчачьи довольная и собой, и его вниманием к ее лекции, и самим его появлением в этот поздний час.

Появился здесь Сергей после заседания райисполкома, где опять сцепился с Орловым. Орлов предлагал снять Конкина, сорвавшего переселение в хуторах Кореновского Совета, а Сергея занесло — он, вопреки неписаному правилу, почти закону, по которому руководитель райкома и руководитель райисполкома представляют собой одно целое, заявил, что действия председателя Кореновского Совета глубоко партийны и что райком будет во всех затопляемых колхозах поддерживать такую линию.

Теперь — взбудораженный, сознающий, что тактически допустил глупость, — Сергей стоял возле палаты. В палате, организованной сегодня в ординаторской — живой упрек Голикову, который со дня секретарства четвертый уже месяц не изыскал средств на инфекционное туб-

отделение и которому хитрая Инеса ничего сейчас не напомнила: сам, дескать, полюбуешься,— лежал Конкин. Вмонтированная в его бок резиновая трубка была воткнута другим концом в банку с водой, подкрашенной риванолом, и из трубки выбулькивались пузыри. Они, как и дыхание лежащего, распространяли палочки; Сергей не без содрогания подумал об этом и, нарочито подойдя вплотную, бодро поздоровался, остановился в своем белейшем халате, который должен был то ли предохранять Сергея от излучающего инфекцию Конкина, то ли инфекционного Конкина от пришедшего с улицы Сергея.

Никелированные ланцеты в стеклянном шкафу на стеклянных полках, прямоугольное пятно ненатертого мастикой пола на месте вынесенного дивана, надпись на стене: «Тихо» — все не вязалось с тем Конкиным, которого знал Сергей. Да и Шура, едва ступила в палату, мгновенно стала другой — бесстрастной, больнично-спокойной. Она профессионально поддержала запястье торчащей из-под простыни руки, показала глазами толстой пожилой сестре, что та может удалиться, дала распоряжение лежащему под простыней побольше кашлять. Мол, хотя и не хочется,— надо.

Конкин начал кашлять, в банке захлюпало, и Шура произнесла:

— Видите, воздух выходит. Больно? Очень хорошо. Это расправляется легкое. Еще больней будет, когда отсосом станем откачивать.

Исповедуя свой принцип: «Пациент должен знать, что в нем происходит»,— добавила, что через два дня, когда плевральный мешок начнет прилегать, она не разрешит открыть рта, а сейчас — кашлять, кашлять и разговаривать.

Выходя в коридор, приказала уже обоим: разговаривая, не касаться плохих служебных дел.

— Поскольку нет хороших,— улыбнулся Сергей,— будем молчать.

— Как нет хороших?!—окрысился Конкин.— Эх, заправляй районом не вы, а ваша супруга! Вот бы с кем сработаться!

«Все-таки удивительное хамло, хоть и больной! — думал Голиков.— Да, час назад доходил от кислородного голода. Да, был багровый и синий. «Синюшный», по словам Шуры. Но зачем мне это вечное его уже спекулятивное амплуа прямака-разоблачителя?»

— Не нравится! — констатировал Конкин.— Прокакаете переселенцев, тогда понравится!

В банке булькало. Сергей сказал:

— Решили лечиться — для того орете, пускаете бульбы.

Конкин не ответил. Он был на том же взнесенном к облакам гребне, на котором вчера проводил исполком. Нет, был выше. Днем, умирая, видел он лицо в лицо свою прошедшую жизнь — содрогнулся от пустячности сделанного. Много шумел он в той жизни, лез на рожон, а добивался успехов лишь одного-другого колхоза.

Но теперь возникало принципиально новое, светлое! Разве не реально — так же, как вчера в Кореновском, поднять дух марксизма во всем районе? Район взбудоражен переездом, мысли разбужены, и народ отзовется на боевой призыв, как отозвался вчера в Кореновке.

А почему не реально, что откликнутся переселенцы и других районов?

Главное же, кто сказал, что ЦК, что лично Сталин не одобрит инициативу Дона, не призовет всех к такой же марксистской активности?!

Конечно, реально и другое. Квалификация «вождизм» со всеми последствиями... Жаль толкать на это Голикова, но еще жальче спокойные непартийным спокойствием станицы. Он, Конкин, любит Голикова, потому всегда бросается на него, тренирует. И сейчас — благо отпустило удушье, уходит к черту через трубочку — будет бросаться.

Сергей же шел сюда мирно посидеть у постели, сказать ласковые слова, в которых — известно всем — больные нуждаются; передать яблоки, которые, не вынув, так и держал теперь под халатом. Была у Сергея и тайная мысль: услышать о себе приятное, заслуженное позавчера в том же Кореновском. Разве там, в клубе, когда фактически деморализованные, никого уж не признающие колхозники отвергли пустошь, решили голосовать за трижды проклятый хутор Подгорнов, не именно он, не Сергей, убедил отказаться от пагубного шага и продолжать поиски?! Он редко бывал доволен собою, но там, даже в минуты самой речи, гордился своими дипломатичными доводами, и в голове во время речи мелькало: как будет хвалить его Степан Конкин, изумляться его находчивости. Хам с дыркой в боку!

— Вы,— сказал Конкин, и в банке забулькало,— уломали людей продолжать поиски. А каким именно путем продолжать, подумали? Вы — главный человек в районе. По номенклатуре главнее вас нету. А по сути безответственной вас нету.

2

В отличие от лежащего с дренажем туберкулезника Конкина Сергей был здоров, юношески силен, потому не принимал ссоры, обиженно молчал. Обиде помогал внутренний Голос: «Тебя не могут не прорабатывать критиканы за одно то, что ты руководитель». Этот Голос сам собою появлялся временами с тех пор, как Сергей перестал быть студентом, сделался работником городского комитета в Ростове, потом секретарем райкома здесь. Голос звучал убежденно, чуть насмешливо: «Ты, брат, кто? Проектер райкома или солдат райкома? Ты солдат! Зачем разрешаешь психопату Конкину лапать врученную тебе винтовку, лезть в затвор да еще и хаять твое боевое оружие?..»

Как легко с этим Голосом, похожим даже по тембру на голос Орлова — человека реального, плюющего на интеллигентские самокопания.

Увы, порвано и с Орловым, и с милой Ольгой Андреевной, давно перестал Сергей пить у них вместе с Шурой чай за их блистающим скатертью столом, на котором присвистывал не чайник, а гордость Орловых — самовар, уморительно отражая выпуклым начищенным пузом лица сидящих и всю комнату, где Сергея называли Сережей, где крупные руки Ольги Андреевны с розовыми ногтями, с подушечками на каждом пальце, подкладывали домашнее, только что из духовки печенье... Обсуждая любой вопрос, все до изнеможения кричали, так как взгляды обеих пар были положительно на все противоположными, но шум не переходил в ссоры, а Борис Никитич, старший за столом, владел талантом превращать запутанные вопросы в простые, трюнил над Сергеем, делал Сергея этаким баловнем, которому разрешено выпаливать любые резкости, кричать, что всем Орловым пора дать прикорот.

Пока эти речи были теорией, словесным спортом за чашкой чая, отношения были прекрасными, но едва Сергей начал претворять суждения в практику — дружба с Орловым обернулась враждой, работать Сергею стало трудно; новый друг, Конкин, не сулил облегчений, тянул к еще более тяжкому, а трезвый Голос с убежденностью звал на оставленные позиции.

Как прочно с этим Голосом!.. Особенно прочно с ним дома, где душа свободнее, потому уязвимей... Вот не засорять бы галиматьей мозги, брать бы по вечерам на колени дочурку, уже умытую для сна, с зубенками, пахнущими мятой. Ведь такая глупая, до сих пор, несмотря на крики матери «не глотай!», заглатывает мятную пасту, когда чистит зубы. Надо педагогично возмущаться, и ты возмущаешься, потом, запустив руку под

платишко, гладишь пух на Викиной спинке. Шура говорит: это младенческий, со временем вытрется. Всеми пальцами начинаешь нажимать на гибкие детские ребра — «играть на баяне», и оба к носу нос хохочете в лицо друг другу, и ты слышишь и волны мяты, и зубчик чеснока, сгрызенного до этого Викой, и, кажется, ириски; и до чего чисты, изумительны эти вместе со счастливым визгом идущие запахи, и как прав Голос, напоминающий, что ты не только ответработник, но и семьянин и не вправе заниматься вздорными идеями всяких Конкиных, суетиться.

Хорошо не суетиться!.. Здорово, приехав в командировку в Ростов, сидеть, никуда не торопясь, в компании институтских друзей — необветренных горожан, передвигающихся только в троллейбусе, а если ногами, то лишь по асфальту, и, вытянув свои «стайерские», окрепшие ноги, снисходительно посмеиваясь, травить о своей дикой для них степи, что, мол, завершим строительство — превратится она почти в Париж, а вот пока в соседнем районе ночью во время сессии волки у самого исполкомовского здания разорвали двух коней в тачанке военкома. Все деятели прибыли в машинах, а этот казачьим способом — и на тебе!

Да, можно и балагурить, и легко дышать, как было только что, когда без шофера ехал он сюда, в больницу, и две заснеженные девахи вдруг замахали ему сквозь летящую за стеклами метель: «Подвези, парень! Оттарабанил хозяина, теперь нас покатай». Обе смазливые плюхнулись в машину — одна рядом, другая позади; видно по кружевным наколкам из-под платков, официантки районного ресторана, смеющиеся от приключения, готовые сегодня же прийти на свидание, будь он поразвязней. Он бросал машину от сугробов на сдугую дорогу, отчего его и официанток кидало, было весело, неожиданно, а Голос добродушно смеялся: «Человек — не механизм, человеку надо отвлечься», — и был он даже по звучанию приятней, чем у Конкина, голос которого сипел.

Сергей с неприязнью наблюдал за всплывающими в банке пузырьками.

— Работника безответственной вас не найдешь, — назойливо повторил Конкин.

Его планы «бросаться» удавались ему всегда. Удавались и сейчас. Сергей с яблоками, так и не вынутыми из-под халата, сидел перед ним, лежащим на боку, остроплечим под простыней, и думал о сущности этого человека. Такого чуда, как «немарксист», у нас нет. Марксисты все, но каждый выбирает свой стиль. Вероятно, Конкин выбрал воинственность просто из-за психопатического своего характера, требующего склок, драк, наскоков на окружающих... Думать так было приятно Сергею, и лишь мешали мысли о себе самом.

«Что же все-таки выбрал ты, Сергей Голиков? Безразличны ли тебе кореновцы? Если безразличны, зачем ты держал за них столь радующую тебя речь? Зачем бил в этой речи Орлова и поддерживал Конкина? Конкин загибщик, Орлов бурбон. А кто же ты сам? Среднее пропорциональное?»

— «Интернационал», партийный гимн, помните? — спросил Конкин и, подняв с подушки голову, уничтожающе оглядывая Сергея, полузаговорил, полузапел:

Лишь мы работники всемирной
Великой Армии Туда
Владеть землей имеем право...

— Что вы меня поджигаете? — сморщился Сергей. — Вы-то сами знаете, что делать с кореновцами?

— Знаю. И знаю, чем вдохновить весь Советский Союз, — ответил Конкин и, увидев расширившиеся глаза Сергея, заорал, что на какого

хрена на него выпуливаться, у него диагноз туберкулез, а не сумасшествие; сумасшедшим его делают и вечно делали чиновники, и коль вместе с ними Голиков, то он, Степан Степанович, не желает себе его, голиковского, здоровья, за которое по правилу исключать бы из партии.

— Погодите,— перебил Сергей,— что предпринять с кореновцами?

— Кореновцами!.. Прицепились к кореновцам. Да они — частность, мелочь.

С той же торжественностью, с какой пел «Интернационал», Конкин говорил, что, если Сергей действительно боец, он обязан во всем районе ударить по зажимщикам. Именно теперь, когда люди выбирают землю для новой родины, надо на практике, на переезде напомнить им, что имя власти — советская, то есть все сообща советуйтесь, что имя хозяев — колхозы, то есть и хозяйствуйте и думайте коллективом. Только коллективом!.. И прекратится на собраниях сонность, худшая, чем дезертирство; ликвидируются на новых землях предательские разговоры о чужом дяде, который «нехай за нас отвечает». И для этого, мол, Голикову не надо изобретать, как действовать. Пусть в масштабе района скопирует то, что у себя на сельисполкоме делал вчера Конкин.

— От скромности не погибнете,— заметил Сергей.

* * *

Было поздно, временами с улыбкой заглядывала Инеса, которая умерла б, но не ушла бы из больницы раньше Сергея Петровича; входила Шура со своей тенью — пожилой процедурной сестрой,— производила над Конкиным манипуляции. Как муж врача, Сергей понимал суть манипуляций.

Из частых жениных рассказов он нахватался специальных терминов, механически запомнил такие, как «облитерирующий эндартериит» и даже «конвекситальный церебральный арахноидит», а сегодня «спонтанный пневмоторакс». Это был язык медицинский. Но что касалось языка партийного, Сергей не знал, как называть свои разговоры с Конкиным.

Глава седьмая

1

«Морская чаша» — территория на границе двух областей, Ростовской и Сталинградской,— приводилась в состояние санитарно-гигиенического ажюра. С краев «чаши», с шестисоткилометровой линии волнобоя, которая будет разбиваться ударами волн, спешно вывозились скотомогильники и людские кладбища. Стали на колеса и памятники древности. Развалины хазарского города Саркел, которые, не будь Волго-Дона, еще сотни лет лежали бы едва тронутыми, оперативно изымались со дна «чаши». Под аккуратными ножами археологов, под кистями, снимающими пыль, открывался быт ушедших с лица земли воинов-степняков, которые настолько любили коней, что не разлучались и по смерти, бок о бок ложились в могилы; и теперь благородные конские кости рядом с останками наездников представляли перед глазами людей и фотообъективами.

Но это вместе с ржавыми кольчугами, с кинжалами было не такой уж древностью. На самой плотине, на срезах песка, обнажались, по выражению строителей, «детали» доисторических зверей. Задолго до этих зверей здесь появлялись моря и, просуществовав двадцать пять — тридцать миллионов лет, исчезали; на их месте возникали новые, кишели хвостатыми чудищами, летающими зубастыми ящерами и тоже исчезали; но все оставляли пески, на которых росли потом леса, плодились жи-

вотные — современники первого человека. Они тоже исчезали. А пески как были, так каждый своим пластом и остались, получили название четвертичных аллювиальных, ергенинских плиоценов, полиогенов; стали объектом работы земснарядов, исчислялись кубометрами стахановских вахт, а в последние недели — стахановских штурмов.

Случалось, из спрессованных временем, искристых на морозе откосов экскаватор выворачивал двухметровую костомашу или черкал, как по камню, по желтому, диаметром в добрую шестерню позвонку. Иное крошилось ударом неосторожной техники, другое опять заваливалось песком, чтоб уйти под очередное море — Цимлянское; над третьим ребята ахали, оттаскивали в сторону, чтоб по окончании смены отправить в красный уголок или инструментальную кладовку.

— Твою в дышало! — поощрительно-радостно восклицали бульдозеристы, оглядывая какой-нибудь вывернутый трактором бивень мамонта. — Такой бычок долбанет под зад, и будь здоров!

2

Вместе со многими механиками Илью Андреевича Солода мобилизовали на двухдекадный рейд по очистке «чаши». Поставили Солода дежурным смены. Поручали ему, разумеется, не археологию, а одну из колонн, эвакуирующих антисанитарные очаги, кладбища.

Станичникам, которые желали лично перенести прах отцов, строительство выделяло транспорт, а могилы безымянные, бесхозные, раскапывало и оттранспортировывало само. Хотя эти операции пресса не освещала, трехсменная работа велась здесь не менее героически, нежели на возведении плотины. Солод, как и механики других колонн, уход за машинами проводил на ходу, ибо для пересмен времени не отводилось, а связанные с ремонтом простои квалифицировались как саботаж.

Но при всей занятости техникой Илья Андреевич не мог не наблюдать окружающее. Из ям выходили на свет останки тех, кто верой-правдой служил царю, карал рабочие демонстрации, писался в девятнадцатом в банды, а потом со всей, быть может, крестьянской жилкой строил первые на Дону колхозы. Были, наверно, и знавшие Бородино, и даже те, что гуляли по Волге со Стенькой Разиным. Они открывались в виде трухи, почти пепла — рассыпались от движения воздуха. У входа в одно из кладбищ Солод прочитал выведенное на цинковой доске:

Такими, как вы, были и мы.
Такими, как мы, будете вы.

Многие, видать, любили при жизни выпить. С ними лежали стаканчики — граненый или гладкий, иногда франтоватого синего стекла; а в головах засургученная бутылка, сохранившая на дне «усохшую» водку, которую, по слухам, распивали на помин души экскаваторщики и шоферы. Илья Андреевич ни разу не видел такой водки; может, ее и не могло оставаться, выдыхалась, но ребята за водкой охотились, — не снижая темпа работы, снимали мастерски точным ковшом мягкую, точно вата, дощатую крышку, и там, где грунт оказывался песчано-каменистым, сухим, глазам представало то, что некогда было человеком, его боевым снаряжением. Порой зеленела латунь сабельных эфесов, пряжек с поясных и портупейных ремней, даже мишура погонов. Открывались в виде краснотельные ленты истлевшего, но упрямо червонящего шелка.

Еще недавно это было бы для Ильи Андреевича всего лишь музеем. Теперь же, после нескольких месяцев жизни в Кореновском, после рассказов бабки Поли об отступах, атаках, обо всей гражданской заварухе, он по-иному воспринимал эти эфесы и краснотельные ленты.

Там, дома, беседы с Полей начинались не от хорошей жизни. Солод выходил вечерами из своего залака в кухню, будто покоротать часок, а на самом деле, чтоб, робея, дожидаться прихода Настасьи, посмотреть, как потрет она с мороза руки, станет умываться и, может, бросит ему доброе слово. Сам он ни разу не заговаривал с ней, кроме того случая, когда взбунтовал Тимку ехать на строительство, покинуть дом, а такое вряд ли могло способствовать особенной разговорчивости с Тимкиной матерью. Солод напряженно молчал, когда Настасья входила, а если допоздна задерживалась — он все прислушивался и, вроде чтоб меньше надымливать в кухне, выходил на балкон, откуда можно было уловить скрипение шагов на улице. К ногам приближалась борзая сука Пальма, тоже ждавшая шагов. Она чуяла, что квартирант не охотник, и не проявляла к нему подобострастия. Ловя блох, вгрызалась себе в шерсть, клацала зубами по коже, словно стригла ножницами. Улица молчала. Солод возвращался; стараясь пободрее, шутил с Раиской или расспрашивал у старухи про семью, чтоб навести на разговор о Настасье. Но упрямая бабка на Настасью не сворачивала, говорила лишь о сынах, о своем муже — Матвее Щепеткове, о красногвардейке-себе, которая, бывало, сядет на коня — любому обобьет крылья!..

Солод постепенно увлекался, подсаживался к бабкиному шитью, слушая о том, как на Щепеткова нападали отряды голытьбы, сшибались со щепетковцами стремя в стремя, рубались с выдохами, с отмашкой.

— Погодите, — перебивал Солод, — полки-то ваши красные. Почему же беднота рубалась с ними?

— А как еще? — отвечала бабка. — На то война, чтоб рубать.

— Это верно... Но отчего свои своих?

— Эйшь, «свои своих!» Умный! — вскипала бабка и, отворотясь, прилаживала к кофте латку гулястыми, розовыми от стирки пальцами. Сменяя гнев на милость, говорила: — Ты как пацан. Считаешь, если батрак — он красный, если с достатком — контра...

Она рассказывала о славных воинах Поповых. Богатеи на всю округу, а сами — четыре братана, старик отец, три невестки — все в революции. Орлы! Когда деникинцы их разбили, то скрутили их всех восьмерых телефонной проволокой локоток к локотку и в ихнем же хуторе стреляли, а они выкрикивали: «Смерть Деникину — кровопийце молодого тела России!» Справные хозяева. Сорок пар быков, коней табун, мельница.

— Да-а, — произносил Солод. — Трудно было разбираться в те времена.

— В те! — злилась бабка. — А потом, при начале колхозов, лёгко? Думаешь, Матвея-то Григорича за что кулаки на вилы подняли? Не желали виноградники колхозу отдавать.

Это, мол, поясняла Поля, нынешний народ пошумит-пошумит и отдаст землю Волго-Дону. Сознательные ж! А тогда — палец возьми, голову возьми, но землю не тронь.

Здесь уж совсем было непонятно, какому богу молится бабка, и Солод, чтоб не запутаться совершенно, возвращал ее к гражданской войне, спрашивал: неужели так-таки все и кромсали друг друга, не разбираясь, кто каких классов?

Слово «классы» проясняло Полины воспоминания. Классы... Ясно, что в них разбирались вожаки, на то и были поставлены от РКП! Хотя Полин вот брат, комиссар Андронов, душевный, справедливый, в РКП был раньше Матвея Григорича, а ударился в анархизм, поднял бойцов на Советы. Ну, его подавили, решили расстрелять, а он попросил дать

ему наган с одним патроном. Ему дали, он поцеловал наган со словами: «Целую святое оружие, несущее гибель врагам революции» — и стрельнул в сердце.

— Пролил-плесканул голуб свою казацку жарку кровушку,— словно бы переходя на песню, говорила Поля.

Она приказывала Раиске глянуть, не перекипает ли материн борщ, и возвращалась к обычномуговору. На полатях возле печного боровка гудели спросонок голуби, вспугнутые, наверно, мышью; Раиска льнула к Илье Андреевичу, терлась о его руку такой же, будто у матери, черной, гладко зачесанной головой, а Поля рассказывала о боях и страшное и смешное, смеялась, и натягивалась, блестела кожа на ее длинном подбородке.

Говорила, как брали верх то деникинцы, то денисовцы и дроздовцы, то объявлялись вдруг марусе-никифоровцы, мамонтовцы, алексеевцы, чернецовцы, то в промежутках меж ними тянулись от хутора к хутору вереницы тачанок, крытых ризами и коврами, а на тачанках — матросня, ударяющая в бубны, хлопцы в студенческих фуражках, дамских городских шляпах, шпорах на босу ногу и поповских хламидах, «чертовы свадьбы», выдающие себя за «соввласть», разряжающие пулеметы по улицам, по окнам.

И всех требовалось бить — и своих генералов, и пришлых, и эти «чертовы свадьбы», и не теряться, когда атаманы отберут у Советов броневик, закрасят надпись: «Смерть буржуйам», намалюют свое: «Казак» — и пустят в лоб хуторянам.

Солод слушал, как Поля — отчаянная, молодая, лишь сорока пяти годков — лётала в коннице с мужем, с сынами. Сынов у нее рождалось много. Пока были титечные — ничего, а становились бегунками — помирали. До переворота выжили только Роман, Азарий, Андриан и меньшей Алексей. Роман крепкий был. У другого между выстрелом и смертью и блошка не проскочит, а Роман с тремя пулевыми ранами и одной рубленной три часа жил. Андриаша — счастливый, его до этого дня господь милует. Азарию тогда и пятнадцати не было, но это в революцию считалось — мужчина. Повез он от отца к соседям документы, зателешил под рубаху, да нарвался в пути на белых, убили под ним лошадь. Когда падал, сунул документы под снег; ничего у него не нашли, зарубали, обвалили над ним сапогами яр. Земля оказалась супесная, не раздавила. Малец ночью очнулся, вылез, прополз четыре версты до дома, доложил о документах, начал помирать.

Слова бабки текли ровно, привычно, видать, она много уж раз передавала, как отходил мальчишка, томился, будто цыпленок в надбитом яичечке, как на Кореновский напер противник и она пряталась с угасающим сыном, как рубала потом черную банду белогвардейцев — за сына, за торжество Советов, как, заменяя сына, ездила для связи в Румчерод.

— А что это? — спрашивал Солод.

— Эк, непонятный ты. Румынский фронт, Черноморский флот и Одесса организовали ЦИК солдатских депутатов, называлось Румчерод.

Это было удивительно. Румчерод, куда на лихом коне скакала Поля, все ее бедовое боевое прошлое, а вот теперь кухня — муравьиная, расчетливая... Овчина висит просто на гвозде, а полотенце — на гвозде с катушкой, чтоб не приржавело, когда повесят мокрое. На печном карнизе — каганец, по-бабьиному «лампад». Ночью, когда ставят хлеба, зажигают именно его, дабы не переводить керосин в большой лампе. Да и в самом «лампаде» фитиль экономный, тонкий, как спичка. На бочонке, накрытом дубовой плахой, оловянный корец — брать воду в чугун, а если попить — рядом маленькая кружка, чтоб не черпать лишнего. Все тускло-

вато; лишь когда вспыхивает сухая виноградная лоза, проступает ярче, даже видится над бабкиной койкой жгут зимних цветов, бессмертников, и металлическая, всегда надраенная нашатырем иконка.

От Поля не укрывается взгляд Солода.

— Эйшь, узрися! Эта богоматерь еще от родителей, она идиологиею мою не спортит... Вдень мне нитку в иглу, у тебя глаз проворней.

Справясь, Илья Андреевич возвращал иглу и, слыша во дворе шаги Настасьи, чувствовал, что его будто ударяет током. Настасья входила, приказывала Раиске спать, ела на конце стола, а Поля, хоть не любила невестку, прислуживала ей, выполняя заведенные в доме правила.

— Ее Алексей,— говорила она Солоду, тыкая пальцем в Настасью,— был тогда дитем, скрывали мы его в хуторе Рыбалине, у своячины.

Солод пытался вникать в слова, глядеть на вертящуюся возле умывального, отлынивающую от сна Раиску, но ему, боковым зрением, виделось лишь то, что было возле Настасьи — ее тарелка, ложка. На лицо Настасьи он не взглядывал даже боком, смотрел, как отламывала она хлеб, небольшой, будто у девчонки, рукой — смуглой и, наверно, жесткой. Он ни разу не жал эту руку, кроме того случая, когда впервые вошел в дом квартирантом. Тогда ему было все равно, и он не запомнил, какая была рука. Теперь, сидя под одним с Настей потолком, опираясь на один с нею стол, он боялся, что бабка замолчит и для него не будет причин сидеть, придется уходить к себе.

Бабка не умолкала. Ее боль об Алексее была свежей, она выкладывала каждую подробность об Алексее. Настасью это затрагивало, ревниво затрагивало и Солода, и оба, объединенные бабкой, переносились в те времена, когда одна власть грызлась с другой, одна заарестовывала другую, отчего в станицах беспрерывно гремела стрельба, а если вдруг утихала — людям в домах делалось страшно... Тыкали Щепетковы сынишку по глухим хуторам. Жил он в Рыбалине у своячины Матвея Григорича, да померла она тифом; переправили мальчонку в Челбин, к троюродному деду, а банда — два брата и отец, Кулики, стреляли через дверь в дедова сына, а убили деда, и пришлось везти мальчика в хохлацкую деревню Титовку. Титовские хохлы ни с кем не воевали, говорили: нам лишь бы земляца, а власть не нужна. «Хиба такэ нам править?» Но заявили к ним офицеры, построили, направили пулемет: мол, не запишетесь в добрую армию — ленточку скрозь вас пропустим. Они и записались.

Слушая, Настасья делала тихую работу: расщипывала комки шерсти — на одной ряднине черные, на другой — белые: с трех черных и с двух белых овечек, которых каждое утро видел Солод возле сарая. Едва цокнув щекоткой, она приносила со двора набитое горой ведро снега, ставила на печь. Налипшие снаружи комья оползали, шипели на плите, и все это было для Солода самым лучшим, что знал он в жизни... А Полин голос начинал дрожать, когда речь доходила до смертных атак, до призывов Матвея перед атаками.

— Бойцы! — бросив шитье, говорила Поля. — На светлый наш Дон со всей России слетелась золотопогонная сволочь, встала круг нас под знаменами подлого генерала Краснова!

Глаза бабки смотрели не моргая. В старческой вспыхнувшей памяти, должно быть, звук в звук вставали слова мужа, звеневшие некогда напряженным, митинговым тенором; Поля видела, как, поднявшись на стременах, выпрямив в струну, Матвей Григорич Щепетков держал речь перед войсками.

— Вспомним,— повторяла она,— что полгода назад обещал нам Краснов? Землю!! Гляньте ж теперь в его бесстыжие очи, спытайте, то ли он поет?!

По спине Солода шел озноб, руки Настасьи уже не расщипывали на ряднине комки, ждали.

— Нет! — говорила Поля. — Краснов забыл ту красивую песню и поет другую, которую заставили разучить новые его господа. Он перечисляет теперь французских и американских генералов, что дружат с ним. Он словно б... хвастается знатными клиентами, что по очереди у ней ночуют.

Возможно, в иных запавших в мозг словах Поля не разбиралась, но суть понимала всей кровью, безошибочно чуяла лютую свирепость классов, точно присягу, повторяла мужнины речи.

— На наших, — выкрикивала она, — костях желает атаман укрепить власть над нами же! Так вскинем, братья, большевистскую, карающую вампиров шашку!

4

Теперь на объектах саночистительных работ Солод с уважением разглядывал позеленелые латунные эфесы.

Ковши отрывали и беляков, возможно, славных при жизни ребят, безаветных трудяг-землеробов; и не закути их путаные, как говорила Поля, «бесщадные» обстоятельства, они могли стать героями. Почему же не стали? Не хватило сознания или в трудный миг испугались, что «пропустят сквозь них ленточку»?.. Ну, а находишься тогда он, Илья Солод, в тех бурлящих митингами станицах, разве есть гарантия, что не мог он влипнуть в какие-нибудь — гори они огнем — анархисты?.. А вот эти — с алыми бантами! — не влипли. Не сбились! Без них не существовало бы ни сегодняшнего Волго-Дона, ни всего СССР. Ихний прах потомки должны бы нести на ладонках да с венками, с военными оркестрами! Но в большинстве случаев нельзя было разгадать, кто лежит под бесчисленными буграми: время потрудились.

Согласно инструкции, самосвалы не гоняли зря, не эвакуировали чистую землю, а отваливая ее на сторону, сттранспортировывали только «главное». В последние дни пошел астраханец, точно мелкими гвоздями бил в железо бортов и стекла кабин, наносил на дорогах дюны вокруг буксующих самосвалов, увеличил обморожение рук и ног. Но шоферня, зараженная энтузиазмом, таким же, как недавно в наступлении на Берлин, перекрывала нормы ездки, назло обстоятельствам зубоскалила сквозь грохот ветра:

— А вот и Мишка, поджигатель морей.

— Где он поджигатель?! Главный лодырь участка. Мерзнешь, Михайло?

— Так точно. Кожа тонкая.

— Какой же ты коммунист с тонкой кожей? Коммунисты ж природой командуют.

Ночами в скрещенных полосах прожекторов, будто при солнце, высвечивались мерзлые кусты сирени, бока экскаваторных ковшей с каждой, как на ладони ясной, округлой заклепкой. Солод читал старые, полустертые даты или надпись на кресте, выбеленную ударом прямого луча:

Не ходи, прохожий,
Не топчи мой прах.
Я уже дома,
А ты еще в гостях.

Ковш вбирал бугровину вместе с надписью, шел в разворот, роняя с высоты песок, глыбы, куски ограды, и вскоре кто-то, кто задолго до революции умер, давно считался уже «дома», появлялся, ослепленный прожекторами, оглушенный выхлопами моторов.

— Эх! — кричали ребята.— Па-а-ашли покойники.

— Разве они покойники? Они беспокойники.

А какой-нибудь звонкий, тонко молодой голос раздавался из автомобильной или экскаваторной кабины:

— Уступай, папаша, дорогу социализму!

Глава восьмая

1

В то самое время, когда Солод чистил «морскую чашу», когда оживший Конкин доводил до ручки секретаря райкома, а Люба стояла перед Голубовым, мечтала о чудесах,— Настасья Семеновна, отворачиваясь от ночной поземки, отмыкала дверь конторы.

Войдя, включила свет. Пустота радовала. Можно было не держать на лице обязательное на людях выражение, дать лицу отдых. Ветер, оставленный за дверями, толкался, стругал, точно рубанком, наружные стены, и от этого в помещении казалось еще отрадней. Печь-голландка отблескивала молочной кафельной стеной, а вверху, по карнизу,— нарядным зеленым изразцом. Этот изразец выписывал из Петрограда прежний хозяин дома, хуторской атаман. Теперь на изразцовом карнизе стоял бюст Сталина, побеленный осенью после мух; над ним, по потолку, тянулась на гвоздях пашина — лоза винограда с желтой листвой и усохшими гроздьями, а над нею, над потолком, стучал ветер, который, согласно призыву Степана Конкина, должен быть скоро уничтожен.

Подержав руки на кафеле, Настасья прошла в кабинет. Позади ее стола, растянутое по стене, присборенное для красоты, висело бархатное переходящее знамя, стоящее здесь бесценно два года. Оно отсвечивало золотой витой кистью и золотыми буквами. За ним в углу был гвоздь — вешать кожушок председательницы. Она оглядела припыленное знамя, провела рукой по бархату, и на вишневом, беловатом от пыли ворсе лег темный след пальцев.

«Разболтались уборщицы у бухгалтера. Надо нажучить его, чтоб завертелся. Пропусти пыль — завтра в документах напортачат, послезавтра — на фермах».

Она теперь всякий день всех жучила, хоть и видела, что между всеми и ею образовывалась полынья. Будто стоишь на льду, а под ногами растет разводина, отделяет ото всех. Может, и лучше, а то рядом быть — загрызут. Эпоха...

Настасья своим крестьянским умом думала: в эпоху Волго-Дона хутор переживает большую ломку, чем за все времена с основания. Ведь войны-то, что вечно гремели на свете, были для дедов Настасьи делом обыкновенным, их ремеслом. Революция, коллективизация — они, конечно, сменили жизнь людей, но займище, но кровно-родительские берега оставались теми же. Любой кусток винограда зацвевал в своей лунке, а если отслуживал, не цвел, то хуторянин (будь он Настасьиным прапрадедом — урядником Платова, родителем ли Настасьи — красногвардейцем Щепеткова, или нынешним колхозником) выкорчевывал отживший куст, чтоб ткнуть молодой в ту же самую лунку.

Теперь ликвидировалось все, и Настя видела: как эта ликвидация ни ложилась на райком, на сельсовет, а главным в глазах хуторян ответчиком была она, «хозяйка колхоза». С того часа, как люди поставили ее над собой, она душила в себе тягу к собственному двору, переклочала ее на общественные гектары пропашных, колосовых. Сегодня ее рачительность к общественному выходила ей боком. Люди недоумевали: че-

го б ей не отвернуться, когда охмуряют они себе на пользу вахлаков-инвентаризаторов, или разве не может она поотпускать людей на базар с бочонком-другим винишка? Ведь не привезенная в длинной машине на председательство, а своя, должна ж сочувствовать!

Но она сочувствием не горела, натягивала вожжи. По совершенно обратной причине вконец порвала с секретарем бюро, закадычной подружкой Дарьей, которая требовала изгнать из колхоза, вымести поганой метлой всех «саботажников». Ни этих Дарьиных требований, ни отказов Щепетковой хуторяне не знали, но что председательница жмет — беспрестанно испытывали на своих шкурах, и Настасья понимала: в первые же перевыборы ее завалят, ничто прощено ей не будет.

...Со стен кабинета, с плакатов глядели на Щепеткову сияющие лица. Все разные, одновременно все одинаковые. Молодой шахтер призывал рубать уголь; дивчина, похожая даже не на его сестру, а копия — он, такая же ясноглазая, свежегубая, улыбалась за штурвалом комбайна, обещала не терять ни колоса; русские, украинцы, африканцы, обнявшись, поднимая над головами детей и розы, были тоже одинаково ясными, смеялись одинаково белозубо, призывали крепить дружбу на земном шаре. Ветром, пробивающимся с улицы в щели, плакаты пошевеливало, от этого нарисованные лица улыбались еще больше.

Живые люди давно не улыбались Настасье. Вздохнуть об этом было некогда, надо было работать на этих людей, и она, подписав дневные дожидавшиеся бумаги, принялась конспектировать лекцию для курсов. Конкин с ножом к горлу требовал читать лекцию с высокой вдохновенностью. Настасья не против. Чего уж там?.. Только убеждена, что разговоров и так через край, что главное в колхозе — дела. К примеру, назначенное на завтра активирование полей, где и проявляй свою вдохновенность... Но главные вдохновляльщики — шибкие герои! — как специально, кто в больницу укатил, кто жинку проворонил, ходит чумной, а рай-исполкому выложь акты немедля; приспичило, аж телеграмму отбили: «Активирование форсировать. Мероприятие политическое».

Впервые за день она рассмеялась. «Политическое»? Да за ради бога! В политике закалилась, как сталь; всякий год по сто кампаний — и все политические. Хлебосдачи особенно. Ну, раз и активирование туда же, надо сходить к Дашке Черненкоковой — завтра-то с рассвета приступить.

На улице, точно с-под винта самолета, шарахнул в лицо ветер.

— Твою мать! — сказала Настасья, как говорят в сердцах все кореновские тетки, не обремененные излишним образованием.

Под ледяной, грязной от пыли луной катился туман, в морозном воздухе пахло, точно летом, пылью, по глазам стегало, и Щепеткова пошла спиной к ветру. Сейчас ее встретит Дарья, заговорит ровно. Секретарю бюро положена с людьми выдержка...

А ведь еще летом ни разу не проходила Дашка с огородами, чтоб не заскочить к Щепетковым, не передать хуторские брехачки. Безо всяких выдержек с грюком ставила у калитки ведра, швыряла коромысло, плюхалась наземь под яблоню, в пятнистую жаркую тень. Бордовая, потная — как облитая, вытирала стянутой с головы косынкой шею, лезла под кофту в мокрую запазуху и, оглядываясь — нет ли детей? — рассказывала все в лицах, в жестах, в такой удалой своей обработке, что даже Поля, повидавшая за жизнь видов, замахивалась на свою любимицу Дашку, трясла от смеха горбом.

Но думать надо не о прошедших весельях, а об нынешнем хозяйстве. Если хуторяне, как малые дети, не смыслят, что им надо, то она уж обязана мыслить, вывезти до единой палки все, созданное на этих землях.

Она остановилась среди ветра, думая о кореновских землях — всюду близких сердцу и всюду разных. На виноградном склоне они звонко-кремнистые, неподатливые заступу; на займище — пушистые от нанесенного половодьем ила, песка; в степи — плотные, антрацитгно-блесткие, отраженные в плывущем наполированном лемехе вместе с солнцем, с твоими коленями, когда поспеваешь сбоку. Ох, и хорошо поспевать вдыхать запах крохких теплых борозд, слышать жаворонков, гремящих в вышине...

А жить-то ведь можно, ощутила Настасья. Ей-богу, можно! Эта, другая ли донская земля, которую хутор выберет, будут или не будут вокруг нее заседания и всяческие бюро — все равно колхознику ее любить, засеять, кормить с нее государство.

Пашни — они вечные, прочные.

2

Пашня лежала, открытая морозному небу. Над ней плыл коршун, методично поворачивая влево и вправо головку, всматриваясь в перемежения снежных пятен с земляными.

Инвентаризаторам-инженерам объяснили, что это зябь — участок, вспаханный с осени для весеннего сева. Инженеры похрустывали снегом, звучным под ногами, «музыкальным», как острил инженер Юзефович. Настроение их было прекрасным. Они досрочно описали индивидуальные дворы Кореновского, затем в одну неделю, несмотря на астраханец, заактивировали общественные помещения, и вот теперь, с утра, отлично позавтракав, выехали в поле. Нынешней ночью астраханец, который вчера еще рвал с крыш камышовые настилы, не давал обмерять строения, вдруг прекратился. Стих мгновенно. «Убился». Инженеры с изумлением оглядывали умиротворенный простор, стояли, опустив воротники, подняв на капелюхах уши.

Когда убивается астраханец, природа открывает глаза, точно больной после кризиса. Небо мутно, в нем висит измельченная микроскопическая пыль, поднятая на сотни метров, но ничто уже не бьет, не свистит в воздухе. Голодное зверье выползает из убежищ, выходит и человек, выпускает во двор застоявшуюся скотину, шоферы разогревают паяльными лампами настывшие моторы, отправляются в рейсы. Свободно выехала и Щепеткова активировать с инженерами землю. Работы для инженеров было в этом немного: глянуть, что им покажут, и расписаться... Все люди, стоявшие перед зябью, смотрели на нее разными глазами.

Гости видели просто зимние равнины, какие не раз мелькали перед их глазами из окон поездов, издали, а сейчас были рядом. Инструкция облисполкома не обязывала инженеров являться сюда, они не землемеры и имели право ознакомиться лишь с картой, но они отнеслись не формально, а с душой, как и следует на всенародной стройке, и, явясь лично, топтались перед участком, неотличимым для них от любого другого.

Люба Фрянскова, представитель Совета, разглядывая кореновскую землю, на которой родилась, с волнением думала, что здесь родился и Голубов, которого она, вероятно, полюбит. Мысли росли, превращались в прекрасное ощущение, что она достойна ответа, что взяла она всем — ямочками на щеках, свежими, полными губами и даже такой дорогой Голубову общественной хваткой. Ведь успевает и работать в Совете, и добыть для приезжего парня, для его детяслей сухофрукты, и самостоятельно, без Конкина, сдавать землю государству.

Полевод Дмитрий Лаврович Фрянсков и кучер Щепетковой — инвалид Петр Евсеевич, засевавший эту деляну, когда она была еще частной, размежеванной, видели здесь свой труд, свой пот. Даже кровь, ко-

торую в молодые, отгрохотавшие выстрелами годы лили они здесь под знаменем Щепеткова.

Для Настасьи участок был предметом сдачи. Все остальное она зажимала в себе.

Объективно же зябь представляла окостенелые глыбы, забеленные снегом, ошетиленные корнями. Любимые места заячьих лежек. По восточному краю тянулся лес. Присадистые вербы походили на дубы, заросли шиповником в брызгах коралловых в мороз ягод, непролазными плетями ежевики и, точно сеть рыбу, задерживали ветры, не допускали их к полю — и без того защищенному грядою бугров. Щепеткова не объясняла инженерам, что эту деляну в отличие от степных полей не тронуло астраханцем и, должно, не трогало во все времена, как прадеды — не дураки — осели у Дона.

Инвентаризаторы с интересом и опаской гладили морды заложенных в розвальни председательских жеребцов, пахнущих ременной смазкой, упряжью, войлоком хомутов, разогретым в бегах потом. Животные перебирали брошенное им под ноги сено, но были сыты и баловались, тянули губы к торчащим из-под снега стеблям или от избытка довольства сбрасывали головы, брякая медью уздечек и выпростанными удилами. Петр Евсеевич дал по ноздрям ближнему жеребцу.

— Радуетесь, пер-реселенец! — Оторвал от сена, втокнул в рот удила: — Соси!..

3

Настасья видела: комиссии хоть зябь, хоть кусты чертополоха ткни под нос — не разберутся; но осмотр был уже начат, и она предложила ехать к следующему полю. Инженеры легли в розвальни, в сено. Взрослые мужчины, они среди простора и выпавшего вдруг ничегонеделания чувствовали себя школьниками, которые сбежали с занятий, сунули книжки за пояс и привольно лоботрясаются.

Технику Римме Сергиенко хотелось хлопать в ладоши. Ее распирало ощущение, что ее жизнь — необычайная, совершенно особенная ее жизнь — едва-едва начинается, и все в этом начале было впервые: обеда не из маминых рук, командировочные деньги, ухаживания Мишки Музыченко, который ей не нравился, но был не каким-нибудь московским студентиком, а шофером колхоза и если ухаживал за ней, то, значит, не такие уж у нее большие уши, и, возможно, когда она, как говорят, оформится, то станет даже интересной!.. Несущиеся розвальни изумительно поскрипывали и, заносясь на поворотах, жестко ударялись полозьями в колеи, взбрасывали Римму. Она много ездила в метро, трамваях, троллейбусах, два раза в такси, а на лошадях впервые. Под локтем пружинило сено — огромный гербарий, масса сухих пахучих растений. Как какое называется, она не знала, прикасалась к шалфею, шупала тугие головки татарника, сохранившие на макушках фиолетовую цветень. Многое вокруг чудесно сохранилось с лета: и далекий камыш, и близ дороги на проносящихся кустах сорочьи гнезда, и высоко в небе сверкающий через муть кусок синевы — такой же теплый, живой, как, вероятно, в Южном Крыму.

Но когда сани выбросились на гору — сразу предстал мертвый, искореженный прошедшим астраханцем мир. Бурьяны, словно причесанные гигантской гребенкой, лежали в одну сторону, снег был сорван до грунта. Римму это не потрясло, она смотрела на это, будто в журнале «Вокруг света» на снимок какого-нибудь заокеанского вулканического острова, потерпевшего землетрясение. Жалко, а что поделать, когда землетрясение? Здесь же и этой беды не было. Ни разрушенных домов, ни раздавленных людей.

Много бывала Щепеткова в степях после астраханца, но лишь теперь, когда делом завтрашнего дня стала жизнь в степи, по-настоящему воспринимала окружающее. Удержался только лед дороги, да местами белели нанесенные барханы снега.

Перед спуском в низину, к очередному благодатному полю кореновцев, один такой нанос пересекал дорогу. По голой земле не поедешь, лезть с гостями через бархан Настасье тоже не улыбалось. «Ввалится какой идол с башкой, отвечай тогда».

— Ноги в руки! — стараясь шутить, скомандовала она, повела комиссию в обход.

Бархан завалил телеграфную линию, провода лежали на гребне, чуть выглядывали лишь верхушки столбов и фарфоровые стаканы изоляторов. От подножия откоса, напрямую переваливая гребень, строчился волчий след. По глубокой вмятости лунок, по лишним осыпанным порошинам определила Настасья, что прошел не один зверь, а гуськом целый выводок, чок в чок ставя лапы.

«В камыши подались», — подумала Настасья.

«Своими глазами видела следы! Сегодня ж напишу домой!» — торжественно думала Римма.

Инженеры, не исключая начальственного Петрова, с любознательностью путешественников смотрели на вдавленные лунки, на весь шолоховский антураж донской степи, для благоустройства которой они надолго оставили семьи и квартиры, самоотверженно прибыли из Ростова! В душе они сознавали, что это не такая уж самоотверженность. Яичницы, каймаки, которыми их упорно угощали хозяйки, свежий деревенский воздух — да еще все это за полную зарплату плюс командировочные. Но приятней было считать, что это суровый пост на стройке коммунизма.

Щепеткова первая заметила на бархане ростки озимой пшеницы, принесенные ветром из какого-то степного колхоза. Обращенные светлыми корнями к небу, они лежали, будто замерзшие в воздухе, попадавшие стрекозы. Инженеры продолжали шагать, разминать, как на физзарядке, плечи. Кустики, редкие вначале, через сотню метров покрывали бархан сплошняком, а когда Фрянсков с Петром Евсеевичем принялись рыть сапогами, оказалось, что бархан — это уже не снег, а смешанная с пылью озимь. Люба шепнула гостям, в чем дело, и они остановились.

— Цирк, что ли? Идемте! — прикрикнула Щепеткова, но они стянули перчатки, испуганно, ошеломленно брали в пальцы безжизненные ростки.

Если минуту назад у гостей было сочувствие к хутору Кореновскому, то сейчас все они, включая Римму, ортодоксально-свирепо жаждали снести его, дать воду и лесозащиту страдающим степям — таким огромным в сравнении с малюсеньким Кореновским, с этой самоуверенной председательницей!

Петр Евсеевич, как все кучера и шоферы понимающий обстановку не меньше хозяев, сказал Настасье:

— Эх, бабочка! Не колготиться б тебе здесь. Иметь бы рódного мужа, печь бы ему блинцы в тепле да в сухе...

— Глупость городишь, Евсеич, — оборвала Настасья.

«А глупость ли? — шагая, спрашивала она себя. — За что бьюсь? Чтоб на собраниях не обидели общей скамьей в зале, подставляли б в президиуме бронированное стуло?.. На чуму мне то стуло! Мне, будь живой Алеша, блинцы б ему печь. Без президиумов, без регламентов». Она шла, представляла Алексея... Вот он среди ночи вернулся из

поездки — промерзший, веселый, жадный до еды, тепла, до нее, Настасьи. Он ест и рассказывает, а она стоит перед ним, не садится, чтоб подавать проворнее. Улыбаясь, достает из сундука припасенную водку, наливает ему, льет и себе, раз уж Алексей настаивает, уверяет, что, выпивши, обоим веселей спать ложиться!..

А теперь какой у нее сон? Верно играется в песне:

Без тебя, мил друг, на сердце холодно,
Без тебя, мил друг, в постеле холодно,
Одеялечко заинело в ногах,
А подушечка потопла во слезах.

«Но, господи, кого дую? — спрашивала себя Настасья. — Ведь мечтается не о покойном Алексее, о живом постояльце!..»

Комиссия двигалась позади, обсуждала стихийные бедствия, в которые кардинально вмешались и государство, и вся общественность, — пресекут теперь катастрофы в степях! Настасья же думала о том, что тоскует об Илье Андреиче, а мужа выселила из души. Тут же одергивала себя: мол, неправда, мол, Алеша, как всегда, в ней, в ее мыслях, но что поделать, если в тех же мыслях появился новый, если сердце, будто ослепло, не отличает одного от другого?.. И уже расплачивайся... Шагай вдоль бархана и ощущай, что в спину тебе целятся глазами, хихикают небось.

«Почему?! Ничего у меня с постояльцем не было. И не будет. Телушка он, неудалый вахлак. Просто жаль его, как малое дите, как Раиску». Настасья понимала: опять не то, кругом не то. Еще ночью считала: если пропадает, уходит дружба людей, то уж пашни — это дело прочное. Где ж прочность?.. С новых участков, что им нарежут, вот так же понесет озимку. Ведь не завтра же обсадят лесом, обводнят. Да и кто их нюхал, те обводнения, за которые, как с цепи сорвавшись, агитируют все, в том числе она, председатель.

Через день завершился очередной этап выселения — опись, и Щепеткова повезла акты в райцентр, решив вырваться оттуда на стройку, повидать сына.

Глава девятая

1

Настасья Щепеткова, принаряженная во все новое, шагала к входным воротам строительства и не столько разглядывала громыхающую технику, сколько косилась на вышки. Она шла с двумя корзинами домашних гостинцев для Тимура — увесистыми, обшитыми поверху цветной стиральной подстилкой. Корзины были одинаково грузные, так что менять для отдыха руки не приходилось, но Щепеткова с удовольствием несла их. Представляя, как она будет вынимать, раскладывать перед сыном гостинцы, она решала, что бутылку с загустелым медом придется поддержать в теплой воде, иначе Тима не вытянет его из узкого горлышка, что курицу надо есть сразу, а сало сможет и подождать, протянется долго — оно крепкое, с твердой засмоленной коркой; Тима ведь любит, когда корка крепко засмолилась, будет по утрам резать, завтракать. Настасье хотелось бы идти безлюдной дорогой, чтоб никто не мешал думать о сыне, но в глаза лезли идущие колонны. Добро б честные труженики, а то окруженные конвоем бандюги. Да, Цымлянский гидроузел строили не только вольные люди, но и заключенные.

С детства работая как лошадь, не ступив за жизнь шага против совести, она по-крестьянски люто ненавидела дармоедов и зверей-преступников, которые водились всегда, сколько стоял свет, водятся, хоть отбавляй, и теперь. Вот недавно, лишь с месяц, под районной станицей агротехник и совхозный шофер вдвоем изнасиловали девчонку, а потом облили керосином и подожгли в копице соломы. Представляя, что такое могли совершить с любой школьницей ее хутора, даже с Раиской, Настасья Семеновна чувствовала, что собственными, вот этими руками придушила б арестованных агротехника и шофера.

С тех пор, как не заладились ее председательские дела, она стала остро видеть запретное, чего раньше не замечала. Лица идущих под конвоем мужчин, а особенно женщин, если всматриваться, оказывались не зверскими, а просто чумазыми. Настасью поражало, что женщины смахивали на колхозниц. Выражения их были и равнодушными, и веселыми, и часто лихими. Но сквозь нарочитую бабью лихость виделась Настасье то же самое, что в Отечественную было в глазах хуторянок, которым не шли с фронта письма...

Добравшись до входных ворот, она протянула в оконце документ, объяснила, кого ей надо, и, пристроив ближе к ногам корзины, принялась дожидаться. У фанерного грибка стоял солдат, ел принесенного девчонкой вяленого судака, смеялся и бросал чешую и кишки возле сапог. Это и была стройка, ставшая надо всем, что привычно.

Сбоку возвышались фотопортреты ударников — все в черных костюмах, в манишках, представительные, как артисты, и Настасье вдруг горделиво подумалось, что, может, и Тимур будет таким. Никто не обращал на нее внимания, она заглядывала в открытые ворота. Въезжающие машины шли без задержки, зато каждый выходящий грузовик брался в кольцо солдатами, чтобы проверить, не укрылся ли в кузове в груды мусора заключенный. Настасье вспомнилось, как девчонкой горланила на демонстрациях с Алексеем, с хуторскими комсомольцами:

А мы поднимем пожар мировой,
Церкви и тюрьмы сровняем с землей.

В бюро пропусков документы Настасьи Семеновны произвели благоприятное впечатление. Председательница местного казачьего колхоза приехала к сыну — рабочему! Из двери прямо на мороз в одном платье вышла интересная, с крашеными ресницами барышня, приветливо сообщила, что начальник бюро звонил в управление и там товарищу Щепетковой разрешили осмотреть строительство. Сейчас вызывают ее сына. Он работает рядом, скоро выйдет.

2

Не одну сотню раз представляла себе Настасья секунду встречи, и секунда вышла именно такой.

— Мама! — крикнул Тимка.

Он был худой, больше, чем всегда, носатый, на скуле синел фурункул. Казенная одежда — стеганые штаны, стеганая куртка — пахла соляркой, была ею пропитана и, залосненная, блестела, как металлическая. Барышня дала в руки Настасье Семеновне пропуск, сама ввела в ворота. Настасья Семеновна даже не сообразила, что можно бы никуда не ходить, а посидеть вдвоем с сыном, засматривая ему в глаза, глядя руку.

— Вот, Тима, — уже за воротами произнесла она, — гостинцы тебе. — И, приотрвав цветную обшивку, вытянула ему верхний пирог.

Тимур оглядел корзины.

— Сопрут. Здесь же, знаешь, контриков сколько!

Он свистнул пронсящемуся самосвалу. Тот затормозил, выдохнув из-под себя воздух, ударив пылью. Тимка передал шоферу-мальцу корзины, распорядился подкинуть эти корзины в «общежиху». Он шел, цепко ел на ходу пирог, не спрося у матери, ела ли она, и она, пожалуй, не радостно, а растерянно смотрела на этого как бы чужого парня, который лихо остановил самосвал, умело шагал по строительству. С понятием «строительство» у Настасьи связывалось сверканье пил, топоров, отлетающей белой щепы. Здесь же никто ничего не строил, все шли, ехали, и лишь черт-те где впереди хлестала из труб вода, скатывалась с песчаных оледенелых насыпей.

Эти места были смолоду знакомы Настасье, но она не узнавала ничего прежнего. Не встречалась и с новым, которое видела в газетах. Окружающий разор не сходился с красивыми газетными снимками, как грязные люди вокруг не сходились с портретами у ворот. Говорить с сыном о его жизни, узнать, есть ли у него одеялишко, подушка, перепадает ли на обед горячее или только сухомытка,— то есть выяснить все, чем Настасья изболелась, о чем по приезде станет в подробностях пытаться бабка Поля,— было невозможно. Слова глушились ударами копра, вгоняющего в грунт железные балки, как проорал Тимка в ухо — «шпунтины».

Каждый удар бил в ноги через землю, одновременно — в сердце через воздух. Было нельзя показаться деревенщиной — вздрагивать при ударах или шархаться от бульдозеров, которые, резко разворачиваясь, долбая стальными лбами, сносили линии столбов и отслужившие склады. Тимур выкрикивал, что это зачистка территории — завершающий этап созидания, что мать попала к шапочному разбору, что главное уже свершено и началось заполнение «морской чаши». Выкрикивая, Тимка приближался ртом, его дыхание пахло пирогом с капустой, с яйцами, который он ел. Покончив с пирогом, вынул папиросы. Дома он стеснялся матери, а тут, не скрываясь, чиркнул спичкой и, демонстрируя, чему здесь выучился, пробалагурил:

— По закону Архимеда, после крепкого обеда треба закурить.

Он затягивался, тыкал пальцем в горизонт, в открывшиеся глазам то ли вокзалы, то ли элеваторы, в понавороченные, понагроможденные друг на друга насыпи песка и объяснял, как что называется, требовал, чтоб мать видела какую-то голову магистрального канала, четырнадцатый, пятнадцатый шлюзы; напряженно орал — откуда куда пойдет там море и откуда не пойдет. Настасья кивала. Она видела, что ей ничего не понять, а признаваться казалось стыдным. То, что громоздилось впереди, понимали, наверно, лишь какие-то высшие люди. Для нее же все было спутано, а главное, было два Тимки. Один — к которому она ехала, другой — этот, что произносил слова: «бьеф», «верхние отметки», «ресберма». Конечно, он наполовину задавался. Но на вторую-то нет! Глотнул свободушки — и уже произошло с ним, с отрезанным ломтем, что должно бы произойти, лишь когда б женился.

Она не могла знать, что Тимке только и мечталось, чтоб мать сказала хutorьянам, кем он теперь стал, чтоб соседи пересказали все Лидке Абалченко. Лидка узнает и тогда-то уж начнет ломать руки, пожалеет о нем, сволочь!.. Почему сволочь — он не смог бы ответить, но он жестоко мстил, каждую секунду показывал, чего достиг здесь без Лидки!

Щепеткова шла за сыном и, хотя осмотр только начался, ничего уже не вбирала, глядела в землю. Земли, собственно, не было. Были, как от бомбежки, ямы, раскиданные доски, бревна. Главное, доски и бревна.

Переломанные, бесхозно измочаленные. В колхозе каждая палочка — золото. И вот эта, из березы, ободранная, занехаянная, пошла бы в телятнике на подпору или хоть огорожу; и эти две, что смерзлись друг с другом, согдились бы. А тут будто не у людей. Тут — вот он! — переваливает через ямы экскаватор, под него суют белые доски — новые, аж звонкие! — и он давит, вминает их, как солому...

3

— Теперь, — объявил Тимка, — подходим к главному! — И снова, видать, специально приберегая ходкую здесь шутку, сбалагурил: — Центр вращения земли. Здесь с воды огонь будем добывать.

Настасья подняла голову. Метрах в трехстах — в полукилометре упиралась в небо обыпанная людьми плотина. Люди копошились на тоненьких балках, выпирающих вверх, на отвесных стенах, подвешенные в люльках; горстями виднелись на откосах бетонных быков. Не люди — крупа. Крупяная шелуха. Если б увиденное было хоть чуть меньшим, чтоб Настасья смогла охватить его глазами и сознанием, — она б, наверно, вскрикнула. Небо над плотиной ворочалось. Оно шевелилось стрелами кранов, похожими на стальные железнодорожные мосты, сорванные с речных берегов и поднятые в воздух. Мосты разворачивались в небе, не сталкиваясь друг с другом, не обрушиваясь вниз. Они так легко несли охапки рельсов, словно рельсы были ватными; и хотя оттуда, с высоты, тянул обычный зимний ветер, обычно поддувал под платок, — все равно все, как во сне, было ненастоящим. Тимка у самого лица кричал, что это краны его бригады, показывал на группки людей у кранов, объявлял:

— Московские метростроевцы.

— Верхолазы первой комсомольской.

— Бетонщики коммунистической.

Дескать, не спутайте, мама, с перепугу нас, особенных, с каким-нибудь отребьем. Он поволок мать на плотину, наверх, задержал у ближнего крана, назвал его своим «хозяйством». Кран рос в небо на четырех — каждая высотой в колокольню — ногах, меж которыми сновали по рельсам железнодорожные составы, и Тимка, сообщив, что забыл сверху «штангельциркуль», полез по ноге крана, по лестнице. Проходивший внизу небритый парняга, игравшийся прутом арматуры, рывкнул:

— Ку-уда?

— Да я, — пытаюсь отвечать небрежным «рабочим» басом, зазвенел Тимка, — отсюда!..

— Еще и нявкает! — изумился парняга, врезал прутом по натянутому Тимкиному заду.

Тимка слетел, отчаянно оглядываясь на мать, но она вроде не видела, смотрела в сторону. Усиленно-беспечно он зашагал дальше, Настасья Семеновна за ним, поглядывая на вдавленный в сыновьи штаны ржавый след прута.

Сразу она и не сообразила, отчего ей стало легче. Ну, конечно же, оттого, что Тимка по-щенячьи растерялся, что он прежний лопухий малец, дурень, которому вначале повезло: остановил знакомого паренька на самосвале — и раззадавался. Настасья пошла с ним рядом, косясь на его похуделое лицо, на свинцовый фурункул, туго натянувший скулу.

— Простыл, Тима?

— Мура.

Он пренебрежительно тронул пальцем скулу. Ноготь на пальце был таким же синим, как фурункул.

— Батюшки! — воскликнула Настасья. — Весь покалеченный!.. Где это?

— Должно, в мастерской,— словно впервые заметив, отмахнулся Тимка.

Сбоку, в толпе работающих, грязно заругались. Тимка от неловкости перед матерью съежился, и Настасья совсем расцвела к нему — хоть и длинному, как коломенская верста, а все ж пацаненку. Она взяла его под руку.

— Ишь, лярва, вцепилась в молоденького! — раздалось в толпе. — Парень! Знаешь что? — Грохнула кощунственная липкая похабщина.

Тимка стал белым, как его ощерившиеся зубы. Выдергивая руку, метнул понизу глазами, но мать всей силой потянула его, чувствуя, что страх уже не держал мальчика, что он рванег сейчас из-под ног любую железяку, кинется на мужчин. Все ж, смотри, казачья кровь!.. Настасью сладко захлестнули привычные чувства к Тимуру. Она уводила его все дальше, наслаждалась не чудесами стройки, а сыном, кровиночкой ее и Алексея.

Кажется, вчера лишь перепеленывала она мокрого, орущего сосуна... Завернув в чистое, передавала Алексею. Сухой, Тимка успокаивался, и Алексей хохотал: «Смотрит на матерю — плачет. Повидит отца — улыбается». Алексей выпрастывал из свивальника Тимкину ногу, стучал пальцем по необмятой, сияющей пяточке, приговаривал: «Куй, куй, молоток, подай, бабка, чеботок». «Покурим?» — спрашивал у младенца, совал ему соску, а себе папиросу. Он же, Алексей, догляделся до первого Тимкиного зуба, полез в рот пальцем, а потом потребовал у Настасьи ложку, постучал — и оба услышали звон проклюнутого зуба...

Настасья вспоминала сейчас только Алексея, а квартирант, этот хол в городском галстуке, и на малую секунду не допускался к мыслям.

4

С высоты плотины, с гулких стальных балок, точно с самолета, виделась стройка. Она оказалась не отдельным каким-то местом, а всей степью с вербовыми перелесками, которые сейчас сносились, с уходящими под небо горами нарытого песка, с какими-то заливами, на которых среди разбитого льда плавали корабли — «земснаряды», с пыхтящим на рельсах «энергопоездом», который вываливал клубы дыма, и когда клубы поднимались к солнцу, становилось серо, а на солнце можно было смотреть не шурясь, как на луну.

— Страсти,— передернувшись, сказала Настасья, а Тимка заметил, что это достижения, а не страсти, что услышать такое от председательницы колхоза — каждый Уолл-стрит обрадуется.

Внизу люди жгли костры для обогрева, огни мерцали на далеких и близких полях.

Одно такое близкое к плотине поле, вернее луг, Настасья узнала, вся подалась вперед. Памятный, за всю жизнь незабываемый осокорь с приметным треугольным дуплом, с пятью ветвями, растопыренными, как пять пальцев, чернел внизу. Он стоял на краю кустов — измочаленных, выбитых, но, конечно, тех же, у которых босоногой девчонкой ходила Настасья с Алексеем по луговой траве. Сейчас на лугу, как всюду, «шла зачистка» — автогенщики валили шеренгу железных ферм, подрезая их ноги сверкающими струями; поодаль горели костры — одни слабым огнем сырых досок, другие — смоляными жирными языками мазута, и люди грели на них то ли котелки, то ли миски, а некоторые, растелешась, вздввали над огнем вывернутое белье.

— Кто это, Тима?

— Бандюги, кто еще? К ним бы дядю Андриана за его разговоры.

— Дурак ты, Тимка.

Хотя малец, заговорив о дядьке, смотрел волком, Настасья за рукав подтянула его к себе, сказала:

— На этом лужке, Тима, в двадцатом году дядя Андриан рубался за щепетковское знамя. Запихнул полотнище под шинель, под португеи — и один на четверых. Еще и раненный в бок. И лошадь под ним раненая.

— А ты откуда знаешь? — буркнул Тимка, не сбавляя грубости, но враз честолюбиво-остро загораясь.

— Отец твой рассказывал, когда мы сено тут косили. Тут коммуна была «Красный конь», и мы — Кореновский с Червленовом — шефствовали над коммуной. А отцу раньше еще лично Матвей Григорич показывал место... Это ж в том бою, Тима, дядю Романа зарубили с теткой Ксеньей. И Черненкова, брата бухгалтера. Их отсюда в Кореновский саньми тогда повезли.

Луг не вызывал в Настасье тоску по убитым, которых она не знала, а будоражил прекрасное свое. Ох, и пахли тогда травы!.. Валок за валком ложились под косами шефов и самих коммунаров, под стрекочущей, запряженной в два коня лобогрейкой — единственной техникой, бывшей в коммуне. Работали без деликатностей, по пятнадцать часов, верили, что от такой активности сегодня-завтра полыхнет мировая революция!.. Вечерами, когда все жилочки гудели от косьбы, как провода на ветру, молодежь собиралась горланить песни, танцевать, а которые уже договорились, счастливые, удалялись парами. Кто в степь, кто к Дону, на неостывшие ласковые пески, под высокое звездное небо, полное самой молодостью, полное для Настасьи Алексеем. Ведь тогда, вернувшись отсюда, с покосов, она и затяжелела, понесла Тимку...

— Ге-ге! Сторони-и-ись!! — взвыли с высоты крана, с бетонных стен, и над Настасьей повис рельс; заторможенный в воздухе, задрожал над головой. Настасья схватила Тимку, попятилась, но сзади засвистел тепловоз, и она опять отступила, цепляясь ногой за какую-то проволоку. выдергивая ногу.

— Ходят тут, поразевили гребальники!

— Туристы...

— По шеям бы им! — орала brave мастера.

Они обсмеивали Настасью, как обсмеяли б и Андриана, и даже самого Матвея Григорича Щепеткова, появившись он здесь — этот хуторской лопух с раззявленным ртом... Что им, мастерам, хозяевам стройки?

Под ногами, глубоко внизу, из широченных ворот, из плотины вырывался поток; рядом на волнах прыгал водолазный катер, казавшийся сверху лодочкой, матросы в шубах спускали с борта медноголового человека; а тугой поток летел из бетонных ворот не вниз, а вперед, по воздуху и, окруженный водяной пылью, с пушечным грохотом рушился, образовывал воронку. Вода вокруг взбухала со дна, вкручивала в воронку плывущие бревна, сброшенные стены опалубки, криги льда; все это окуналось, а через сотню метров выбрасывалось углами кверху, скатывая с плеч потоки, пену, ленты мазута, пришибленных белобрюхих рыб. Все здесь грохотало: пневматические трамбовки бетона, пневматические молотки, пневматические сверла, автоген, сама вода, смешанная с нефтью, несущаяся от плотины к горизонту.

Лишь берега далекого, едва приметного под горизонтом островка излучали спокойствие. Почему-то никем не тронутый, остров светлел чистыми снегами, был покрыт лесом — заиндевелым, безлюдным. Там верно, стояла тишина, дремало зверье под сухим пахучим листом, мирно спали совы в тихих своих дуплах... Спать бы и воде, как положено среди

зимы. Но она рвалась из бетонных ворот, ее гремющая пыль стояла в воздухе, гасила искры электросварки, что сыпались сверху.

— Здесь что! — напрягая жилы на шее, орал Тимка. — Здесь всего лишь перегораживаем реку, а в Мартыновграде пропускаем магистральный канал под землей, по туннелю метро!

Он выкрикивал, что магистральный пойдет аж до Азова, что жаль, мать не видела водяную лестницу к Волге, что здесь лишь два шлюза, а на лестнице их тринадцать.

— Постой, а где ж Дон? — произнесла Настасья, сообразив, что внизу, где ныряют льдины, был когда-то степной базарчик. У возов с молоком, с зеленью, торговались бабочки, рядом лежали распряженные, сомлевшие в зное быки, жевали арбузные и дынные корки, отмахивались от оводов рогатыми башками, а Дон сверкал далеко отсюда, аж вон у тех песчаных круч. Она-то помнит песчаные те кручи!.. Сейчас под ними, по сухому, непрерывной вереницей перли самосвалы, клубили на морозе пыль.

— Где Дон? — повторила Настасья.

— Тю! Так вот он под тобой. Ефо ж перенесли оттудова-сюда.

«А чего ж такого?.. — сказала себе Настасья. — Об этом писали. Писали, и что тысячи километров оросителей роют, и что «морская чаша» уже во втором квартале зарябится бурунами».

Настасья Семеновна головой прикидывала, что буруны-то действительно хочешь — запускай по оросителям на посевы, хочешь — держи до времени в «чаше», храни, словно под крышкой, под этим небом, где во-о-он, в синее поле всверливается самолет, оставляет на синеве белую курчавую полосу.

Впервые за жизнь ощутила с такой силой Настасья, как велик человек! Она радостно, с забившимся сердцем уцепилась за это ощущение. Ее душе давно не хватало твердой опоры — с того часа, как Орлов развернул список затопляемых колхозов... Сейчас опора опять появлялась. Шла не от чужих слов. От собственных глаз. Как здорово ни выглядели снимки в газетах, а это, окружающее, было могучей. Да и разве сфотографируешь вспыхнувшее понимание, что станицы калечатся все же не зря?

Но до конца легко не становилось. Громадность творимого была не по Настасье громадной, чужой. Даже мороз здесь чуждо отдавал железом, кислым бетоном, газом из электросварочных баллонов, и единственно родной на вид, на запах была мухунца — метелка камыша, которая упала сверху, с циновок, укрывающих мокрый бетон. Мухунца лежала на стальном гулком настиле — чистая, распушенная от мороза, ласково-серая, будто заячья шкурка.

Нет, как оно все ни велико, а лучше в хутор. В любую грызню, но к своим!..

Глава десятая

1

Еще недавно девчата хутора Кореновского не жили, а существовали. На комсомольских собраниях пережевывалось то же да одно же: раздой коров, трудовая дисциплина комсомольцев. Уж говорилось бы прямо — «комсомолок», поскольку в организации одни девки, да и во всем колхозе никто, кроме стариков, не потрусит брюками... Единственной радостью бывали танцы перед кино под хрипение старой пластинки «Канареечка жалобно поет», но танцевать приходилось Нюске с

Нюской; крутись в новом платье, в новых чулках с такой же, как ты, дурой, тоже разнаряженной в новое, тоскливо глядящей в темные углы пустого клуба...

Теперь на девчат бурно дохнуло небывалым созиданием и небывалой, быть может более прекрасной, чем созидание, ломкой. Все отцовское, осточертевшее покоем, шло побоку, взамен ему вставали планы новых станиц, с вокзалами будущей железной дороги, с шумными портами, где снуют молодые шоферы, механики, моряки, инженеры; с улицами в броне асфальта, с институтами, с театрами, как в Ростове.

Ни в каком векодавнем Подгорнове такого быть не могло, а могло создаться только на приморских новых участках, и девчата дрались за эти участки.

От Волги до Дона шумят ковыли,
От Волги до Дона пойдут корабли,
От Волги до Дона, казачьей реки,
Сидят на курганах орлы-степняки.

Заместо «канареечки», которая жалобно поет, уже прокисла в унылой своей жалобе, лихо запевали станицы и хутора новорожденные песни об орлах. Горланили без водки. Черта в той водке, когда пожелал создать море — ну и создавай, начинай ликвидацию суховея, перестраивай климат. Да ведь и это не все! Ведь лиха беда начало: ведь лишь взлети на одну высоту, натренируй крылья, а там и другие высоты откроются для штурмов!

Только надо каждому вокруг объяснить это, любым путем сагитировать. Решение своего сельисполкома — «Агитработе — солнечную дорогу» — кореновские девчонки подняли как знамя и, хотя вдохновитель решения, Конкин, выбыл из строя, рвались вперед в общехуторском кавардаке, треске, сварах.

Люба выучила в техникуме, что эксплуататорские классы в СССР ликвидированы, что делить на какие бы то ни было группы единую массу колхозников неверно. Но эта масса на самом деле делилась!.. Если не по классовым признакам, то — уж это Люба видела точно — по имущественному положению. Хозяева куреней, окруженных маленькими приусадебными участками, убежденно дрались за колхозное, «средняки» вопили и о колхозном и о личном, причем на собраниях только о колхозном; обладатели сотен виноградных кустов шли грудью за эти личные кусты, доказывая, что не Черчилль, а Устав сельхозартели дал им при хатах участки, что они, виноградари, работают на социализм не языком, а руками, а лодыри-голодранцы сидят на земле нахлебниками и надо их за их нахлебство бить по башкам, чтоб сукá летела.

Но особенно, на взгляд Любы, резко народ делился по возрасту. Чем моложе, тем вроде бы революционней; и хотя эта вытекающая из возраста революционность совсем уж не вкладывалась ни в какие определения учебников, Люба, едва заступила место Конкина, объединилась с одноклассниками, начала форсировать решения сельисполкома зубами и кулаками. Солнечную дорогу — так уж солнечную!

Действовала она без сложностей. Отмыкая по утрам сейф, раскрывала решение на очередном его пункте и, окруженная толпой активисток — раздувающих ноздри, молчащих, чтобы до поры не тратить запал, — шла с ними к одному, другому члену сельисполкома, требовала немедленной помощи или собственноручной росписи в отказе. Именно так под водительством Фрянской создавался коллектив художественной самодеятельности, лекционное бюро, а главное, отряд добровольцев — разведчиков по изысканию и обследованию участков!

В этом последнем Кореновский попал в самую жилу, так как все за-топленные станицы разворачивали движение разведчиков, и возглавлял это не кто-нибудь, а сам Голиков, секретарь райкома. Гоняя в глубинки инструкторов, объезжая колхозы лично, он требовал выбирать участки лишь коллективно. Дескать, ваша земля — значит, подчиняйтесь только собственному хозяйскому уму, собственным сердцам!.. За одну лишь пятидневку, говорили, выступал он в станицах Нижне-Курмоярской, Нагавской, Суворовской, Потемкинской; и Люба с девчонками мечтала, чтоб секретарь завернул к ним, оценил их самостоятельность.

2

В сегодняшнее утро, прозрачное от солнечного мороза, шагая к гаражу, откуда отправятся сейчас разведчики, Люба чувствовала, что не просто идет, а идет и одновременно несет ответственность за всю будущую жизнь людей. За этого вот гоняющего кошку пацаненка, за его родителей, положительно за каждого в этих дворах, в домах, обступивших улицу. Минуту назад, завтракая, несла ко рту ложку с супом и тоже ощущала: «Ем суп, проглатываю его и все равно за всех отвечаю». Временами казалось, что это неправда, что люди вокруг играют в такую игру, где они подчиненные, а она — глава Совета; на самом же деле никакая она не глава, даже не студентка техникума, а прежняя, детских времен, Люба. Она-то уж знает, кто она!

Но размусоливать было некогда. Переселенческие события, которые где-то за пределами Кореновского долго зрели, как бы набирали силу, теперь, словно дождавшись Любиного председательствования, вызрели, посыпались на Совет. Позавчера сразу из двух флотских министерств — речного и морского — появились моряки в капитанках, в черных шинелях с золотыми нашивками на рукавах, начали за хутором на бугре, среди прошлогодних бахчей, выбирать место для маяка, требуя от Совета чернорабочих — держать нивелировочные рейки, таскать приборы и треноги. Одновременно прибыла комплексная бригада облздрава и ветеринарного управления, сообщила Любе, что еще при Николае Втором здесь падал от сибирской язвы скот, что микробы язвы дремлют в земле семьдесят лет и, размытые морем, могут ожить, а чтобы их не выпустить, надо по всей площади скотомогильника вбить колья, переплести их арматурой, залить бетоном толщиной в полтора метра. Требовалось и на это выделять чернорабочих и отыскивать квартиры для мастеров, которые были уже на подъезде с цементом, бетономешалками, арматурой.

Одновременно же хлынули бумаги из неизвестных Любе Облархпроекта и «Донводстроя». «Донводстрой», который, оказывается, подводит оросительные каналы прямо к полям, требовал заявку на эти работы, но как составлять заявку, Люба не представляла; да и о каких заявках разговор, если никто понятия не имел, где осядут Кореновский и Червленов? Что касается Облархпроекта, то он интересовался, когда и на какое место высылать архитекторов по благоустройству. Райком запрашивал о политико-моральном состоянии жителей, райисполком за подписью самого Орлова отбил телефонограмму, где сообщил, что переселенцам выделены строительные материалы, но в результате разболтанности Кореновского Совета райисполкому до сих пор неизвестно, куда люди переселяются, то есть куда отгружать материалы. Бумага кончалась словами: «Настаиваем Подгорнове. Телеграфьте согласие или немедленно название другого места. Противном случае кирпич кровельное железо шифер переадресовываются другим колхозам».

Будь Люба опытней, она спасовала б перед этим фактическим приказом избрать Подгорнов. Но она не понимала дозволенного и недозво-

ленно на службе, посоветовалась с Гридякиной, кинулась в МТС, умолила директора соединить ее с Ростовом, с самим секретарем обкома партии, и так как считанные в жизни разы говорила по телефону, то, напряженно крича, прося секретаря обкома быть человеком, зачитала ему в трубку телефонограмму, сказала, что ультиматум райисполкома — это зажим переселенцев, что она напишет в газету «Правда», а кроме того, обязательно известит Сталина! В общем, телефонограмму отменили, чему изумлялись руководители обоих хуторов.

Все сменилось бы карающими громами, знай Черненкова и железно-праведная Милка Руженкова, что Любу натаскивает Гридякина — эта темная личность. Еще недавно Люба и сама, слыша — «репатриантка», представляла отвратительное, чуть ли не ядовитое существо, с которым она не произнесет и слова, дабы не замарать себя. Теперь же она гордилась доверием Гридякиной, слушала вечерами ее горячую окающую речь, хотя страх до конца не рассеивался и холодок сам собой лез под кожу от сознания, что откровенничаешь с репатрианткой... Но уже издав силу открытий, Люба входила в мир Гридякиной, убеждалась, что эта дивчина с вечными ячменями на простуженных веках, с бунтующей мечтой о справедливости — не чужак. Господи! Да совсем наоборот!! Пользуйся Гридякина таким же доверием, как все, она так же упорно, как трудится на лесосеке, вела бы комсомольскую работу, открыто, насмерть воевала б с бюрократами!

«Не замай. Ты не замай! — произносила она непривычные на Дону слова, когда из райисполкома пришла телефонограмма.— Раз права, брось бояться, звони прям в обком, первому секретарю».

И Люба стыдилась бояться. Храбрилась и сейчас, шагая к гаражу. На небе не было тучевого одеяла, и с высоты вместе с холодом падали лучи, ослепляли займище с его камышами, знойными в солнце, будто спелая пшеница, а с дороги с припрыжки взлетали грачи, бриллиантово сверкали крыльями. Грузный петух, грудастый, как лейтенант в новой шинели, вышагивал среди улицы перед курами. Блесткий, будто выписанный масляными, не просохшими еще красками, он выбирал на дороге острова проглянувшей земли, трогал их когтями. Всю зиму он набивал в сарае лишь собственный зоб, не обращал на подруг внимания, а сейчас, на свету, опомнился... Хотя в мерзлой земле не было еще ни червяков, ни травянок, он подзывал кур, по-мужски начально проявляя заботу, указывал наклоном головы — где клевать.

Люба остановилась, петух выпрямился, и солнце пронизало его мясистый гребень с серыми, давно отмороженными зубцами. Перезимовал!.. Люба тоже перезимовала. Стужа давила больше, чем в январе, но под стенами сараев на днищах перевернутых баркасов, на припеке, проступала смола, и когда Люба тронула одну каплю пальцем — потянулись пахучие сверкающие нити. Это весна. Сегодня принесли весну и щеглы. Они налетели с займища, прыгали во дворах по колодезным воротам, по ведрам на колодцах, долбя звонкие железные дужки, а над головой проносился еще один чиликающий табунок, то поднимаясь, то одновременно весь оседаая; и Люба, не сдержавшись, сунула в рот два пальца, свистнула.

Когда была маленькой, она всегда помогала весне — обламывала карнизы льда над ручьями, а если выносила из дома горячие помои, выплескивала их обязательно на снег, чтоб таял, и думала: делай все люди так — весна шла бы скорее. Теперь так не думала, но все же сбивала на ходу ледяшки и, обманывая холод, оделась легко — вместо лыжных шаровар на ней были под юбкой плавки, в каких летом купалась в Дону. После стирки-глажки они сели, плотно обжимали ко-

жу, а ноги меж ними и чулками трогало морозом, и от этого, от всей новой деятельности Люба чувствовала себя будто на стадионе, на беговой дорожке.

3

Перед гаражом было шумно. На льдистом, в пятнах мазута снегу стоял грузовик с поднятым капотом. Михайло Музыченко, держа на весу ведро, заливал кипятком радиатор, и солнце играло в парующей струе, в пролитых каплях, дрожащих на включенном моторе. Вокруг суетились разведчики — старики, олицетворяющие, по замыслу Конкина, опыт веков, комсомол — представитель злободневности, пожилой народ — регулятор крайних тенденций. Вчера-позавчера разведчики уже забраковали два участка и сейчас, входя во вкус, правились на третий. Провожающие — Настасья Семеновна и Дарья Черненкова, — не проявляя на людях своих трений, стояли вместе. У подола Дарьи грудились ее разнокалиберные дети, строго придерживали старшие младших. Широкоспинная, в шеголеватых валеночках, не вмещающих могучие икры, потому надрезанных сзади вдоль голенищ, Дарья — бордовошекая на стуже — высоко и легко держала закутанного в стеганку, красное одеяло и козий платок младенца. За нею в почтительном шаге жался супруг-бухгалтер, и народ лыбился:

— Плохонький бугаек, а смотри ты...

На машину несли из кладовки оплетенную прутьями бутылъ виџа, чтоб на месте же сбрызнуть участок, если его облюбуют. Двум мужчинам, сующим под дно бутылки солому, Черненкова указывала:

— И под борты, под борты пхайте! Первый год замужем?!

Подходя к гаражу, Люба для солидности придерживала шаг. Что разведчикам о выезде известно, машина заправлена, вино выписано, она проверила загодя и теперь как бы принимала парад. Деды, знавшие ее отца еще парнем, знающие от пупка и ее; зубоскалили — дескать, и рядовичи в атаманы выходят, а дед Лавр Кузьмич на деревяшке, оборудованной под гололед гвоздем на торце, скомандовал «смирно». Черненкова, оборотясь к Любе, провозгласила:

— Чего ж ей, канареечке, не работать? Ни детей, ни чертей! — и, здороваясь, уже как своей, сунула руку.

Люба не попала ладонь в ладонь, схватилась где-то за концы Дарьиных пальцев. Ужаснувшись, как бы не сочли, что она промахнулась от восторга поручкаться с Дарьей Тимофеевной, она громко ляпнула:

— Со всеми не перездороваешься.

Рядом стоял Валентин Голубов, она потому и не попала в Дарьину ладонь... Еще до того, как увидела, ощутила, что Голубов здесь. Что он здесь будет, она чувствовала и дома и по дороге и лишь на всякий случай — а вдруг все-таки ошибается? — отгоняла эти мысли. Теперь все было точно, он находился здесь, и потому Люба стояла неестественно, будто ноги связаны веревкой. Главное, с чего это, если не только он ни о чем не подозревал, но даже она сама еще не уяснила — настоящее это в ней или, может, одни фантазии?..

Но она так долго была заморожена душой, пустота была так чужда ее характеру, что теперь, получив и сердечные, пусть очень глупые, мечты, и высокий общественный пост, она охмелела. Она была уже не прежней, а другой, возглавляющей на родине Голубова, на территории двух хуторов самую передовую власть в мире — советскую! Было удивительно здорово всюду успевать, видеть, что тебя любят, любят тебя тобою, такой молодой, а уже умелой, слышать разговоры: «А новая-то председатель — удаха!»

К уху наклонился Ивахненко и, улыбаясь, касаясь усом, заметил:

— Эт у тебя полоса такая, что все хвалят. Приспеет срок — начнут драть с тебя, как с доски, стружку. Диалектика.

Это не волновало, Люба занята была Валентином, боялась к нему повернуться, и лишь углом глаза ухватывала белый бинт, светлеющий из-под красной верхушки кубанки. Бинт закрывал уши, обмороженные из-за другой женщины, но Любины чувства были в той поре, когда ни сомнений, ни горя они еще не приносят, а лишь чудесно озаряют все вокруг: и затоптанный лед, и рычащих у гаража кобелей — злых, ухажеристых к весне, увязавшихся из дворов за пацанами, и Михайло Музыченко, который уже перестрадал отъезд техника Риммы, стоял над поднятым капотом грузовика, для забавы жал на акселератор, обдавая всех гарью.

— Хватит задаваться, едем! — орал Любины девчата, лезущие в кузов через борт.

— Люкс. Едем, — отвечал Музыченко, кидая глазами под юбки и разочарованно отворачиваясь: дескать, чего там зимой повидишь, штаны стеганые?

Чудесны были и отъезжающие старики. Несмотря что разменяли по седьмому десятку, что поверх ушанок накутались шальями, они греблись в кузов быстро, ноги переносили легко. Не лапотники. Кавалерия.

— Выбирай новую родину, хлопцы, — подмигивая Любе, смеялась Дарья Тимофеевна, а сама небось думала: «Ишь хрычи».

Они же, конечно, думали о себе иначе, оглядывая пышные Дарьины габариты, приглашали:

— Езжай, Тимофеевна, с нами, а благоверного кинь в конторе сводить сальдо с бульдо!

И все это, весь этот отъезд организовала она, Люба: ей, конечно, повезло, что она не только живет на Дону — совсем теперь не тихом, а грохочущем, ставшем центром великих свершений, за которыми, волнуясь, следит вся родина; но еще больше повезло, что работает она не где-нибудь, а в Совете, может организовать со своим активом и агитацию и разведку! Может управлять этим!.. Счастье так ослепляло, что Люба не видела стоящую в полушаге Щепеткову, не чувствовала, что было в сердце Щепетковой.

Если б их настроения сравнить, изобразить графически, то линия Любы по вертикали взмывала б кверху, а линия Щепетковой падала б отвесно вниз. Этой ночью Настасья Семеновна вернулась с Волго-Дона, но стройка догнала ее и здесь. Зайдя в дом, где не было ни Тимура, ни постояльца — ездил со своей гробскопательной колонной, — Настасья услышала от полупроснувшейся, трущей нос Раиски, что лишь сдаст она в мае за седьмой класс — и запишется на стройку, не будет ковыряться в колхозной грязюке. От свекрови услышала, что Герасим Живов уехал наниматься на гидроузел, что ходил за околицу прощаться с землей, стоял на коленках в борозде, пьяный в дымину. Лучший бригадир!.. В конторе дождалась стопа комсомольских заявлений, в каждом Настасья читала: «Требую не притеснять, отпустить на стройку». По дороге в гараж окликнули Настасью какие-то моряки: «Тетка, не укажешь, где правление?..» Скоро, гляди, услышишь: «Не мешайся, тетка, отходи от колхозного штурвала». И район утвердит такое предложение, а постоялец — христосик-гробскопатель — сам вздохнет и сам же скажет, что решение принципиальное.

Но Любе, отправляющей разведчиков, было не до Щепетковой, думающей грустные думы, не до Ивахненко с его диалектическими прогнозами. Она глядела на представление, устроенное Лавром Кузьмичом,

который, было усевшись в машину, опять выскочил, представлялся молодоженом, умолял свою глухую, согнутую бабу не изменять ему до возвращения, аж до самого нонешнего вечера, а Михайло, аккомпанируя, давал для шику пулеметные очереди сигналов. Люба подпихнула Лавра Кузьмича в кузов, крикнула Михайле, чтоб ехал; тот проорал «гуд бай», машина газанула, понесла разведчиков отыскивать новую родину. Толпа, глядя вслед, шумела:

— Потемкинцы не схотели основываться где по́пада — и сабаш!

— И цимлянцы с нижекурмоярцами, с крутовцами не схотели. А мы, Кореновский, рыжие?.. Двинем, куда сами назначим!

Люди заносились своей самостоятельностью, и даже которые, как знала Люба от Конкина, были из богатеньких, испытали продналог, продразверстку, под вопли домочадцев писались в колхоз, сейчас бодро толковали:

— Родину выбрать — не козу купить. Решим — всё. Не решим — ничего. Наше дело, не дядино!!

Глава одиннадцатая

1

Ольга Андреевна Орлова верила в своего мужа свято. Когда он за завтраком сказал, что пора ломать эти дурацкие разведки земель, она убежденно кивнула. Ясноликая, свежая, с непросохшими от умывания, мокрыми еще висками, в свежем платье (она никогда не выходила к завтраку в халате), она весело ухаживала за мужем; сама завтракала позднее, когда он уходил. Она вырвала из ящика на окне пяток зеленых перьев лука, сполоснула, положила перед Борисом Никитичем, улыбаясь его ребячьей — цеховой еще! — привычке есть лук ненарезанным, макать в соль целым пучком. Борис Никитич тоже улыбнулся, макнул пучок в солонку.

— Запорожская Сечь, а не советская власть. Голиковские штучки,— возвращаясь к разговору, произнес он. Произнес ровным тоном, хотя Ольга Андреевна знала, как ядовито вредит Голиков, как мешает Борису сохранять честь района.

Ох, и выдержка у Бориса! Ольга Андреевна знает лично многих командиров партии, этих совершенно особого покроя людей. Даже не людей, а сплава из всего лучшего, могучего, что есть в людях. Таких, разумеется, создает рабочий коллектив. Но коллектив коллективом — это еще не все; они как бы рождаются такими, что понимают больше других, видят гораздо глубже. А Борис еще одареннее их! И Ольга Андреевна гордилась мужем, природным командиром, считала, что командирство — его специальность, что он как специалист обязан брать верх над всеми высказываниями. И вообще давно уж пора высказываться делами. А митинговать хватит. Для дела, для самих же людей надо одергивать людей.

В этом Ольга Андреевна разбиралась так же, как жена портного — в отпарке, в разутюжке костюмов, или жена маляра — в различных колерах. Она подвинула мужу хлебницу, энергично заговорила:

— Да, Борис! Высказыванье людей — дело необходимое. Но они ж то в своей резолюции все равно придут к тому, что им рекомендует руководитель. Скажем, ты. Так чего же, не понимаю, зря тянуть? Дай слово одному-двум — и решай, не заводи волюнку, как завел с переселенцами райком!

Орлов звучно скусывал с зеленого пучка. Чудесно, когда жена — товарищ!

На солнечной стене, над столом, висела окантованная женой фотография юнца с закатанными рукавами на крепких руках. Борис — комсомолец. Раньше, в ростовской квартире, Орлов, показывая гостям фотографию, ухмылялся: «Цеховая молодость!..» Гости случались тучные, а Борис Никитич доньше сохранял сухую «мастеровую» фигуру и вообще был не из тех, кто походил в спецовке три — пять месяцев и потом всю жизнь ссылается на заводское прошлое. Нет, Борис честно обломал четыре производственных года, и когда бывшие дружки, которые так и остались у своих станков, при случайных встречах упрекали его, что сменил их на новых приятелей, а от них, работяг, отошел, — он возмущался. Даже сейчас, глянув на фотографию, вспомнил цеховых друзей, с сердцем бросил жене:

— Ну как не поймут, что их помнят, работают на них и именно потому, по занятости, не в силах встречаться!

Да! Проценты выполнения, линии графиков — эти монометры человеческой боеспособности — естественно заменяют непосредственные отношения. Ведь капитан корабля не соприкасается кожей с волнами, не ныряет за борт, чтоб узнать глубину, не слюнит палец, определяя ветер. На все у него эхолоты, секстанты, электрокомпасы: а пассажирам безразлично, слюнит капитан палец или не слюнит. Им важно, чтоб их доставили по назначению!

Ольга Андреевна, сметая в ладошку со стола, думала о том, как несправедливо загнали мужа в район, как его возвращению мешает молокосос Голиков. Поначалу прокрался в душу к Борису и к ней, а теперь «платит по счету».

— Этого негодяя, — сказала она, — я убежденно говорю: негодяя! — я бы сама приколотила.

Она вдруг в голос, как это умела, расхохоталась, схватила за спину, за отскочившую пуговицу лифчика.

— Ей-богу, возмущена, аж дышать трудно. пуговицы летят. Ты столько вложил в колхозы, а он их разнуздывает, как желает. Чего стоит хотя бы эта девка Фрянскова с ее звонками в обком! Звонок — не мелочь, звонок — показатель. Да в конце концов, Борис, здесь государство или действительно Запорожская Сечь?!

Говоря, она резала баклажаны собственного засола, подвигала мужу. Хозяйство она вела сама, обходилась в районе без домработницы, а кухня и комнаты сверкали в ее руках с округлыми сияющими локотками. Орлов был влюблен в жену. Человек высокой семейной морали, у которого слово и дело едины, он, несмотря на броскую свою внешность, на частые разъезды, никогда не изменял Ольге Андреевне.

— Демагогов, Оля, — сказал он, — хватало всегда. Но чтоб их вдохновлял партийный орган района, персонально глава партийного органа!..

Это давно обязывало применить меры, и Орлова радовала воинственность супруги. Хорошо, когда поддерживают эти прямые глаза, это ясное, распахнутое в мир лицо, нестареющее ради мужа, упорно свежее. с круглыми от азарта, от возмущения глазами. Хорошо!

* * *

Орлов вышел на улицу в то время, когда Люба отправляла разведчиков. Так же как Люба, он шурился от пронзительной, резкой синевы, вбирал в себя нарзанный воздух, колющий в ноздрах и внутри носа, аж у самых глаз. Ледяная, звучная, будто мембрана, дорога пела под его

ботинками, он, так же как Люба, ощущал радость весны; решил даже сделать крюк, пройти через парк культуры. Какая чушь, что взрослым не хочется увильнуть от обязанностей, погулять, как в школьные годы!..

Парк переполнялся светом. Света было необычайно много, он отражался от наста, от обледенелых скамеек и стволов, от блестящих дорожек, истоптанных лишь посередине. На поляне, на снегу, упавшие с дерева ветки притягивали на белизне столько лучей, что, несмотря на мороз, прожгли собой лунки, чернели с их дна. Орлов присел, разглядывая оброненное сорокой черное, сине-зеленое в солнце перо. Оно тоже протаяло, четко вырезало в снегу свою форму, отпечатав даже пух у основания роговистого черенка; а рядом, прямо по снегу, не обмораживаясь, ходили муравьи — крупные, с крыльями, вероятно, муравьиные матки. Здорово! Орлов выпрямился, хрустнул позвонками, испытывая душевный подъем, настолько сильный, что задумал вдруг рискнуть на мирную беседу с Голиковым. «А что?! Позвоню, запросто приглашу съездить на стройку. А там поглядим...»

Можно бы избежать этого унижения, осведомить о здешних безобразиях область или дождаться из Москвы бывшего дружка Зарного, о котором есть твердая информация, что посетит стройку. Но Зарной — артиллерия величайшей мощности — может отказаться стрелять по воробьям. Вообще отказать. Страшно подумать — Зарной!! Область не откажет, но отметит, что Орлов не сработался с райкомом. О несработавшемся Голикове мнение будет простое: зеленый. И вообще фигура в аппарате случайная. «А вот, — скажут (законно скажут!), — как вам, Борис Никитич, вернуть участок областной, если вы и на районном вызываете о помощи?..»

Ольга права, рассусоливать хватит! Зарной Зарным — это запас, а от встречи с Голиковым ничего не убудет.

В кабинете, не раздеваясь, снял трубку, весело потребовал райком.

2

Бессчетные дела оторвали Сергея Голикова от дома. Семьянином он был не менее образцово-показательным, нежели Орлов, но работал хуже, не умел совмещать дело с тем, что именуется личной жизнью; и Шура в ответ на его постоянные отлучки восстала. Заявив, что она человек, а не мебель, которую можно на любое время бросать в доме, а приезжая, двигать куда хочешь, она вообще заперлась в своей комнате. Заперлась — и все. «Можешь целоваться со своими переселенцами».

Это длилось уже две недели. Нянька Мария Карповна, старая дева, считавшая, что близость супругов — это «блажь и гадость», теперь умиротворенно сияла, а Сергей мучился, не умел выправить положение.

Вот и вчера мечтал вырваться из колхозов засветло, явиться на работу к жене, не торопя ее, ждать и по дороге домой сбросить с души груз, помириться; но это не вышло. Освободился глухой полночью... Чтоб никого не будить, снял в сенцах сапоги, на цыпочках пробрался в дом, при свете завешанной лампы увидел на щеках спящей дочки полосы зелени. Значит, Вику исцарапал днем кот или упала она с крыши погребка на сложенные внизу ветки... Опасаясь, что услышит храпящая на тахте Мария Карповна, он напряженно остановился у притворенной жениной двери.

Черт знает что! Муж он или нет?! Да он сколько дней просто не в силах спокойно заниматься делами, писать свои бумаги! Ему, наконец, не сто лет! Сейчас весна!

От ощущения, что Шура рядом, что ее пальцы, должно быть, привычно отдают йодом, в висках стучало. Но толкнуть дверь, войти с сапогами в руки и проситься? Это уж извините! Унижений не случилось даже во времена ухаживаний, когда у него не было никаких прав. В те времена («вы, Шура», «вы, Сергей») гораздо проще было и опаздывать, и вообще не приходиться; все ограничивалось трескучей Шуриной фразой вроде: «Благодарю за пропущенный концерт. Получите ваши деньги за билет обратно. Здесь без сдачи». После чего темпераментно выяснялись отношения и через час наступал мир.

Теперь же мир не наступал, она и на выстрел не подпускала Сергея, а он по молодости не понимал, что это его победа, что в Шуре проснулась женщина, стала бунтовать против унылых семейных норм.

Стоя под дверьми, он бесился от ее черствости, от поругания своего мужского достоинства, а тут еще Мария Карповна стала храпеть тише, возможно, уже не спала, из-под сощуренных век разглядывала его, застывшего у замочной скважины босиком, с портянками, с сапогами в руках...

Он злобно пошел на кухню, где для него всегда были закутаны в газету и в тулуп горячая кастрюля супа и миска второго. Но следом в напяленном одеяле вошла Шура — совершенно незаспанная, значит, ожидавшаяся этой минуты. Он скис, понимая, что будут объяснения, и без задержки начал ужинать, на случай, если разговор примет оборот, при котором поесть не удастся.

— Ты знаешь,— сказала Шура,— я считаю твою работу самым главным. И все же нельзя, чтоб тебя совсем не было дома. Не говорю о ребенке. Тем более о себе. Ты можешь без меня, и черт со мной...—Ее нижняя губа, всегда чуть выдвинутая вперед, детски-тугая, обожаемая Сергеем, вздрагивала. Шура досадливо промакнула пальцем под носом.— Можешь без меня,— повторила она,— и черт со мной. Но когда тебя нет, весь дом гибнет от Марии Карповны, этого чудища.

Она, как из панциря, высунула из одеяла голову — услышать, не встало ли чудище,— и зашептала:

— Утром я случайно приобрела парниковый огурец, порезала ребенку и ей. Так она вместе с блюдцем в лохань его и принялась вопить, что зимой от огурцов у нее мигрень, что я обязана это знать, что я над ней издеваюсь, держу в рабстве! И Вика — и без того поцарапанная, астенизированная — осталась без витаминов, а я за эту парниковую редкость, за огурец, отвалила четверть дневного заработка!..

Голиков слушал мрачно. Дело не в огурцах, не в заработках, а в его, видите ли, холодности. Это возмутительно. Он любит Шуру больше, чем когда он и она были студентами. Но если тогда он часами говорил ей о чувствах, то теперь физически не выкраивается времени, и она, считая себя чуткой, должна б понимать это!

А все же хотелось сгрести пятерней ее волосы, насунуть на глаза или обхватить ее, крутнуть по кухне. Он сдерживался, убежденный, что ее надо учить, что его, как вол наработавшегося, следовало б встретить по-иному, не донимать среди ночи упреками. Ведь кто упрекает?! Она, которая с ножом к горлу требовала от него героической деятельности, а теперь с тем же ножом требует внимания к дому. Гармонических сочетаний!

Она жестикулировала, и глаза Сергея сами собой устремились в просвет одеяла. Стена качнулась вместе с окнами. Он набросил на дверь крючок, виновато приблизился к Шуре, но она, проявляя самоуверждение, решительно сказала:

— Отстань.

Сама же вспыхнула так, что порозовела отстраняющая, вытянутая вперед рука.

— Не дури, я в конце концов муж...

— Можешь подавать на развод.

— Не дури... Не будь душой.

— Именно не буду. Твой свитер на завтра выстиран. Вот он, над печью. Твоя постель на раскладушке.

* * *

Утром, не завтракая (плевать на ваши завтраки!), Голиков явился в райком и, раздраженно сняв трубку зазвонившего телефона, услышал голос Орлова. Орлов приглашал «прошвырнуться» вдвоем на стройку, говорил так, словно никакой вражды меж ним и Сергеем уже нет, словно вражду эту растопило сегодняшнее солнце.

Действительно, солнце за окнами было особенным. На крыше гаража, на припеке, ярились голуби, скакали, дрались воробьи, и если б лист календаря не показывал, что февраль еще не кончился, следовало б думать о завтрашней посевной. Блики играли на лаке телефонной коробки, на цветном спиральном шнуре, по которому лился голос Бориса Никитича, самым своим тоном перечеркивая всякие трения.

Но выбор между позициями Конкина и Орлова Сергей давно сделал в пользу Конкина, и теперь это стало собственной позицией Сергея; а если по сути, то было это, как он увлеченно считал, позицией самого Ленина, потому что ничего, кроме интереса людей, строящих коммунизм, Голиков перед собою не ставил, и люди отвечали ему дружбой — уже почти не настороженной, требующей лишь малых усилий, чтоб стала она до конца искренней, чтоб совсем уже рухнули преграды между ним и его подчиненными.

Было чудесно ощущать это растущее с каждым днем товарищество, знать, что нет у тебя от хуторян секретов, не существует ведомственных тайн, все открыто! Ради этого можно идти на неполадки в семье, можно жертвовать и аспирантурой и даже — вопреки глухому ворчанию райкомовских аппаратчиков — дать команду: «Райком на колеса», то есть не только самому оставить кабинетное кресло и неделями жить в хуторах, но разогнать по глубинкам райкомовских инструкторов, завотделами, а заодно активистов райкома, чтоб поддерживали в колхозах и общественную разведку участков, и кружки по изучению поливов, и общий боевой дух.

Пороха здесь Сергей не изобрел, требовал от аппаратчиков того, что в Отечественную войну требовали комиссары от политруков, и разница была лишь в том, что задача сегодня состояла не в уничтожении танков противника, а в оживлении черствых степей. Разорвав с Орловым, барахтаясь один, как щенок на глубине, Сергей выигрывал от барахтанья, постигая законы управления, а с ними деревенское хозяйство.

В зимнем поле он не только отличал уже зябь от паров, но и озимую пшеницу от озимого ячменя. Не терялся теперь и на хоздворах, мог при входе в овощехранилище, где отдавало землисто-спиртным духом, заметить: «Картошка-то у вас степляется». Уже мог, охлопав звякающего цепью купленного колхозом бугая, на глазок определить возраст, породу и — самое удивительное! — ощутить вдруг в себе мужичью радость накопления, которая уже без надобности, чисто для удовольствия, звала шагать дальше, вдоль ряда коров, доставать из кормушек силос, разминать, а когда бросишь обратно — вытирать пальцы не платком, а о край яслей, спрашивая доярок, подкармливают ли свеклой, имеется ли соло-

морезка? Если не имелась, Сергей знал, что добудет, и опять с радостью охлопывал красавца бугая, который всхрапывал, кидал тяжко-мясистой головой со вдетым меж сипящими ноздрями кольцом...

В общем, дела двигались, но им мешали трения райкома с райисполкомом. И вот Орлов неожиданным звонком приглашал на переговоры...

— Иду,— ответил в трубку Сергей.

3

Они поздоровались за руку, сели в «газик» Орлова рядом, на заднем сиденье. Сесть на свое хозяйское место спереди Борис Никитич посчитал неудобным, а устроиться сзади и посадить Голикова вперед было б излишней честью.

— Значит, на плотину? — полуприказывая шоферу, полуспрашивая у Сергея, сказал Орлов.

«Говорить с ним надо напрямик,— думал Орлов.— Без обиняков втолковать, к чему ведут его штучки». Но зазвать проехаться и сразу приступить к делу было не с руки, и Орлов пошучивал, держал себя в машине будто в кабинете, когда, пригласив на прием уважаемого человека, начинал сперва о здоровье, о погоде.

Это тяготило Сергея, в нем еще не вытравилось чистое, точно бы сыновнее отношение к Борису Никитичу... Хорошо, бывало, чувствовать в нем, в старшем, добрую к тебе силу, видеть, как его глаза, служебно-официальные, теплели при взгляде на тебя, любовались твоей непосредственностью. Сергея влекло не только расположение Орлова, но нравился сам по себе Орлов, его смешливое, доброе в разговорах с Сергеем лицо, доставляло радость пожимать при встречах твердую, крупную руку. Маленькая рука Сергея тонула в ней, и он, будто мальчишка, старался жать крепко, коротко. Смешновато, но он любил привычки Бориса Никитича, даже теперь помнил, сколько кусков сахара кладет этот человек в стакан чая...

Сейчас Орлов курил, не начинал беседу, ради которой они выехали, и Сергей, касаясь его локтя своим, испытывал удовольствие и связанность. Все, чему раньше учил его Орлов, было обратно тому, что Сергей убежденно делал теперь, а все же в машине он чувствовал себя перед Орловым, точно солдат в самоволке перед выросшим на пути офицером... За стеклом уже плыли товарные станции гидроузла. Орлов в отличие от Сергея почти не бывал здесь, но, оказывалось, знал самые свежие цифры выгрузок, неизвестные Сергею,— опять, как всегда, и во всем, общелкивая его. Громоздкие, сгружаемые с платформ ящики оборудования веселили Орлова, он глазами выбирал среди них дарственные, с выражением читал вслух: «От рабочих Минска», «От горьковчан», «От Тулы», «От Сормова».

— А вот молодцы-то! — восхищался он.— Чуть не стихами отгрохали: «Комсомольцы Челябинска салютуют создателям цимлянских волн». Четырнадцатая партия подарков за квартал! А, Сергей Петрович?

Было ясно, что он хочет нравиться, и это настораживало, но противно было настораживаться, подозревать в чем-то прежнего друга; да и близящаяся стройка уже дышала в лицо, привычно захватывала. «Газик» въезжал в хутор Соленый — «столицу» гидроузла.

Некогда занехаянный хуторишко, Соленый раскидывался теперь километрами инженерских домов, детских яслей, барачков, административных зданий, образовавших широченные проспекты, шевелящиеся потоком машин. Под могучей рукой начальника строительства генерала Адомяна — «князя Адомяна», как именовали его все,— проспекты свер-

кали витринами, транспарантами; но и от хутора, как бы для сравнения с новым, оставались то пощажённая топором яблоня, стоящая теперь между современным фотоателье и современной гостиницей, то опоясанный гоненьким кружевом балкона казачий курень, оглушённый шарканьем ног, говором, гулом грузовиков, сигналами легковых машин с номерами Ростова, Киева, Тбилиси, Москвы.

— Стольный град князя Адомяна! — провозгласил Орлов.

Сергею, Орлову, старику шоферу Виктору Федоровичу льстило, что именно их району принадлежала эта звонкая столица трудовой славы, что весь Союз, разгромивший Гитлера, охваченный счастьем новых — строительных теперь! — побед, дышал Волго-Доном, что люди, не остыв от одного боя, рвались к другому, мирному, из каждого закоулка страны слали сюда заявления, требуя места в шеренгах строителей; и Сергея с Орловым патриотично радовало, что заявления исчислялись на почте центнерами. Радовало, что волгодонцы гордо нарекали свои наспех сбитые барачные поселки поэтическими именами — «Рассвет», «Восход», старую Мартыновку прозвали в «Мартыновград», а над дверями центральной соленовской столовки с овациями водрузили вывеску «Пятиморск», что означало — порт пяти морей, в первую очередь Цимлянского.

Сейчас это Цимлянское вышло из стадии вынашивания. Оно рождалось. Орлов с Голиковым как раз и ехали на место рождения.

4

Их глазам открылось не многое.

Перед плотиной, на самом глубоком месте завтрашнего моря, было сухо. На сухом песке, на дне зияющего внизу котлована, дергались в работе экскаваторы впритирку к бульдозерам, к самосвалам, заволакивали низину газом. Еще дальше, отгораживая котлован от реки, высилась перемычка. Она удерживала льдины и волны, которые упирались в ее стену, были не видны отсюда Сергею с Орловым. Оба они давно знали, что Дон уже не весь течет к низовым станицам, что, как пушечно ни грохочут потоки в сбросных отверстиях, низовья получают теперь лишь сверхскупой санитарный минимум — девяносто, сто кубометров воды в секунду, а все остальное задерживается, становится уже морем.

Официально рождение еще не начиналось. Оно начнется, когда в котловане завершат работы, правительству радируется рапорт, и голос Левитана сообщит в эфир, что пошло наполнение. А Дон Левитана не дожидался!.. Запертый, он вспучивал лед, подступал к гребням перемычки и, нависая тысячами тонн воды, грозил работающим в котловане бригадам. Проще простого было спустить воду, закончить недоделки в безопасных условиях, но весеннее снеготаяние могло отвергнуть график, не заполнить «чашу» до заданной отметки—тридцать шесть метров. Поэтому генерал Адомян принял волевое решение — заранее копить воду, призвал котлованные и обслуживающие бригады уложиться не в отпущенные правительством полтора месяца, а в двадцать суток. Встречный план определился в пятнадцать, борьба пошла за десять, на тресах вспорусились лозунги, требуя декадного штурма. Перед Сергеем и Орловым плескало поднятое на тресах полотнище:

Мы февраль понимаем так:
 Это — решающий бой,
 Это — десять бессонных атак,
 Гремящих одна за другой.

— Силен хлопок! — восхитился Орлов Адомяном.

— А эти хлопцы? — показав на котлован, спросил шофер Виктор Федорович. — Пусть у них хоть через одного, а есть дома по ребенку. Это сколько получится сирот, если перемычка не выдюжит?..

Орлов не любил, когда говорили шоферы. Он через голову Виктора Федоровича наблюдал, как на морозном солнце бригады укладывали бетон, укрывали его брезентами, плоскими электроплитами, паросогревателями, создавая летние условия. Цементу не полагалось костенеть на морозе, требовалось схватываться по естественным законам. Подъезжающие по рельсам на платформах бадьи бетона были окружены огнями мазутных факелов, краны подхватывали бадьи из огня, возносили к недозаполненным клеткам арматуры.

Ни Орлов, ни Голиков, хотя гидроузел размещался в их районе, ничего для гидроузла не значили. Оба имели постоянные пропуска с красной поперечной полосой на развороте, что означало: «Въезд на все объекты в любое время дня и ночи», но это, равно как и лояльное к ним отношение Адомяна, положения не меняло, поэтому ни один, ни другой не делали никому замечаний, глазели праздно. Постройки, которые Сергей видел здесь неделю назад, были уже снесены, и сейчас доламывалось остальное. Бульдозеры выворачивали фундаменты; тягачи волокли длинные хвосты недоиспользованной арматуры, царапая грунт этими хвостами, будто железные павлины; газорезчики огнем расчленили сваленные металлоконструкции; репродукторы на не снятых еще столбах задорно пели: «Карамболина, Карамболета, цветок прекрасный...»—и, обрывая пение, командовали, будто стреляя: «Диспетчер Дробат, ускорьте прием бетона. По вашей вине полторы минуты простаивает бетонный завод». Репродукторы глушили перестрелку вибротрамбовок, копров, пневматических зубил, молотков; а в высоте, надо всей мешаниной грохотов и движений, кружили беркуты.

Их было множество. Они налетели откуда-то из степи — царственные, удивленные новым видом Дона. Годами привычное им займище, безлюдное зимою, теперь поражало их, они, точно застыв, висели под солнцем. Другие, более близкие человеку птицы уже приспособились к новостройке; Сергей ночами видел у плотины стаи ворон, копающихся в мусоре на льду, как ни в чем не бывало каркающих, летающих в два часа ночи в белом химическом свете электросварок, в скрещении прожекторов, ламп, рефлекторов, где луну даже не заметишь среди других световых точек; и воронам стало удобней дрыхнуть на вербах днями, бодрствовать ярчайшей волго-донской полночью.

Но беркуты туго принимали необычное и, поводя головами, опираясь на округло-тупые крылья, висели в небе... Иной спускался, облетал портальные краны стороной, садился, коричнево-ржавый, ниже плотины на лед, и казалось издали — мужик в дубленом ржавом кожухе сидит у полыньи. Другая стая чуть приметной сетью маячила за перемычкой. Она виднелась километрах в трех вверх по реке, кружила над пустынными берегами, высматривая, что там; и Борис Никитич, загоревшись, предложил:

— Глянем и мы, что там. Поехали!

Машина, ныряя в колдобины, сталкивая плечами Орлова и Голикова, все оттягивающих свою беседу, обогнула задами участки работ, добралась до кромки неистоптанного берега. Здесь начинался снег, напитанный водой. На границе сухого и мокрого стояли разноцветные, яркие на белом поле легковички корреспондентов. Должно быть, бросив все другие задания, мчались сюда, за тридевять земель, газетчики увидеть собственными глазами, схватить аппаратами «начало рождения» и теперь

в километре от цели топтались на месте, боясь засадить машины. Иные попромачивали обутые в туфли ноги, сушили их у радиаторов.

«Газик» Орлова пошел прямо, треща намерзающей под снегом коркой, выбрызгивая капли. Он дергался, оба ведущие ската напрягались, но Виктор Федорович умело вытянул на бугорок к самому берегу.

Этот берег был правый, более высокий; наполнение шло в противоположную сторону низинного левобережья, где виднелся налитанный, местами всплывший снег, сверкающий слюдяною корой. На самой реке лед был взбухшим, растресканным, сквозь трещины просачивалась вода, застывала на морозе огромными плоскими грибами. По ним ходили галки, ступали кольчатými немерзнущими лапами по студенистому их краю, подхватывали рыбешку, которая шла, должно быть, к трещинам дышать воздухом и выплескивалась с водой наверх. Одна рыбеха блестела возле машины в снежной каше.

Орлов бросил Виктору Федоровичу:

— Замерзла?

Шоферы — даже старики — выполняют на своем посту обязанности мальчиков, и Виктор Федорович шагнул в мокрое, поднес рыбешку. Она затрепыхалась на его ладони, открывая яркие жабры, вспыхивающие, как огонь спички. Виктор Федорович кинул ее в лужу, отер ладонь.

Наливания моря, как можно бы представить слово «наливание», не было. Намокал снег; в колеях, продавленных машиной Орлова, проступала влага, была обычной, словно бы в ростепель на улице; но Сергей, Орлов, Виктор Федорович чувствовали, что присутствуют при великом свершении, смотрели на галок, охотящихся за рыбешкой, на беркутов, которые так же удивленно, как люди, разглядывали происходящее, висели в небе.

Сергей испытывал общие с Орловым, объединяющие их чувства, улавливал в лице Орлова взволнованность, поэтому стал внимательным, даже предупредительным, и эта издавна знакомая Орлову предупредительность Сергея дала толчок к объяснениям. Орлов, как было задумано, без обиняков сказал:

— Сергей Петрович, для чего нам конфликтовать?

— Разумеется, — охотно подхватил Сергей, — не для чего! Думаете, мне легко, что потерял общий язык, что я наперекор райисполкому провожу решения, — говорил он, радуясь начавшейся беседе. — Ведь я в каждом документе, подписанном вами, усматриваю подвох. Кому это нужно?

Борис Никитич, откинувшись на сиденье широкой спиной, обтянутой в скрипучий хром, с улыбкой оглядывал Сергея.

— Ну вот и давай работать! — подытожил он. — Хватит, брат, пионерских игрушечек, когда всяческие писухи Фрянсковы раззванивают по областным комитетам через твою голову.

Он ткнул рукой на взбухший Дон, на далекую, вытянутую под небом плотину.

— Сегодня-завтра они, гидроузел, уже громогласно объявят начало заполнения. А когда мы, два коммуниста, объявим выезд станиц?.. Разводить дипломатические тонкости времени нет. Время затянул, Сережа, ты. Есть время лишь скомандовать: «Шагом марш!»

Сергей слушал опешенно. После взаимных улыбок не умел переключиться на резкость. И вообще испытывал перед Борисом Никитичем как бы закоренелую свою зеленость, а Борис Никитич в приливе тоже закоренелого шефства журил:

— Ты не кривись, ты пойми, черт ты на палке, у нас общая задача.

«Может, — подумалось Сергею, — опытный Орлов дал промашку, случайно упустил, что «чаша» заполняется от низу, от плотины, что гид-

роузлу ничуть не мешают наши станицы? Море-то подступит к ним аж к маю. Даже к июню!»

Но Орлов, как всегда раскусывая его, хмыкнул:

— Сопоставляешь сроки! Они ясны.

— Тогда для чего же это пришибеевское «а ну марш»?!

Продолжая морщить в благодушной ухмылке горбину носа, Орлов предложил Виктору Федоровичу оставить машину, уйти прогуляться; и Сергей не нашелся сказать, что это безобразие, что Виктор Федорович коммунист с тех еще времен, в какие Орлов был сопляком, что с партбилетом в кармане Виктор Федорович отставвал для Орлова советскую власть, водил броневик в гражданскую войну, воевал и в Отечественную, в то время как Орлов с сорок первого по сорок шестой жил в Казахстане.

— Возмущаешься? — спросил Борис Никитич, когда старик вышел. — Зря. Я б на его месте не ждал подкасок. В шоферах он давно, должен понимать. А что касается недовольства станичников, которых до срока попросим сдвинуться, то — скажем не для протокола — чихать. Важно не настроение ихнее, а то, что они станут маяком для соседних переселяемых районов, — втолковывал Орлов, довольный и своей прямо-той, и молчанием потупленного Сергея. — Конечно, в смысле наливов-разливов можно бы ждать. Но мы не гидрологи. Мы политики.

Все было верно, аппаратчик Голиков сознавал это. Но переселенцев — вначале равнодушных, безнадежно глухих, потом, наконец, поверивших честному слову Сергея, загоревшихся, — следовало в шею. Всех! Вместе с их верой, с их разведками, с Любой Фрянсковой — еще робеющей, еще неумело звонящей в областной комитет.

— Бред какой-то... — произнес Сергей и стал объяснять, что это хуже убийства.

Убитый фашистской пулей, павший за свою родину — мертв, окружен славой. А выгнанный по вашей, Борис Никитич, методе взашей — он душевно опроституирован. Нет, он не станет врагом, он будет завтра же голосовать за любое решение, будет говорить с трибуны правильные слова, но он — уже порченный! — будет делать это неискренне, жить со вторым дном.

— Да неужели не видите этого? — дрожащим голосом спрашивал Сергей. — Вам что? Повылазило?

Орлов молчал, знал: раздражение в разговорах допускать нельзя. Сергей тоже знал это, но не умел. И Орлов не без симпатии разглядывал его. Хорош все же хлопец. Пообтерся в районе, огрубел и разительней, чем прежде, напоминал Орлову собственную молодость. Да и в словах парня была какая-то истина... Орлов давно перешел к истинам другим — нужным в делах. Боялся он, что Голиков вернет его к былой беспокойной правде? Нет. Он без всякого Голикова помнил юношеские загибы, признавал их боевое звучание и в старых комсомольских песнях, и в новых книгах о народе — полновластном хозяине; считал верным, что за такие книги дают премии, но в служебной практике идеи этих книг не применял, считая, что излишняя демократия вредит практике, как вредит излишний сахар организму человека. Он еще до выезда знал, что внушить Голикову эти здоровые взгляды невозможно. Но раскрыть их боевой смысл и привлечь Голикова к оперативной очистке дна он надеялся.

Надежда не оправдывалась. Было очевидно: желаешь не желаешь — придется любым путем дискредитировать Голикова, в интересах района. Это было противно. Грустно. Однако грусть — не помога делу, и Орлов с досадой смотрел в окно. Невыключенный Виктором Федоровичем мотор работал, сиденье подрагивало. Фигура Виктора Федоровича маячила на берегу за ветровым стеклом машины...

Орлову помог сам Голиков:

— Слушайте, и ведь вы мерзавец!

Реакции Голикова, по медицинской терминологии сго супруги, бывали гипертрофированными. Матерно, без нужды, заругавшись, он бросил Орлову:

— Вы мерзавец!

— Ну что ж! — облегченно заключил Орлов. — Значит, будем окончательно портить отношения.

Глава двенадцатая

1

Слухи о приезде Зарного на торжественный налив моря подтвердились.

За сутки до его прибытия приземлился на станичный аэродром самолет с товарищами, которые осмотрели отведенный Зарному коттедж, кухню, беседовали с поваром, показали, где установить доставленный самолетом контейнер с продуктами. Еще за сутки до этого администрация гидроузла в десятый раз проверяла объекты и документацию.

Зарной прибыл поездом. В обед...

А ведь вместе с Аркашкой Зарным гонял когда-то Борис Орлов по стадиону; вместе — койка к койке, тумбочка к тумбочке — спали в молодежном общежитии, обоих за их активность выдвигал коллектив типографии на общественные посты. Ничего такого уж особенного не было в Аркадии. Членом райкома комсомола Борис стал раньше, чем он. И в члены горкома попал Борис первым. Когда Аркадий уехал по спецнабору в Москву на учебу, он вообще словно сгинул, а с конца войны выплыл, пошел вдруг и пошел в такую гору, что для Орлова страшным стало само имя — Зарной. В Ростове не появлялся. Орлов, когда работал в области, знал, что пролетал Зарной то в Кисловодск, то в Цхалтубо, приводя областное руководство в состояние готовности номер один, но никогда не останавливаясь. И вот — на тебе! — лично на стройке. Три часа уж здесь...

Борис Никитич сидел в исполкоме, обдумывал, как поступить. Смешалось. Света он не включал, секретаршу отправил. Звонить Аркадию Филипповичу из квартиры не хотел из-за Ольги. Смотри, попадешь со звонком в оскорбительное положение. Хоть Ольга все понимает, но лучше не при ней это... Звонить днем было преждевременно: Зарной, конечно, принимал с дороги ванну, отдыхал. Звонить позднее тоже нельзя: часы ужина. С завтрашнего дня вообще не поймает: начнет ездить. Время только сейчас.

Борис Никитич закурил и, прежде чем взять трубку телефона, засмеялся в пустом кабинете. Смех нужен был для настроения, чтоб, когда заговоришь, адъютант на том конце провода услышал бы в голосе улыбку, не уловил бы ничего натянутого, а, наоборот, такую привычную в адрес шефа уверенность, что побоялся бы отказать и поднес бы телефон к шефу.

Все, что делал в жизни Орлов, он делал для партии; для нее и сейчас готовился к разговору. Это было не просто. В случае, если адъютант передаст трубку и ее возьмет сам Зарной, назвать его Аркашей, даже Аркадием было рискованно. Назвать по высокой его должности — значило самому оборвать былую дружбу, сразу расставить каждого по местам. Оставалось имя-отчество, а лучше, до первых ответных слов, которые определяют отношения, обойтись без всего — *назвать* себя. А как здо-

роваться? «Здравствуй» — по собственному почину устанавливало отчуждающее «вы». «Здравствуй» — Зарной может счесть панибратством, взорваться. Нейтральное «Привет» — еще хуже, совсем панибратская, даже разухабистая форма. Надо нечто достойное и одновременно гостеприимное: «На донской земле приветствует Орлов». Хорошо бы «Борис Орлов». А может, рискнуть: «Приветствует Длинный». Все друзья, Аркашка первый, называли Бориса в эпоху общежития Длинным...

Борис Никитич сидел за столом подтянуто, прямо. Голиков, этот школяр со спичками, скачущий по сеновалу, должен быть выгнан. Колхозы должны из орущих толп снова превратиться в колхозы, немедленно ехать, куда им рекомендуют. Он, Орлов, должен наладить переселение и возвратиться в областной центр, где принесет настоящую пользу. Этой пользе Орлов отдавал молодость и зрелые годы; не задумываясь, отдаст последнее предсмертное дыхание.

Телефонная трубка лежала на рычажках, способная за секунду разговора и вознести и раздавить. Может просто рывкнуть: «Уехал...» Может ясно объявить, что ты вышел в тираж, ты уже ноль: «А кто спрашивает?» И через минуту тишины, в течение которой фамилия просителя докладывается хозяину, ответить нагло: «Он занят». Молодые адъютанты всегда наглые и мгновенно схватывают, с кем говорят...

Орлов позвонил. Все было точно: отозвался молодой наглый голос, но Орлов владел собой, вроде только что смеявшись, сказал, что Аркадия Филипповича просит друг детства... Мембрана потрескивала, трубку, вероятно, прикрывали ладонью, на том конце провода шла работа. Когда прозвучало хозяйское «да», Орлов громко сказал, что приветствует гостя на земле тихого Дона, назвал себя Борькой Длинным и, по наитию вспомнив бузотерское словечко «кшпромта», что когда-то означало неожиданную гулянку, экспромт, со смехом назвал это слово.

— А-а-а! — загремело в трубке, и этот заслуженный, подготовленный Орловым гром был сладостен.

— Значит, «кшпромта»?! — гремела мембрана.— Ты, брат, откуда? Да ты, чертушка, кто ж теперь такой?

Орлов еще до звонка решил не касаться по телефону этого вопроса. Сообщи до срока, что сидишь на районе, — и, гляди, крышка. С той же бодростью, что Зарной, он прокричал, что, увидясь, все доложит.

— Ну давай уж, давай сюда! Машина-то при тебе?

2

Митинг, посвященный наливу моря, шел четко. Речи руководителей перемежались сбивчиво читаемыми речами ударников. Но зато выступления ударников были короткими; слушатели сочувствовали ненаторенным голосам, бледнеющим в первые мгновения лицам. Люди стояли так плотно, что от трибуны и вниз, до самых берегов, мог бы, не проваливаясь, катиться по головам шар, как катились возбужденные возгласы: «Ста-алин, Ста-а-а-алин!», переходя на усыпанных народом эстакадах в боевое, похожее на «ура» наступающих батальонов: «А-а-а, А-а-а-а!!»

Сталин, в военной форме, нестареющий, смотрел с портретов, поднятый над полями голов. Он высился и далеко над эстакадами, изображенный на полотнищах каждое высотой в полтора и в два этажа. Натянутые на свежеструганые сосновые бревна, кажущиеся снизу тонкими планками, полотнища просвечивались небом, сквозь них виднелась свежая древесина рам.

Митинги здесь любили. Привыкнув во вторую половину войны к салютам, люди по инерции и теперь жаждали правительственных сооб-

щений, наград, заслуженного грома речей; весь гидроузел вспыхивал знаменами, оглушался оркестрами, когда перекрывали Дон или закладывали шлюзы. Сейчас праздновался первый шаг в заполнении «морской чаши», а то, что заподнение началось давно, было еще лучше — являлось перевыполнением! Страна не знала этого, а митингующие знали, это было их производственным секретом, радовало их — и стоящих у трибуны, и тех, кто тысячами громоздился на эстакадах, на лесах. Все с душевным трепетом, до хрипоты кричали имя вождя, аплодировали; операторы кинохроники снимали и людей внизу, и направляли аппараты вверх на далекие «живописные» группы создателей моря.

Начало моря — нагромождение льда — отблескивало там, где неделю назад зиял котлован, стояли конторы, в которых вчера щелкали счеты и проводили совещания. Заборы, склады, гаражи, купы верб были вчера снесены, земляные откосы плотины забетонированы, и с берегов потягивало кислотавым запахом сырого бетона и широкой воды. Перемычка, недавно отделявшая котлован от наливающегося в верховьях моря, была размыта, лишь в одном месте виднелся ее гребень; команда стахановского земснаряда переволакивала через гребень трубу.

Включение трубы намечалось как символическое открытие затопления. Шестилетняя дочка знатнейшего экскаваторщика Залесова стояла на трибуне перед красной лентой, как бы отгораживающей трибуну от земснаряда и самой перемычки. В руку девчужке сунули ножницы, на растерянное и радостное круглое личико были направлены кинокамеры, рефлекторы, серебряные щиты-подсветки.

Орлов любовался всем этим, слышал аплодисменты, несмолкаемые возгласы ликования, видел над эстакадами, над строительными лесами изображение вождей — полотнища, просвеченные небом, вздутые весенним ветром. Зримые паруса истории. Для этого стоило работать!.. Орлов находился на трибуне в числе полутораста человек. Стоял он, правда, не спереди, а в самом заднем ряду, но все же благодаря Зарному был здесь. Высокий рост Орлова позволял ему просматривать через головы крутой затылок тоже высокого, как и он, Зарного, окруженный затылками секретарей Ростовского и Сталинградского обкомов и приехавших на митинг, вернее, на свидание с Зарным соседей — секретарей Кубани и Ставрополя. Правее и левее их виднелись начальник гидроузла, начальник МГБ области, командующий войсками округа.

То, что было позавчера на встрече с Зарным, в деталях стояло в душе Орлова. Да, бывшее комсомольское товарищество — не фунт изюма. Цеховые спецовочки, залосненные до свинцового блеска, чудачества по дороге на комсомольскую пасху, когда в ночном городе поют колокола старого мира, а ребята с девчонками наперекор им с присвистом горланят: «Сергей поп, Сергей поп, Сергей дьякон и дьячок», — этого из души не вытравишь!! Это и спаяло позавчера Орлова с Зарным — уже не молодых, уже не по ребячьему задору, а по строгой профессии шагающих наперекор старому миру. И пусть Зарной не бросился в передней к Орлову, когда молодой шеголеватый майор снимал с гостя пальто и брал из его рук каракулеву папаху, но в зале с открытыми в другие комнаты дверями Зарной взял его за плечи, опять рассмеялся слову «кшпромта».

— Ну, так кто ж ты теперь-то? — расцеловавшись прижатием надушенной после бритвы щеки к скуле Орлова, спросил он. — А я думаю, кто это мне звонить?

Он смачно поставил на конце мягкий знак, как всегда и раньше поростовски ставил мягкий знак в словах «едет», «идет», «звонит»; и в этом, в сонноватых, освеженных встречах глазах Зарного, в его ничуть

не министерских — это ему не нужно! — движениях, Орлов видел силу. Зарной, как прежде, говорил тенором, мальчишески высоко, хотя потучнел не только телом, но даже носом и лбом. Он завистливо поддел пальцем Орлова под сухой живот.

— А тебе к лицу такой экстерьер! Областным спортом, что ли, управляешь?

То, что Орлов управлял лишь районным исполкомом и запросто об этом доложил, оказалось в этой встрече среди бесшумной obsługi, накрывающей стол, даже хорошо, располагало Зарного к шефству.

— И не написал мне! — укорил он, но почему-то враз сменил и серьезность лица, и тему, кивнул в сторону прихожей, где висела папаха Орлова, смешливо сощурился, поинтересовался: — В полковничках воевал аль в генералах?..

И поинтересовался ведь, безошибочно определив (черт-те как, кожей, что ли, ощущая?), что Борис не воевал, фронта не видел.

Но Зарной отбросил и это, весело заговорил о ребяческом прошлом. Он привычно ткнул конец серебряно-блесткой жесткой салфетки за ворот кителя и говорил, не обращая внимания — будто его и нет здесь — на адъютанта, который, полувытянувшись, наливал коньяк сперва, по этикету, гостю, потом хозяину.

Аркадий взволнованно расспрашивал Бориса о типографии, о ребятах, удивлялся, что Ольга из пятого цеха, девчонка, за которой Аркадий ухаживал, теперь жена Бориса, что Нинка — вторая юношеская любовь Аркадия — до сих пор на той же фабрике, у того же станка, что братва при встречах до сих пор вспоминает триумф типографии, когда Аркадий на городских соревнованиях зафинтилил диск на сорок пять метров.

Орлов отстал в своей трущобе от новых московских правил. Оказывалось, по этим правилам деловые люди говорят о деле легко, как бы в двадцатую очередь... Оказывалось, они подходят к главным вопросам после всех перебранных в разговоре мелочей; и он, уже не веря, что Зарной помнит о его беде, о невысокой его должности, уже сам решив заговорить о деле, ожидая лишь момента, был счастлив, когда Зарной неожиданно произнес:

— Так что ж у тебя, райисполкомовец, в твоей жизни получается?

Борис Никитич не стал докучать, распространяться о Голикове.

В тридцатые годы был в их компании паренек в пенсне и галстук. Венька Карпов, по прозвищу Зюзик. Из рабочих, а бузотер невиданный — налетал вдруг с выпученными глазами даже на управляющего, на весь старобольшевистский треугольник типографии. И все просто так, для бузотерской пыли и показа «храбрости». Рассорит треугольник с комсомольской организацией, обрежет тем самым финансовые ассигнования комсомолу, да еще требует потом у ребят признания, что правильно бунтовал, еще и дрожит потом от запала, протирает взмокшее пенсне на пружинках. Именно Аркадий, хоть это было сложно, хоть в самом горьком носились с критикующим всех очкарем, разгромил его, Зюзика, на районной конференции, даже выпустил термин: «зюзиковщина».

— Кто ж тебе все-таки поперек дороги? — прижимая пальцем выпадающую салфетку, повторил Аркадий Филиппович.

Орлов помолчал. Неторопливо ответил, усвоив московский стиль разговора, что мешает ему новоявленный Зюзик, и Аркадий Филиппович расхохотался тенористым хохотом, обрадовался Зюзика больше, чем «кшпромте».

— Ты, брат, кругом не промах. Ох, диплома-а-ат!! Ну, докладывай про своего Зюзика.

Докладывая, Орлов видел: Зарной доброй половине не верит, как не поверил, конечно, в восторги типографских «ребят», что при встречах до сих пор переживают спортивные Аркашкины рекорды. Но то было не важно, то шло на сердечной дружеской волне полувыводок, полуправды. Теперь было серьезней. Слушая о Голикове, Зарной посапывал; его глаза, глядящие на любое дело минимум с десяти противоположных углов, не загорались гневом Орлова. Наоборот. Впуская в уши одно, Зарной явно перерабатывал его в другое. Кроме того, в нем всегда было мамино сердце: ведь он, разгромив «зюзевщину», все же голосовал против исключения Зюзика и, если честно вспоминать, не очень дружил с Борисом. Собственно, вообще не дружил.

Наверно, перемену в хозяине уловил и адъютант, и когда Борис Никитич, вообще-то не пьющий, отхлебнул во время рассказа из рюмки, — адъютант хотя и долил ему, но Борис Никитич отметил, что сделал это холодно.

Но все это не тревожило Орлова, ибо шеф, государственный человек, не мог возражать против сверхдосрочной, сверхскоростной очистки дна, которую тормозил Голиков.

3

Сейчас, стоя на трибуне, Борис Никитич отдавался празднику, организованному с размахом, с присущей всенародному строительству широтой. Победа была заслужена массами, и они — простые советские люди — праздновали победу, салютая пушечными возгласами при здравницах вождю, заглушая криками четыре духовых оркестра, сведенных вместе. Они воинственно вздымали лозунги: «Миру — мир», «Мир во всем мире», «Сталин — это Мир». Они выпускали птиц мира — голубей; за нехваткой белых бросали в воздух сизых, которых в детстве Борис, как все мальцы-голубятники, называл джюкарями и даже совсем презрительно псюгарями, но которые теперь тоже воевали за мир. Их выпускали пионеры — проходящие отряды ребят, для которых-то и создавалось море, которое являя собой не абстрактное будущее, а совершенно живое и осязаемое, шагающее перед трибуной, самим своим существованием оправдывающее любые действия отцов, необходимые будущему.

Временами Орлов смотрел на затылок Зарного. Этот затылок хранил верность дорогим Орлову пролетарским традициям — был четко подстрижен, как подстригались в тридцатые годы в Ростове все рабочие и весь комсомол и ответственные партийцы. Линия на границе выбритой шеи Зарного была ровной, углы — строго прямые, околыш фуражки — празднично-яркий и, видать, жесткий — подчеркивал строгость. Затылки секретарей обкомов не отличались этой четкостью, особенно белокурый, волнистый, по-студенчески вольный затылок первого ростовского секретаря. Этого первого, недавно присланного с Урала, молодого, заслуженного, Орлов не выносил, знал, что первый — новоиспеченный народник, любит таких, как Голиков, Конкин, даже писух вроде Фрянсковой, которая — извольте любоваться! — лично трезвонила ему по телефонам... Было известно, что он и на Урале и в Ростове посещал заводские столы, бывал в университете на лекциях. Демагогические штучки вроде голиковских. Интересно, имеет первый руку в Москве?.. Теперь, если бы Зарной поддержал Бориса Никитича открыто, можно бы обнародовать неблагоприятие в районе, стукнуть первого, напомнить, что порядок есть порядок.

Секундами Орлова охватывали сомнения: поддержит ли его Зарной, заговорит ли вообще Аркадий о его деле?.. Если нет — беда. Ар-

кадий уже отдал дань былому товариществу, воспоминаниям, и Орлов ощущал: второй встречи, да еще на таком уровне, больше не добиться. Но все же опять-таки волноваться не стоило, поскольку вопрос, хотя и мелкий для Аркадия, все же касался его, Аркадия,— и, значит, разговор, пусть в десятую, в сотую очередь, а состояться должен.

4

Борис Никитич не ошибся.

По ходу митинга Зарной порою делал движение, точнее, начало движения головой в чью-либо сторону, и товарищ, к которому это адресовалось, упрямая Зарной, подвигался сам, стараясь сделать это без суетливой спешки, а уж не дай бог — излишней медлительности. Только первый держался с Зарным на равных, по молодости или по глупости не учитывая дистанции, чему Зарной, к удивлению окружающих—будто не придавая значения манерам первого,— отвечал благодушной, даже поощряющей улыбкой.

О деле Орлова заговорил Аркадий Филиппович в конце митинга, в то время, как от имени переселенцев выступал хуторской старик с роскошной, окладистой, белой, как горностаи, бородой. Попавший на трибуну благодаря этой бороде, заранее проинструктированный явиться в казачьей фуражке и чекмене, старик подставлял себя стрекочущей, вплотную направленной на него сразу всей киносъёмочной технике. Когда он, понимающий, что надо, с поднятием руки, с ораторскими паузами зычно провозгласил, что из «своего» затопляемого гнезда, ликуя, поедет «хуч даже нонеча»,— Зарной заметил секретарям обкомов, что «нонеча»-то, конечно, не «нонеча», но в сроках всеобщего переезда действительно разобраться следует.

Вероятно, в шутку он особо сочно приляпал мягкий знак.

Показывая, как разобраться, на чьей именно быть стороне, сказал первому:

— Завидую вам, богато живете. Такого спеца, как Орлов, держите не в Ростове. Да еще уськаете его этим Голышевым или Голькиным.

Видя, как первый вызывающе вскинулся — заведет небось, чудак-рыбак, дебаты,— Зарной глазами пригласил к разговору остальных секретарей и добавил:

— Датой очистки, чтоб вы, братцы, знали, интересуются т а м!

Он обминул грудь первого, взял за пуговицу Игоря Ивановича Капитонова, третьего ростовского секретаря, девичье-тенористо сказал всем:

— В общем, сами, сами разберитесь. Пожалуйте ж сюда, Игорь Иванович, на районную партконференцию, и разберитесь.

Глава тринадцатая

1

Любовь Валентина Голубова, когда ушла Катерина, выросла вдесятеро. Ночами, сунув под затылок руки, он лежал на своей цветной тугой подушке — такой громадной, что Катерина в счастливые времена новоселья называла ее колхозно-совхозной периной и, прежде чем лечь, со смехом вминала кулаками гнездо для головы.

Теперь Голубов пускал в дом ласковых бабенок, что рвались к нему по старой памяти, задолго до Катерины валялись на этой подушке. В коммунисте Голубове такое обстоятельство не вызывало сомнений. Наизусть зная лекции о пользе высокой нравственности, равно как о вреде

пьянства, Валентин самоотверженно воевал за колхоз, за его конкретные планы, а лекции считал «теорией». Уходя за полночь, очередная краля по-бабьи душевно обихоживала комнату, нагревала чугуны воды, стирала дружку белье, а когда захлопывала за собой дверь, Голубов с яростью ощущал: ничто не перечеркивает мыслей о жене. Все казалось — она рядом. Протяни руку, и она возьмет, станет гладить бескровные от ранения пальцы, прижмет их к щеке, чтоб выгнуть, — и они начнут отходить, чувствовать ее щеку... Голубов матерился, пытался спать.

Говорят, сонный мозг отражает дневные мысли. Голубову же, когда засыпал, снилось, что он мальчонок, что под ногами зеленые кудрявые лужайки — такие нежные, до слез ласковые, каких не видел он ни в детстве, ни во взрослые годы. Мерещилось многое, всякое, и никогда — Катерина. Лишь раз появилась — такая живая, явственная, что он рванулся, спугнул сон. Он поспешно точно так же уткнул лицо в угол одеяла, сжал веки, сился сжимать без напряжения, естественно, но Катерина не вернулась.

По утрам он надраивал сапоги, зачесывал облитую шевелюру, с которой капало на плечи кожанки, и, посвистывая, выходил на работу. Теперь работа спасала его больше, чем во времена жены. Тогда была надежда вернуться в дом и застать вдруг Катерину доброй. Теперь это отпало, а без надежд было нельзя, и он жил для идеи, для прекрасного будущего, которое даже неизвестно, достанется ли ему. Это было вроде веры в бога, которому некогда служили подвижники, не вымаливая себе ни хором, ни чинов, а лишь отдавая себя. Не будь стройки, Валентину б не вынести. Разве заменишь рухнувшую любовь такими вещами, как снижение на фермах яловости или удлинение лактации?.. Волго-Дон же все превращал в великое, требуя не просто снижать яловость, а делать это для завтрашнего расцвета. Для того же требовалось спешить и на курсы, и в правление, и на партбюро, и к соседям — в хутор Червленов, где с легкой руки Конкина тоже открылись курсы, нуждались в голубовском энтузиазме.

* * *

Сегодня Валентин вышел особенно быстро, так как на завтра был объявлен очередной этап переселения — выплата подъемных. Хотя Кореновка давным-давно была колхозом, деньги для хуторян оставались делом кровным; и дисциплину на завтрашней выплате следовало обеспечить заранее. Голубов шагал по звонкой от морозца дороге, с хода ответил на приветствие Ивахненко, стоявшего в своем дворе, но Ивахненко окликнул, пошел к калитке.

Занимался он зарядкой, был в тоненькой майке. Руки и плечи, удивительные своей голизной на фоне снега, были жирноватыми, но тугими, соски, острые от стужи, темнели под белой майкой, и весь он, едва морщинистый, красивый, с усами над сочной красной губой, походил на любимца публики — борца, ныне — тренера заслуженной команды.

— Так, сосед, и не вертается жинка? — в упор спросил он.

В войну, когда лейтенанту Голубову случалось допрашивать фашистов, он ненавидел их лютейшей, сжигающей ненавистью, но иных, особенно одного — черномазого мелкорослого летчика, который и под расстрелом глядел принципиально прямо, — Голубов уважал. К Ивахненко же испытывал особую тошнотворную гадливость. Не импортный, свой гад!.. На сельисполкомах, оглядывая ругающегося, вечно невыдержанного Валентина, он благодуще недвусмысленно расплывался... «Я, мол, дорогой мой Валентин Егорыч, хоть вне рядов, а по части дисциплинки дам тебе любое очко. Надо признать, что сейчас, при этом вот солнце, не

день, а ночь, — пож-жалуйста, признаю!» Когда во время заседаний весь народ орал, что машины на пахоте простаивают, а запчастей нет, он острил: «На точку не забросили», — и вроде удивленный, по-шутовски разводил руками. Дескать, с чего это люди чернят действительность?..

Если б стенографировать заседания, то весь сельсовет выглядел бы черным, а кристальным лишь Ивахненко. Ведь улыбочки — не криминал. Не криминал и веселенькие сочные глаза, полные надо всеми превосходства. Да в чем он, падло, превосходит?! В беспартийности, которую носит точно орден? Беспартийный директор, беспартийный депутат. Удивительно, как можно даже из беспартийности делать бизнес!

И все же, услышав деловитый вопрос о жене, Валентин замер. А что, если Ивахненко, выдавший-перевыдавший баб, объяснит что-то, чего он, Валентин, не знает в женском сердце и вдруг поймет? Может, откроет, что только один он, Валентин Голубов, исключительно один во всем нововат и, значит, немедля ринется за ней хоть на край света, исправит!..

Он осилил волнение. Чтоб не заговорить сразу, кивнул на лежащую в снегу гирию-двухпудовик:

— Играешься?

Ивахненко ухмыльнулся, взялся за чугунное ушко, сперва не дергая, а как бы морально прилаживаясь. Оторвав, качнул меж ногами, подкинул. Гирия кувыркнулась, мелькнула ушком, и Ивахненко с выдохом цапнул на лету наполированное ушко, стал кидать и ловить, ляская ладонью по металлу, словно по голой коже, перехватывая в воздухе с руки на руку. Гладкая, выбритая его шея стала блестящей.

«Трахнуть бы по этой шее! — думал Голубов и спрашивал себя: — А все-таки за что? Ивахненко — диверсант? Нет. Складов не взрывает. Отличный директор молкомбината. Нужен ему аденауэровский режим? Тоже нет. Он и здесь свой. Ему, как амебе, безразлично — Пентагон над ним или сам батько Махно. Была б кормовая среда...»

Ивахненко смачно ляскал по гире, будто доказывая, что освоил здешнюю кормовую среду, что от сытости ему радостно выигрывать.

Из его подмышек пахло мускусом, запахи ударили толчками в ритм движениям. Наконец задержал, бросил гирию — и она боднула лед, оставила вмятую чашу.

— Не вертается жинка? — повторил он и дружелюбно — мужчине мужчине — сказал: — Разве им душа нужна или твоя философия с теорией? Им, милый сосед, случка нужна.

Он разминался, вздымая руки, открывая дремучую, баню распаренную волосню.

— Я любую вткну сюда носом, жиману, чтоб аж затрещала, — и безо всяких теорий. Они ж голько это и любят, какие б ни интеллигентные.

Валентин растерялся. От растерянности деля с Ивахненко его улыбку, он произнес что-то вроде: «Будь здоров, я пошел». Но Ивахненко, со вкусом пошевеливая на вздохах потными мускулами, заступил дорогу.

— Я до тебя, Егорыч, с реляцией... На завтрашной выплате получить мне собачьи слезы за мой сад. Заактирован-то он как бессортный... Для исправления требуется бумажка, что деревья у меня — элита-мичуринки.

По-свойски доверительно, совершенно открыто и весело он смотрел Валентину в глаза, балагурил:

— Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек!.. Так под бумажкой требуются подписи сельсовета, правления, соседей. А ты, Валя, как бог, един в трех лицах: правленец, сельсоветчик, сосед.

Перехватив движение Голубова, быстро, ловко наступил на гирию:

— Не балуй.

— Т-ты... Мне?.. Мне предлагаешь, сволочь, жульничать?..

— Промашку дал,— констатировал Ивахненко.— Думал, баш на баш. Ты мне, я тебе. Но ты, Валентин Егорович, насчет жинки не убивайся. Продолжай утешаться с молодыми колхозницами, что каждую ночь до тебя ходят. Только записывай на память процент комсомолок... Да ты чего нервничаешь? — удивился он, охлопывая подсыхающее тело, пригарцовывая на морозе.— Что ж я, сразу двинусь до Черенковой в партбюро? Или, не дождав и дней двух, поеду в район? Поехать — так ты выговорком, даже с занесением в учетную, разве отделаешься?..

* * *

Завтрашнюю выплату наметили в клубе, собирали актив, вывесили лозунги, еще раз прошли по дворам, оповещая жителей, а вечером толкнулся Валентин Егорович в кабинет Любы.

Несмотря на уйму проведенных предвыплатных дел, до сих пор дергало с утра щеку. Еще в обед составил на себя заявление партийному бюро, изложил свои дела по женской части. Писалось трудно. О чем было писать? Что он, когда прижали хвоста, раскаялся? Да не кается ни полграмм! Семья он рушит, что ли? Или дев дрожащих обижает? Да разведенкам обида, когда и пальцем не тронешь. Вот где кровная обида. А что Ивахненко гирей не шмякнул — об этом жалеет!!!

Так и написал. Эх, покалякать бы теперь с Конкиным!.. Но его не было, а выговориться было необходимо. При Степане Степаныче тут, в кабинете, стояла для посетителей обрезанная гильза снаряда — пепельница; теперь на ее месте — баночка с водой, с ветками, набухшими в тепле.

— Я, Люба, закурю,— опускаясь на посетительскую скамейку, сказал Голубов.— Для кого,— спросил он,— мы бьемся, Люба? Для потомков? А какие они, потомки?.. Представь тридцатую, например, пятилетку... В розах, в лилиях высится мраморный павильон, и отдыхает в нем потомок моего возраста. Нежный, упитанный. Ведь ни пороха не нюхает, ни беды не глотает никакой. Закинул ногу за ногу и говорит: «Я тебя, Голубов, не просил строить для меня ГЭС. Мне твоя ГЭС до лампочки»... А я, Люба, для этого типа тружусь! А?! Я-то — ерунда, но ведь с древности величайшие гении работали на потомков, хотя бы на тот же хутор Кореновский. Верили, что любой кореновец лучше их будет. За Ивахненка жизнь отдавал Галилей, шагал на костер за эту амебу, за паразита этого!

Голубов с раздражением заметил: его излияния не трогают Фрянскову, смотрит она молчаливо, тупо. Какая-то овца бесчувственная...

Вчера выдала Люба справку явившемуся сюда Василию. Собственноручно вывела на бланке, что сельсовет не возражает против отъезда на всенародную стройку Василия Дмитриевича Фрянскова. Он вчера и отбыл, а сейчас на этой же скамье, будто по волшебству, сидит Голубов!.. Его глаза — всегда ярко-синие — теперь, с отъездом жены, побелели, словно вытравились кислотой, и это терзало Любу ревностью. Ревность смешивалась с ужасом, с ликованием, что Голубов здесь, дышит одним с нею воздухом,— и от всего этого пропали слова.

Голубов привык к бабочкам опытным, ему был чужд мир Любы, в которой никогда не замечал он молодуху, видел лишь сельсоветчика, правда, за последнее время исполнительного, и он сказал исполнительному сельсоветчику:

— Тот, что в мраморном павильоне, не вспомнит никого из нас, кроме как в специальную дату, с трибуны. Сгадает гамузом, не выделит даже Конкина, которому хуже, чем Галилею. Галилея пихали на костер — знает весь мир. А Конкина сгрызут всякие Ивахненки в нашем же хуто-

ре — и концы в воду. Или Голикова Сергея Петровича... Ошельмуют в райцентре, а сора с избы не вынесут.

Глаза Любы расширились.

— Чего выпулилась? Думаешь, Голубов все вокруг глотает и радуется, дурак набитый?.. — Через минуту сказал, растирая лицо, словно умываясь: — А ты знаешь, дурак и есть.

Легкий, длинный, он шагнул к окну, толкнул на улицу створку. Радио над сельсоветом молчало, поздняя улица была беззвучной.

— Не слышишь,— спросил он,— как будущее море шумит? А я каждый вечер слушаю.

Не поворачиваясь, добавил, что даже видит граждан двадцать первого века. Идут они толпой по берегу, рассуждают о предках: «Ишь, плотину нам отгрохали!» Или не идут, а, может, ломают эту плотину, культурно матерятся: «Ох, и напортачили лопухи-предки. Разве так следовало бороться с засухой? А молодцы, все же искали пути!..»

Покинув Совет, Голубов опять загулял, отправился к знакомой, где ждали и поллитровка, и хоть недолгое освобождение от Катерины. Сейчас, за несколько часов до выплаты, он четко создал ответственность за завтрашние мероприятия, но личные его дела от этого не тормозились. Другие кореновские активисты тоже были пропитаны ответственностью, ожидали назавтра всяческих потасовок и тоже не отменяли ни текущие дела, ни посторонние мысли.

Люба убирала в сейф бумаги, думала о свалившемся с неба богатстве — разговоре с Голубовым, знала, что пойдет домой дальними глухими переулками, чтоб никого не встретить, не растрясти счастье.

Настасья Семеновна вязала Тимуру носки. Поблескивая вековыми спицами, обсуждала со свекрухой очередную посылку.

Степан Конкин — пацент районного стационара — дисциплинированно глотал порошки.

Черненкова правила семьей. Задув лампу, услышав бурчание старшей дочери: «Ма, зачем тушишь?» — зыкнула: «Тебе что! Дышать тёмно?» Улегшись, подсунула к себе докуривающего супруга, который заметил: «Ноги у тебя, Даша, холодные». — «Эйшь, горячий! — оборвала Дарья. — А то как пихарну с койки, враз прохолонешься...»

Начальник карьера Илья Андреевич Солод ехал домой после двадцати дней очистки морского дна и размышлял о новой своей жизни.

2

Ехал Солод в кабине громоздкого брянского грузовика с фигуркой медведя на радиаторе. Полузнакомый попутный шофер выпил на дороге, храпел рядом, и Солод сам крутил баранку, был счастлив, что детина дрых, не отрывал от мечтаний, от этой ночи, набегающей навстречу машине по коридору света. Только в детстве была один раз такая же ночь. Впереди светилась церковь, гудела колоколами, маленький Илья, держась одной рукой за огромный спокойный отцовский палец, нес в другой кулич, поставленный на блюде, обернутый вместе с блюдом крахмальной салфеткой, которая белела, сама собою изумительно сверкала в темноте. Илья ступал новыми твердыми ботинками по булыжникам улицы и ждал неизвестного чуда. Может быть, велосипеда на трех колесах, может быть, белых и розовых ангелов, которые вдруг спустятся с небес, со звезд, озарят его и отца прекрасным сиянием... Та ночь сплеталась с этой; завтра, верней, уж сегодня день 8 Марта, и Солод вез в чемодане подарки женщинам Щепетковым.

Еще день назад он запрещал себе мысли о Настасье, теперь же,

когда оставались часы, думал о ней, о близящемся хуторе. Временами спрашивал дорогу, останавливая встречные машины, бессонно бороздящие степь и в сторону стройки, и обратно, идущие в одиночку, колоннами, с грузами, без грузов. Степное зверье, видать, за месяцы Волго-Дона приспособилось к технике. Порою вслед за промчавшейся встречной колонной, в не осевшем еще газе, перед Солодом появлялся выскочивший из темноты зайчишка и, ученый, сразу вырывался из фар, как вырывались и взлетающие с дороги птицы, перед самым стеклом забирающие свечой вверх. Аккумуляторы были свежезаряженными, свет давали резкий, и крылья птиц казались магниевыми-белыми.

Близко к утру начались последние перед Кореновским километры, знакомые до каждой кочки и выбоины, а когда уже в хуторе осветил он шагающего домой Голубова, то стало совсем ясно: приехал.

Не дотянув до щепетковского дома, остановил машину, растолкал шофера, которому газовать дальше, и, разминая ноги, направился к калитке.

Во дворе осмотрелся. Светало. В сарае бляели овцы. Пальма, видимо, отметив долгое отсутствие квартиранта, подбежала радушной, чем всегда, прыгнула, резнула когтями по пуговицам пальто по груди. Солод поглядел на уже светящееся окно кухни, опустил на лед чемоданчик и закурил. Робость? Может, робость, необходимость прежде, чем войдешь, освоиться. Или желание притормозить секунду, которой жил почти месяц.

Из трубы пошел дым: бабка Поля подожгла солому. В занавешенном окне остановилась тень Настасьи. Обязательно ее, потому что печь разжигает только бабка. Солод догадывается, что делает у окна Настасья... Зажав губами шпильки, расчесывает косу; наверно, наклонила в сторону гребня, чуть вперед, голову, смотрит на бабку через волосы, как через ветви, и что-нибудь говорит, держа в углу рта шпильки. Она в ночной крестьянской рубахе, каких не носила жена Солода. Он видел на спинке кровати эту ряднину... В груди Ильи Андреевича бухало, успокоения, чтоб идти в дом, не получалось. Пальма принохивалась к чемоданчику на льду, подозрительно смотрела на Солода — чего, мол, застрял? На бечеве белели мерзлые, вздутые, как баллоны, простыни, и среди них — взятая за рукава на прищепки сорочка Ильи Андреевича. Кто стирал, бабка или Настасья?..

Он прикурил от первой вторую папиросу.

«Жених, туды-ть твою в резину! Тебе б внуков пестовать!..»

По-сволочному быстро промелькнули годы. Только что, перед войной, было тридцать девять, как он пошучивал, «тридцать с хвостиком». Теперь минуло пятьдесят, то есть пошел шестой десяток. И то и другое — игра цифр, но «шестой десяток» звучало паршиво. Не только звучало... Он уже с трудом ходил легкой походкой, ему теперь удобнее было ходить тяжелым шагом. Когда однажды помог Настасье, понес от колодца воду, то уже специально нес так, будто в цибарках всего лишь по килограмму.

Сейчас он войдет и скажет Настасье, что любит. Отзовет в свой залик и там объявит.

В груди бухало резче, идти было надо — вероятно, встала и Ранска, вот-вот раскроются двери дома.

Но раскрылась дверь коровника, появилась Настасья с ведром надоенного молока. Солод шагнул было к дому, потом к ней, потом взял со льда чемоданчик.

— Фуф, напугали,— хрипло сказала Настасья и топнула на потянувшуюся к молоку Пальму.— Неззя!

«Вот сейчас и скажи!» — стреляло в Солоде.

Настасья на весу перехватила ведро в левую руку, освобождая правую, вроде чтоб поздороваться, и нахмурилась.

— Чего в дом не идете?

Под дужкой ведра шапкой стояла молочная пена и, оседая, шипела.

— Давайте ведро поднесу, — произнес Солод.

* * *

В кухне пахло новорожденными ягнятами, они толклись у печи, чистые, как снежки; Раиска стояла возле умывальника в маечке, под которой топорщились детские, меньше абрикосов, груди. Она смущенно, с зубной щеткой за щекой, отвернулась от Ильи Андреевича, а Поля протянула ему руку в фиолетовых узлах и обратилась к Настасье:

— Ай не говорила я! Мне когда радио снится — всегда гость.

Илье Андреевичу налили в таз горячей воды из выварки, он мылся за ситцевой занавеской, презирал, проклинал. Такой упустил момент! Даже руку дать не рискнул. Одни во дворе стояли — и не рискнул, шарахнулся, как ночной заяц.

— А ты, жалкий, когда подзавтракаешь, отдыхать будешь? — спросила Поля.

Он знал, что «жалкий», «болочий» — в хуторе не сострадание, а ласковость, но из-за глупости с Настасьей передернулся, буркнул, что поедет на карьер.

— Тю! Кто там будет на твоих камнях! — воскликнула бабка, стала сообщать про сегодняшнюю выплату за хаты и сады. — Предаем-позорим отцовскую землешку, — взголоснула она, впрочем, довольно формально: видимо, и притерпясь к событиям, и сама не возражая против денег.

— Нонче, как Иуда за святого Христа, ухватим по тридцать серебряников.

Умывшийся Солод косился из-под полотенца в сторону Настасьи, вроде бы любопытствовал ягнятами с их красными потемневшими нитками присохших пуповин, а Поля доказывала ему, как весь хутор — горит он ярким огнем! — исподлужался, говорила, что Раиску, несмысленное дите, и то нонче учить не будут: учителя побегут за сребрениками...

Илья Андреевич положил на стол подарок — привезенную клеенку.

— Это за ту, что ты папиросой прожег? — спросила Поля.

* * *

Настасья забрала ягнят в кошелку, прикинула сверху рядниной, понесла к маткам кормить. Уже в сарае усмехнулась: «Вот и приехал герой...» Пустила ягнят к маткам, оперлась о столб. «Может, пора моя такая, что хоть калеку, хоть последнего пьяницу давай. Баба ведь я. Зойка за стеной — корова! — а и то какой день отбивается от еды, бугая ждет, одиннадцать месяцев не видела. А я сколько не видела!..»

Она нарочито думала грубое, чтоб опоганить, придушить радость встречи. Оголодавшие за ночь ягнята сосали цепку, дрожали хвостами и спинками, поддавали чистенькими носами под грязные материнские брюха.

«Липну к этому хохлу, бесстыжая. Обрадовалась, что кто ни попадай подвернулся, посоветилась бы Раиски. Ведь растет девчонка, на уме уже фокусы. Таки втемяшила себе, что рассчитается за семь классов — и на стройку. Мол, всенародная, перенародная! А не понимает, что там бандюги, что всякое стягнуться может! Мне б девчонкой заниматься, не собой...»

Ягнята поели, их следовало уносить, но Щепеткова стояла, не шла на завтрак. «Отбило от еды, как Зойку». Она рассмеялась. Надо смеять-

ся, чтоб забыть, как схожа она, Настя, с арбузным поздним цветком на убранной уже бахче, на забытой огудине. В солнечный час, может, и опылит его пчела, такая же поздняя, безвременная; возникнет, может, в глубине цветка завязь, а все одно не избежать холодов: приморозится, отпадет завязь вместе с присохшей цветенью...

Вдова... А сколько на свете вдов! В одном Кореновском, считай, в каждой хате.

Ей, Настьке, все-таки лучше других. Командирша! Не абы какая. Из наипервых в районе. А мало. Ой, мало этого. Да не это ж и надо, не от сладкой жизни оно, командирство.

Бабе, ей, конечно, не без интереса поверховодить: характер бабий требует показаться на людях. А дома ей бы — той командирше — хоть минуту в год слабой побыть, младшей, чем ее дети. Слушать слова: «Милая ты», «Лапушка ты». Ей бы руку мужа на груди ночью...

Настасья подержала на изморозной стене ладони, прижала к лицу, чтоб остыло. Пора уж переодеваться да в клуб, на выплату.

(Окончание следует)



БОРИС СЛУЦКИЙ

★

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

Первый день войны. Судьба народа
выступает в виде первой сводки.
Личная моя судьба — повестка
очереди ждет в военкомате.
На вокзал идет за ротой рота.
Сокращается продажа водки.
Окнчательно, и зло, и веско
громяхают формулы команды.

К вечеру ближайший ход событий
ясен для пророка и старухи,
в комнате своей, в засохшем быте,
судорожно заламывающей руки:
пятеро сынов, а внуков — восемь.
Ей, старухе, ясно. Нам — не очень.
Времени для осмысленья просим,
что-то неуверенно пророчим.

Ночь. В Москве учебная тревога,
и старуха призывает бога,
как зовут соседа на бандита:
яростно, немедленно, сердито.
Мы сидим в огромнейшем подвале
Елисеевского магазина.
По тревоге нас сюда соззали.
С потолка свисает осетрина.

Пятеро сынов, а внуков — восемь
получили в этот день повестки,
и старуха призывает бога,
убеждает бога зло и веско.
Вскоре объявляется: тревога —
ложная, готовности проверка,
и старуха, призывая бога,
возвращается в свою каморку.

Днем в военкомате побывали,
записались в добровольцы скопом.
Что-то кончилось
у нас на время.
У старухи — навсегда, навеки.

ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Выходит на сцену последнее из поколений войны —
зачатые второпях и доношенные в отчаянии,
Незнамовы и Непомнящие, Невестъчьисыны,
Безродные и Беспрозованные, Непрошенные и Случайные.

Их одинокие матери, их матери-одиночки
сполна оплатили свои счастливые ночи,
недополучили счастья, переполучили беду,
а нынче их взрослые дети уже у всех на виду.

Выходят на сцену не те, кто стрелял и гранаты бросал,
не те, кого в школах изгрызла бескормица гробовая,
а те, кто в ожесточении пустые груди сосал,
молекулы молока оттуда не добывая.

Войны у них в памяти нету, война у них только в крови,
в глубинах гемоглобинных, в составе костей нетвердых.
Их вытолкнули на свет божий, скомандовали: живи!
В сорок втором, в сорок третьем и сорок четвергом.

Они собираются ныне дополучить сполна
все то, что им при рождении недодала война.
Они ничего не помнят, но чувствуют недодачу.
Они ничего не знают, но чувствуют недобор.
Поэтому все им нужно: знание, правда, удача.
Поэтому жесток и краток отрывистый разговор.

ВОСПОМИНАНИЕ О ВОЕННОЙ ИГРЕ

И это тоже было пережито:
белея, среди синей высоты,
неторопливо
раскрывались
парашюты,
как снятые в кино
(замедленно)
цветы.

Военная игра была игра.
Парашютисты все же разбивались,
и пехотинцы все же с ног сбивались,
играючи с утра и до утра.

Играючи с зари и до зари,
худели и щетиной зарастали,
но все-таки стратеги вырастали,
росли штабные, что ни говори.

Отыгрывалось, отработывалось,
с заката и до раннего рассвета
все то, что позже минами рвало
и карты

перекраивало
света.
Следили атташе нетерпеливо
за всем, что было связано с игрой,
и оседал, как город после взрыва,
медлительный
парашютистов
рой.

Ту давнюю военную игру,
рисковую тяжелую забаву,
на фронте вспоминали ввечеру
за водочкой положенной,
за банкой.

Шли, аккуратные, как поезда,
снаряды
над землянкой в три наката,
и гильза полыхала в полнакала.

Усталые от ратного труда,
сначала потерявшие полмира,
потом отвоевавшие миры,
степенно вспоминали командиры
условия той давнишней игры.

Шумела брань и, выходя на рать,
припоминал с усмешкой полководец,
что это все уже пришлось играть,
и тут же говорил: «Не плюй в колодец».

Древнейшая история советского
периода!
Тридцатые года!

Глаза закроешь — горе не беда,
и парашюты, словно занавески,
неслышно падают на города.
Игра!
И жизнь, как утро, молода!

БЕСПТИЧЬЕ

Оттрепетали те тетерева,
перепелов война испепелила.
Безгласные, немые деревья
в лесах от Сталинграда до Берлина.

В щелях, в окопах выжил человек,
зверье в своих берлогах уцелело,
а птицы все ушли куда-то вверх,
куда-то вправо и куда-то влево.

И лиственные не гласят леса,
и хвойные не рассуждают боры.

Пронзительные птичьи голоса
умолкли.
Смолкли птичьи разговоры.

И этого уже нельзя терпеть.
Полещуку бесптичье хуже казни.
О, если соловей не в силах петь —
ты, сойка, крикни
или ворон каркни!

И вдруг какой-то редкостный и робостный,
какой-то радостный,
забытый много лет назад звукоч:
какой-то «чэк»
какой-то «чэк-чэк-чэк».

СЛАВА САПЕРОВ

«Разминировал. Подпись. Число».
Надпись мелом в гранит переводят
и саперных частей ремесло
навсегда в историю вводят.

Мел в новейшее время сумел
не осыпаться, закрепиться.
Не найти в целом мире тряпицы,
чтоб стереть, истребить этот мел!

И сапер, специальность свою
клявший в четырехлетнем бою,
на болота, на зной, на потемки
смотрит вдруг глазами потомка.

СИЛУЭТ

На площади Маяковского
уже стоял Маяковский —
не бронзовый,
а фанерный,
еще силуэт,
не памятник.

Все памятники — символы.
Все монументы — фантомы.
Фанерные монументы
четырежды символичны.

Поставленный для прикидки
к городу и к миру,
он подлежал замене.
Ему отмерили веку —
недели, а не столетья.

Но два измеренья фанеры,
дрожашие от ветра,

были странно прекрасны
в городе трех измерений.
Два измеренья фанеры
без третьего измеренья
обладали четвертым —
неоспоримым величием.

Ночами его освещали
большими прожекторами,
и скульпторы мерили тени,
отброшенные монументом.

Массивность и бестелесность,
громадность и фантомность —
такое стоило крюку.
Я часто давал его ночью.

Быть может, впервые поэту
поставили то, что надо,
а кроме силуэта,
ему ничего не надо.

А кроме тени черной,
уложенной на асфальте,
не ставьте ничего нам,
нам ничего не ставьте.

ПЕРЕПОХОРОНЫ ХЛЕБНИКОВА

Перепохороны Хлебникова:
стынь, ледынь и холодынь.
Кроме нас, немногих, нет никого.
Холодынь, ледынь и стынь.

С головами непокрытыми
мы склонились над разрытыми
двумя метрами земли:
мы для этого пришли.

Бывший гений, бывший леший,
бывший демон, бывший бог,
Хлебников, давно истлевший:
праха малый колобок.

Вырыли из Новгородчины,
привезли зарыть в Москву.
Перепохороны проще,
чем во сне — здесь, наяву.

Кучка малая людей
знобка жметса к праха кучке,
а январь знобит, злодей:
отмораживает ручки.

Здесь немногие читатели
всех его немногих книг,

трогательные почитатели,
разобравшиеся в них.

Прежде, чем его зарыть,
будем речи говорить,
и покуда не зароем,
непокрытых не покроем
ознобившихся голов:
лысины свои, седины
не покроет ни единый
из собравшихся орлов.

Жмутся старые орлы,
лапками перебирают,
а пока звучат хвалы,
холодынь распробирает.

Сколько зверствовать зиме!
Стой, мгновенье, на мгновенье!
У меня обыкновенье
все фиксировать в уме:

Новодевичье и уши,
красно-синие от стужи,
речи и букетик роз,
и мороз, мороз, мороз!

Нет, покуда я живу,
сколько жить еще ни буду,
возвращения в Москву
Хлебникова

не забуду:
праха — в землю,
звука — в речь.

Буду в памяти беречь.

ТЕРПЕНЬЕ

Привычка привыкать,
терпеть терпенье,
терпеть, как за стеной
соседа терпим пенье,
терпеть, как терпим чад,
столовский запах тошный.

Стерпеть, смолчать
неужто можно?
Когда это войдет
в твои глубины
и в кровь твою войдет
вплоть до гемоглобина
и закипать душа
в ответ не станет,
привычка не спеша
натурой станет.

ПОЛНЫЙ ПОВОРОТ ДИВИЗИИ

Дивизия на сто восемьдесят
градусов поворачивается.
Меняются местами
ее тылы и фронты.
Земля и та с меньшим скрипом,
наверное, оборачивается,
катаясь по бесконечности,
среди родной пустоты.

Меняются огневые
позиции — все до одной.
Копаются километры
окопов полного профиля.
Тылы поворачиваются
фронтальной стороной,
живут в пулеметных точках,
что пулеметчики бросили.

Поворот дивизии
похож на переворот
в средних размеров державе.
Водки и провизии
нужно невпроворот,
чтобы его поддержали.
Плечи нужны,
чтоб тела пулеметов носить.
Речи нужны,
чтоб тяготы лучше сносить.

Сердечники маршируют,
хватаются за сердца.
Над ними скворцы озоруют,
мотаются без конца.
Все, у кого имеются,
смотрят на часы:
на поворот положены
считанные часы.

К семи ноль-ноль утра,
за шестьдесят минут до срока,
командир дивизии
докладывает в корпус
первому:
«Алексей Сергеич!
Повернулись.
Пускай теперь лезут.
У меня все».



АНАТОЛИЙ АРДАТОВ

★

ТАМ, В ПОЧТОВОМ ДВОРЕ...

Там брезенты на грузовиках
треплет ветер. И хлопают дверцы.
Там, в почтовом дворе,
 за рукав
меня детство потрогало, детство.
Голубым почтальоншам пора
в свой обход... Высох дождик вчерашний.
И весы посредине двора
наклоняют тяжелые чаши.
Не смолкает весов этих гул,
утомленные стрелки качаются —
посвящений,
 посылок,
 посул
уточняется вес,
 уточняется.
Громыхая пожарным ведром,
пьют шоферы, багровы от ветра.
Там, в почтовом дворе,
 букварем
были мне адреса на конвертах.
В письмах судят. Желают добра.
Мировые решают вопросы.
И весам посредине двора
поднимать эту ношу не просто.
Двор почтовый:
то солнце, то наледь,
то летучее пенье снегов.
...Если б только смогли мы представить,
что в душе накопилось его...

* * *

На перекрестки сор сносило.
И, влажно ветки теребя,
ночная улица сквозила
неярким снегом октября.

И в этой снежной кутерьме
вокзал прозванивал колонны

и, как мурашки, по стене
бежали буквы неона.

О чем-то окна вопрошали,
глядясь в трамвайный пересверк.
А мы друг друга утешали:
снег октября — еще не снег!

Снег октября скользил по веткам,
в ночные форточки влетал
и, прежде чем совсем померкнуть,
как будто предостерегал...

Лежал на площади вокзальной
поверх скамеек и лотков,
как отблеск тусклый и случайный
к нам подступивших холодов.

Куйбышев.



ОЛЬГА НИКОЛАЕВА

★

НЕ ЛОЖИСЬ НА ТРАВУ

Не ложись на траву —
Я теперь в этих стеблях живу.
И не стой на песке —
Я в осоке, в ее колоске.
Я посеяна в почву,
В сырую ее темноту.
Не лежи на земле —
Я сквозь сердце твое прорасту.

Ты сначала узнаешь
Холодную легкую дрожь,
И захочешь на ливень,
И в реку по горло войдешь.
Потянувшись за солнцем,
Замрешь в нестерпимых слезах:
Это синие горсти
Цветов проступают в глазах.

Узнаю по лицу:
Это ветер разносит пыльцу.
Это носятся осы,
И я тебе горечь несу.
И в тебе мои клубни
И тяжкий букет травяной
Пополам с перегноем —
На вечные веки со мной.

Рига.



ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ,
Герой Советского Союза

★

МОИ ПОЗЫВНЫЕ — РАЕМ*

КРАСНЫЙ ФЛАГ НАД ЗЕМЛЕЙ ФРАНЦА-ИОСИФА

Снова Рождественский бульвар. Дипломатические трудности на Дальнем Севере. Экспедиция на Землю Франца-Иосифа. Особые полномочия начальника экспедиции Отто Юльевича Шмидта. Письмо в Арктический институт. Таким был профессор Самойлович. Из истории ледокола. Первая встреча со Шмидтом. Великолепный триумvirат. Открытие профессора Визе. Бравый солдат Швейк и земля его императора. Аппендицит. Капитан Воронин. Семеро смелых Арктика говорит с Антарктикой. Охота на Земле Франца-Иосифа. Остров Визе. Хочу к полюсу!

ИЗНАЮ почему, но с Рождественским бульваром Москвы связан ряд событий моей жизни. Как читатель уже знает, сюда, в дом № 15, я был доставлен в 1918 году агентами уголовного розыска за недозволенные манипуляции с оружием. Из соседнего дома, № 17, в 1927 году начался мой путь в Нижегородскую лабораторию, а затем на полярную станцию Маточкин Шар. Вот почему я ничуть не удивился, взяв старт на Землю Франца-Иосифа снова отсюда, с Рождественского бульвара.

Произошло это несколько неожиданно, на квартире Георгия Давыдовича Красинского, интеллигентнейшего человека, в прошлом профессионального революционера, крупного знатока Арктики и выдающегося полярного исследователя. В гостях у Красинского за чашкой чая услышал я впервые о предполагаемой экспедиции на Землю Франца-Иосифа.

Я загорелся. Экспедиция обещала стать интересной по многим соображениям, и прежде всего потому, что ей предстояло решить одновременно совсем непохожие друг на друга задачи — научно-исследовательскую и дипломатическую. Столь неожиданные контрасты объяснялись тем, что за годы первой мировой войны, гражданской войны, нэпа Арктикой занимались мало. Не до того было. И подтверждая извечное правило о том, что природа не терпит пустоты, на советском Дальнем Севере активизировались американцы.

Группа американских полярников расположилась на острове Врангеля. Возникла опасность, что незваные гости «привыкнут» к советскому острову, обжижут его и это будет чревато нежелательными последствиями. Как быть? В 1925 году на пароходе «Красный Октябрь» на остров Врангеля направили экспедицию во главе с известным полярником Георгием Алексеевичем Ушаковым.

Экспедиция Ушакова сделала свое дело. Однако опыт ее работы показал — для наведения порядка в Советской Арктике нужны какие-то более решительные меры.

15 апреля 1926 года Советское правительство объявило все земли, находящиеся и могущие быть открытыми к северу от наших европейских и азиатских

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 9, 10 с. г.

берегов — от 32°4'35" восточной долготы до 168°49'35" западной долготы, — принадлежащими Советскому Союзу. Этот декрет распространялся на огромный треугольник, в основании которого лежали северные берега Советского Союза. Восточная сторона — меридиан, проходящий через середину Берингова пролива, западная — меридиан, проходящий через полуостров Рыбачий.

Как и положено в таких случаях, Наркомат иностранных дел СССР разослал ноты правительствам всех заинтересованных государств. Реакция на эти действия оказалась такая — либо полное молчание, либо заявление, что данное правительство резервирует свое мнение по вопросу, затронутому Советским Союзом. В такой сложной обстановке заявление нужно было подтвердить реальными делами. Так возникла идея послать экспедицию на Землю Франца-Иосифа.

Начальником экспедиции был назначен Отто Юльевич Шмидт. В своем первом арктическом походе Шмидт был не только руководителем группы советских ученых и моряков, но одновременно и полномочным представителем Советского правительства с широкими правами и полномочиями (например, он имел право выдавать визы и разрешения иностранцам на временное пребывание на архипелаге).

Как известно, Земля Франца-Иосифа была открыта за столом. Выдающийся ученый и революционер П. А. Кропоткин, анализируя пути полярных течений, не только предположил существование этой земли, но и обозначил ее возможное местоположение. Произошло это после того, как Русское географическое общество поручило Кропоткину разработать план полярной экспедиции. Две с половиной недели работал Кропоткин над планом, отдавая сну не более пяти часов в сутки. Экспедиция не состоялась — не дали средств, — но в процессе работы Кропоткин понял, что к северу от Новой Земли должен существовать остров. На это указывала неподвижность льда, камни, грязь на ледяных полях, направления течений и некоторые другие признаки.

Спустя три года экспедиция австрийцев Вайхпрехта и Пайера добралась до этой земли, дав ей имя австро-венгерского императора Франца-Иосифа.

Время шло. Землю Франца-Иосифа посетили исследователи разных стран: русские, американцы, норвежцы, шотландцы, итальянцы. В 1914 году русский капитан Ислямов поднял на мысе Флора флаг Российской империи. Никто не возражал. Не пыталась подтвердить свои права на этот архипелаг и Австро-Венгрия. Однако стоило нашей стране в 1929 году начать подготовку к экспедиции, чтобы аналогичные попытки немедленно предприняли норвежцы и итальянцы. Сто пятьдесят островов архипелага Земли Франца-Иосифа, 87 процентов поверхности которых вечно покрыты льдом, стали притягательны, как магнит. В этом состязании нам необходимо было опередить соперников. Совершенно ясно: экспедиция обещала быть очень интересной.

По совету Георгия Давыдовича Красинского я немедленно написал письмо в Ленинград директору Института по изучению Севера Рудольфу Лазаревичу Самойловичу. С Рудольфом Лазаревичем я познакомился во время одной из своих зимовок на Новой Земле. И знакомство это запомнил надолго...

Однажды к нашей полярной станции в Маточкином Шаре пришлепал (другого слова, пожалуй, и не подберешь) мотобот. Крохотное суденышко имело такое маленькое помещение, что слово «каюта» звучит по отношению к нему как то неуместно. Даже стоять во весь рост помещение мотобота не позволяло. Более или менее приличный двигатель, никакой радиосвязи. Но тем не менее уютное суденышко обошло такой суровый остров, как Новая Земля. Экипаж его состоял всего лишь из трех или четырех человек. Начальником экспедиции был Самойлович.

Рудольф Лазаревич произвел на меня сильное впечатление. Высокого роста. Фигура борца. Огромная физическая сила. Череп голый, как бильярдный шар. Остатки шевелюры тщательнейшим образом выбриты. Большие круглые очки с очень сильными стеклами. Умница необычайный, с великолепным, мягким характером.

Самойлович — зачинатель многих полярных дел. Поход на мотоботе к Новой Земле не был для него чем-то из ряда вон выходящим. В 1912 году вместе с геологом Русановым горный инженер Самойлович на маленьком суденышке «Геркулес» отправился на Шпицберген. Они искали там уголь, и эти поиски увенчались успехом. Сейчас Шпицберген — норвежская территория, но тем не менее там существует советская концессия. Несколько тысяч советских горняков добывают уголь, некогда найденный Самойловичем и Русановым.

В 1920 году Самойлович организовал первое советское арктическое учреждение. Называлось оно очень скромно — Северная научно-промысловая экспедиция при ВСНХ. В дальнейшем эта экспедиция превратилась в Институт по изучению Севера.

Самойлович — все время в работе, в стремлении к поиску. В 1929 году, когда Рудольф Лазаревич занялся подготовкой экспедиции на Землю Франца-Иосифа, он был уже полярником с мировым именем. Упрочению его авторитета немало способствовали бурные события 1928 года, разыгравшиеся в Арктике. В тот год там произошла катастрофа, всколыхнувшая все человечество. При попытке достичь Северный полюс потерпел катастрофу дирижабль «Италия» под командованием Умберто Нобиле. Спасение участников экспедиции Нобиле стало международным делом. В нем участвовали и советские полярники. На поиски пострадавших вышли советские ледоколы «Красин», «Малыгин» и (это известно гораздо меньше) «Седов». Экспедицией на «Красине» руководил Рудольф Лазаревич Самойлович, на «Малыгине» — Владимир Юльевич Визе, человек, имеющий большое отношение к моей дальнейшей полярной судьбе, о котором я расскажу чуть ниже.

Подводя итоги экспедиции по спасению Нобиле и его товарищей, Р. Л. Самойлович писал: «Поход «Красина» с несомненностью доказал возможность при помощи ледокола преодолевать тот полярный лед, который совершенно недоступен всякому другому судну». Этот вывод и лег в основу организации похода на Землю Франца-Иосифа. Его решено было совершить на ледоколе «Седов», обследовавшем в 1928 году этот район в поисках членов экипажа дирижабля «Италия».

Биография ледокола «Седов», вернее, его службы в русском флоте относится к годам первой мировой войны. Чтобы обеспечить круглогодичные перевозки снарядов и другого военного снаряжения через порты Мурманск и Архангельск, царское правительство приобрело в Англии три ледокольных корабля — «Седов», «Сибиряков», «Русанов». Это были хорошие, крепкие и не очень большие корабли, каждый из которых вписал свои интересные страницы в историю Советской Арктики. Однако, построенные на английских верфях, эти ледоколы в свою очередь ведут родословную из России.

История ледокольного флота начинается в 1864 году, когда кронштадтский купец Бритнев срезал носовую часть парохода «Пайлот», обеспечив судну возможность влезать на лед и проламывать его своей тяжестью. В отличие от других изобретателей, пытавшихся приспособлять для разбивания льда разного рода гири и т. д., Бритнев решил задачу наиболее эффективно и с минимальными конструкторскими трудностями. Не удивительно, что слава о его ледоколе быстро распространилась по Европе. В 1871 году, когда чрезвычайно суровая зима закрыла входы в некоторые европейские порты, немцы приехали в Россию и приобрели у Бритнева чертежи и все необходимые для постройки ледокола данные. Так началось строительство кораблей нового типа, сыгравших серьезную роль в освоении Арктики.

По инициативе адмирала С. О. Макарова были построены мощные ледоколы «Ермак» и «Святогор», совершившие в 1899 году свой знаменитый научно-исследовательский поход в Арктику. Опыт этого похода способствовал покупке у англичан ледокольных кораблей «Седов», «Сибиряков», «Русанов» для проводки в Архангельск караванов судов с военным снаряжением.

Такова краткая история вопроса о выборе ледокола «Седов» для проникновения в Арктику, на Землю Франца-Иосифа.

Письмо Самойловичу не осталось без ответа. Моя кандидатура была признана подходящей. Я выехал в Ленинград и вместе с будущими товарищами по зимовке оказался на Съездовской улице Васильевского острова, где находился Институт по изучению Севера. К тому времени, когда нас пригласили в институт, туда прибыли и Отто Юльевич Шмидт.

Первая встреча со Шмидтом произвела большое впечатление. В комнату вошел человек, облик которого был совершенно необычен. Огромная окладистая борода, волосы пышные, зачесанные назад. Прекрасная шевелюра. Запоминающиеся черты лица, особенно глаза — умные серые глаза, способные принимать десятки разных оттенков. Стоило Шмидту войти в комнату, как тотчас же возникло ощущение, что этот человек все знает, все понимает, все умеет.

Шмидт разговаривал с нами на равных. Мы тоже держались вполне независимо, но, думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый из нас внутренне трепетал и робел. Вполне официально Шмидт сказал в этой беседе, что нам предстоит стать первой сменой самой северной в мире полярной станции, которую поставят на Земле Франца-Иосифа.

И наконец, еще одно знакомство — знакомство с человеком, завершившим тот великолепный триумvirат, которому предстояло возглавить экспедицию, — с Владимиром Юльевичем Визе. Если Рудольф Лазаревич Самойлович был практиком Арктики, то Визе был ее тонким теоретиком. Он написал много книг и статей об Арктике и, подобно Кропоткину, открывшему, не выходя из кабинета, Землю Франца-Иосифа, поставил посередине Карского моря большой знак вопроса, отметив им место предполагаемого острова.

История этого вопросительного знака необычна. Ее следует, пожалуй, исчислять с 1914 года, когда состоялась экспедиция Брусилова на корабле «Святая Анна». В районе острова Ямал «Святую Анну» зажало льдами и неумолимым дрейфом потащило на север. Потом «Святая Анна» попала в тот дрейф, которым в 1937 году нашу льдину с первой станцией «Северный полюс» вынесло на юг, и в конце концов она очутилась в двухстах километрах севернее Земли Франца-Иосифа.

Одиннадцать человек во главе со штурманом Альбановым покинули корабль и пошли на юг. Это был трагический поход. Двести километров по дрейфующему льду. Из одиннадцати человек до земли добрались только двое — штурман Альбанов и один из матросов. Они были подобраны экспедицией Г. Я. Седова и благополучно доставлены домой.

Альбанов привез судовой журнал «Святой Анны», которая пропала без вести. Этот судовой журнал попал в руки Владимира Юльевича Визе. Вот тогда-то, тщательно изучив его, Визе поставил свой вопросительный знак, уверенно предсказав существование здесь острова, группы островов или же очень обширного мелководного пространства. Иначе ученый не мог объяснить некоторых непонятных явлений, связанных с дрейфом «Святой Анны».

Прогноз этот был сделан еще до революции. Много лет вопросительный знак оставался на картах, так как место, где его поставил Владимир Юльевич, находилось вне обычных трасс кораблей.

Таким образом, возможность найти наконец отгадку вопросительного знака сделала для Владимира Юльевича будущую экспедицию особенно притягательной.

Охарактеризовав Визе как теоретика, я совершенно не хотел создать впечатление, что этот теоретик был чужд практике. Владимир Юльевич — участник многих походов, и в том числе знаменитой экспедиции лейтенанта Г. Я. Седова на корабле «Святой Фока», добравшейся примерно до тех же мест, куда должен был доставить и нас ледокол «Седов». Вот на борту «Седова» я и познакомился с Владимиром Юльевичем Визе, одним из немногих седовцев, оставшихся к тому времени в живых. Мне довелось видеть на киноэкране съемки экспедиции

Г. Я. Седова. Среди группы куда-то направившихся лыжников я видел и совсем еще молодого Владимира Юльевича Визе.

Наше знакомство произошло гораздо позднее, когда Визе находился уже в зрелом возрасте. Он произвел на меня впечатление удивительно мягкого и, я бы сказал, даже не интеллигентного, а сверхинтеллигентного человека.

Владимира Юльевича я очень почитал и относился к нему с трепетом. Он был немножечко сутулый, сухощавый, с морщинистым лицом. В волосах постепенно появлялась седина, но это не было заметно, так как она смешивалась с природными светлыми волосами. Говорил он тихим, но очень внятным голосом. Никогда не кипятился. С ним было приятно и хорошо беседовать. И все же разговаривать с Визе мне было трудно. Я понимал, что он очень большой ученый, размышляющий о всяких больших делах, а я по существу сопляк. И если тебе интересно, то это вовсе не значит, что интересно ему. Но никогда никому из собеседников Визе не давал почувствовать своего интеллектуального превосходства.

Я не могу назвать наши взаимоотношения дружбой, потому что я с Владимиром Юльевичем говорил «с придыханием», несмотря на его очень простое, как и у Отто Юльевича Шмидта, обращение с людьми. Они совершенно одинаково разговаривали с академиком, большим партийным работником или рядовым кочегаром: одним и тем же голосом, с одной и той же мимикой, одинаково вежливо. Этому тоже надо учиться, и, к сожалению, не все соблюдают эти правила одинакового обращения с людьми.

С тех пор я считаю своими учителями весь этот великолепный триумvirат— Отто Юльевича Шмидта, Рудольфа Лазаревича Самойловича и Владимира Юльевича Визе.

Итак, Земля Франца-Иосифа! Стрелка жизненного компаса взяла на нее курс. Литература спешила пополнить пробелы в представлениях об этом далеком северном архипелаге. Однако пусть читатель не переоценивает моего усердия. Читал я отнюдь не какие-то высокоученые сочинения, а переведенные на русский язык «Положения бравого солдата Швейка». Разглагольствования по поводу места нашей будущей зимовки вольноопределяющегося Марека, друга Швейка, доставили мне и моим товарищам большое удовольствие:

«Эта единственная австрийская колония может снабдить льдом всю Европу и является крупным экономическим фактором. Конечно, колонизация продвигается медленно, так как колонисты частью вовсе не желают туда ехать, а частью замерзают там. Тем не менее с улучшением климатических условий, в котором очень заинтересованы министерства торговли и иностранных дел, есть надежда, что обширные ледниковые площади будут надлежащим образом использованы. Путем оборудования нескольких отелей туда будут привлечены массы туристов. Необходимо, конечно, проложить туристские тропинки и дорожки между льдинами и нарисовать на ледниках туристские знаки, показывающие дорогу. Единственным затруднением являются эскимосы, которые тормозят работу наших местных органов...

— Не хотят подлецы эскимосы учиться немецкому языку,— продолжал вольноопределяющийся,— хотя министерство просвещения, господин капитан, не останавливаясь перед расходами и человеческими жертвами, выстроило для них школы, причем замерзло пять архитекторов, строителей и...

— Каменщики спаслись,— перебил его Швейк.— Они оогрелись тем, что курили трубки.

— Не все,— возразил вольноопределяющийся,— с двумя случилось несчастье. Они забыли, что надо затягиваться, трубки у них потухли, и пришлось бедняг закопать в лед. Но школу в конце концов все-таки выстроили. Построена она была из ледяных кирпичей с железобетоном. Получается очень прочно. Тогда эскимосы развели вокруг школы костры из обломков затертых льдами торговых

судов и осуществили свой план. Лед, на котором стояла школа, растаял, и вся школа провалилась в море вместе с директором и представителем правительства, который на следующий день должен был присутствовать при торжественном освящении школы. В этот ужасный момент было слышно только, как представитель правительства, находясь уже по горло в воде, крикнул: «Боже, покарай Англию!» Теперь туда, наверное, пошлют войска, чтобы они навели у эскимосов порядок. Само собой, воевать с ними трудно. Больше всего нашему войску будут вредить ихние дрессированные белые медведи.

С небольшим красным томиком «Похождений бравого солдата Швейка», который незадолго до этого выпустило массовым изданием популярное в конце двадцатых — начале тридцатых годов издательство «Зиф» («Земля и фабрика»), я трясся в товарном вагоне. Общество здесь подобралось отменное: свора ездовых собак, группа будущих товарищей по зимовке и несколько архангельских специалистов, которым предстояло участвовать в отправке нашей экспедиции. Мы топились. Времени оставалось мало. Чтобы люди и собаки прибыли вовремя, наш товарный вагон прицепили к пассажирскому поезду.

Мы мчались в Архангельск в нелегких условиях. Пассажирский поезд идет быстро, а наш вагон последний. Мотало нас изрядно. В конце поезда всегда пыль, а так как лето 1929 года было на редкость жарким, то, чтобы люди и собаки не задыхались, обе двери распахнуты настежь. Короче говоря, в Архангельск мы прибыли в предельно грязном и истерзанном виде.

Но все это было бы ерундой, если бы не дополнительная неприятность, обрушившаяся на мою голову. Питались мы в дороге всевозможной дрянью. И молоко пили, и водку пили. Одним словом, в нашем товарном вагоне пили все, кроме керосина. Такая неразборчивость не осталась без последствий. В Архангельск я прибыл с жесточайшим приступом аппендицита.

Больничка, в которую я попал, невелика, мест в ней мало, и потому приняли меня без большого энтузиазма. Помяв немного для порядка мой правый бок, врач сказал:

— Завтра определим точнее, что с вами. Если надо будет — разрежем!

Мест в палатах не хватало. Положили меня в коридоре и даже не переодели в больничное белье, в пресловутые халаты и подштанники с болтающимися по полу тесемками.

Вечерком кто-то из моих спутников зашел оказать мне моральную поддержку:

— Все в порядке, пусть тебя оперируют! Ты не волнуйся, лежи спокойно, — Отто Юльевич уже подыскивает другого радиста.

Ничего себе «лежи спокойно»! Сообщение произвело совершенно обратный эффект. И хотя бок еще болел, я воспользовался тем, что меня не успели переодеть в больничную униформу, и удрал от медицины. На следующее утро с лицом, выражавшим предельную умирогворенность и благополучие, я докладывал Отто Юльевичу, что полностью выздоровел и готов в путь хоть немедленно.

Через несколько дней «Седов» вышел в море. Здесь я познакомился еще с одним человеком, с которым не раз потом сводила меня судьба. На капитанском мостике «Седова» стоял высокий рыжеусый моряк — Владимир Иванович Воронин, командовавший впоследствии «Сибиряковым» и «Челюскиным».

Владимир Иванович — капитан с большим опытом. По происхождению помор, он прошел весь путь от «зуйка», как называли мальчишек-юнг на поморских суденышках, до капитана лучших кораблей полярного флота. Ему довелось видеть всякое. В годы гражданской войны Воронин едва не погиб от пиратского нападения немецкой подводной лодки на пароход «Федор Чижов», где плывал штурманом. Затем участвовал в карских экспедициях. Под командованием Воронина пароход «Пролетарий», имея на буксире баржу «Анна», доставил в Мезень пше-

ницу с Оби. В 1928 году Воронин на «Седове» принял участие в работах по спасению дирижабля «Италия», обследовав западную часть Земли Франца-Иосифа. Плавая за Полярным кругом, «Седов» занимался зверобойным промыслом и ловлей медвежат, поставлявшихся в Германию, знаменитому торговцу зверьями Карлу Гагенбеку.

Под стать Владимиру Ивановичу Воронину был и его первый помощник — Юрий Константинович Хлебников, впоследствии один из известнейших советских полярных капитанов.

Одним словом, как научное, так и мореходное руководство экспедицией было на высоте. Мы уверенно плыли на север, благо ледовая обстановка (в Арктике, как известно, год на год не приходится) складывалась вполне прилично, а научное обоснование движения льда, о котором своевременно информировал капитана Воронина профессор В. Ю. Визе, значительно облегчало капитану продвижение на север.

Путь из Архангельска до острова Гукера мы прошли за неделю. Нам пришлось обходить непреодолимые льды. Ничего не попишешь — лед, конечно, не очень приятен, без этого препятствия кораблю было бы куда легче, но, как говорят полярники: лед — наш хлеб насущный. Не было бы льда, и нам бы в Арктике делать было нечего.

Добравшись до Земли Франца-Иосифа, экспедиция торжественно водрузила на острове Гукера красный флаг. Начались поиски места для зимовки.

В августе 1929 года ледокольный пароход «Георгий Седов» вошел в бухту Тихую. Шуршали раздвигаемые кораблем льдины. Все свободные от вахты люди и семь человек первой смены новой полярной станции сгрудились у бортов. Не было обычных шуток и смеха. Говорили вполголоса. То ли туман съедал звуки, то ли каждый как-то безотчетно понимал, что мы движемся по местам, куда люди стремились много лет.

Пароход стал на якорь как можно ближе к берегу, чтобы ускорить выгрузку.

Круглые сутки было светло, круглые сутки кипела работа.

На берегу с каждым часом увеличивались горы бревен, ящиков и досок, начало выгрузки стало и началом строительства. Как на дрожжах, вырастал самый северный в мире дом.

Седов назвал бухту Тихой, вероятно, в благодарность за то, что льды во время его пребывания не двигались, не атаковали корабль. Но «Седову»-кораблю бухта не подарила того, что в свое время дала Седову-человеку. Она оказалась совсем не тихой. Напором льда ледокол выбросило на прибрежные камни, подняв его примерно на шесть футов выше обычной осадки. И не известно, чем бы закончилось это опасное положение, если бы не изобретательность наших мореходов.

Бригада плотников осталась воздвигать будущую станцию, а «Седов» пошел в Британский канал на обследование многочисленных островов архипелага. В те времена о Земле Франца-Иосифа было известно чрезвычайно мало. Естественно, что нашим ученым хотелось пополнить свои знания.

Поскольку австрийцы попали сюда первыми, названия большинству островов Земли Франца-Иосифа были даны ими. На востоке большой остров — Земля Вильчека, потом мыс Флора, остров Гукера... Австрийцы добрались и до самого северного острова, назвав его в честь эрцгерцога, наследника австро-венгерского престола островом Рудольфа.

Судьба эрцгерцога Рудольфа оказалась незавидной. И не назови Вайхпрехт и Пайер остров его именем, вряд ли кто-либо вспоминал бы сегодня о незадачливом престолонаследнике. Эрцгерцог покончил жизнь самоубийством после интрижки с какой-то шансонеткой. И ее убил, и сам застрелился.

Через некоторое время, примерно недели через две, «Седов» вернулся. Это было трудное возвращение: Британский канал, разделяющий острова Земли

Франца-Иосифа, наполнился льдами. Ледокол вступил с этими льдами в тяжелейшую схватку.

А на станции тем временем шла работа. Шестнадцать архангельских плотников не покладая рук размахивали топорами, воздвигая большой дом будущей зимовки. Здание строилось по коридорной системе — налево двери, направо двери. Если считать с южного входа в дом, то радиостанция была налево, а дверь машинного отделения направо. Сейчас так уже давно не строят, а тогда все было под одной крышей — и жилье, и кухня, и склад со всем нашим имуществом.

К возвращению «Седова» плотники должны были завершить свою работу, заканчивал подготовку к пуску радиостанции и я. Однако «Седов» задерживался. На последние километры уже не хватало сил. И Воронин сказал Шмидту, что лед не позволяет судну подойти к полярной станции.

Друзья рассказывали мне, как в тишине, мгновенно наступившей в кают-компании «Седова», прозвучал голос Отто Юльевича:

— Я, как начальник экспедиции, не могу бросить доверенных мне людей на произвол судьбы. Мы не уйдем от Земли Франца-Иосифа до тех пор, пока я не увижу, что радиостанция построена, что полярники находятся в тепле. Я не дам сигнала к отходу до тех пор, пока не заберу на борт наших строителей. Поэтому сегодня вечером отправляюсь пешком к острову, чтобы все проверить на месте и, если нужно, переправить людей. Вместе со мной пойдут географ Иванов и журналист Громов. Надеюсь, товарищи не откажутся...

Поход, предпринятый Шмидтом, — акт большой гражданственности и незаурядного мужества. Взяв с собой легкий брезентовый каяк, чтобы переплывать льдины, и ненецкие нарты, группа отправилась по направлению скалы Рубини-Рок, захватив еще, кроме географа Иванова, его однофамильца — опытного полярного матроса.

Торосы, трещины, разводья, полыньи, пробитый каяк, едва не затонувший вместе с пассажирами. Четверка Шмидта хлебнула всякого, но тем не менее Отто Юльевич и его товарищи упорно продвигались вперед. Прошли сутки адского напряжения. Разбив палатку и выпив по кружке спирта, измученные путешественники заснули. Они спали, пока их не разбудили призывные гудки ледокола. «Седов» пробился все же к зимовке и послал шлюпку за Шмидтом и его товарищами.

Дом достроили. 31 августа заработала наша радиостанция. Кончилось вековое молчание Земли Франца-Иосифа. Деловито запыхтел двигатель, и первые радиogramмы полетели на Новую Землю. «Седов» стал готовиться к отплытию.

В кают-компании нового дома, пахнущей свежими досками, смолой и сыростью от подсыхающих печей, состоялся маленький прощальный банкет. Владимир Юльевич Визе произнес прекрасные слова напутствия:

— Вас семь человек. Каждый имеет свой характер. Каждому присуще самолюбие. Зная обстановку и быт полярников, хочу посоветовать: спрячьте самолюбие в самый дальний угол. Не забывайте, что у каждого есть мозоли, и старайтесь на эти мозоли не наступать!

«Седов» уходил на Большую землю. Торжественные, немного грустные минуты. Прощальные пароходные гудки. Винтовочный залп. Самая северная в мире полярная станция вступила в строй

Нас осталось всего лишь семь человек, как в известном кинофильме «Семеро смелых», поставленном тогда еще молодым режиссером Сергеем Герасимовым. Разница заключалась главным образом в том, что в фильме была женщина, роль которой исполняла Тамара Макарова, у нас же — одни мужики, так как работа в Арктике сулит женщине слишком много разных трудностей и, на мой взгляд, там лучше обходиться без прекрасной половины рода человеческого.

Начальник нашей станции — очень милый человек, Петр Яковлевич Илляшевич. По внешнему облику он выпадал из нашей компании: был маленького роста, изящен, с грациозной походкой.

Познакомившись с Илляшевичем в Ленинграде перед отъездом в Архангельск, я был поражен его туалетами. Он одевался довольно необычно для того времени. Костюм, белая рубашка, галстук бабочкой, шляпа и тросточка. Был Илляшевич чрезмерно вежлив, чрезмерно интеллигентен в обращении, но мы его слушались. Несмотря на то, что он был немножечко смешной, у нас сложились отличные взаимоотношения. Мы его не обижали, и он нас не обижал. Одним словом, ладили.

Метеоролог Георгий Шашковский был мне знаком по Новой Земле. Огромного роста, очень лирический товарищ, он писал и хорошо читал стихи.

Как и на Маточкином Шаре, Шашковский регулярно вел метеорологические наблюдения, но вместо громоздкого змея с приборами, хорошо поработавшего на Новой Земле, он запускал здесь метеорографы.

Механик наш Михаил Муров — бывший кавалерист, рубака, у него даже шрам на лице. Он был постарше нас и рассказывал всякие лихие кавалерийские истории.

Врач Георгиевский, единственный в нашей семерке член партии, попал на зимовку впервые. Этот милый, невысокий и очень подвижный толстяк деятельно помогал всем во всех работах. Доктор томился от безделья: работой по прямой специальности мы его не обременяли. В основном он лечил покусанных собак, а однажды выдернул мне ноготь, который начал как-то криво расти и причинял неприятности.

Операция, ставшая развлечением для всей зимовки, происходила на глазах многочисленной аудитории. Сбор был полным: врач, я и пять зрителей. Все подавали советы, но доктор этими советами пренебрег, равно как и возможностью анестезии. Он был выше таких мелочей и действовал очень решительно — схватил плоскогубцы и выдернул ноготь.

Публичная операция, которой я подвергся, — не единственное развлечение нашей компании. Патефонов еще не выпускали, но среди взятых с Большой земли культурных аксессуаров был граммофон, настоящий граммофон с огромным растроубом, окрашенным в зеленый и красный цвета. К граммофону подобран был комплект пластинок, который сегодня иначе, как букетом моей бабушки, пожалуй, и не назовешь.

В октябре зашло солнце. Далеко на юге его краешек еще прочерчивал горизонт, затем — несколько дней меркнувшей зари, и все. Наступила полярная ночь.

Работа, книги, миллион домашних дел, частые визиты белых медведей не давали нам предаваться меланхолии и скуке.

Встретили новый, 1930 год, и вот наступил день, ставший событием в моей биографии радиста. День 12 января ничем не отличался от предыдущих. Та же темень, все то же, что вчера, позавчера и месяц назад. Мой коллега с полярной станции Маточкин Шар дал «рдок», что на обычном человеческом языке означало: «Ваша радиограмма принята». Дневной сеанс радиосвязи окончился.

Очередная метеосводка с Земли Франца-Иосифа двинулась на юг, чтобы через некоторое время непонятными для непосвященного значками проявить себя на синоптических картах всего мира.

Можно было, конечно, встать, выключить приемник, задуть керосиновую лампу, просунуть голову в соседнюю дверь, сказав механику: «Шабаш!» — и, не торопясь, по темному коридору пройти на кухню, к повару Володе. Сидя на ящике с макаронами, мы с Володей вели обычно непринужденную беседу о том о сем, причудливо переплетая новости международной жизни с нашими сугубо местными темами.

Однако в этот день, 12 января 1930 года, все сложилось иначе. По долголетней радиолобительской привычке, окончив служебную связь, я решил пошарить в эфире. Сорокаметровый любительский диапазон показался мне пустоватым и

не предвещал ничего особенного. На разные лады свистели, булькали, а то и просто хрипели передатчики радиолюбителей Европы. Обычно они, как мухи на мед, падали на наш вызов, так как в любительском ералаше это был единственный профессиональный позывной. Условный сигнал механику — и после нескольких чиханий двигатель стал набирать обороты. Соответственно накалялась и контрольная лампочка на щитке. Привычным движением включены рубильники, мимолетный взгляд на прибор в антенне — стрелка доползла до нужного деления, все в порядке, можно работать.

— CQ, CQ, CQ! (Что на международном радиоязыке означало: «Всем, всем, всем!») Я — RPX! Я — RPX! Я — RPX!

Работала самая северная в мире станция. Наши радиоволны уходили на юг. Куда они упадут, кто нас услышит, кто нам ответит... В этом и заключался весь интерес, так понятный радиолюбителям. Три минуты однообразного стука на ключе и монотонного шума двигателя.

Я остановил двигатель, и в нашем доме наступила полная тишина. К сожалению, такая же тишина была и в эфире: любители исчезли.

Но «прокрутить» диапазон надо, и я начинал шарить на приемнике. Кстати говоря, это был самодельный трехламповый приемник. Конструкция была ерундовая. Никаких верньеров, замедляющих ход конденсатора. Была просто, по-честному, такая резинка, которая вдевается в трусы, и при помощи этой резинки я и настраивал свой приемник.

С некоторым опозданием нас начинает кто-то звать. Меня это сначала не взволновало: связь с любителями была обычным делом. Но в этом случае характер работы ключом не походил на любительский. Ровно, профессиональной рукой передавался наш позывной. Приемник предельно точно настроен на максимальную слышимость. Слышно не ахти как громко, но все же прилично. А вот и позывной моего корреспондента — WFA. Несколько раз станция дала свой позывной и, пригласив меня ответить, замолчала.

Начинаю звать неизвестного пока собеседника, а сам соображаю, кто бы это мог быть?

Первое: явно не любитель. В любительских позывных всегда имеется какая-либо цифра. Второе: это береговая станция, так как позывные всех судовых станций имеют четыре буквы. И наконец, буква «W» говорит о том, что это американец. А раз так, мы сейчас узнаем, кто нас услышал: международный список всех наземных радиостанций лежит тут же на столе. Правой рукой работаю ключом, а левой листаю справочник, ищу нужный мне позывной.

Увы! Его нет в списке. Что же делать?

Беда не велика. Старательно выстукиваю по-английски: «Здесь советская полярная станция в бухте Тихой на Земле Франца-Иосифа», и задаю вопрос: «Кто вы такой и где вы находитесь?»

Станция незамедлительно ответила: «Дорогой мистер! Очевидно, мы можем поздравить друг друга с установлением мирового рекорда по дальности радиосвязи. С вами работает радиостанция американской антарктической экспедиции адмирала Берда. Поздравляю вас!»

У меня даже мурашки по спине побежали от такой удачи. Начался оживленный обмен сведениями. В лагере экспедиции, именуемой «Маленькая Америка», или «Город холостяков», — сорок два человека. Январь в Антарктике — разгар лета, и погода соответственно летняя — два градуса тепла, густой туман и круглосуточное солнце. Со своей стороны я сообщаю нашу обстановку: ночь, тридцать градусов мороза. Мы сообщили друг другу все, что могло нас интересовать, обменялись взаимными приветствиями и договорились о встрече в эфире на следующий день.

Так была установлена двусторонняя связь между самой северной и самой южной радиостанциями земного шара.

Через несколько лет, просматривая американские журналы, я увидел рекламу, в которой сообщалось: «Адмирал Берд установил связь с Землей Франца-Иосифа только потому, что пользовался изоляторами нашей фирмы! Покупайте изоляторы только у нас!» Вот этого я не знал!..

* * *

Частенько происходила охота на медведей, но романтики единоборства в ней не было — охотились обычно с крыльца. Собаки начинали лаять. Мы хватали винтовки. В доме было жарко, но полы были холодные, поэтому на ногах всегда были валенки. И вот в валенках, ватных штанах и нижних рубашках с закатанными рукавами мы выскакивали на тридцатиградусный мороз. Мы были настолько прогреты, что мороз ощущался как приятная перемена обстановки, — и прямо с крыльца палили по подошедшим медведям.

Медведей было очень много. Это было их царство, в полном смысле слова край непуганых медведей. Сейчас дело обстоит иначе. Сейчас стрелять в медведя разрешается, только если он нападет, потому что поголовье медведей резко снизилось. Тогда же палили полным ходом, и не только мы, но и норвежские промышленники, браконьерствовавшие в летние месяцы в этих водах. Браконьеров приходило на Землю Франца-Иосифа немало, так как и зверя и птицы собиралось тут несметное множество.

Когда бухта летом очищалась от льда, мы отправлялись на охоту. Бухта была обширной. Как раз напротив станции находился очень красивый утес, вернее, даже не утес, а гора с совершенно отвесной стеной. Эта гора называлась Рубини-Рок. Она была покрыта каким-то лишайником и при определенном освещении действительно выглядела, как рубиновая. Рубини-Рок в летнее время собирал мириады прилетающих сюда птиц. Это был грандиозный птичий базар. Там жили десятки тысяч кайр.

И вот мы отправлялись туда на охоту. Был у нас морской тузик — совсем маленькая, но очень крепко сделанная морская шляпка на двух человек. Мы выбирали абсолютно тихую погоду и потихонечку отправлялись к Рубини-Року. Подходили на этой шляпке к отвесной стене. Над нами клокотал и переливался всякими звуками птичий базар.

Начиналась охота. У каждого была двустволка, то есть у двух человек — четыре выстрела. Приготовления к охоте начинались следующим образом: мы были в полушубках или в ватниках, в зависимости от погоды. Первое, что надо было сделать, — натянуть ватник или полушубок на голову. Затем наклонить лицо вниз. После этого направить двустволку вверх, чтобы убить четырьмя выстрелами несколько десятков кайр.

Первый выстрел даешь, старательно наклонив голову вниз. Этим первым выстрелом поднимаешь весь базар, все эти мириады птиц. Им становится очень страшно, и от испуга они посылают вниз град помета. Не глядя, после первого выстрела даем остальные три — и охота окончена. Только и слышишь, как справа и слева от тебя шлепаются подбитые кайры. Откладываешь ружья в сторонку и собираешь трофеи.

Потом на кухне всей компанией очищаешь подстреленных птиц. По существу съесть можно только грудку, она довольно мясистая и вкусная. Вот так и происходила охота на Земле Франца-Иосифа.

Ходили мы и по окрестным ледникам. Это очень опасное занятие, так как за зиму трещины полностью закрываются снегом. И когда идешь на лыжах, вдруг ударяешь палкой и слышишь совсем другой, какой-то гулкий звук. Значит, под тобой трещина. На лыжах еще не так опасно, но идти пешком по этим местам явно не рекомендуется.

По соседству с нашей станцией была долина, и здесь мы нашли несколько крупных камней — кусков окаменевшего дерева. Они имели даже сучки, и видны были все годовичные слои.

Механизм вращения земного шара действовал безотказно. За полярной весной наступило лето с его незаходящим солнцем, и в один прекрасный день снова в бухте Тихой, раздвигая льды, появился ледокол «Седов». Разумеется, это не было для нас неожиданностью. По мере приближения ледокола мы переговаривались с его радистом, даже послали Шмидту телеграмму, что гладим брюки, готовясь к встрече с цивилизацией.

Шлюпка, спущенная с «Седова», доставила на землю группу прибывших. Среди них был и Отто Юльевич Шмидт.

После смены зимовщиков и привычного в таких случаях погрузочно-разгрузочного аврала «Седов», приняв нас на борт, покинул бухту Тихую и взял курс на Новую Землю. На севере Новой Земли, в большой бухте, известной под названием Русской гавани, было назначено рандеву с «Русановым». «Русанов» доставил «Седову» уголь, чтобы тот, не заходя в Архангельск, мог двигаться дальше по своему назначению. А назначением «Седова» были берега таинственной, неведомой еще тогда Северной Земли.

Нас, зимовщиков, пересадили на «Русанова», и мы отправились домой. «Седов» же, обогнув мыс Желания, северную оконечность Новой Земли, двинулся на восток. На «Седове» находились Отто Юльевич Шмидт, Владимир Юльевич Визе и знаменитая ушаковская четверка, о которой я расскажу чуть далее и по возможности подробно. А сейчас о том, что произошло с «Седовым» после того, как он простился с «Русановым». «Седов» должен был пройти через район того вопросительного знака, который поставил на карте Владимир Юльевич Визе.

Дозорные с мощными биноклями в руках самым тщательным образом обшаривали горизонт, а Визе, волнуясь, сбудется ли его прогноз, сидел за роялем в кают-компании.

— Земля! — сказал вошедший в кают-компанию капитан Воронин.

— Прошу, Владимир Юльевич, взглянуть на свои владения! — дополнил Шмидт.

Все вышли наверх. Перед кораблем за ледяным полем темнела черная полоска. Шмидт взял красный карандаш и зачеркнул обозначенный на карте знак вопроса. Это место предстояло занять вновь открытому острову — острову Визе.

Когда группа ученых, моряков и журналистов приблизилась к острову, Шмидт сказал:

— Владимир Юльевич, это ваш остров, и первой ногой человека, вступившего на его землю, должна быть ваша нога!

Над островом заплескался красный флаг.

— Мы водружаем здесь флаг нашей Родины, — сказал Шмидт, — для того, чтобы вернуться сюда и основать здесь полярную научную станцию... Профессор Визе высказался о возможности открытия новых островов на подступах к Северной Земле. Он просил меня чуть изменить курс. Мы с капитаном дали согласие...

Вскоре после этой речи на подступах к Северной Земле удалось открыть еще два острова — остров капитана Воронина и остров профессора Исаченко.

Открытия островов, предсказанных профессором Визе, — крупный успех экспедиции 1929—1930 годов. Но, помимо этого, на «Седове» было сделано еще два больших дела. Проанализировав обстановку в Арктике, Шмидт и Визе пришли к уверенному заключению о возможности пройти на ледоколе из Архангельска во Владивосток без зимовки. Визе всемерно одобрил эту идею, предложив реализовать ее в 1932-м — международном полярном году. Этот план был осуществлен походом ледокола «Сибиряков».

В другой беседе, на этот раз со мной, Владимир Юльевич рассказал про международное общество «Аэроарктика», организованное по предложению Фритьофа Нансена. Нансен был искренне убежден, что наилучший вариант овладения Северным полюсом — это воздушный. Он отлично понимал, что развитие летной тех-

ники значительно меняет условия борьбы за Арктику, и хотел эти возможности использовать наилучшим образом.

К тому времени, когда «Аэроарктика» развернула свою деятельность, и в нашей стране началась большая кампания за постройку эскадры дирижаблей.

Из рассказов Владимира Юльевича я узнал, что «Аэроарктика» готовит экспедицию для полета на Северный полюс на дирижабле.

— Владимир Юльевич, ради бога! Как бы попасть в эту экспедицию?

Владимир Юльевич был человек обязательный и точный. Он сказал:

— Я пока еще толком ничего не знаю, но если будет советская группа на дирижабле, то я постараюсь вам помочь, поскольку вы уже имеете опыт работы в Арктике. Я вам помогу.

Всю зиму шла переписка, и Владимир Юльевич исключительно аккуратно, честно и скрупулезно отвечал на все мои письма, которые, к сожалению, не сохранились.

Вариант был таков: лететь до Северного полюса и там встретиться с подводной лодкой знаменитого американского исследователя Арктики Вилкинса. Вилкинс получил для своего полярного похода подводную лодку у военно-морского флота Америки. По существующим американским законам, дарить военное имущество нельзя, а так как у Вилкинса особых денег не было, лодку продали ему за два доллара. Не следует думать, что военно-морское ведомство продешевило. Лодка хотя и могла еще двигаться, но была списана с флота то ли по ветхости, то ли по моральной устарелости.

Задолго до намеченной встречи Вилкинс осторожности ради сделал пробу. Добрались они на своей лодке до района Шпицбергена, до кромки льда и немножко нырнули под эту кромку. Хорошо, что немножко, так как быстро выяснились какие-то существенные технические неполадки. Лодка как будто бы основательно затекла.

Правда, люди уцелели. Лодка благополучно выскочила из-под льда, но встреча на Северном полюсе подводной лодки и дирижабля отпала. Вскоре лодка Вилкинса была отбуксирована к берегам Норвегии и где-то вблизи этих берегов подорвана и потоплена.

Все эти переговоры, происходившие на борту «Седова», имели к моей судьбе самое непосредственное отношение — я был включен в состав международной экспедиции на дирижабле, а потом прошел Северным морским путем на «Сибирякове», был доставлен по воздуху (правда, иначе, чем предполагал Визе) на Северный полюс, откуда со своими товарищами дрейфовал на льдине.

СОРОК ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, СТО ПЯТЬ ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ

История одной почтовой марки. Знакомство с профессором Молчановым, изобретателем радиозонда. Вступление в мир дирижаблей. Забота о престиже. Первый выезд за границу. Знакомство с миллионером. Удельное цеппелиновское княжество. Тренировочный полет. Что знали немцы о нашей стране. Дирижабль уходит в Арктику. Как мы летели. Первая встреча с Нобиле и Папаниным. Запуск зонда. Возвращение.

В далекие гимназические годы я, как и мои одноклассники, подвергся распространенной детской болезни — собиранию почтовых марок. Для этой высокой цели мне подарили ко дню рождения специальный альбом. Переплет альбома украшало много разных рисунков — смешной паровоз (потолок техники того далекого времени), пальмы, сфинкс, пирамиды, эскимосская собачья упряжка — короче говоря, все, что могло убедить в необъятности земного шара.

Марки были тогда совсем другими. По сравнению с нынешними — очень скучные. Изображали они главным образом царствующих и властвующих особ. Помнится, что среди них особенно котировались марки с императором Францем-

Иосифом. Этот австро-венгерский монарх просидел на престоле шестьдесят восемь лет, и не удивительно, что, засидевшись так долго на троне, бодрый старикашка с марок тоже не слезал.

Потом марки были оставлены, и я уже решил, что выработанный против филателии иммунитет сохранится на всю жизнь. Но случилось иначе. После пятидесяти лет — возраст, названный Мопассаном вершиной, с которой отчетливо виден конец пути, — наступил злостный рецидив. Мой вполне взрослый сын заклеил меня прозвищем «юный филателист».

Сознаюсь, я не очень огорчился. Количество таких же, как и я, не очень юных филателистов велико. Вот почему мне захотелось в этой главе рассказать историю, послужившую поводом к выпуску красивой и теперь редкой марки, изображающей встречу ледокола «Малыгин» с дирижаблем «Граф Цеппелин». Встреча произошла у меня на глазах, больше того — я был ее участником.

Исполнилась моя мечта — благодаря Владимиру Юльевичу Визе я включил в состав четверки, представлявшей нашу страну в международной группе на борту дирижабля ЛЦ-127 «Граф Цеппелин». Начались сборы в дорогу.

Научную часть этой международной экспедиции возглавил Рудольф Лазаревич Самойлович. Кроме него, советскую науку на цеппелине представлял также и другой крупный ученый — известный советский аэролог профессор П. А. Молчанов. Аэрология в ту пору еще лишь формировалась, но профессор Молчанов уже преподавал эту дисциплину, имел много трудов, а главное, успел сделать изобретение, которое иначе, как прекрасным даром человечеству, и не назовешь. Профессор Молчанов изобрел первый в мире радиозонд.

Молчанов — невысокого роста, с корпулентной фигурой, а попросту говоря, очень тучен. Его серый костюм всегда тщательно отутюжен, над туго накрахмаленным воротничком безукоризненно белой рубашки сияло круглое, добродушное лицо с аккуратно подстриженными усами и белесыми, выгоревшими бровями. Лицо Молчанова буквально источало доброжелательность.

Профессор оказался весельчаком, и мы готчас принялись выкладывать друг другу наши запасы анекдотов. А затем сыскалась еще одна точка соприкосновения — Молчанов великолепно разбирался в радиотехнике. Радио тоже стало темой наших бесед, из которых я узнал, что микрорадиопередатчик зонда он не только сам сконструировал, но и изготовил собственноручно. И это не было только лишь искусством рук радиолюбителя. Профессор Молчанов столь тонко знал радиотехнику, что сумел разработать систему кодирования всех параметров, которые регистрировал радиозонд, забравшись на большие высоты.

Конечно, нынешние радиозонды существенно отличаются от первых. То время и наши дни — разные эпохи в радиотехнике. Но радиозонд Молчанова — первопроходец высоких слоев атмосферы, и я горжусь, что мне пришлось участвовать в одной экспедиции с этим выдающимся ученым, наблюдать запуски его радиозондов с борта дирижабля.

И Молчанов и Самойлович представляли старшую часть нашей небольшой советской группы. Мы же с Федором Федоровичем Ассбергом — младшее поколение. Такому расслоению способствовало и то, что Самойлович и Молчанов были ленинградцами, а мы с Ассбергом москвичами.

Жили мы с Федором Федоровичем по соседству. Он в Армянском переулке, а я в Большом Харитоньевском. Перед отъездом в Германию я не раз к нему заходил, и он просвещал меня по части дирижаблей, которые были для меня в ту пору областью неизведанной, и сколько бы он ни рассказывал, я слушал развесив уши.

В годы первой мировой войны Ассберг — офицер артиллерийской службы. Он занимался подъемом привязанных аэростатов для наблюдения за противником и корректировки артиллерийского огня. После войны Федор Федорович связал свою жизнь с летательными аппаратами легче воздуха. Большой энтузиаст отечественного воздухоплавания, он стал одним из ведущих специалистов по дирижаблям. Именно это обстоятельство и определило его участие в экспедиции. Ди-

рижаблям придавалось тогда большое значение. Их собирались строить и в нашей стране. Федору Федоровичу предстояло ознакомиться с подробностями конструкции и эксплуатации цеппелинов, в чем немцы к тому времени имели огромный опыт.

Именно Ассберг объяснил мне разницу между маленькими мягкими дирижаблями объемом 500—1500 кубометров, полужесткими типа «Норге» и «Италия» и исполинскими жесткими дирижаблями, к числу которых принадлежало семейство цеппелинов. Все это было очень интересно, тем более что до этого ни на одном летательном аппарате — ни на самолете, ни на дирижабле — я ни разу в воздух не поднимался. Впрочем, это меня мало смущало. Я твердо решил: раз люди летают, то почему же не попробовать и мне.

На первый взгляд может показаться странным, почему надо было ехать в Германию, почему в Советскую Арктику должен был лететь немецкий дирижабль. Только людям почтенного возраста, которые помнят, как выглядела наша авиация тех лет, эта экспедиция ничуть не кажется странной. Достаточно привести лишь некоторые газетные заголовки, чтобы ощутить, сколь слабы были тогда еще собственные крылья.

«Хороший аэродром — дело чести каждого города», — писала в июле 1931 года «Правда», подчеркивая, что недалеко то время, «когда гражданский воздушный флот проникнет во все уголки Советского Союза». А вот другая корреспонденция, вернее, подборка корреспонденций: «Сегодня начинается десятидневник помощи гражданской авиации», «Моссовет образует специальный комитет содействия гражданской авиации», «Первый советский мощный мотор воздушного охлаждения успешно выдержал 100-часовые испытания»...

Было плохо с самолетами. Не лучше и с дирижаблями. Правда, за четырнадцать лет существования советской власти удалось достичь многого, но это было явно недостаточно.

В 1920 не скупившемся на тяготы году группа энтузиастов восстановила «Астру» — один из четырех русских дирижаблей, сражавшихся еще в годы первой мировой войны. Разумеется, его переименовали, и «Красная звезда» успешно начала свои полеты. Поначалу все шло как надо, но для большой и, увы, слабой машины оказалось достаточно первой же бури. Дирижабль погиб, обрадовав хотя бы тем, что с его гибелью не были связаны человеческие жертвы.

В 1923 году слушатели воздухоплавательной школы во время практических занятий выстроили из старых змейковых аэростатов мягкий слабосильный дирижабль «Шестой Октябрь». Год спустя по инициативе работников резиновой промышленности построен еще один далеко не гигант — мягкий дирижабль «Московский химик-резинщик». Его полет в 1928 году Ленинград — Тверь воспринимался как событие.

Но все это было присказкой. Сказка началась в 1930 году постройкой дирижабля «Комсомольская правда». С этого времени строительство воздушных гигантов стало уже не доморощенным любительством, не робкими экспериментами, а всенародным делом. Лозунг «Даешь советские дирижабли!», набранный крупным шрифтом, украшал газетные полосы, обложки книг. Он напоминал призывное «Даешь!», вдохновлявшее красноармейцев в годы гражданской войны.

Но пока шли все эти поиски, ни одного дирижабля, способного полететь в Арктику, наша страна еще не имела. Отсюда и мысль о международной научной экспедиции, которую можно было бы послать в Арктику на самом лучшем дирижабле своего времени.

Мой путь за границу начался с решения чисто бытовых проблем, сегодня смешных, тогда же очень трудных. Если сегодня мы, москвичи, одеты так же, как жители Парижа, Лондона или Вашингтона, то тогда разница в костюмах была огромной. О выезде за рубеж в том виде, в каком мы ходили дома, и думать не приходилось.

Элегантность ценилась во все века и всеми народами. Поиски хорошего портного всегда составляли сложную задачу. Экипировка для предстоящей поездки

не была каким-либо исключением из этого извечного правила. Но вряд ли я сумел бы своим видом поддержать марку представителя первого в мире пролетарского государства, если бы не помощь Наркомата иностранных дел.

В хозяйственном отделе Наркомата мы получили талончики и направились с ними в Петровский пассаж, где находился какой-то маленький магазин. Большие витрины этого магазинчика были замазаны изнутри зубным порошком. Простым смертным туда заходить не полагалось, но едва волшебные талончики сказали: «Сезам, отворись!» — как он отворился и нас быстро привели в пристойный вид, вполне соответствовавший целям предстоящей поездки. Это было сделано так хорошо, что я в состязании туалетов победил даже американского миллионера, о чем расскажу чуть далее. Молниеносно сшили синий костюм, который дома назывался потом «цеппелиновским». Я был одет и обут. Сомнений не оставалось — престиж великого государства от неполноценности моего облика пострадать не должен.

Это была моя первая поездка за рубеж. Опыта не было. Собирая меня в дорогу, всей семьей думали и гадали, что же взять с собой. Проблема престижа и здесь определяла все. Мои домашние, естественно, не хотели, чтобы там, на чужбине, я ударил в грязь лицом. Понимали отлично все и то, что за границей тоже живут люди, и в «мелких городках», вроде Варшавы или Берлина, можно купить все, что понадобится человеку, посланному в длительную командировку. Именно по этим соображениям во время сборов чаще всего повторялась одна и та же фраза:

— Зачем ты это берешь? Там купишь!

В результате багаж мой выглядел более чем скромно. Я ехал с крохотным чемоданчиком, размером тридцать на сорок сантиметров, великолепным производением какой-то московской артели по производству ширпотреба. Дома чемоданчик выполнял весьма скромную будничную работу — жена бегала с ним на рынок. Исполнение этой обязанности оставило на розовых полосатых обоях, которыми мой чемодан был оклеен изнутри, большое бурое пятно — видно, жена когда-то покупала мясо. Удалить пятно было задачей технически невыполнимой. Махнув рукой, я решил закрыть глаза на этот дефект: другого чемоданчика подходящих размеров в доме просто не было. В последний момент были сочтены неэстетичными и моя мыльница и зубная щетка. Мне сказали:

— Там купишь хорошие!

Так, с базарным чемоданчиком, без зубной щетки, я отправился в обществе Федора Федоровича за границу. Что же касается профессоров Самойловича и Молчанова, то они поехали туда прямо из Ленинграда.

Впервые в жизни я погрузился в международный вагон, который до того времени видел исключительно в кино в фильме «Сумка дипломатера». Вагон поражал своим великолепием. Он был деревянным внутри и снаружи обшит длинными полосками дерева. То ли олифа, то ли краска подчеркивала нарочитость швов и приятную желтизну этих досок. Большие медные буквы, надраенные до блеска и прикрепленные к стенке вагона, составляли надпись: «Вагон ли». В переводе с французского это означало «спальный вагон».

Мы вошли в купе. Изобилие бронзы, меди, ковров и сурового полотна чехлов подавляло. Правда, Федор Федорович, как человек более опытный, держался довольно бойко, а я все-таки стеснялся.

Вагон был международный, но ехали мы по-студенчески. От услуг ресторана отказались сразу — у нас был свой ресторан: куча бутербродов и пара бутылок пива. Все было рассчитано, чтобы не тратить на еду лишнего, особенно валюты, которой предстояло поддерживать за границей наш престиж.

Так мы добрались до Негорелого, где проходила в то время государственная граница. Вылезли из вагона и пошли в ресторан. Большая группа японцев пила вино и ела бутерброды. Мы же с Федором Федоровичем навалились на какой-то преотвратительный борщ и в высшей степени невразумительные куски мяса с

пшенной кашей. Наелись мы как следует, чтобы ничего больше не есть до приезда к Цеппелину. Набили полные карманы курева и спичек и пересекли границу.

Разумеется, нас, как положено, подвергли таможенному досмотру. Мы пошли вдоль низенького прилавка, какие существуют на всех таможнях мира. Польские таможенники выглядели орлами. Знаменитые конфедератки, большие козырьки, окованные медью, чистенькие мундирчики, надраенные пуговицы. Одним словом, прямо как генералы или по меньшей мере старшие офицеры генерального штаба.

У Федора Федоровича был небольшой чемоданчик, а мой и того меньше. Таможенник выразительно покрутил в воздухе пальцем, показав, что надо растегнуть запоры. Я растегнул. Он небрежным жестом открыл крышку и увидел бурое пятно от подтекшего мяса. Пошевелил полотенце, оглядел белишко. И, не смотря на всю скудость моего багажа, произвел две конфискации, изъяв номер «Известий», в который было завернуто полотенце, и последний «Огонек», купленный в Негорелом для чтения в дороге. Иных препятствий для въезда в Польшу не оказалось, и я впервые очутился за границей.

Была хорошая погода. Мы гуляли по платформе на польской стороне, ожидая, пока подадут поезд. В Польше железнодорожная колея была уже нашей, и мы должны были пересесть в другой состав.

Гуляли мы до тех пор, пока после обильного обеда и пива, выпитого еще на родине, природа не потребовала свое. Мы разыскали соответствующее учреждение. Несколько ступенек вниз — и Европа предстала перед нами на самом высоком уровне: кафельные стены, чистота, журчащая вода, медные начищенные краны...

Мы воспользовались гостеприимством этого учреждения, а когда выходили, откуда ни возьмись появилась сгорбленная старушка. Попади она на глаза кинорежиссерам, снимающим сказки, ее немедленно законтраковали бы на роль бабы-яги. Протягивая руку, эта баба-яга девяносто шестой пробы что-то лопотала по-польски.

Первым догадался Федор Федорович:

— Эрнст Теодорович, тут надо платить!

Так я произвел первую в своей жизни трату валюты.

Благополучно проехав Польшу, мы добрались до Берлина. Здесь нас встретили сотрудники советского посольства и отвезли в заранее отведенную резиденцию — общежитие для советских граждан, приезжающих в Берлин. Там было очень чистенько и уютно. Хозяйка приносила к утреннему завтраку большое блюдо немецких «земмель» — маленьких булочек величиной в пол-яблока. Немцы едят одну булочку, а мы — штук по десять. Но хозяйка знала, что на аппетит ее постояльцы обычно не жалуются, и приносила все новые и новые «земмель». Одним словом, все было в полном порядке.

Из Берлина нам предстояло поездом ехать дальше, в юго-западный угол Германии, к Боденскому озеру. Но несколько дней до отъезда оставались в нашем распоряжении, и мы занялись осмотром города.

Побродили мы по Берлину и, конечно, не преминули посетить большой универмаг на Александерплац. Это, между прочим, всегда трудная статья для любого товарища, попадающего в командировку. Проклятые сувениры! Их надо купить жене и теще, детям и всем родственникам до седьмого колена, друзьям, приятелям, сослуживцам. В такой момент думаешь: хорошо бы ездить с собственной электронной машиной, которая тут же определяла бы оптимальный вариант покупки. Сувениры нелегко покупать и сегодня, тогда же, в 1931 году, дело обстояло еще сложнее. И, наверно, больше всего мы с Федором Федоровичем походили на людей, решающих одно уравнение со многими неизвестными.

Зашли в парфюмерный отдел. Я хорошо владею немецким языком, и это облегчило предстоявшую задачу. Девушка спрашивает:

— Кажется, господа русские?

Господам нечего было стесняться:

— Да, русские!

- Откуда вы приехали?
- Из Москвы.
- Что вас интересует?
- Губная помада...
- А туалетное мыло вас интересует?
- Да, туалетное мыло тоже интересует.
- Я знаю ваше правило. Русские господа могут зезти с собой только два

куска туалетного мыла. Я сейчас их достану...

Продавщица извлекла из-под прилавка огромную коробку, и в этой коробке лежали два куска мыла. Не совру, если скажу, что каждый — на килограмм, не меньше, но кусков два. Оформлены они были по всем правилам — в прозрачной бумаге, розового цвета. Отлично пахли розами. Нам куски эти, естественно, понравились, тем более что они полностью соответствовали таможенным порядкам.

Через несколько дней в Берлине в каком-то шикарном загородном ресторане была собрана иностранная часть экспедиции совместно с офицерами дирижабля. Из сорока шести участников полета за стол село не более пятнадцати. Несколько немецких ученых, советские ученые, норвежский профессор и единственный пассажир дирижабля американец Линколн Элсворт.

Линколн Элсворт был личностью примечательной. Не знаю, занимался ли он какой-либо коммерческой деятельностью или же его состояние перешло к нему по наследству, но это был миллионер, примечательный меценатской деятельностью в Арктике. Он в значительной степени финансировал полеты Амундсена. И за возможность полета на «Цепелине» уплатил огромную по тем временам сумму — пять тысяч долларов.

Узнав, с кем меня столкнула судьба, я разглядывал Линколна Элсворта во все глаза. Еще бы! Первая в жизни встреча с настоящим миллионером. Но этот миллионер, которого я увидел воочию, никак не походил на толстяков в цилиндрах, с огромными животами, звериным оскалом и золотой цепью поперек брюха, каких изображали обычно в окнах РОСТА.

Мой новый знакомый, человек среднего, даже скорее маленького роста, держался в высшей степени скромно. На нем был костюм не первой свежести и (это наполнило меня ощущением собственной значительности) потрепанные ботинки, гораздо худшие, чем мои новые, купленные по наркоминделовским талончикам.

Во главе стола, как и положено хозяину, сидел командир дирижабля доктор Эккнер, грузный, широкоплечий человек с мощной, импозантной фигурой. Доктор Эккнер носил штатский костюм, хотя наверняка был офицером. На большом лице выделялись набрякшие мешки под глазами. Когда он вошел в ресторан, седую голову прикрывала морская фуражка с якорем и большим лакированным козырьком. Фуражка была потрепанная, выдавшая виды, но сидела на голове командира дирижабля с большим шиком и одновременно простотой, словно спешила всем сообщить, что сидит она безусловно на своем месте.

Едва гости успели разместиться за столом, как произошла сценка, свидетельствовавшая, что наш командир не только умеет носить с шиком фуражку. Внезапно вызвали к телефону его сына, инженера Эккнера, крупного парня «арийского» облика с великолепной фигурой, говорящей о длительных занятиях спортом. Эккнер-младший был одним из офицеров дирижабля. Он ведал штурвалом высоты. Через несколько минут он вернулся и, наклонившись к отцу, что-то сказал ему на ухо. Доктор Эккнер не стал делать из полученных сведений секрета. Он сообщил нам:

— День вылета уже назначен. Но синоптики предупреждают, что на трассе до Ленинграда будет не очень удачная погода. Там, наверху (это было произнесено как-то очень подчеркнуто), решили отложить полет. Но я откладывать полет не буду. Как наметили, так и полетим. Будем аккуратны!

Мне понравилось и сочетание выражения «там, наверху» с собственным решением, и то удивительное достоинство, с которым командир информировал о своих планах и намерениях.

Около стола появились официанты, и я понял, что начинается трудное испытание. Предстояло держать экзамен на понимание и знание этикета, процедура которого была, в общем, совсем не простой. Если добавить к этому, что еще в Москве я наслушался страшных рассказов о том, что далеко не всем удастся правильно держать себя за столом, то станет ясным: чувствовал себя я в эти минуты не очень уютно.

Официанты принялись обносить стол. Начали с того, что на большом подносе подали что-то завернутое в крахмальные салфетки. Все брали это что-то и, не разворачивая, клали рядом с тарелкой. Прodelал то же самое и я. Положил свою «салфетку» около тарелки и пощупал рукой, пытаюсь определить, что же это может быть? Чувствую что-то мягкое и теплое. Потом оказалось, что принесли подогретый хлеб.

Я внимательно оглядел арсенал, окружавший мою тарелку. Букет вилок, как полагаются, лежал слева. Букет ножей — справа. Ложки — спереди. Теперь-то я хорошо знаю, что начинать надо с крайних ножей и вилок. Тогда же это простое спасительное правило мне не было известно. К тому же неясную для меня картину в еще большей степени затуманивала внушительная шеренга бокалов — от маленьких рюмок до больших фужеров.

Но безвыходных положений не бывает, нашел выход и я, вспомнив старинную команду моряков, которую адмирал может подать другим кораблям своей эскадры:

— Делай, как я!

Скосив глаза направо и налево, я решил равняться на своих соседей и делать, как они. Увы, очень быстро я понял, что косить мне придется главным образом налево. Сосед справа, норвежский профессор, чувствовал себя столь же беспомощно, как и я, пытаюсь при этом взять меня за образец. И хотя, подражая соседу слева, я был очень далек от самостоятельности, мне, признаться, стало весьма лестно, что зарубежный профессор пользуется моими не шибко богатыми познаниями сложного ритуала.

С этого обеда прошло почти сорок лет, но и по сей день в моей коллекции сохранилось меню, напечатанное на роскошной бумаге с автографами всех, кто сидел в тот день за столом — и Самойловича, и Эккенера, и Линколна Элсворта, и многих других...

Первым блюдом в меню был обозначен черепаховый суп. Выглядел этот прославленный суп как жиденький бульончик. И, попивая его, я так и не мог ответить себе на вопрос: а плавала ли в нем когда-либо черепаха?

Блюда менялись одно за другим, равно как и вина, усердно подливаемые в наши бокалы. Мои представления о застольном этикете расширялись буквально на глазах. К рыбе принесли белое вино, к мясному блюду красное, потом с мельхиоровым подносом в руках официант стал обносить всех сидящих за столом какой-то розовой водичкой в специальных чашках, где, как кораблик, плавал кружок лимона. Бывали случаи, когда кое-кто принимал это за питье. Но чаша с ломтиком лимона имела совсем другое назначение: нужно было элегантно обмакнуть в нее кончики пальцев и потереть их об этот кусочек лимона.

После завершения процедуры омовения испачкавшихся за обедом перстов все встали. Появился черный кофе, сигары, маленькие рюмочки коньяка. Одним словом, как в лучших домах.

Прошло несколько дней, и мы покатали на юг, во Фридрихсгафен. Этот в высшей степени уютный городишко расположен на берегу удивительно красивого озера. Как все альпийские озера, Боденское озеро с его сине-зеленой водой отражало белоснежные шапки горных вершин. По цветному зеркалу воды бегали маленькие парходики — пятьсот квадратных километров поверхности озера давали им место, где разгуляться.

Три государства граничили друг с другом в этой точке: Германия, Австрия и Швейцария. В великолепном парке на немецком берегу, куда мы приходили с Федором Федоровичем, среди роз стояла большая тумба. На ней — под толстым

стеклом чертеж-схема. Стрелки этой схемы показывают на противоположный берег озера, на горные вершины, а надписи подле стрелок сообщают имена этих вершин. В хорошую ясную погоду горы великолепно видны, и потому, никогда не бывав в Швейцарии, я могу сказать, что хорошо видел горы этой страны.

Однако идиллическая картина природы явно входила в противоречие с сущностью расположенных во Фридрихсгафене учреждений. Разрыв между внешностью и сутью этого маленького городка был весьма велик. Мы поняли это с особой отчетливостью, побывав в музее Цеппелина и познакомившись с историей, рассказ о которой поможет читателю представить полнее, что такое Фридрихсгафен для Германии, какую роль сыграл он в первой мировой войне.

...Деятнадцатый век уже подходил к концу, когда отставной кавалерийский генерал граф Фердинанд Цеппелин, изменив лошадям, решил заняться проблемами воздухоплавания. Эти проблемы в то время выглядели особенно заманчивыми. Принципиальная возможность управляемого полета была полностью доказана, и казалось, нужно совсем немного, чтобы конструкции обрели надежность и удобство в эксплуатации. Именно эту задачу и сделал главным делом своей жизни отставной кавалерийский генерал.

Боденское озеро, окруженное горами, имело тихую поверхность. На его берегу располагалось родовое имение Цеппелинов. Оба обстоятельства сыграли не последнюю роль в выборе места для постройки будущей дирижабельной верфи.

После ряда неудач старый граф запатентовал конструкцию своего корабля и создал компанию для его постройки, называвшуюся «Общество развития воздухоплавания». Капитал этого акционерного общества составлял около миллиона марок. Главным акционером был сам граф Фердинанд Цеппелин, вложивший в это дело полмиллиона. Компания приступила к постройке своего первенца...

2 июля 1900 года двадцативосьмиметровая сигара первого цеппелина Ц-1 была выведена на поверхность Боденского озера. Размеры аэростата, равно как и его конструкция, напоминавшая конструкцию морских судов, вызвали удивление. Корпус исполинского воздушного корабля имел каркас из продольных балок — стрингеров и поперечных колец — шпангоутов. Два бензомотора Даймлера мощностью по шестнадцать лошадиных сил должны были поднять в воздух эту громаду и позволить ей летать с пятью членами команды на протяжении десяти часов.

После экспериментальной проверки в воздухе, которая, разумеется, прошла при самом непосредственном участии изобретателя, началась доработка конструкции. Однако акционерное общество распалось. Пайщики, вложившие капитал, не хотели ждать, и Цеппелин, мобилизовав свой бюджет до предела, выкупил у компаньонов остальную часть акций.

Надо отдать должное старому изобретателю. Он проявил незаурядное мужество и волю, на протяжении ряда лет преодолевая сыпавшиеся на него, как из рога изобилия, неприятности. Но вот все позади. В 1908 году к Фердинанду Цеппелину пришла слава. Он стал национальным героем. Сам кайзер Вильгельм пожертвовал первые полмиллиона марок на постройку будущих цеппелинов. Целый месяц в почтовых учреждениях стояли огромные очереди жертвователей. И учреждения, и отдельные лица спешили оказать помощь человеку, готовящему славу Германии.

Одним из первых людей за пределами Германии, сумевших оценить будущность цеппелинов, оказался известный английский писатель Герберт Уэллс. В том же 1908 году он написал роман «Война в воздухе». В фантастической воздушной войне, нарисованной Уэллсом, принимали участие весьма реальные цеппелины.

Прогноз Уэллса сбылся очень скоро. Как известно, дирижабли участвовали в воздушных налетах на Лондон и Париж. Не удивительно, что дирижаблестроение в послевоенной Германии подверглось ограничениям со стороны победителей в первой мировой войне и проекты десяти дирижаблей не были осуществлены.

Фридрихсгафен представлял собой подлинное цеппелиновское царство. Наверное, все его население, каких-нибудь пятьдесят—восемьдесят тысяч человек,

жило за счет цеппелина. Аптека — Цеппелин. Булочная — Цеппелин. Отель — Цеппелин. Пивная — Цеппелин. Лотерея — Цеппелин. Одним словом, куда ни глянь — повсюду Цеппелин.

На ограничения в дирижаблестроении немцы взирали без особого восторга. Свидетельство тому — памятник явно реваншистского толка, поставленный неподалеку от летного поля и ангара, в котором находился цеппелин. Дело в том, что на окраине Фридрихсгафена расположены моторостроительные заводы фирмы Майбах. Моторы этой фирмы стояли и на цеппелинах. После первой мировой войны большинство этих заводов было закрыто, часть оборудования увезена победителями. Отсюда и памятник. На огромной глыбе почти необтесанного гранита, окутанный толстенными цепями, стоял настоящий майбаховский мотор. Под мотором весьма выразительная надпись: «Германия, проснись!»

Мы поселились в маленькой, но очень уютной гостинице. В ее первом этаже располагался небольшой ресторанчик. Там можно было и позавтракать, и пообедать, и поужинать, и выпить и молока, и пива, и вина из великолепных разноцветных бокалов, встретиться с друзьями, провести вечер с дамой.

Все в этом ресторанчике выглядело очень просто, но удобно. Голые столы с простыми дубовыми досками. Обшитые темным дубом стены. Наверху полки, заставленные персональными пивными кружками с именами и фамилиями завсегдатаев заведения. В маленьких окнах — разноцветные стекла.

Однако, несмотря на подкупающий комфорт заведения, мы с Федором Федоровичем предпочитали в нем не засиживаться. Напротив, взяв напрокат пару стареньких, потрепанных велосипедов, мы катались по всему городу, жадно впитывая впечатления от удельного цеппелиновского княжества.

Не обходилось и без происшествий. Однажды, приближаясь к гостинице, мы увидели толстого седого человека в брюках гольф и тирольской шляпе с пером. Выглядел он столь браво, и печать преуспеяния на его лоснящемся, идеально выбритом лице была столь очевидной, что сжатый кулак, поднятый незнакомцем на уровень плеча, и громкий возглас: «Рот фронт!» — не вызвали у нас ни малейшего желания ответить.

Возвратившись домой, мы описали хозяину гостиницы внешность странного господина и спросили:

— Кто это?

— А, это наш полицмейстер. Он большой шутник!

После короткого отдыха началась работа, ради которой мы и были посланы в этот уголок Германии, — знакомство с дирижаблем ЛЦ-127, на котором предстояло лететь далеко на север. Это был самый мощный из всех существовавших тогда воздушных кораблей, а поскольку было известно из полетов Амундсена и Нobile, что Арктика к воздухоплавателям не всегда гостеприимна, выбор был остановлен на воздушном гиганте.

Без преувеличения можно назвать ЛЦ-127 подлинным воздушным мастодонтом. Этот сто семнадцатый по счету дирижабль, построенный на цеппелиновских верфях (десять проектов, как я уже отмечал, не были осуществлены после первой мировой войны), имел колоссальные размеры. Его высота составляла более тридцати метров, то бишь без малого десятиэтажный дом, длина — почти четверть километра. 105 тысяч кубометров водорода, заполнивших оболочку, позволяли поднять примерно 23 тонны груза, в вес которого включались и мы — сорок шесть человек команды и членов научной экспедиции.

Дирижабль обладал собственной электростанцией, системой телефонной связи, соединявшей его отдельные точки — гондолу управления, моторные гондолы, кухню, кабину командира, бортинженера и т. д.

К тому времени, когда мы прибыли в Фридрихсгафен, полным ходом шла подготовка к полету. Множество рабочих занималось облегчением воздушного корабля и созданием комплекса средств, обеспечивающих возможность посадки на воду. Под некоторыми гондолами монтировались специальные поплавки, обеспечивалась водонепроницаемость днища.

Эллинг, в котором стоял ЛЦ-127, естественно, был огромен и возвышался как собор бога техники над невысокими зданиями Фридрихсгафена. В те дни, когда дирижабль находился в этом эллинге, скопление туристов, как правило, было наибольшим. Всем любопытно взглянуть на национальную реликвию. В эллинге выдвигался специальный помост, и туристы проходили вдоль гондолы цепелина, заглядывая в ее окна. Тут же почтовое отделение. Тут же продажа открыток с цепелином, марок с цепелином. Продажа лоскутков перкала, из которого делается оболочка дирижабля, с соответствующими надписями. Одним словом, немцы организовали вокруг цепелина большой бизнес.

Войдя в эллинг, мы и впрямь почувствовали себя посетителями храма техники. Изнутри он казался особенно огромным. Полным ходом кипела работа по подготовке пробного полета над Боденским озером, который должен был состояться 22 июля. Если напомнить, что 24 июля был день официального старта, то станет ясно: времени терять нельзя было ни секунды.

Не могу сказать, что в этот день я был хладнокровен, как граф Монте-Кристо. Из нашей советской четверки только Ф. Ф. Ассберг летал год назад на цепелине, остальные никогда не отрывались от земли и с некоторой опаской ожидали этой знаменательной в жизни каждого секунды.

Перед вылетом все участники экспедиции получили очень удобную рабочую одежду. Серый теплый костюм с совершенно невообразимым количеством карманов, солидные ботинки, каждым из которых при желании можно было убить белого медведя, так как ботинок имел пятнадцатимиллиметровую подошву и тридцатимиллиметровый, подбитый медью каблук. В комплект нашей униформы вошли также шерстяная фуфайка и кашне, теплое белье и варежки, кожаные рукавицы на меху, очки и верхний водо- и ветронепроницаемый костюм. После облачения в эти воздушно-арктические туалеты все участники экспедиции сфотографировались. На сером фоне группы черным пятном выделялась массивная фигура Эккенера в обычном костюме.

Разумеется, прежде чем подниматься в воздух, я постарался познакомиться со средствами связи, которыми располагал ЛЦ-127. Оборудование радиостанции мне показали мои коллеги — старший радист Думке и второй радист Лео Фрейнд. Я был в этом радиоколлективе на борту дирижабля третьим. Мои коллеги познакомили меня и с маленькой аварийной радиостанцией, взятой на случай неприятностей, которые в такого рода экспедициях всегда возможны. Первое, что бросилось в глаза, — хорошо знакомый по годам военной службы «солдат-мотор». Коротковолновая аварийная радиостанция дирижабля мощностью в полтора ватта и весом в семьдесят девять килограммов имела все знакомые атрибуты — динамомашину с велосипедным седлом и педалями и трехметровую мачту антенны.

И все же, рассказывая об этой станции, не могу не задержать внимания читателей на одной интересной детали. Инструкция для работы на передатчике была составлена так, что станцией мог воспользоваться даже человек, мало знакомый с радиотехникой. К передатчику наглухо прикреплялась табличка с азбукой морзе. Любой грамотный человек, пусть медленно, пусть не очень квалифицированно, мог бы передать непосредственно со льда сообщение об опасности. Эти меры предосторожности показались мне совершенно естественными, так как прошло всего три года со дня трагической гибели дирижабля «Италия». Дирижабль «Граф Цепелин» готовился к любым неожиданностям.

В ожидании вылета мы познакомились поближе с Думке и Фрейндом. Как-то вечером немецкие радисты пригласили нас с Ассбергом в гости. Это был на редкость потешный вечер.

Принимали нас по-немецки. Собрались все дамы — жены, невестки, тещи. Они, вероятно, ожидали, что русские придут в овчинных полушубках, папахах, с ножами, зажатými в зубах. Но мы вошли чинно, благородно, пожали всем этим тетям ручки и, вероятно, выглядели достаточно представительно в своих новых костюмах.

На столе стояли два блюда с бутербродами и бесчисленное, я бы сказал неиссякаемое, количество пивных бутылок. Начались разговоры. Люди нас пригласили хорошо, но вопросы задавали явно идиотские. Представления о русских у них были примерно такие же, как о забытых богом племенах, затерявшихся где-то в джунглях Африки.

— Намечается ли в России национализация женщин? Может ли мужчина сам выбирать себе женщину? Не вмешивается ли в этот выбор коллектив? Не спите ли вы в Москве под общим одеялом?

Одним словом, типичный набор вопросов, которые могли возникнуть у людей, судящих о нашей стране по явно враждебным пропагандистским материалам.

Мы с Федором Федоровичем не знали, то ли сердиться, то ли смеяться. Шутливо по форме, но достаточно серьезно по существу пытались отвечать на вопросы, которые, как говорится, ни в какие ворота не лезли. Мы жевали бутерброды, пили бесконечное пиво и в конце концов принялись петь песни. Немцы свои песни, а мы свои. В общем, прием происходил если не на самом высшем, то уж во всяком случае не на самом низшем уровне.

Наконец пробный полет. 21 июля закончены все необходимые приготовления, и нам в нашем новом полярном обмундировании велено собраться в эллинге 22 июля в 4 часа 45 минут. Время было выбрано столь раннее, вероятно, потому, что в эти часы как-то стихает обычно напор ветров, да и любопытные, без которых не обходятся такого рода события, еще мирно спят в своих постелях.

В 5 часов 15 минут дирижабль начали выводить из эллинга, и через пятнадцать минут он уже стоял на стартовой площадке. В тишине (моторы не были включены) дирижабль, влекомый подъемной силой наполняющего его газа, словно огромное привидение, всплыл над землей. На высоте заработали моторы, и грандиозная сигара взяла курс на город Линдау, расположенный в восточной части Боденского озера.

После двух с половиной часов полета дирижабль возвратился во Фридрихсгафен. Кинооператоры сняли его посадку, обеспечив историю надлежащими кадрами, и цеппелин стал объектом последних предстартовых работ. Через день, 24 июля 1931 года, дирижабль должен был уйти в свой арктический рейс. Путешествие было необычным, и это, естественно, подогревало туристов и экскурсантов.

Я всегда считал, что «звезды», привлекающие к себе внимание журналистов, существуют не только среди людей, но и в мире машин. Сегодня это прежде всего космические корабли или по меньшей мере сверхзвуковые самолеты. В свое время среди воздушных знаменитостей значились АНТ-25, на котором летали через полюс экипажи Чкалова и Громова. ТУ-104 — первый реактивный пассажирский самолет. Такого рода список может быть очень велик, но, независимо от размеров списка, дирижаблю ЛЦ-127 в нем обязательно должно найтись место.

Впервые этот воздушный гигант прославился в 1929 году, вылетев 15 августа в кругосветное путешествие по маршруту: Фридрихсгафен — Берлин — Кенигсберг — Вологда — Усть-Сысольск — Урал — Якутск — Николаевск — Токио — Лос-Анжелос — Фридрихсгафен. Сегодня этот кругосветный полет известен лишь узкому кругу историков техники. Тогда же он наделал много шума. Стартовав под командой того же доктора Эккенера, с которым предстояло лететь и нам, ЛЦ-127 покрыл расстояние в 35 тысяч километров, сделав при этом всего лишь три остановки. Человеческое воображение было потрясено — и не удивительно: в ту пору такое не могло не волновать. Возвращение 4 сентября 1929 года цеппелина во Фридрихсгафен было триумфом. Энтузиасты дружно объявили дирижабль межконтинентальным воздушным кораблем, который никогда не будет иметь соперников. Что говорить! Опасность такого рода прогнозов очевидна, однако ослепление успехом не раз мешало человечеству заглядывать далеко вперед.

Наша экспедиция сулила воздушному гиганту новую порцию славы. Отсюда рой корреспондентов, фоторепортеров и кинооператоров, клубившихся вокруг ЛЦ-127 в день его вылета.

Как предупреждали метеосводки, погода не благоприятствовала перелету. Даже в последний вечер пребывания в Фридрихсгафене еще не было ясно, улетим ли мы следующим утром, как планировал доктор Эккнер. Но приказ есть приказ. Каждый принес в элинг свой личный багаж, его упаковали в специальные мешки, взвесили и распределили по каютам.

Вылет был назначен на утро. Нам велели собраться в 8 часов, но мы с Федором Федоровичем Ассбергом, решив не пропустить ни одной подробности старта, поднялись в 6 утра и отправились в элинг наблюдать за последними приготовлениями. К восьми собрались все участники полета, затем открылись ворота, а в 9.30 нам предложили занять места. Дирижабль освободили от привязи, взвесили, и тут же послышался шум льющейся воды — справа и слева от дирижабля хлестал поток: дирижабль освободился от лишнего балласта.

Все приготовления, как я уже сказал, тщательно фиксировали кинооператоры и фотографы. Сняли они и профессора Р. Л. Самойловича, который произнес перед микрофоном предстартовую речь. Бурные аплодисменты тех, кто остался на земле. Мы поднимаемся в воздух.

Пролетев над старинными немецкими городами Ульмом и Нюрнбергом, мы через шесть часов полета добрались до Берлина и приземлились на аэродроме в Штаакене. Надо полагать, что это место было избрано не случайно. Именно в Штаакене в годы первой мировой войны базировались боевые цеппелины, совершавшие налеты на Лондон и Париж. По Версальскому договору Германия была лишена права пользоваться построенными там великолепными ангарами. Практичные немцы превратили их в огромные кинопавильоны, где были сняты многие знаменитые картины всемирно известной кинокомпании УФА.

Мы прибыли в Берлин вечером, улетать должны были утром. Каюты дирижабля опустели. Большинство членов команды и участников экспедиции поехало отдыхать и развлекаться. Но мы с Ассбергом не только остались, но решили не ложиться спать: хотелось внимательно рассмотреть все то, что для Федора Федоровича представляло интерес. Чтобы побольше зачерпнуть из сокровищницы чужого опыта, необходимо было трудолюбие.

Улетели мы на рассвете, а потому все произошло спокойно и деловито. Очень скоро добрались до Прибалтики.

Впечатлений в этом путешествии было предостаточно. Мы прошли над столицей Эстонии Таллином. Сделав над городом круг, полюбовались стариной его построек, затем, взяв к северу, перешли на противоположную сторону Финского залива и нанесли визит вежливости в Хельсинки. Этот визит также был беспосадочным. Круг над финской столицей — и мы снова перебрались на южную сторону Финского залива, к Нарве. От Нарвы над советской территорией летели в сопровождении почетного эскорта встретивших нас четырех самолетов и вскоре приземлились в Ленинграде, на Комендантском аэродроме.

Недавно я был в Ленинграде и узнал, что Комендантский аэродром больше не существует. Он застроен новыми домами. Но тогда нас принимали на его летном поле. Аэродромная команда четко, слаженно и очень уверенно взяла под уздцы нашу четвертькилометровую громаду, пришвартовав ее к специально построенной по этому случаю причальной мачте.

К приему дирижабля в Ленинграде готовились очень тщательно. Успеху этой подготовки многим содействовал Осоавиахим, им и была изготовлена причальная мачта. В подготовке принимал участие и Федор Федорович Ассберг. Незадолго до нашего отбытия в Германию он специально выезжал в Ленинград и тщательно инструктировал аэродромную команду.

Всем нам было очень приятно приземлиться на родной земле, но Федору Федоровичу особенно. Его ученики не ударили в грязь лицом. Посадка дирижабля, да еще такого огромного, длиной в 236 метров, — дело не легкое. Емкость газгольдеров, заключенных в его оболочку, тоже весьма внушительна — 105 тысяч кубических метров (дирижабль «Италия», на котором летал Нобиле, имел емкость лишь 20 тысяч кубометров). И все же, несмотря на какие-то совершенно не укла-

дывающиеся в воображении обычного землянина размеры, посадка прошла великолепно.

С передней части гондолы нашего корабля были сброшены причальные канаты — гайдропы, выделявшиеся своей белизной на зеленом фоне аэродрома. Умение поймать гайдроп — своего рода критерий уровня аэродромной команды. К великому удивлению немцев, людей в воздухоплавательном деле весьма многоопытных, команда, почти не сдвинувшись с места, быстро овладела гайдропом и подтянула нашу махину к причальной мачте.

Мачта была сделана с таким расчетом, чтобы сам нос цеппелина можно было прикрепить к ее вершине, а гондола дирижабля, где находились пассажиры и команда, оказалась бы над землей на высоте метров трех, не более. На вершине этой башни имелся вертлюг. В зависимости от ветра цеппелин, обладавший огромной парусностью, поворачивался, как флюгер, в том или ином направлении. И хотя башня была сравнительно маленькой, за счет огромных размеров дирижабля ее высота составляла около 25 метров.

Встречал Ленинград нас очень торжественно. На аэродром прибыли городские и военные власти. Прибыл немецкий посол фон Дирксен. Играл оркестр. Приехал даже престарелый президент Академии наук СССР Александр Петрович Карпинский, которому было тогда восемьдесят четыре года. Этого представительного, белого как лунь старика поддерживали под локоточки его помощники. Президенту явно нелегко дался выезд на аэродром, но, по-видимому, в его глазах исследовательский рейс цеппелина в Арктику был слишком большим событием, чтобы оставить его без внимания. Прибыл на летное поле и Отто Юльевич Шмидт.

Комендантский аэродром являл собой в ту ночь весьма впечатляющее зрелище. ярко высвеченный прожекторами, дирижабль «пил» подъемный газ, горючее и балласт. А неподалеку от дирижабля, на том же аэродромном поле, состоялся торжественный банкет, посвященный укреплению советско-германских научных связей. Командир дирижабля доктор Эккнер и профессор Р. Л. Самойлович, начальник научной части экспедиции, были на этом банкете в центре внимания.

Провозглашая тост, Эккнер сказал:

— Может быть, я посредственный воздухоплаватель и уж, наверное, посредственный оратор. Но не надо быть Демосфеном или Цицероном для того, чтобы выразить все чувства, охватившие участников экспедиции после такого приема. Мы рады, что находимся в стране, которая производит социальный опыт всемирно-исторического значения и работает не покладая рук над тем, чтобы поднять материальный и культурный уровень трудящегося населения. Мы отдаем себе отчет в огромных успехах, достигнутых СССР вопреки всем трудностям.

На следующий день речь Эккнера была напечатана в газетах, а дирижабль, погрузив прибывшие в подарок от Осоавиахима минеральную воду, ветчину, икру и конфеты, произвел последнее взвешивание и, оторвавшись от причальной мачты, взял курс на Архангельск.

Очень скоро мы оказались в Карелии, в районе Петрозаводска. Удивительную картину являет собой с воздуха этот уголок нашей родины. И хотя по отношению к Карелии выражение «страна озер» звучит уже не образом, а литературным штампом, иначе ее и назвать трудно. Большие и маленькие озера глядели в небо, как открытые глаза, отражая небесную синеву. А мы так же жадно смотрели с неба на землю, отражавшую в озерной синеве громаду нашего дирижабля.

Фотографы бушевали. Мастера фотообъектива воспринимали эту красоту как подарок судьбы, как большой выигрыш, свалившийся прямо в руки. К тому же условия для съемок были воистину царскими. Цеппелин в отличие от самолета летит неторопливо — со скоростью примерно ста пятидесяти километров в час. В окно можно высунуться и снимать, сколько угодно твоей душе. Впрочем, жадность не бывает безнаказанной и в съемках. Один из фотографов вертелся как черт и довертелся. Он как-то нехорошо, неудобно нагнулся и выронил свою лей-

ку, которая, вероятно, и по сей день покоится где-то в дебрях Карелии, а, как известно, карельская тайга не очень-то доступна даже в наше время.

Вспоминая этот полет, хочется описать несколько подробностей, ушедших в безвозвратное прошлое вместе с идеей массового строительства дирижаблей. «Граф Цеппелин» ЛЦ-127 устроен был хорошо. Святая святых его — передняя часть гондолы, вся застекленная какими-то небьющимися прозрачными листами. Тут рулевое управление кораблем и приборы управления майбаховскими моторами, которые размещались по два с левого и правого борта и один совсем позади.

Моторы находились в кормовой части цеппелина, один даже, пожалуй, в последней его трети. Моторные гондолы представляли собой довольно большое сооружение обтекаемой яйцеобразной формы. Из цеппелина через соответствующий люк можно было спускаться по лесенке до моторных гондол. Лесенка была примерно трех-, если не четырехметровая, очень хлипкая на вид. Выходя на нее, механики висели буквально в воздухе. Никаких поручней, никаких предохранительных сеток или сооружений там не было. Я попросился как-то залезть посмотреть моторы, но мне было сказано, что это нельзя. Естественно, я больше уже не просился.

На командорском пульте располагались ответственные аэронавигационные приборы, управление двигателями, телефонные аппараты, устройства сигнализации и так далее, а также одна очень интересная ручка.

Если цеппелину надо было подняться повыше, чтобы использовать какие-нибудь воздушные течения, обойти облако или что-нибудь в этом роде, то в первую очередь в ход шла эта самая ручка. Она управляла ассенизационным баком, который использовался как балласт.

Радиорубка примыкала к командорской. Напротив радиорубки располагалась штурманская, где прокладывался курс. Дальше — большая кают-компания, весьма комфортабельная. Очень удобные крепко принайтвовленные дюралюминиевые столики, покрытые безукоризненно чистыми крахмальными скатертями. Посуды в привычном понимании этого слова не было. Бумажные тарелки, бумажные стаканы. Мытье посуды связано с расходом воды, а возить пресную воду на дирижабле нецелесообразно. Поэтому использованная бумажная посуда выбрасывалась за борт. Кухня работала на электричестве. Так было безопаснее.

За кают-компанией шел длинный коридор, устланный ковровой дорожкой. По бокам от него — двухместные каюты, похожие на железнодорожные купе: маленький столик и койки в два яруса, одна над другой.

Вес на дирижабле играет важную роль. Для облегчения все конструкции каюты сделаны из алюминия, а межкаютные перегородки перед нашим полетом сняты и заменены занавесками из какого-то плотного декоративного материала. Все максимально легкое, уютное. Одним словом, в нашем воздушном вагоне мы размещались в двухместных купе.

Через потолок гондолы можно было попасть туда, куда уж туристы и экскурсанты не попадали, — внутрь оболочки, где я, полный любознательности, частенько прогуливался. Там располагалась жизненно важная часть цеппелина — огромные газгольдеры. Не знаю, сколько кубометров газа вмещал каждый из них, но объем наверняка был весьма солидный, а главное — все они были абсолютно изолированы друг от друга, чтобы в случае прорыва или каких-либо аварий газ вышел бы не полностью. Одним словом, тот же принцип непотопляемости, что и на морских судах, только наоборот. На кораблях, плавающих по морям, — водонепроницаемые переборки, ограничивающие вход воде. Здесь же устройства, ограничивающие выход газа наружу.

Под газгольдерами — служебный проход. Узенькая, не более двадцати пяти сантиметров, тропочка, висящая где-то в воздухе, как под куполом цирка. Под тобой ничего нет, над тобой газгольдеры. Чтобы не свалиться куда-то на крышу, на потолок кают, имелись поручни из стальной проволоки. Все это выглядело очень жидким, эфемерным, но вполне справлялось со своими обязанностями.

А тем временем, пока я совершал свои исследовательские походы внутри

оболочки, цеппелин летел и летел. Мы прошли над Архангельском, Белым морем. Затем началось Баренцево море. Появились льды, и на одной из льдин, к великому восторгу всей экспедиции, удалось углядеть белого медведя. Для тех, кто видел его впервые, это было, разумеется, сильным впечатлением. Шум почти трех тысяч лошадиных сил, запряженных в наш дирижабль, потревожил хозяина Арктики. Он поспешил прыгнуть в воду и направиться к другой льдине, полагая, что так будет для него спокойнее.

По мере того как мы приближались к Земле Франца-Иосифа, наша деятельность в радиорубке активизировалась. Мы начали искать в эфире радиостанцию «Малыгина». Связавшись с ледоколом, выяснили, что он находится у берегов Земли Франца-Иосифа, точнее — подле острова Гукера, в бухте Тихой. Читатель помнит, вероятно, что в ней зимовал на корабле «Святой Фока» Георгий Седов. Мне эта бухта была хорошо знакома: там я провел первую на этой земле зимовку с 1929 по 1930 год.

Ледокол «Малыгин» тоже неспроста появился в этих местах. В связи с перелетом, с планом обмена почтой между ледоколом и дирижаблем он ушел в Арктику, унося на борту иностранных туристов. Это была небольшая группа иностранцев, человек пятнадцать, но примечательная некоторыми входившими в ее состав людьми.

Так, среди туристов на «Малыгине» находилась известная в те годы своими причудами американская миллионерша миссис Бойс. Это она несколько лет назад, зафрахтовав шхуну, отправилась на поиски Амундсена. Старушка очень надеялась при этом на потусторонние силы. Она занималась на борту шхуны спиритизмом и, повинаясь «голосу духов», называла координаты великого норвежца. Капитан, получавший большие деньги, плыл, разумеется, по столь необычно найденному курсу. Но... естественно, без результатов.

Был на борту «Малыгина» и другой человек, чье имя знали не только полярники, но и весь мир, человек трагической славы — Умберто Нобиле. Трагедия, которую он пережил, вела его в эти края. Он не мог забыть людей, которых потерял во время своей неудачной экспедиции.

Погода благоприятствовала нам. Туман развеялся, и мы увидели «Малыгина», с которым уже держали прочную радиосвязь. И «Малыгин» нас увидел. Он стал салютовать нам гудками. Слышно этих гудков не было, но отчетливо видные струйки пара свидетельствовали, что салют происходит по всем правилам вежливости.

Сделав несколько кругов, цеппелин пошел вниз. Под гондолой располагалась огромная подушка, созданная специально для амортизации. Сделали свое дело и водяные якоря. Дирижабль коснулся воды и тотчас же выбросил два больших шланга. Заработали моторы. Дирижабль быстро стал закачивать балласт, прижимаясь к воде.

Чтобы закрепить приводнение, были выброшены водяные якоря. Глубина была большая, и воспользоваться настоящими якорями цеппелин не мог. Разумеется, рулевые остались на своих постах и зорко следили за всем происходящим. Дело в том, что хотя бухта и называется Тихой, но в ней есть небольшие течения. К тому же исполинское тело дирижабля обладало, как уже говорилось, большой парусностью. Попросту говоря, чудовище было весьма подвержено даже малейшему дуновению ветерка.

Дирижабль лежал на воде, а от ледокола стремительно двигалась шлюпка. Вскоре она подошла к цеппелину. В шлюпку был сброшен удобный штормтрап, по нему стали подниматься люди. Среди них я увидел человека, чье красивое лицо, обрамленное черными как смоль волосами, на котором особенно выделялись умные глаза, мне было хорошо известно по фотографиям. Это и был Умберто Нобиле.

Нобиле, а за ним и остальные пассажиры поднялись наверх, и началась передача мешков с почтой. Тут я познакомился с «почтмейстером» ледокола, разумеется, и не подозревая что этот невысокий, плотный человек станет через не-

сколько лет сначала моим соседом по маленькой четырехместной палатке, а затем и по почтовым маркам. В этот день, кроме знакомства с Нобиле, произошло и знакомство с начальником дрейфующей станции СП-1 Иваном Дмитриевичем Папаниным, передававшим и принимающим почту.

В ту пору я еще не был филателистом и не очень-то разбирался в том, что такое настоящий раритет. Федор Федорович был в этом деле человеком более искушенным, и такой раритет изготовил у меня на глазах. Среди писем, посланных им на «Малыгин» с дирижабля, было одно столь же редкое нынче, как королева всех марок — одноцентовая Гвиана. Оно единственное в мире. Федор Федорович написал письмо на бумажной тарелке из числа тех, которыми мы пользовались на дирижабле.

Едва дирижабль успел обменяться со шлюпкой почтой, как события стали развиваться весьма стремительно. В пролив между островом и скалой Рубини-Рок входило огромное ледяное поле. Оно двигалось довольно бойко, создавая для цепелина реальную опасность. Извинившись перед гостями, Эккнер стал провожать их обратно в шлюпку. Счет времени пошел буквально на секунды, и едва шлюпка отчалила, как поднялся и дирижабль. Взлет оказался для наших гостей неприятным. Цепелин сбрасывал водяной балласт, и шлюпка со всеми пассажирами попала под каскад ледяной морской воды.

Заревели моторы, и мы потопали своей дорогой дальше на север.

Летели над Северной Землей, а в кают-компании царило невероятное возбуждение. Научную часть экспедиции страшно взбудоражил поток информации, который так и плыл в руки, как галушки в рот гоголевскому Пацюку. Буквально каждые пять минут фотоаппараты дирижабля фиксировали новый, еще неизвестный географам остров. Эккнер шутил, что Самойлович падает в обморок от этого неслыханного урожая маленьких, но до этого неизвестных земель.

Но это была, разумеется, только шутка. Самойлович в эти минуты был буквально как туго натянутая струна. Он не выходил из командирской рубки, сосредоточенно вглядываясь вниз. Однообразные для профана льды он читал как открытую книгу. По результатам ледовых и географических наблюдений руководителя научной части экспедиции дирижабль совершал те или иные эволюции, менял курс, открывая все новые и новые земли. Мне было очень интересно наблюдать в эти минуты за Рудольфом Лазаревичем, превратившим громаду цепелина в прибор для научного исследования подробностей, увидеть которые иными средствами тогда было просто невозможно.

Впрочем, наблюдениям я предавался недолго. Облетев Северную Землю, цепелин взял курс на остров Домашний, где работала группа советских зимовщиков Ушакова и Урванцева. У них была радиостанция, связаться с которой было крайне необходимо для выполнения весьма сложного задания, входившего в программу нашей экспедиции: нам предстояло взять на борт геолога Урванцева и доставить его в Ленинград.

Туман и какие-то помехи радиосвязи не дали нам выполнить это сложное и беспрецедентное для арктических исследований тех лет задание. Сколько мы ни звали — радиостанция зимовки почему-то не отвечала, а отсутствие видимости вынудило нас повернуть восвояси, и мы двинулись к мысу Челюскин, а затем углубились на территорию Таймырского полуострова.

Прежде чем рассказать о наших впечатлениях об этой части советского Севера, хочу описать еще одну интереснейшую процедуру, выполнявшуюся на борту дирижабля под руководством профессора Молчанова. В районе Северной Земли произошел запуск радиозонда.

Процедура была не из простых, несмотря на то, что в оболочке дирижабля для этого существовал специальный люк. Прежде всего из одного газгольдера брался водород для наполнения пятикубометровой оболочки. Затем к аэростату подвешивался коротковолновый радиопередатчик. Чтобы радиозонд не повредил дирижабль, зацепившись за какую-нибудь выступающую часть конструкции (гондолу, винт и т. п.), к зонду подвешивался точно рассчитанный груз, который ув-

лекал его вниз. После нескольких секунд падения автоматическая гильотина с часовым механизмом отсекала этот грузик и зонд уходил на высоту, передавая в эфир показания своих приборов.

Несколько слов еще об одном любопытном исследовании. Немецкий профессор Вайкман исследовал загрязненность воздуха. Результаты замеров на разных участках трассы оказались любопытными: в одном кубическом сантиметре воздуха, взятом над Ленинградом, оказалось 52 тысячи пылинок, над Архангельском 26 тысяч, а над Северной Землей их число сократилось до 200—300. Если напомнить, что в Ялте, куда вывозили тогда туберкулезных больных, число пылинок составляло 4 тысячи в кубическом сантиметре, то чистота арктического воздуха не могла не производить впечатления.

Таймырский полуостров с воздуха показался нам каким-то рыжим. В этой рыжей земле было множество голубых озер, между которыми наблюдалось весьма энергичное движение. Мы увидели многотысячные стада оленей. Испуганные шумом моторов, они принялись удирать от нас с такой скоростью, что мы ощущали ее даже с высоты 1000—1500 метров, с которой движение на земле кажется очень медленным.

Затем новое изменение курса: на остров Диксон. С радиостанцией Диксона мы имели хорошую связь, да и видимость нас не подвела. Мы сбросили зимовщикам грузы, каких не смогли сбросить группе Ушакова и Урванцева. С дирижабля пошли вниз три парашюта. На одном — телеграммы и газеты, на другом — мешок со сладостями, на третьем — картошка которая в условиях зимовки деликатес послаще шоколада.

Правда, и здесь не обошлось без происшествий. Первый парашют зацепился за указатель скорости и повис на нем. Пришлось выбирать указатель, снять парашют и сбрасывать груз снова. Второй раз все получилось как надо.

От Диксона, пересекая Карское море, мы прилетели на самый северный мыс Новой Земли — мыс Желания. Оттуда над главным хребтом Новой Земли двинулись на юг, к тем местам, в которых происходила моя первая зимовка. Я не знаю, сколько километров в ширину имеет Новая Земля, не помню высоту нашего полета, но отчетливо помню другое — когда мы летели от мыса Желания на юг, налево было видно Карское море, как всегда забитое льдом, а направо — чистое Баренцево.

Долетели до Маточкина Шара и от «охотничьего домика», про который я рассказывал, пошли над проливом. Конечно, это субъективно, но полет над проливом, по которому было столько хожено и перехожено, произвел на меня сильнейшее впечатление. Мы шли по коридору между гор, окаймляющих Маточкин Шар. И природа, казалось, так хорошо знакомая по двум зимовкам, раскрывалась передо мной в совершенно новом свете. И ледники, и горные реки — все это из окна гондолы выглядело, как говорят фотографы и кинооператоры, общим планом, тем самым, увидеть который не дано с земли.

А пока я предавался лирическим воспоминаниям, в наушниках моего телефона внезапно раздался оглушительный шум радиogramмы. Он бил по ушам так, словно вызывавшая нас станция была рядом. Неизвестный радист отчетливо отстукивал наши позывные:

— ДЕННЕ! ДЕННЕ! ДЕННЕ!

— В чем дело? Почему нас зовете?

— А как же не звать? Мы находимся под вами, в Карском море. Салютуем вам флагом, а вы не отвечаете!

Я доложил о радиogramме Эккнеру. Он вооружился каким-то сверхдальним биноклем. Долго смотрел. Наконец нашел маленькую черную точку. Это было наше гидрографическое судно, то ли застрявшее во льдах, то ли делавшее какие-то промеры. И, хотя Эккнер не в состоянии был разглядеть салютовавшего нам флага, он приказал отсалютовать советским гидрографам флагом дирижабля, спущенным вниз на грузе.

ЛЦ-127 держал курс на Ленинград. Мы должны были прибыть туда на

рассвете и произвести посадку. Однако надвигавшаяся гроза с сильными ветрами заставила Эккенера отказаться от этого плана.

Проходя над Ленинградом, мы сбросили два парашюта. Один с почтой, взятой на ледоколе «Малыгин», другой — с письмами Эккенера, Самойловича и Ассберга. Эти письма выражали сожаление о невозможности посадки. Одновременно я передал радиogramму:

«Советскому правительству, Кремль, Москва.

Возвращаясь из полета в Арктику и покидая страну, оказавшую нам столь ценное содействие, я не хотел бы упустить случай принести свою сердечную благодарность и одновременно выразить свое живейшее удовлетворение по поводу того, что первая совместная работа русской и немецкой науки в деле исследования Арктики дала прекрасные результаты. К моему глубокому сожалению, при господствующем порывистом ветре и неустойчивой погоде было небезопасно спуститься в Ленинграде. Нам удалось, однако, приветствовать город, описав над ним несколько кругов. Эккенера».

От Ленинграда цепелин полетел в Германию. Мы приземлились на знаменитом берлинском аэродроме в Темпельгофе. Встреча была торжественной. Приехало множество представителей прессы, фотографов, кинооператоров. Шум был огромнейший. А мы тихо собрали свои нехитрые пожитки и поехали домой.

ПОД ЧЕРНЫМИ ПАРУСАМИ СРЕДИ ЛЬДОВ

Международный полярный год. История забытого спора. Благоприятный ледовый прогноз. Глаза и уши миллионов. Сон на подушке из гремучей ртути. Героика, экзотика и будни. Ушаковская четверка встречается с «Сибиряковым». Вокруг Северной Земли. С «велосипедами» на буксире. Во льдах Чукотского моря. Этого еще не знала история арктического мореплавания. Великий аврал. Винт восстановлен — винт потерян. Всеми возможными средствами. Мы поднимаем черные паруса. За «Уссурийцем» по Тихому океану. Нет таких крепостей, которых не смогли бы взять большевики.

Возвратившись из Германии, я недолго ждал нового дела. В 1932 году начался второй МПГ — Международный полярный год. Работы навалилось много. Об отдыхе некогда было и думать. Как всегда, такие мероприятия основывались на обширной программе. И хотя государство испытывало еще множество трудностей, ученые, стремившиеся в Арктику, получили самую широкую поддержку.

Для проведения комплекса советских арктических исследований был создан специальный комитет под председательством крупного метеоролога профессора А. Ф. Вангенгейма. В комитет вошли Н. Н. Зубов, О. Ю. Шмидт, Ю. М. Шокальский, В. Ю. Визе, П. А. Молчанов, В. В. Шулейкин, М. А. Бонч-Бруевич и другие ученые с мировой известностью. Объединив свои планы, представители самых различных областей науки и техники составили внушительную силу. Поддержанная Советским правительством, эта сила готовилась к большим серьезным делам.

Однако в широкие планы жизнь внесла свои поправки, не зависевшие от советских людей. Ученым разных стран, которым предстояло действовать единой дружной семьей, помешал жесточайший экономический кризис, поразивший капиталистический мир. Кризис сорвал многие запланированные на Международный полярный год мероприятия, в том числе и реализацию поддержанной советскими учеными идеи Фритьофа Нансена о создании в районе Северного полюса дрейфующей станции на льдине. Международный комитет по полярному году во главе с датским геофизиком Д. Лакуром счел такого рода шаг несвоевременным.

Такова была обстановка, как говорится, в мировом масштабе. Однако, чтобы не уподобляться героям Ильфа и Петрова, произносившим при пуске старгородского трамвая бесконечные речи о международном положении, расскажу

историю спора, сегодня забытого, но тогда чрезвычайно остро и напряженно. Этот спор стал одной из причин организации похода ледокола «Сибиряков».

Жизнь настойчиво требовала создания северного пути. Без дорог нельзя было осваивать один из богатейших, но суровейших районов страны. Это не вызывало сомнений. Спор развернулся по другому поводу: каким быть северному пути? Морским или железнодорожным? Или, может быть, воздушным? В перспективе рассматривалась даже идея создания мощного дирижабельного флота.

Мысль о постройке Великой Северной железной дороги пришла к нам из-за границы. 1 февраля 1919 года Президиум ВСНХ рассмотрел предложение норвежского банка Ганневег о концессии на это строительство. Через три дня, 4 февраля, по предложению В. И. Ленина, концессия на постройку Великой Северной железной дороги была признана Советом Народных Комиссаров РСФСР приемлемой и практически желательной. Правда, реализации этот план не получил. О нем забыли, но забыли до поры до времени.

В 1928 году «Известия» статьей профессора В. М. Воблого и полярного художника А. А. Борисова открыли дискуссию, не утихавшую несколько лет. В. М. Воблый, А. А. Борисов и их многочисленные сторонники отстаивали идею создания Великого Северного железнодорожного пути, который соединил бы три океана — Атлантический, Северный и Тихий. Что говорить, проект выглядел дерзким, а восемнадцать вариантов дороги, намеченных его авторами, демонстрировали обстоятельность и глубину проработки идеи.

Справедливости ради заметим, что проект оказался отнюдь не столь обстоятельным, как могло показаться на первый взгляд. Его экономические обоснования далеко не всегда были достаточно тверды. Сухопутному варианту северного пути противостоял морской. Спор длился несколько лет, не принося успеха ни одной из сторон.

За сторонников моря был опыт. Он насчитывал более четырех столетий, еще с эпохи великих географических открытий, когда современники Колумба искали «северо-восточный проход».

Славными именами отмечены на картах пути первооткрывателей. Море Баренца, шхеры Минина, море Лаптевых, бухта Марии Прончищевой, мыс Челюскина, мыс Дежнева... Наиболее обстоятельно побережье Ледовитого океана обследовали военные моряки петровских времен. Да и в дальнейшем военный флот оказывал большие услуги Северному морскому пути, выдвигая из своей среды отважных и грамотных людей. геодезистов и картографов, радением которых и создавалась карта северного русского побережья от Белого моря до Берингова пролива.

Не буду перечислять все аргументы сторонников морского и железнодорожного сообщения — это завело бы нас слишком далеко. Важнее другое: теоретический спор пора было заканчивать. Международная обстановка требовала военного укрепления Дальнего Востока, а для этого нужны были дороги. Нельзя было терять времени.

И тогда теоретическую аргументацию решили поддержать экспериментом. По предложению Всесоюзного арктического института снарядили несколько полярных экспедиций. От результатов этих экспедиций, одной из которых стал поход «Сибирякова», зависел конец затянувшегося спора.

Мысль о том, чтобы пройти Северный морской путь за одну навигацию, принадлежит Отто Юльевичу Шмидту. Он высказал ее профессору Визе еще в 1930 году, на борту ледокола «Георгий Седов», когда мы возвращались с Земли Франца-Иосифа. Именно тогда Шмидт и Визе обсудили первые наброски плана будущего похода, который им же предстояло подготовить и осуществить.

Как рассказывал мне впоследствии Отто Юльевич, даже в высоких сферах тогдашнего Наркомвода, где, казалось бы, идея прохода Северного морского пути за одну навигацию должна была найти горячую поддержку, ее сочли никчемной авантюрой и дать ледокол отказались. Все решила редкая настойчивость Шмид-

та. После его отчета перед правительством о работе Арктического института стало ясно — экспедиция состоится. Решения Центрального Комитета партии и Совнаркома позволили начальнику экспедиции от слов и пожеланий перейти к вполне конкретным действиям.

Началась подготовка «Сибирякова» к дороге, которую до этого прошли только три экспедиции — А. Норденшельда на корабле «Вега», Бориса Вильницкого на «Таймыре» и «Вайгаче», Роала Амундсена на шхуне «Мод».

Это была трудная дорога. Северный морской путь — сезонный. Июль, август, сентябрь, октябрь — от силы четыре месяца в году предоставляет он в распоряжение путешественников. Не уложился — пиши пропало. Наступает полярная ночь с ее трескучими морозами. Эта сезонность и привела к тому, что все путешественники — «Вега», «Таймыр», «Вайгач» и «Мод» — потратили на его преодоление по два года. По два года шли они, не подавая на Большую землю никаких вестей. Даже Амундсен, имевший на своей шхуне скромную радиостанцию, которую обслуживал радист Олонкин, отлично владевший русским и норвежским языками, ничего не мог сообщить о себе. В ту пору, когда Амундсен плыл на восток, на нашем Севере еще не существовало достаточно плотной системы полярных станций.

Таким образом, несмотря на то, что четыре корабля прошли уже этой дорогой, к моменту отправления экспедиции на «Сибирякове» практически Северного морского пути не существовало. Нельзя же было засылать десятки кораблей, а потом сидеть и волноваться в Архангельске и Владивостоке, гадая на кофейной гуще, вернутся ли они через год или два? Не утянет ли их на север? Не раздавят ли их льды?

Два года для каравана с коммерческим грузом — чрезмерно большой срок. Но можно ли уложиться в одну навигацию? И если Шмидт с Визе считали, что можно, то их противники расценивали замысел предстоящей экспедиции как безнадёжную авантюру.

Что говорить! Все это не радовало организаторов похода. Но не таков был Шмидт, чтобы отказываться от важного дела, каким бы трудным оно ни было. Не торопясь, но и не теряя ни минуты зря, Отто Юльевич Шмидт формировал экспедицию. На капитанский мостик «Сибирякова» перешел с «Седова» капитан Владимир Иванович Воронин. Научную часть возглавил Владимир Юльевич Визе.

Участники экспедиции были разбиты на несколько групп: научный состав, административно-хозяйственный и технический, литературно-художественный, судовой и пассажиры — четверка зимовщиков, которым предстояло добраться с нами до бухты Провидения. На первый взгляд, деление несколько сложное, но любой из этих групп пришлось немало поработать и при подготовке корабля, и в самом плавании.

Отправить в автономное плавание, да еще в мало хоженные районы Арктики экспедицию — дело не шуточное. К тому же никто не мог гарантировать сроков ее пребывания в походе. Повезет — месяцы. Не повезет — два года. Нужно было быть готовым к любым неожиданностям, в большинстве не очень приятным.

Итак, десятки людей — большой коллектив — начали делать свое дело.

Первым включился в подготовку научный состав экспедиции. Ученые составляли ледовый прогноз — предсказание обстановки, которую корабль встретит в Арктике. Плавание на «Седове» к Земле Франца-Иосифа наполнило меня глубокой верой в могущество науки. Прогнозы Владимира Юльевича Визе, во многом облегчившие капитану Воронину управление ледоколом, сбывались тогда на моих глазах. Не сомневался я и в том, что профессор Визе, возглавивший научную часть предстоящей экспедиции, снова поможет капитану Воронину, принявшему под свою команду «Сибирякова».

Правда, Владимир Юльевич утверждал, что ледовые прогнозы гораздо проще долгосрочных метеорологических предсказаний. По его мнению, эта простота

объяснялась тем, что огромные массы воды инертнее воздушных масс. Движение воды медленнее, чем воздуха, а теплоемкость ее больше.

Арктику часто называют «кухней погоды». Приготовление такого «блюда» этой кухни, как лед, шло по извечным рецептам северной природы, впервые разгаданным советскими учеными. Запас тепла, которым располагала вода к началу таяния льдов, направление и сила зимних и весенних господствующих ветров, температура воздуха зимой и весной, метеорологические условия летом — таковы компоненты, необходимые для расчетов. И если несколько лет назад, когда полярные станции можно было пересчитать по пальцам, предсказывать ледовую обстановку было делом чрезвычайно трудным, то теперь хорошо поставленные наблюдения за погодой позволили ученым сделать уверенный вывод, что 1932 год, год плавания «Сибирякова», с точки зрения ледовой обстановки не только не сулит ничего худого, но, напротив, обещает быть благоприятным.

После такого прогноза, окончательно решившего судьбу экспедиции, можно было перейти к делам конкретным. Судовой состав занялся подготовкой корабля. На соломбальском заводе «Красная кузница», куда завели «Александра Сибирякова», ремонтом и профилактикой командовали Владимир Иванович Воронин и Матвей Матвеевич Матвеев — старший механик нашего судна. Матвеев был удивительно милый, приятный человек с отличным чувством юмора, немногословный, не навязчивый, выделявшийся среди всего экипажа своей непомерной толщиной. Его «морская грудь», как называли парходные остряки живот, осложняла нашему механику жизнь настолько, что даже шнуровка ботинок представляла для него нелегкое дело. Впрочем, это ничуть не мешало нашему стармеху пролезать во все закоулки машинного отделения. Матвеев был знатоком своего дела, отличным инженером-практиком, хотя, насколько я мог понять, никаких вузов не кончал.

Затем ледокол подвели к пристани, где первую скрипку стали играть помощник Отто Юльевича по административной части Иван Алексеевич Копусов и завхоз П. Г. Малашенко. Работа у них была такая жаркая, что и по сей день приходится удивляться, как от высокого градуса административно-хозяйственных страстей не вспыхнул деревянный Архангельск. Нужно было не только найти место разным грузам, но и достать эти грузы, проследить за их качеством.

Рассказывая об этих людях, не хочется называть их банальным, затрепанным словом «снабженцы». Даже я, человек очень далекий от подобных занятий, понимаю всю примитивность такого определения труда, в высшей степени творческого и исключительно изобретательного. А оба они, и Копусов и Малашенко, были знатоками своего хитрого дела. Малашенко — исполнитель, Копусов — стратег, и стратег, отличающийся завидным размахом. Его люди не удовлетворялись складами Архангельска и Ленинграда. За вином — в Грузию, за табаком — в Абхазию, за овощами — в Белоруссию. Размах у бывшего матроса был адмиральский.

Спали в эти дни Копусов и Малашенко очень мало. Брились чрезвычайно редко. Но ошетиленные щеки никого из окружающих не шокировали. Главное заключалось в том, что трюмы корабля медленно, но верно заполнялись всем необходимым.

А пока Копусов и Малашенко набивали трюмы «Сибирякова», два других члена экипажа, откомандированные в Ленинград, топали по городу в поисках шахмат, шашек, домино, книг, плакатов и прочих предметов культурного обихода, без которых ни один уважающий себя корабль не отправится в плавание. Дорогого времени они зря не теряли. Освежаясь во встречных пивных, дотопали до Эрмитажа.

Каким ветром занесло их туда, сейчас установить уже невозможно. Однако сокровища великого собрания не могли не произвести впечатления на морячков, запасавших культуру для дальнего арктического похода. Особенно понравились им два морских пейзажа, написанных каким-то великим художником. Картины

были очень красивы. Они висели в золоченых рамах, подчеркивающих их ценность и значительность.

И тогда машинист Ваня Нестеров, парень лукавый и остроумный, решил разыграть своего попутчика:

— Слушай! Давай не будем покупать ни шахмат, ни шашек, ни домино. Все это можно купить и в Архангельске. Приобретем лучше эти две картины. Смотри, как хорошо они поместятся в простенке нашей кают-компаний!

Спутник Вани не понял розыгрыша.

— А ты думаешь, их продают?

— Вообще-то, конечно, нет. Но если ты пойдешь к директору, объяснишь, что это для «Сибирякова», думаю, что он продаст...

Для удобства разговора с начальством записали инвентарные номера картин. Ваня Нестеров предусмотрительно в кабинет директора Эрмитажа не пошел, а его более смелый спутник, сделавший этот шаг, на несколько лет стал героем этой истории, изрядно позабавившей архангельских морячков.

Готовился к отплытию и литературно-художественный состав экспедиции — журналисты, мастера печатного, а в узкой компании и непечатного слова. Видел я этих журналистов несть числа, и не случайно. Когда правительство поручило Отто Юльевичу поднимать такое большое дело, как Арктика, этот мудрейший человек сразу же понял: надо дружить с прессой. Так в наших экспедициях стали появляться журналисты — пишущие, снимающие, рисующие, представляющие и центральные и периферийные газеты. Одним словом, литературно-художественный состав экспедиции на «Сибирякове» (кроме корреспондентов, в него вошли фотографы, кинематографисты и художники) составлял восемь человек, плюс добровольцы от журналистики, трудившиеся на общественных началах, по совместительству с основными экспедиционными обязанностями.

Иногда прессу называют шестой державой. Иногда же про журналистов говорят: «Врет как очевидец». Бывает по-всякому, но, в общем, на мой взгляд, журналисты — люди симпатичные, контактные, с ними очень приятно иметь дело. Большинство из них — народ бывалый. Много видели, много знают, повсюду бывали, а главное, при такой бурной жизни большинство из них умудрялось сохранять энтузиазм, безмерную любовь к своей, в общем-то, весьма хлопотливой профессии.

Знакомство журналистов с Арктикой, равно как и Арктики с журналистами, начиналось в Архангельске. Если летом в жаркую погоду на центральной улице Архангельска (а в Архангельске летом тоже бывает очень жарко) вы видели человека в кожаной куртке, с новеньким биноклем на груди, новеньким фотоаппаратом на боку, в черных очках и меховой шапке, с каким-нибудь нарезным оружием вроде Манлихера на плече, — можно было безошибочно утверждать: это корреспондент, впервые приехавший в Арктику.

Арктика начала тридцатых годов — уже совсем не та, что во время моей первой зимовки на Маточкином Шаре. Профессия полярника, привлекавшая своей романтичностью, стала весьма популярной. И не удивительно, что журналисты спешили прорваться за Полярный круг с такой силой, словно там скрывалась земля обетованная.

Пожалуй, классический пример напористого устремления в Арктику продемонстрировал художник Федор Павлович Решетников, с которым мне довелось проплавать на «Сибирякове», а затем и на «Челюскине». Теперь это маститый живописец, а тогда был просто Федя. Первый штурм высоких широт Федя провел в Москве. Подкараулив Шмидта, когда он шел с работы, Решетников помчался вслед за ним, на ходу набрасывая портрет. И хотя московский трамвай тех лет славился своей способностью вбирать в себя неизмеримо больше пассажиров, чем предусматривалось его создателями, Федя, нырнув в трамвайный вагон за Отто Юльевичем и пренебрегая толкотней, завершил свои наброски.

На следующий день Решетников подарил портрет Шмидту. Подарок был,

прямо скажем, не бескорыстен. Ему сопутствовало приложение — речь на тему «хочу в Арктику». За портрет Шмидт поблагодарил, но на «Сибирякова» не пригласил, что ничуть не смутило энергичного Федю. Пользуясь своей дружбой с помощником Шмидта, Федя одновременно с другими членами экспедиции погрузился в поезд и отправился в Архангельск.

Тут-то и сработала пресловутая журналистская контактность, всегда подкупавшая меня в людях этой профессии. Другого и на борт ледокола не пустили бы, а Федя молниеносно стал на «Сибирякове» своим человеком. Он увешал стены кают-компания остроумными шаржами на участников экспедиции, доставлявшими всем нам немалое удовольствие.

Через несколько дней Шмидт капитулировал, а так как в состав экспедиции уже был включен художник Л. Канторович, то Федю зачислили на корабль библиотекарем с обязательством быть источником физической силы при проведении разного рода научных исследований.

А пока Федя атаковал Шмидта, в Москве, на углу Садовой и Тверской улиц, в правлении студии «Межрабпомфильм», прославившейся такими боевиками, как «Поликушка», «Человек из ресторана», «Белый орел», «Праздник святого Йоргена», «Веселая канарейка», снаряжали в дорогу Владимира Шнейдерова. У него и тогда уже была репутация известного кинопутешественника, хотя до создания телевизионного клуба кинопутешественников оставалось более четверти века. Шнейдерова пригласил сам Шмидт, запомнивший его по памирскому походу, в котором он был начальником экспедиции, а Шнейдеров вел киносъемки.

На «Сибирякове» Шнейдеров числился в литературно-художественном составе старшим кинорежиссером, руководителем киногруппы, в которую входили режиссер Я. Д. Купер и оператор М. А. Трояновский. Но для меня старший кинорежиссер был тем самым Володей Шнейдеровым, командиром отряда бойскаутов, в котором я состоял вскоре после революции.

В весьма пестром составе литературно-художественной части экспедиции состоял и инженер человеческих душ, писатель Сергей Семенов. В отличие от остальной пишущей братии он более всего интересовался психологией. Предметом его литературно-художественных исследований была загадочная душа полярника. И поскольку с узким специалистом соперничать просто безнадежно, я воспользуюсь некоторыми характеристиками, которые привел в своей книге «Экспедиция на «Сибирякове» Сергей Семенов.

«П. П. Ширшов, гидробиолог-ботаник; молодой талантливый ученый, имеющий, несмотря на молодость, научные труды; грозится, что за время рейса обучит каждого сибиряковца... боксу.

А. Ф. Лактионов, гидролог; серьезный ученый, самостоятельно проводил научные полярные экспедиции, не любит газетных корреспондентов, пишущих книги о полярных экспедициях.

Н. А. Чочба, специалист-охотник экспедиции, по происхождению абхазец, никогда не видел белого медведя и грезил о встрече с ним, пока корабль не обогнул Северную Землю; встретившись у Северной Земли с долгожданным зверем, ударил его шестом по морде несколько раз и навсегда разочаровался, найдя, что кавказский медведь — зверь более сообразительный в смысле самозащиты; из винтовки стреляет уток влет без промаха».

Таких портретов кисти Сергея Семенова можно было бы привести много, но нельзя злоупотреблять правом на цитаты и потому придется обратиться к собственной памяти...

Чуть дальше я расскажу о большинстве своих спутников, а сейчас несколько слов о секретаре нашей партиячки, матросе Н. А. Адаеве. Он пробивался в экспедицию с настойчивостью не меньшей, чем Федя Решетников. Н. А. Адаев был не матрос, а штурман, архангельский партийный работник и редактор газеты архангельских моряков. Отсутствие вакансии штурмана не остановило его, и он пошел в поход матросом второго класса, отдавая себе полный отчет в трудностях матросской жизни.

Как я уже писал, большинство моих полярных маршрутов начиналось на Рождественском бульваре. Я уже давно как-то привык к этому, но на этот раз стартовая площадка переместилась на несколько трамвайных остановок к другому бульвару — Покровскому, по которому в годы военного коммунизма я ходил в слесарную мастерскую на Солянку.

В Большом Вузовском переулке, выходящем на Покровский бульвар, размещалось статистическое управление, которое возглавлял Отто Юльевич Шмидт. Симпатичный молодой человек — Леонид Филиппович Муханов, состоявший при его персоне, официально назывался секретарем экспедиции. Мы же называли адъютанта Шмидта весьма фамильярно — Ленечкой или Муханчиком.

Был Муханчик весел, молод, энергичен, а главное — умел быстро и точно выполнять указания Шмидта, крепко державшего в своих руках многочисленные нити подготовки к трудному и ответственному плаванью. Именно Муханчик сказал мне однажды:

— Пора!

Не могу сказать, что я изнемогал от подготовки своего радиохозяйства. Все на «Сибирякове» было в полном порядке. Старший радист корабля, архангелогородец Евгений Николаевич Гиршевич, бывалый моряк, отлично знавший дело, держал аппаратуру в безупречном состоянии. В Архангельск я тронулся, когда до отправления оставалось буквально несколько суток.

Зная, что я относительно свободен, Отто Юльевич дал мне перед самым отъездом несколько неожиданное поручение. Одним из важных грузов была взрывчатка, необходимая, чтобы раскрывать дорогу во льдах, когда все остальные средства окажутся бессильными. Несколько тонн взрывчатки уже покоилось в трюмах «Сибирякова». Забыли лишь о пустяке — о запалах, четырех-пятисантиметровых трубочках из красной меди, наполненных какой-то гремучей смесью.

Запалы, как любые взрывчатые вещества, полагалось возить со всякими предосторожностями в специальном вагоне, по особым железнодорожным правилам. При создавшемся положении мы явно не успевали доставить их в Архангельск. Оформить за оставшиеся три дня разрешение на специальный вагон и получить этот вагон у железнодорожников было безнадежным делом. Положение — хоть караул кричи. Тут уж не до правил и инструкций.

— Знаете что, — сказал Отто Юльевич снабженцам, — не будем усложнять обстановку. Отдайте пакет Кренкелю, мы доставим его сами. Авось он у нас не взорвется.

В мягком вагоне поезда Москва — Архангельск мы с Отто Юльевичем ехали в одном купе. Когда мы сели и поезд тронулся, Шмидт сказал:

— Эрнст Теодорович, чтобы ничего не случилось, положите сверток со взрывателями под подушку. Это будет спокойнее.

Так я и спал, имея под головой 5 тысяч запалов.

Когда мы прибыли в Архангельск, шли последние операции по подготовке судна к отплытию. Подхватив широкими лямками коров, быков, свиней, краны переносили их с берега на корабль. Скотный двор на борту ледокола — не чересчур эстетичное зрелище, но уж бог с ней, с эстетикой. Зато мы имели консервы наилучшего качества — живое мясо, богатое витаминами, а это в Арктике чрезвычайно важно.

Пожалуй, сейчас самое время представить читателю тот плавучий дом, которым должен был стать для нас «Сибиряков». Он был невелик. Корпус занимали несколько трюмов — носовых, заполненных продуктами питания на полтора года вперед, и угольного кормового, загруженного отличным углем — пищей корабельных машин. Сами машины занимали среднюю часть.

Наверху, на палубе, несколько надстроек: носовой кубрик — для палубных матросов, кормовой, непосредственно над машинами — для машинистов и кочегаров, в средней части палубы — твиндек, где были сооружены жилые помещения для состава экспедиции. Над твиндеком — капитанский мостик, кают-компания.

радиорубка. Не хватало лишь самолета — глаз корабля, рассказывающих капитану о ледовой обстановке.

Собственно говоря, и для самолета было запланировано место. Он вылетел из Ленинграда, пилотируемый летчиком И. К. Ивановым, но до Архангельска не долетел: испортился двигатель. Самолет совершил вынужденную посадку на Онеге. Из Архангельска на катере был послан к месту посадки новый двигатель с заданием летчику догонять ледакол. Ориентировочно местом встречи был намечен остров Диксон.

28 июля 1932 года, на три дня позже положенного срока, «Сибиряков» прощался с Архангельском. Происходило это на Красной пристани и выглядело весьма торжественно. Мы вместе с провожающими партийными и советскими работниками Архангельска — на борту корабля, как президиум. На пирсе — множество народу. С капитанского мостика звучат речи Отто Юльевича Шмидта, Владимира Ивановича Воронина. Последнюю речь произнес сам «Сибиряков»: издал три протяжных гудка, он отвалил от пристани.

Воронин в парадной форме. «Сибиряков» во флагах расцветивания. За нами — множество разукрашенных кораблей и лодок. На пристани — группа Шнейдерова с дальнобойной пушкой киноаппарата. Одним словом, все очень красиво и торжественно.

Так мы дошли до Чижовки. В Чижовке на борт корабля вошли военные в зеленых фуражках, а с корабля спустились вниз наши жены. Да, это было последнее прощание. Поход начался! Выполнив положенные формальности, пограничники выпустили нас на морской простор.

В полном соответствии с прогнозом Владимира Юльевича Визе море оказалось чистым. Машины «Сибирякова» работали исправно, а так как никаких событий не происходило, то кто-то из журналистов придумал обряд крещения новичков, впервые пересекающих Полярный круг.

Справедливости ради отметим: морские традиции предписывают проводить обряд крещения не в Заполярье, а на экваторе. Так принято уже много лет, к тому же экваториальная температура гораздо больше соответствует традиционному купанию. Полярный круг для такого рода процедур приспособлен меньше, но все же, отыскав себе жертву, наши корабельные остряки истошно закричали:

— Крестить!

Этой жертвой оказался инженер-подрывник Б. Ю. Малер. Был он сух, чтобы просто не сказать тощ, не очень складен и очень говорлив, а потому не раз становился объектом юмора палубного значения.

Не могу сказать, что подрывника обрадовала объявленная ему процедура крещения. Малера подвели к борту, с которого свисал вниз тонкий канатик — фалинь (слово «веревка» у моряков считается просто неприличным, ибо, как некогда заметил Джером К. Джером, веревкой на корабле может быть лишь завязан багаж пассажира).

— Подергай, попробуй, какой фалинь крепкий! Когда спрыгнешь с борта, мы быстро протянем тебя на фалине под судном и вытащим с другого борта уже настоящим полярником.

Малер подергал фалинь, и что-то ему не понравилось. Он был очень хорошим, очень честным и порядочным человеком, но... юмор в число его достоинств не входил. Малеру и в голову не пришло, что его разыгрывают. А восприняв все всерьез, он просто убежал и заперся в каюте.

Мы за ним:

— Малер, вылезай! Нельзя нарушать святые морские традиции!

— Убирайтесь прочь! Никуда не пойду. И креститься не буду, пока не прикажет Отто Юльевич!

Мы бегом к Отто Юльевичу. Большой ученый и государственный человек, Шмидт был на высоте и в этом отношении.

— Пойдемте, — сказал он, — я прикажу ему выйти!

Мы гурьбой за Отто Юльевичем. Барабаним в дверь, а Шмидт говорит Малеру:

— Что же это вы боитесь? Надо соблюдать морские традиции.

— Хорошо, Отто Юльевич, я иду!

Малер раскрывает дверь и, как приговоренный к смерти, направляется к борту. Влезает на фальшборт, да так стремительно, что мы еле успели его подхватить, чтобы он и в самом деле не прыгнул. А Отто Юльевич совершенно серьезно заявляет:

— Спускание за борт отменяю!

За борт летит ведро, наполняется морской водой. Мы вытаскиваем его и обливаем Малера. Наш подрывник отделался легким душем и произведен в полярники.

Почитать журналисты любили, но шутки в свой адрес принимали гораздо с меньшим удовольствием. В подтверждение расскажу историю, связанную со столь излюбленными арктической прессой болотными сапогами. Хозяину этих сапог, корреспонденту одной из центральных газет, сказали, что через несколько дней начнется выгрузка. В Арктике выгрузка всегда дело серьезное. Шлюпка стоит по борту корабля. В нее грузятся тонны всевозможных предметов. Она идет к берегу, у которого две-три шатающиеся и болтающиеся доски изображают какое-то подобие пристани. Работа опасная, неудобная, тяжелые грузы приходится выносить по колено, а то и по пояс в ледяной воде. Одним словом, ясно, что сапоги в таких условиях играют далеко не последнюю роль.

У корреспондента были отличные болотные сапоги. Он показал их мне и спросил:

— Послушай, Эрнст, что сделать, чтобы они не протекали?

— Ну, для этого существует классический способ. Попроси у кока две банки сгущенки, разогрей их и вылей в каждый сапог по банке. Через несколько суток молоко и сахар впитаются, и твои сапоги станут самыми водонепроницаемыми в экспедиции.

Журналист действовал точно по выписанному мною рецепту. А когда дело дошло до выгрузки, все выплыло наружу. Он побежал жаловаться. Да не к кому-нибудь, а к Отто Юльевичу Шмидту. Я был вызван пред светлые очи высшего начальства.

— Эрнст Теодорович! — сказал Шмидт. — Конечно, шутить хорошо, но это довольно злая шутка. В следующий раз вы уж таких рекомендаций не давайте!

Я обещал быть осторожнее в советах. Шмидт принял мое покаяние, но все же мне показалось, что эта история ему понравилась.

Конечно, такие шутки скрашивали время, когда не было работы, а начало нашего плавания выглядело в этом отношении довольно бедным. У судовой команды, ученых и технического состава экспедиции какие-то дела, пусть не слишком большие, но находились. Иное дело журналисты. Они просто изнывали от безделья, всячески изыскивая возможность задать работу нам, радистам.

С присущей ученому аккуратностью и доказательностью Владимир Юльевич Визе в своей книге «На «Сибирякове» в Тихий океан» процитировал рядовую корреспонденцию, переданную в Ленинград, в «Вечернюю красную газету» 7 августа 1932 года. Я благодарен ему за эту цитату, так как судового радиожурнала, куда вносятся тексты всех радиogramм, у меня, естественно, не сохранилось, а не продемонстрировать образчик творчества моих друзей означало бы морально обокрасть читателей этих записок. Не помню, кто из них писал эту корреспонденцию, но выглядела она так:

«Рассекая стальным форштевнем изумрудно-зеленые волны, точно по ровному, гладкому паркету, мчится ледакол «Сибиряков» к выходу в Ледовитый океан. В густой нависшей мгле, время от времени оглашая воздух хриплым ревом гудка, пробирается ледакол к Канину Носу. Кругом, куда ни кинешь взор, — вода, бесконечные разливы тумана. Завтра утром «Сибиряков» будет рассекать синие волны Полярного моря».

Я всегда был человеколюбив и, желая помочь своим ближним в лице незадачливых корреспондентов, принялся по образцу, данному Ильфом и Петровым в «Золотом теленке», составлять самоучитель для начинающих арктических журналистов. Возьмем чайку: одинокая, гордая, белоснежная, быстрая. Или море. Какое может быть море? Хмурое, серое, беснующееся. Ну, разумеется, говоря о море, как не упомянуть и о «необозримых просторах Арктики»?

Знакомясь с моим самоучителем, журналисты смеялись, но затрепанные, банальные слова по-прежнему продолжали уходить в эфир в их радиogramмах.

Как говорят, сколько голов — столько умов. Философия этой примитивной, но одновременно и мудрой поговорки распространяется и на журналистскую братию. Я очень далек от того, чтобы охаивать работу летописцев нашего похода. Нет, и отнюдь нет. Эти люди делали свое дело с большой охотой и любовью, ну, а если у одного получалось лучше, а у другого хуже, то остается вспомнить лишь слова Шолом-Алейхема: талант — как деньги, у кого есть, так есть, а у кого нет, так нет!

Среди моих друзей-журналистов были и великолепные знатоки Арктики, большие мастера своего дела. Имена таких журналистов можно встретить не только в написанных ими статьях, очерках, книгах, но и в серьезных исследованиях по истории Арктики, где их помнят и как источник информации, и как действующих лиц в разного рода событиях.

На всю жизнь запомнился мне человек, которого в экспедициях иначе как Петя никто и не называл, хотя Петя был намного старше нас и вполне годился если не в отцы, то в дяди. Штаны гольф. Какие-то экстравагантные клетчатые чулки. Ботинки, которые иначе как пижонскими не назовешь. Какая-то клетчатая куртка с невообразимым количеством нужных и ненужных карманов. Берет, который тогда носили даже не единицы (единицы надевали шляпы), а десятки доли человеко-единиц.

Обладателя всех этих доспехов, человека, из которого буквально бил фонтан жизнедеятельности, мы окрестили «ящик с шумом». Маленький, толстенький, но подвижный, как ртуть, он шариком катался по корабельным трапам, первым оказываясь на местах тех или иных событий, сжимая в руках фотоаппарат.

— Я глаза и уши миллионов! Опаздывать не имею права!

Таким мне запомнился замечательный полярный фотограф Петр Карлович Новицкий.

Совсем иначе выглядел другой журналист — специальный корреспондент «Известий» Борис Васильевич Громов. Атлетического сложения, сильный, выносливый, он был моим спутником и в 1929 году на «Седове», и в 1932-м на «Сибирякове», и в 1934-м на «Челюскине». Но познакомились мы гораздо раньше. Наше совместное путешествие по жизни началось еще в 1910 году. Когда я поступил в гимназию, Громов уже учился в ней. Был он всего на класс старше, но нос драл на несколько этажей выше, по старой традиции гимназистов, обязывающей не расходовать внимания на тех, кто младше тебя.

В то время, когда мы плыли на «Сибирякове». Громов заканчивал свою карьеру спортсмена — бегуна на средние дистанции, где он показывал в свое время отличные результаты. Но как журналист, причем журналист, физически очень приспособленный к условиям арктического похода, Громов был в расцвете сил. И не случайно, что очень точный в отборе людей Шмидт приглашал его с собой из экспедиции в экспедицию.

А льдов все не было и не было. Только на Новой Земле, в проливе Маточкин Шар, где прошла моя полярная юность, навстречу «Сибирякову» попала какая-то захудалая льдинка. Воронин расправился с ней как повар с картошкой. Направил «Сибирякова» на льдину и расколол на мелкие кусочки.

— Так будет со всеми льдинами! — торжественно заявил наш капитан, поднимая боевой дух экспедиции.

Отто Юльевич Шмидт, наблюдая эту сцену, многозначительно поднял палец и сказал корреспондентам:

— Обязательно отметьте этот момент!

Пулеметная дробь машинок, прозвучавшая через несколько минут после реплики начальника экспедиции, свидетельствовала, что руководящее указание было воспринято правильно. А еще через несколько минут началась корреспондентская атака на радиорубку.

Корреспонденты демонстрировали такую быстроту реакций, что с ними впопых было соперничать разве что летчикам-испытателям. И не обязательно, чтобы появился белый медведь или разразился невиданный в истории человечества шторм. Достаточно было увидеть где-то на горизонте полклыка моржа, как сразу же раздавался стук машинок, а затем стук телеграфного ключа. Раз, два, три — и мир оповещен о факте явно не мирового значения.

Да извинят меня собратья по перу: размышляя о технологии их работы, я часто вспоминал Буриданова осла, голодного между двумя вязанками сена. С одной стороны, хочется написать пообстоятельнее, поподробнее. Но писать долго нельзя. Тебя обязательно опередит более лаконичный коллега. Каждый раз эстафета от факта — через корреспонденцию — до радиорубки выглядела нелегким испытанием для пишущей братии.

Мы с Гиршевичем принимали всех по очереди. Но иногда корреспондент подмигивал:

— Слушай, Эрнст, у меня есть заветная бутылочка коньяка!

Покаюсь, я совершал преступления, принимая взятки в жидком виде, но больших угрызений совести при этом не чувствовал. Во-первых, мы с Гиршевичем отстукивали корреспондентские радиограммы довольно быстро. А во-вторых, не все ли было равно, чья «одинокая чайка» долетит на двадцать минут раньше до типографии?

Очень рвались наши друзья-журналисты к героике и экзотике. Куда ни плюнь, повсюду виделись ими упомянутые «одинокие чайки», «бескрайние снежные поля», «сокрушительные водные валы». Легко понять журналистов: всегда приятно покрасоваться перед читателями исключительностью своей миссии. Вот я какой. Вот с какими людьми плыву. Вот на какие трудности иду. И все для того, чтобы доставить вам, читатель, горяченькую, как пампушку, информацию о чем-то очень героическом.

Да, все было именно так, за исключением пустяка — в первой части нашего рейса никакой героики не было. И все же, вероятно, любой член литературно-художественной части экспедиции обдал бы меня презрением, прочитав то, о чем я хочу сейчас рассказать. Однако в моем рассказе все чистейшая правда...

Кроме битв со стихией, рождавшихся не столь в грохоте льдин, сколь в треске пишущих машинок, мы вели еще одну малоприметную битву — битву с тараканами. Да, да, тараканами. Из песни слова не выкинешь: на героическом ледоколе «Сибиряков» вместе с положительными героями плыли в достаточном количестве и претвратительные, отрицательные тараканы.

Обилие народа на борту «Саши», как мы иногда называли нашего старика «Сибирякова», потребовало перестройки твиндека, грузовой палубы. Налево и направо по борту плотники поставили дощатые перегородки и сделали маленькие четырехместные каюты с койками в два яруса. Машины размещались совсем близко, прямо под нами. И уж на что на что, а на холод никто не жаловался. Несуветная жара, в которой нам приходилось существовать, немало способствовала увеличению поголовья тараканов.

Они нас страшно мучили. Спали мы здорово, от тараканьих визитов не просыпались. А утром протрешь глаза — и выясняется, что у тебя объедены уголки губ. Делать нечего — мы объявили тараканам войну. Способ боевых действий можно было вполне запатентовать как достаточно гуманный и надежный. Перед сном по углам койки расставляли четыре стакана. Верхний край стакана смазывался маслом. Таракан чует масло, хочет его съесть, перелезает через край стакана и падает на дно. Обратного выбраться уже не в силах. Каждое утро у твоей

койки охотничьи трофеи — четыре стакана с шуршащими тараканами, которых остается только выбросить за борт.

Ледовый прогноз наших ученых продолжал сбываться. То, что нас окружала вода, а не лед, оказалось весьма благоприятно для того, чтобы прощупать пути полярных течений с помощью «бутылочной почты». Романисты исписали много бумаги, рассказывая, как бутылки, брошенные потерпевшими кораблекрушение, носили их письма, пока наконец эти письма не попадали в нужные руки. Все это очень романтично и красиво. И хотя одно из первых писем бутылочной почты, брошенное в море Колумбом, не надеявшимся уже на благополучное возвращение вследствие страшной бури, так и не дошло до адресата, все же эта почта привлекла к себе внимание настолько, что в 1560 году английская королева Елизавета учредила специальную должность «королевского откупорщика океанских бутылок». Только этому важному лицу разрешалось вскрывать «конверты» морской корреспонденции.

Прошло двести лет после грозного указа королевы Елизаветы, и бутылочная почта обогатила науку. Французский ученый Лагэньер бросил в море полтора десятка бутылок с указанием времени и координат мест отправления. Бутылки-путешественницы принесли полезные сведения о морских течениях. Нечто подобное делали и мы. На протяжении всего плавания мы время от времени выбрасывали за борт «бутылки». Роль этих «бутылок» играли большие деревянные буй. В каждое из этих деревянных яиц была вложена трубочка с соответствующей запиской, которая обращалась с просьбой ко всем, кто поймает этот буй, переслать его в Арктический институт. Романтично и эффективно!

Чистая вода, сопутствовавшая нашему кораблю до Диксона, позволила также выиграть два чрезвычайно ценных для нас дня. Увы, этот выигрыш был сведен на нет. И виной тому были волчьи законы капитализма, которые мы проклинали во весь голос, пуская в ход самые убедительные эпитеты.

Дело в том, что норвежский пароход «Вагланд», зафрахтованный для доставки «Сибирякову» из Англии лучшего в мире кардифского угля, вовсе не торопился к месту предстоящего свидания. Вместе с тремя другими иностранными судами «Вагланд» шел в караване через Карское море. Корабли были стары и ветхи. Владельцы отправляли их в Арктику с явной надеждой на получение страховой премии. Наши моряки с ледокола «Ленин» были вынуждены с предельной осторожностью проводить сквозь льды эти старье, на ладан дышащие калоши.

Караван «загорал» под незаходящим арктическим солнцем, а мы на «Сибирякове» нервничали. Промедление грозило экспедиции серьезными осложнениями, которых, естественно, хотелось бы избежать. К тому же в эти дни рухнула еще одна надежда. 10 августа была принята радиограмма, сообщавшая, что летчик И. К. Иванов, прикомандированный к «Сибирякову», исправил повреждение и вылетел из Архангельска на Диксон. Через несколько часов новая радиограмма: самолет потерпел аварию и утонул в Белом море. Обошлось без жертв, но на душе было тяжело. Гибель самолета резко снизила нашу дальность. В тяжелых арктических льдах мы оставались без глаз, слепые, как котята. В дальнейшем это принесло бездну трудностей, вследствие которых наш поход вообще оказался на грани невыполнения задания.

На следующий день, 10 августа, настроение несколько поднялось: прибыл долгожданный «Вагланд». Мы отсалютовали его прибытие таким авралом, какого этот доживавший свой век пароходик не видел отродясь. Взяв с борта угольщика 250 тонн кардифа, мы пополнили угольный запас нашего «Саши» до 850 тонн. Уголь не вмещался в трюмах, и часть его оставалась на палубе. Но много выхода не было. Энергии угля предстояло победить сопротивление льда, и потому чем больше был угольный запас на ледоколе, тем было спокойнее.

Все составы экспедиции — научный, административно-технический, хозяйственный, литературно-художественный и пассажиры — бегали, сгибаясь под тяжестью угольных мешков.

Так пришла героинка. Пришла не в образе белого медведя, с которым надо было сражаться один на один, не в личине шторма, против которого бессильны даже самые острые журналистские перья. Героинку принес уголь, въедавшийся в нашу кожу, волосы, легкие. Именно здесь, на угольном аврале, и стал формироваться коллектив. Он вырос вскоре в огромную силу, блестяще показавшую себя в тех нелегких, подлинно героических делах, о которых в эти дни, разумеется, никто даже и не помышлял.

Норвежцы с интересом рассматривали «Сибирякова» и наших людей, тем более что для такого любопытства у них были все возможности — в разгрузке своего судна норвежская команда не участвовала. Большое впечатление произвела на них и борода Отто Юльевича, тогда еще не имевшая такой мировой известности, как после «Челюскина». Капитан «Вагланда» даже спросил кого-то из наших:

— Скажите, ваш начальник, наверное, из бывших священников?

Но даже наш блистательно проведенный аврал не мог полностью компенсировать опоздание «Вагланда». Прибыв на Диксон 3 августа 1932 года, ледекол покинул его лишь 11 августа, взяв курс на восток, к Северной Земле.

На Северной Земле у меня (да, разумеется, не только у меня) были знакомые. Когда в 1930 году ледекол «Седов» снял нашу группу зимовщиков с Земли Франца-Иосифа, на его борту плыла к Северной Земле знаменитая ушаковская четверка. Плыла домовито: везли свору собак — штук пятьдесят, не меньше, — и штабеля бесконечных ящиков с оборудованием, оружием, питанием и книгами.

Ничто в этой рачительной хозяйственности не говорило о героизме, о подвиге. Да и сам Георгий Алексеевич Ушаков, удивительно спокойный человек среднего роста, в пенсне, с небольшими усиками, похожий одновременно и на директора завода, и на председателя колхоза, не был похож на героя, каким он представлялся плохим романистам.

И все же, несмотря на такой будничныи облик, Георгий Алексеевич был личностью весьма и весьма примечательной. Амурский казак, красный партизан и красноармеец стал студентом университета, сотрудником Госторга во Владивостоке, а уж затем оказался среди полярников, которым выпала высокая обязанность — отстаивать честь советского флага на Севере.

В 1926 году Ушаков назначен начальником острова Врангеля, куда настойчиво просачивались американцы. Он очень быстро навел на острове порядок. С честью выходя из множества нелегких ситуаций, советский начальник завоевал у островитян непререкаемый авторитет. За островом Врангеля пришел черед и Северной Земли...

Под стать Ушакову был Николай Николаевич Урванцев, выдающийся полярный геолог. Его имя — имя большого ученого — встречается во всех серьезных работах по истории освоения Арктики, а как великий энтузиаст он известен по многочисленным журнальным и газетным очеркам.

Знатоками своего дела были совсем молодой ленинградец, радист Вася Ходов и опытный каюр Серега Журавлев. Все ушаковцы ощущали плечо друг друга, и в этом единении была их огромная сила.

Все делалось чрезвычайно солидно. Ушаков сразу же поставил перед собой и своими товарищами далеко идущую цель — обследовать Северную Землю. Этой цели подчинялось все. И подбор людей, и тщательность подготовки экспедиции, и распределение обязанностей, и организация работ — все отличалось, я бы сказал, снайперской точностью. Был возведен дом, заработала радиостанция, на восточной оконечности острова созданы опорные пункты для дальних походов. Только после такой «артиллерийской подготовки» Ушаков начал действовать.

В основном обязанности распределялись так: Ушаков, Урванцев и Журавлев, погрузив поклажу на нарты с собачьей упряжкой, уходили в дальний поход. Уходили без всякой радиосвязи, что, разумеется, в условиях Северной Земли было чрезвычайно опасно. Радист Вася Ходов, которому не исполнилось еще и двадцати лет, оставался один. На его долю падали метеорологические наблюдения и пере-

дача метеоинформации на Большую землю. Долгие месяцы радист жил один. Каким мужеством нужно было обладать для этого! Да, Георгий Алексеевич не ошибся, выбрав себе в спутники молодого энтузиаста коротких волн.

Я не преувеличу, если назову исследование Северной Земли, проведенное Ушаковым и его товарищами, величайшим географическим открытием XX века. На карту был нанесен огромный, дотоле неизвестный архипелаг общей площадью примерно тридцать тысяч квадратных километров. И хотя я очень не люблю повторять слова «герои», «героическая», но для этих четырех людей и для работы, которую они провели за два года, иные определения подобрать очень трудно.

По мере того как «Сибиряков» приближался к Северной Земле, большая часть начальства и литературно-художественного состава экспедиции переместилась в радиорубку. Ледокол шел в густом, как молочный кисель, тумане. Туман не только пропитывал всех нас промозглой противной влагой, но лишал зрения, а следовательно, и хода. Рисковать кораблем было бы по меньшей мере нелепо. И вот, оглашая белое безмолвие оглушительными гудками, наш «Сибиряков», вытравив якорь, чтобы не наскочить на мель, нащупывал местоположение полярной станции Ушакова.

Зимовщики знали о нашем приближении, и установить радиосвязь с Васей Ходовым не составляло большого труда. После короткого обмена обычной радистской информацией начался диалог начальника экспедиции с начальником зимовки.

Это было запоминающееся зрелище. Шмидт обращался к невидимому Ушакову, а черная бумажная тарелка стандартного репродуктора «Рекорд», какие вешались тогда и в деревенских избах, и в кабинах стратостатов, устанавливавших мировые рекорды (иных репродукторов наша промышленность просто не производила), с дребезжанием доносила до нас ответы зимовщиков.

— Георгий Алексеевич, — говорил Шмидт, — туман задерживает наше продвижение. Мы движемся медленно, ощупью, но движемся. Хорошо ли вы слышите наши сигналы?

— Да, по радио мы слышим вас хорошо.

— А гудки ледокола?

— Совершенно не слышим.

Мы аукались по радио, как в лесу. С капитанского мостика шарил вокруг, пытаясь прорвать блокаду тумана, сорокакратный «цейсс» — бинокль, который даже биноклем не назовешь. Две огромные трубы, смонтированные на треноге специального штатива, превращали каждый сантиметр в полметра. Через несколько часов раздался крик вахтенного матроса:

— Шлюпка с берега!

В разошедшемся тумане, перепрыгивая с волны на волну и словно кивая нам красным флажком на корме, шла шлюпка со всей ушаковской четверкой.

Выпустив струю пара, радостно взревел «Сибиряков». Одновременно с корабельным гудком на мачтах поднялись флаги расцвечивания. Застрекотали аппараты наших кинематографистов. Пленка фиксировала для истории эту замечательную минуту. С биноклями и фотоаппаратами в руках палубу заполнили все свободные от вахт люди. Для знатных гостей спустили парадный трап. Ушаков и Шмидт под громкое «ура» всех присутствовавших расцеловались.

Неповторимая минута! Однако наши летописцы от кинематографии были недовольны тем, как прошла она с точки зрения их высокого искусства. Не удовлетворенные результатами съемки, они весьма категорически требовали:

— Обязательно повторить!

И хотя стрелки часов истории крутятся, как известно, лишь в одном направлении, госпожа история пошла на исключение: зимовщики спустились в шлюпку, отплыли от «Сибирякова» — и все повторилось заново. Высокая требовательность киногруппы к своему труду не раз побуждала упомянутую госпожу историю отказываться от строгих правил, повторяя неповторимое. Ничего не поделаешь.

видно, и эта дама тщеславна, видно, и на нее крик «бис» производит иногда надлежащее впечатление.

В твиндечной кают-компании, набитой так, что головы не повернешь, Ушаков и Урванцев докладывали о проделанной ими работе. Картина подвига рисовалась не вязью жгучих эпитетов, а языком деловой информации, фактами более красноречивыми, нежели самые звонкие слова.

В условиях полярной ночи, сделав трехсоткилометровый переход на собаках, Ушаков, Урванцев и Журавлев заложили продовольственные депо — опорные пункты для дальнейших исследований. За первый год пребывания на Северной Земле длина хода маршрутной съемки составила около 1500 километров, охватив площадь в 25 тысяч квадратных километров. Переходы были столь тяжелы, что собаки сбивали себе ноги не до крови, а до сухожилий и костей, превращаясь из источника тяги в пассажиров. Зимовщики везли таких псов на санях, так как животные не в силах были передвигаться сами.

Чтобы прокормить себя и собак, по возможности сохраняя запас продуктов, с которыми они высадились на берег, зимовщикам приходилось много охотиться. Удача не всегда сопутствовала Ушакову и его спутникам. Разразилась буря, смывшая в море не только заготовленное мясо, но и часть имущества станции. Что говорить, трудности бытия велики. Но работа не останавливалась ни на день, ни на час...

Помимо топографической съемки и составления карт, зимовщики делали геологические разрезы и геологические карты, установили семнадцать опорных астрономических пунктов, обнаружили магнитные аномалии, собрали ботанико-зоологическую коллекцию, вели наблюдения за приливами и отливами...

Да, это были настоящие люди. Собранные, подтянутые, без полярных бород, блистая чистотой и аккуратностью, они видели в своей деятельности не какой-то высокий подвиг, а работу, работу, которую надо было выполнять каждый день, с той же аккуратностью, что и бритье.

Докладчики кончили свои сообщения. Стены кают-компании задрожали от аплодисментов. За аплодисментами сам собой зазвучал «Интернационал» как символ великой идеи, ради которой все мы забрались так далеко на Север.

Между Диксоном и Северной Землей мы наверстали время, потраченное на ожидание «Вагланда», и теперь, обладая картой, составленной Ушаковым и Урванцевым, грех было не пройти путем, которым не проходил еще ни один корабль в мире.

Таких неведомых путей нам открывалось три: пролив Шокальского, о существовании которого до съемок Ушакова и Урванцева никто даже и не подозревал, пролив Красной Армии и наконец обход всего архипелага Северной Земли. Капитан Воронин, которому, как сказочному богатырю, были предоставлены на выбор все эти три варианта, проявил богатырскую осторожность и на рожон не попер.

— Конечно, — сказал наш капитан, — при обходе всего архипелага можно встретить льды. «Сибиряков» с ними управится, сами видите, какой год удачливый. А в проливы я бы соваться не советовал. Пусть туда сначала сползают гидрографы и промеряют глубины. Наша задача — поскорее попасть в Тихий океан, а проливы могут нам все дело испортить.

Мы плыли на север. На 81° северной широты нас встретили хозяева этих мест. Медведица и медвежонок с любопытством, присущим этим зверям, взирали на «Сибирякова». Жажда трофея восторжествовала над гуманными чувствами. Залп с борта ледокола. Лед окрасился кровью, и медвежонок остался сиротой. Однако маленький северянин не пожелал сдаться на милость победителя и попытался убежать. За ним была устроена погоня. Медвежонок огрызался, но все же его поймали. Заарканенного зверя подтащили к ледоколу и подняли вверх одной из тех стрел, которыми поднимали в Архангельске коров и свиней.

Умелые матросы быстро отгородили на палубе место, куда и был посажен вольный сын Арктики Бортмеханик Игнатьев взял его под свою опеку. Облизы-

вая с палки сгущенное молоко, медвежонок поплыл на восток, навстречу своей судьбе. А судьба ему выпала необычная. После того как, проплыв через северные моря и Тихий океан, «Сибиряков» добрался до берегов Японии, экспедиция подарила медвежонок микадо — японскому императору.

Почти одновременно мы встретились с медведями и со льдами. Не сразу скажешь, что же произвело большее впечатление. Вопли Феди Решетникова: «Айсберг!» — прежде всего пробудили зверя в руководителе нашей киногруппы Шнейдерове. Не снять эту ледяную гору и впрямь было бы преступлением. Не удивительно, что Шнейдеров тотчас же рванулся к Шмидту:

— Отто Юльевич, помогите! Надо немедленно спустить шлюпку и заснять с воды айсберг и наш ледокол для того, чтобы зритель представил себе размеры этой ледяной горы.

Сомневаться в ответе не приходится. Конечно, Шмидт разрешил киногруппе спуститься в шлюпку. Кадр получился впечатляющим: маленький, словно игрушечный, кораблик «Сибиряков» плывет подле исполинской ледяной горы. Жаль только, что черно-белое кино оказалось не в состоянии передать другое: сказочную прозрачную арктическую синеву — эту удивительную краску северной палитры, которой были словно пронизаны ледяные горы.

Одинокие айсберги выглядели какими-то фантастическими пришельцами из другого мира, приблизившимися к нашему кораблю, чтобы познакомиться с ним и его обитателями. Они были огромны, но при желании ледяную гору можно было и обойти. Иное дело — стена пакового льда. Стоявшая чуть дальше, на севере, она воспринималась как великая сила, против которой человек еще слаб и немощен. Паковый лед маячил на горизонте. Он стоял как отрубленный, высотой в несколько метров, без каких-либо разводьев. Одним словом, монолит, исключавший какую-либо возможность проникнуть дальше.

Посмотрев на ледяной дозор, на стену, непробиваемую для любого ледокола, как-то незаметно для самих себя притихли наши корреспонденты, а «Сибиряков» повернул на восток, затем на юго-восток и вышел на трассу, которой обычно следуют корабли вдоль побережья Сибири.

Написать эти несколько фраз было делом одной минуты. Пройти участок от Северной Земли до материка оказалось куда более серьезным.

Наш путь проходил сквозь торосистый лед, который, если воспользоваться сухопутными сравнениями, больше всего напоминал тайгу. Ледяные завалы, торосы, поляньи — все смешалось здесь в кучу, в ледяную чащобу, через которую и предстояло продаться «Сибирякову». Что говорить — прогулка не из приятных, но не продираться было нельзя.

Пять миль потребовали напряженной сорокачасовой работы. Капитан приказал нашему старшему механику Матвею Матвеевичу Матвееву поднять давление пара до максимума. Ледокол то отступал назад, то прорывался вперед, круша лед и прокладывая себе дорогу.

То, что произошло с нами в эти часы и минуты, содержало полный набор арктических неприятностей. Сначала, содрогаясь от напряжения, работал во всю мощь своих 2400 сил ледокол. Затем инициатива перешла в руки людей — началась обколка. Вооруженные пешнями (тяжелые ломы с деревянными рукоятками), шестами и баграми, люди не давали льду оклеить, словно липучкой, борт нашего ледокола.

Работали в темпе. Пешнями обкалывали лед, а шестами и баграми по узкому каналу между ледяным полем и кораблем выталкивали льдины назад, за корму. Ледокол обретал пусть небольшую, но свободу. И тогда машины давали задний ход, отводя корабль назад, чтобы бросить его рывком вперед и расколоть впереди расположенный лед.

Одним словом, вся эта процедура напоминала попытку раскатать и слвинуть с места автомобиль, буксующий на грязной, скользкой дороге. И там и тут прият-

но ощущать, что именно ты добавляешь могучей машине то крохотное «чуть-чуть», без которого она оказалась бы бессильной. Разумеется, закончив обколку, люди не оставались на льду. С пешнями, шестами и баграми они, словно средневековые пираты, идущие на abordаж, кидались на борт ледокола.

Поначалу паровой и мускульной силы для продвижения ледокола более или менее хватало. Потом в ход пошло самое крайнее средство — взрывчатка.

Вместе с аммоналом, бикфордовым шнуром и взрывателями, на которых я спал от Москвы до Архангельска, на льдине появился Малер, чувствовавший себя к тому времени уже бывалым полярником. По его указанию долбили лунки, закладывали аммонал, и столбы буро-желтого дыма отмечали ту линию разлома, по которой должен был треснуть лед. Я не случайно воспользовался словами «должен был», потому что сначала лед не очень-то хотел разламываться. Однако практика — критерий истины. Нащупав нужные дозы аммонала, Малер стал неплохо справляться со своими обязанностями. Через сорок часов после начала операции, в которой приняли участие все рода нашего полярного оружия, «Сибиряков» вышел на чистую воду.

В море Лаптевых Арктика снова выглядела великодушной и доброжелательной. По голубизне воды оно соперничало с морями южных широт. Мы загорали под солнцем, которое, как и положено ему в полярное лето, не заходило за горизонт.

И все же нам было не до веселья. Все попытки связаться по радио с берегом, которые настойчиво вели мы с Гиршевичем, успеха не имели. Ни одна из станций — ни на острове Ляховском, ни в бухте Тикси — на вызовы не отвечала. Для меня и моего коллеги это были в высшей степени ответственные минуты. Мы звали, слушали, снова звали, снова слушали, но нужных голосов поймать в эфире не могли.

Создавшаяся ситуация выглядела весьма безрадостно. Уголь должен был ждать нас в Тикси. Туда по Лене намечено было спустить угольную баржу, но пришла ли она? Эфир загадочно молчал.

Руководителям экспедиции пришлось решать сложную задачу. Если баржа пришла, то надо обязательно заходить в Тикси. Если же нет, то мы теряли на этот заход несколько десятков тонн угля и драгоценное время. Произнести «да» или «нет» в таких условиях было делом чрезвычайно ответственным. Полные сомнений, мы все же двигались к устью Лены, не зная, что нас там ждет.

Правда, круглосуточное прослушивание эфира принесло все же свои плоды. Увы, они были не очень радостными. 25 августа Гиршевич перехватил радиogramму Н. И. Евгенова, адресованную в Якутск. Опытный гидрограф и капитан дальнего плавания, ученый и практик, Евгений возглавлял Особую Северо-восточную полярную экспедицию — большой караван судов, которые ледорез «Литке» вел навстречу нам, с востока на запад.

Пойманная радиogramма еще раз заставила нахмуриться Владимира Ивановича Воронина. Евгений сообщал, что из-за тяжелых льдов в районе Чукотки «Литке» еще не довел свой караван до Колымы. Да, уж тут было не до шуток, а береговые станции по-прежнему зловеще молчали, словно какая-то эпидемия чохом истребила всех радистов.

И наконец, спустя сутки, 26 августа, мы услышали бухту Тикси. Ее голос показался нам удивительно приятным: радиogramма сообщала, что нас ждал уголь.

В Тикси нам устроили торжественную встречу. «Сибирякова» ввела в бухту «Лена» — историческое судно, плававшее за полвека до нас вокруг мыса Челюскин вместе с норденшельдовской «Вегой». «Леночка», как называли здесь эту старушку, была первым кораблем, добравшимся до устья великой реки с запада. Популярность у местных жителей этого корабля, равно как и его капитана якута Богатырева, была огромна.

На этот раз «Лена» спустилась в Тикси с верховой реки. После того как она встретила нас, я отлучал в Совет Народных Комиссаров Якутской АССР радио-

грамму Отто Юльевича о прибытии «Сибирякова». Сегодня ответ на такую радиogramму не заставил бы себя ждать. В 1932 году мы получили его только через полтора месяца. Да, связь в Арктике еще оставляла желать много лучшего.

В бухте Тикси, кроме «Лены», собралось огромное по этим краям общество пароходов: «Пропагандист», «Совет», «Якут» и две баржи. Трудный переплет, в который попала экспедиция Евгенова, ставил эти речные суда в сложное положение. Колесные пароходы, весьма похожие на своих волжских собратьев, работающие на дровах, надо было отвести на Колыму, где они были очень нужны развертывавшемуся строительству. Но как? «Сибиряков» не приспособлен для буксировки, а любая льдина, на которую может налететь в открытом море такой деревянный пароходишко, грозит ему гибелью.

А пока Шмидт и Воронин решали судьбу пароходов, объезжая и самым тщательным образом осматривая каждый из них, «Сибиряков» догружался углем с подошедшей к нему баржи. На этот раз обошлось без аврала. Большую часть работы сделали прибывшие с баржей грузчики — здоровенные ребята, в сапогах гармошкой, широчайших шароварах, подпоясанных яркими кушаками, и соломенных шляпах, которые они носили с завидной лихостью. Грузчики очень хотели добраться до Колымы и потому старались безмерно. С тяжелыми угольными ящиками они обращались как с игрушечными. Но их ждало разочарование: Шмидт пассажиров не взял.

Всем пассажирам хотелось на Колыму, но Шмидт и Воронин согласились взять лишь два парохода — «Якут» и «Партизан». Они были новой постройки и потому имели некоторые шансы на благополучный переход. Что же касается «Пропагандиста», то ему вместе с баржами предстояло возвратиться обратно и увести полторы сотни пассажиров. Взяв на себя риск доставки кораблей, Шмидт и Воронин вынуждены были освободить их от пассажиров, так как в случае катастрофы они были бы обречены на верную смерть.

И еще одно доброе дело мы успели сделать перед выходом из Тикси. На добровольных началах провели аврал, оказали помощь зимовщикам, строившим большую полярную станцию. К тому же мы оставили им аэросани, предназначавшиеся для острова Врангеля, вместе с механиком Денисовым. Надо сказать, что впоследствии сани отработали свое отлично: на них было проделано около 3 тысяч километров, очень облегчивших топографам стирание с карт белых пятен. Понравился зимовщикам и второй подарок Шмидта — восьмидесятикилограммовая бочка клюквы, в тех местах — богатство бесценное.

Мы уходили из Тикси с двумя речными пароходами на буксире. Гидрографы ворчали: с таким хвостом нельзя сделать гидрологический разрез в Восточно-Сибирском море. Энтузиастов своего дела очень огорчало, что без этого разреза сильно пострадает наука. Однако Шмидт рассудил иначе. Он не без оснований заключил, что гидрологические разрезы не поздно будет сделать и в следующий раз, когда пойдет новая экспедиция, а вот пароходы, которые мы тащим за кормой, нужны стране не завтра, а сегодня и не в бухте Тикси, а на Колыме, где их своевременное прибытие в значительной степени решало проблему выполнения плана строительства. В такой ситуации для Отто Юльевича Шмидта никакой дилеммы просто существовать не могло.

Наши острословы, скорые на язык, прозвали эти колесные пароходы «велосипедами». Но, отдавая должное шутке, всегда скрашивающей трудности, все понимали, что положение складывается совсем не шуточное. Взяв речные суда на буксир, Шмидт и Воронин возложили на себя груз самой тяжелой ответственности — ответственности добровольной. Оснований для беспокойства было вполне достаточно. Вследствие большой осадки «Сибирякова» он не мог при шторме завести караван в какую-нибудь бухту, так как малые глубины бухт по всему побережью до Колымы были не для нашего «Саши». В открытом же море шторм означал верную гибель обоих речных пароходов. Положение сложилось настолько

серьезное, что капитан одного из этих корабликов квалифицировал его как агантюру и отбыл на «Пропагандисте» вверх по Лене. Его место на капитанском мостике занял Чехохин, начальник всей этой речной флотилии.

Но недаром говорят — удача сопутствует смелым. Суровая арктическая природа прониклась сочувствием к бремени, которое взвалили на себя Шмидт и Воронин. Когда 30 августа 1932 года «Сибиряков» вышел из бухты Тикси, и море и небо были явно за нас. Небо излучало ласковое тепло, располагая к солнечным ваннам, а море отражало наш караван. Его поверхность, да извинит меня читатель за истрепанное сравнение, и впрямь была как зеркало.

По дороге на Колыму мы нанесли короткий визит на Ляховскую геофизическую станцию Академии наук СССР. Ляховские острова — Большой и Малый — еще в XVIII веке были освоены купцом Ляховым, собиравшим здесь мамонтовую кость. В 1928 году на одном из островов по инициативе Владимира Юльевича Визе была построена геофизическая станция.

Когда мы подходили к Тикси, станция острова Ляховский не отвечала на наши сигналы. Естественно, мы решили выяснить, что же там происходит.

Пусть не заподозрит меня читатель, что для каких-то случаев я держу в своей палитре красную краску, а для других — исключительно черную. Но, право, зимовщики Ляховского были просто антиподами Ушакова и его товарищей с Северной Земли.

Я побывал в своей жизни не на одной зимовке и зимовщиков повидал разных, но таких анахоретов с космами ниже плеч и грязными, нечесаными бородами не встречал нигде. Нечесанный и невымытый радист очень удивился вопросу, почему он не прослушивал эфир. Бедняга даже и не подозревал, что это, между прочим, входит в его обязанности.

Владимир Юльевич Визе проверил по ледовому журналу зимовщиков точность сделанных им ледовых прогнозов, и «Сибиряков» двинулся дальше.

Восточно-Сибирское море встретило нас более хмуро. Время от времени стали попадаться льдины, не радовавшие капитанов «велосипедов». «Сибиряков» обходил льдины стороной, а речники с шестами в руках высыпали на палубы своих посудин. Они были настроены очень воинственно, готовые отталкивать эти льдины. Навивные люди! Они подошли к настоящим океанским льдам со своими жиденькими речными мерками.

Колыма — не самое радостное место на земном шаре, но прибытие в этот порт стало для нас и наших «велосипедов» праздником. Во-первых, довольные друг другом, мы прощались. А во-вторых, почти одновременно с нами сюда привел с востока свой караван «Литке». Сначала мы увидели огоньки, затем с достаточной отчетливостью проявились и контуры судов. То-то было радости! Целая симфония гудков прозвучала разноголосым, хотя и не очень стройным хором.

Наутро — встреча руководителей обеих экспедиций. Обмен информацией. Добрые напутствия. Начальник восточного каравана Евгений, проинформировав наше руководство о тяжелой ледовой обстановке на востоке, подобно тетушке из «Двух капитанов» Каверина, убеждавшей племянника: «Санечка, летай пониже!», рекомендовал держаться поближе к берегу.

Говорят, что крокодил от головы до хвоста имеет ту же длину, что от хвоста до головы. К сожалению, этого не скажешь про путешествие по Северному морскому пути. Тут не безразлично — идти ли с запада на восток или же с востока на запад. В восточном секторе Советской Арктики зима гораздо стремительнее вытесняет лето, и навигационный сезон на востоке кончается раньше.

Лед стал показывать свои зубы все откровеннее. У мыса Северный мы, побеседовав с местными жителями, узнали, что нас не ждет ничего хорошего. Чукчи рассказали: уже три года подряд ледовая обстановка в этих краях весьма неблагоприятна. Что же касается 1932 года, то это лето даже старики считают, пожалуй, самым ледовитым из всех сохранившихся у них в памяти.

Легко догадаться, каким холодом пахнуло на нас от этих рассказов бывалых людей. Следуя совету Евгенова, Владимир Иванович Воронин подошел к берегу так близко, что один раз ледокол даже царапнул дно. Но принцип «летай пониже» не спасал, и снова на лед сошел наш подрывник Малер. Без аммонала ледокол пробиться был явно не в силах.

Справедливости ради отмечу — не все моряки считали, что надо так плотно прижиматься к берегу. Наш первый штурман, а впоследствии известный полярный капитан Юрий Константинович Хлебников, показывая на темное «водяное» небо на севере, убеждал подняться туда. Но Воронин не захотел рисковать. Там могли оказаться более тяжелые льды. Конечно, в эти минуты самолет выполнил бы роль меча, которым разрубил гордиев узел Александр Македонский. Все проблемы были бы решены мгновенно, а сомнения отброшены прочь. Увы, вместо того чтобы стать зоркими глазами экспедиции, наш самолет покоился на дне морском.

И все же, несмотря на трудности, которые нет-нет да подкидывали нам чукотские льды, жизнь на корабле шла своим чередом. Мы уже ощущали себя где-то у финиша. Элементарная мысль, что короткий остаток пути может оказаться тяжелее пути уже пройденного, почему-то никому в голову просто не приходила. Оптимистичность человеческого характера, как всегда, одержала верх в той внутренней борьбе, которую вели между собой оптимизм и пессимизм.

Надо заметить, что даже бывалые полярники любовались картиной, которая открывалась перед нами, а уж о художниках и говорить не приходится. Они работали не разгибаясь. Даже знаменитый зеленый луч, открывающийся морякам лишь в каких-то особых, исключительных случаях, предстал перед нами. Зеленое заходящее солнце фантастическим изумрудом вспыхнуло над сверкающими льдами.

Да, все это было сказочно красиво. Настолько красиво, что и по сей день осталось в памяти. Казалось, чья-то рука переключала освещение, делая льды то синими, то зелеными, то ярко-красными, но отнюдь не бело-серыми, какими им надлежало быть по представлениям жителей средних широт. Так-то оно так, но за знакомство с этой красотой пришлось платить, и платить дорого.

Короткое арктическое лето, как, впрочем, и маршруты нашей экспедиции, подходило к концу. Какие-то сотня-полторы километров — и, пройдя через Берингов пролив, «Сибиряков» должен был выйти в Тихий океан. Холод давал о себе знать все ощутимее. Уже падал первый снег, выбеливая все окружающее. Одним словом, природа намекала нам более чем прозрачно: ребята, пора закругляться.

Спорить не приходилось. Закругляться и в самом деле было пора. Но далеко не все зависело от нас. 8 сентября «Сибиряков» перевалил из западного полушария в восточное. Этот факт отметили в кают-компании большим концертом с участием первоклассных исполнителей, начиная от пианистов Гаккеля и Визе и кончая танцорами Мухановым и Чачбой, лихо отбивавшими четку и лезгинку.

А в заключение — фейерверк. Понимая, что конец похода не за горами, киногруппа не сэкономила магниевых факелов для съемок в ночных условиях. Расставленные во льдах и зажженные, эти факелы создали зрелище, еще более эффектное, чем лучи разноцветного полярного заката.

10 сентября ледокол подошел к Колючинской губе, к тому самому месту, где, не сумев сломить сопротивление льдов, зазимовал Норденшельд. Поначалу все шло благополучно. «Сибиряков» прошел мимо фактории на мысе Ванжарем, отсалютовавшей ему красным флагом. На палубе во всем величии своих многообразных талантов выступал перед объективом киноаппарата Федя Решетников. Он играл на гитаре, балалайке, флейте, плясал. Шнейдеров и его друзья всю снимали этот концертный номер.

Наступила осень, когда в полярных широтах бывает и день и ночь. Ради безопасности Воронин начал устраивать ночные остановки. Чтобы точно вести корабль в сложной ледовой обстановке, нужно было отчетливо видеть каждую трещину, каждую полынью. Ночь для плавания стала временем мало подходящим. Умолкали машины. Останавливался винт. На ледаколе воцарялась тишина.

Однажды вечером все собрались в кают-компанию. Как всегда, играл самодеятельный джаз, что-то пели, а «Сибиряков», вздрагивая от частых ударов о льды, продолжал движение на восток.

Мы поужинали. Затем застучали костяшки домино, заставляя ледакол вздрагивать не меньше, чем от ударов о льдины. В шуме и грохоте кают-компании, в радостном веселье не все ощутили три удара, заставившие вздрогнуть стальное тело «Сибирякова». А наступившая затем тишина была воспринята как остановка машин для очередного ночлега. Веселье в кают-компании продолжалось. Наверху же, на палубе и капитанском мостике, весельем, как говорится, не пахло.

— Подать люстру! Выбросить штормтрап!

Все происходит быстро и деловито. Матросы тащат огромный рефлектор с сильными лампами, опускают его за борт. По веревочной лестнице (штормтрапу) на лед спускается старший помощник Юрий Константинович Хлебников. Ему дают багор, и он начинает шарить за кормой. Все молчат. Хлебникову предстоит провести короткое следствие и объявить приговор.

— Поверните винт!

— Есть повернуть винт!

Висящий над кормой старпом продолжает тыкать багром в темную ночную воду. На палубе нервничают Воронин, Шмидт и Матвеев.

— Еще повернуть винт!

— Есть повернуть винт!

Багор уходит в воду. И через несколько минут Хлебников объявляет диагноз, который тотчас же записывается в вахтенный журнал: «В 22 часа осмотр гребного винта старшим помощником закончен. Результаты осмотра: одна лопасть совершенно отсутствует, а три остальных обломаны больше чем на половину каждая».

Примерно на том же месте, где некогда остановилась норденшельдовская «Вега», потерял всю свою силу ледового бойца и наш «Сибиряков». На чистой воде для тихого продвижения вперед оставшихся огрызков лопастей, быть может, еще и хватило бы, но лед стал для нашего «Саши» неодолимой преградой.

Нельзя сказать, что авария застала нас совсем уж врасплох. Опыт полярных странствий давно засвидетельствовал, что винт — одна из наиболее уязвимых частей ледакола. Как всякий корабль такого типа, отправляющийся в дальний арктический рейс, «Сибиряков» вез с собой запасные лопасти. Остановка за малым — как установить эти лопасти? Не очень сложная операция в условиях обычного дока выростала во льдах Чукотки в почти неразрешимую проблему.

И тут снова проявился характер нашего начальника экспедиции. Решая вопрос о проводке «велосипедов» из бухты Тикси на Колыму, Шмидт действовал прежде всего как государственный человек. На этот раз мы услышали голос ученого, который считает, что главное — не только поставить задачу, но и найти способ ее решения.

Задача, над которой размышлял Отто Юльевич, была такова: вытащить из воды конец гребного вала ледакола, чтобы заменить изъеденные льдом огрызки новыми лопастями. Решил эту задачу наш начальник просто и остроумно. Шмидту не составило труда подсчитать: чтобы поднять корму на десять футов, то есть на три метра, необходимо перенести с кормы на нос груз в 400 тонн. Такой возможностью мы располагали. Этим грузом был уголь, хранившийся в кормовом трюме.

Аврал, который начался буквально через несколько минут после принятия решения о перегрузке, был, вероятно, самым тяжким из всех полярных авралов, в каких мне когда-либо приходилось принимать участие. Освобожден от него был лишь Владимир Юльевич Визе, взявший на себя проведение всех научных наблюдений, которые нельзя было прерывать даже в такой сложной обстановке.

На этом аврале со мной произошло то, что случалось очень редко и, как правило, в самые неподходящие минуты. Побегав с шестипудовым угольным мешком, я неожиданно для себя и окружающих упал в обморок. В столь ответственную минуту сознаться в слабости я мог только самому себе. И когда грохнулся на палубу, оставалось лишь одно — свалить все на то, что палуба скользкая.

Сначала товарищи поверили в мою версию, но когда через несколько минут, без криков бис, я свалился снова, меня сразу же заподозрили в том, что мешок мне не по плечу, и предложили работу полегче. Разумеется, я не согласился. Аврал продолжался. Корма поднялась. До поверхности океана вал все же не дошел на один фут. Механикам во главе с Матвеевым предстояло работать в ледяной воде. Опущенные в нее термометры показывали минус один градус. В лед вода не превращалась лишь по одной-единственной причине — она была соленая.

Значительно позже аккуратный Шмидт тщательно подсчитал результаты этого беспрецедентного в моей памяти аврала. Оказалось, что каждый сибиряковец намного перевыполнил трудовые нормы грузчиков-профессионалов. И все же это было лишь первой частью тяжелейшей, небывалой в истории арктического мореходства операции...

На поверхности воды за кормой был сделан дощатый настил, позволявший работать механикам. При помощи лебедок и стрел с палубы спускались люльки вроде тех, в каких работают маляры на стройках. Колебался «Сибиряков», колебались и люльки, в которых висели механики — одним словом, это был чистейшей пробы цирковой номер.

Под тонким слоем воды отчетливо виднелась ступица — окончание мощного гребного вала. К этой ступице, при помощи огромных полуметровых фланцев гайками размером в суповую тарелку и весом по несколько килограммов каждая, крепились бронзовые перья лопастей. Гайки ставили на совесть: зашплинтовывали, крепили цементом. Освобождение от старого цемента — первая тяжелая работа, выпавшая на долю наших механиков.

Старые гайки освободили от цемента, расшплинтовали, сняли. Одну за другой завели новые лопасти. Хорошо еще, что погода оказалась к нам милостива. Глубоко окунув в океан свой нос, «Сибиряков» с задранной кормой был совершенно беспомощен. Вот почему так торопились механики: каждый день, каждый час решал нашу судьбу. Малейшее движение льдов, легкие причуды ветра — и эксперимент закончился бы для всех нас одинаково печально.

Но, повторяю, Арктика была к нам милостива. Лопасти сели на свои места. После того как часть угля была перегружена обратно, «Сибиряков» тронулся в путь, а мы продолжали бегать с угольными мешками, заканчивая перегрузку на ходу. Ждать, когда весь уголь будет возвращен на место, у нас просто не было времени. Перегрузка на ходу — дело весьма и весьма неприятное. Каждая встреча с льдиной — а на недостаток их жаловаться уж никак не приходилось — требовала от грузчиков не только повышенного внимания, но и большого внутреннего напряжения. Толчки парохода отдавались саднящими царапинами на спинах.

Медленно, но мы все же двигались, сопротивляясь попыткам льдов захватить нас в плен. Перспективы нашего плавания порозовеют, но ненадолго. Уже на следующий день мы потеряли одну из новых лопастей. Затем сломался упорный подшипник и в носовой части судна появилась течь. Это было уже совсем скверно, но «Сибиряков» продолжал отчаянные попытки выбраться на чистую воду. Напрягаясь изо всех сил, он тянулся к Тихому океану, ожидавшему нас совсем близко, за Беринговым проливом.

18 сентября, когда из 3600 миль нашего пути до Берингова пролива оставалось всего 100, раздался страшный удар. Корабль вздрогнул. Большая паровая машина завертелась, как швейная машинка. Машину немедленно остановили. Все побежали на корму. На этот раз лопастями дело не обошлось. Отвалилась вся ступица со всеми лопастями, постановка которых потребовала от всех нас такого адского труда. Не выдержав сильного удара, лопнул конец гребного вала. Наш винт навсегда ушел в царство Нептуна.

Справедливости ради замечу, что, несмотря на свою предельно короткую жизнь, новые лопасти все же успели сделать полезное дело. Они вытащили ледокол в течение, которое повлекло нас на восток. И это не догадка. Владимир Юльевич Визе и здесь вел себя как истинный ученый: наблюдение за дрейфом было организовано уже через полчаса после аварии.

В то, что произошло, просто трудно было поверить. Гребной вал — мощнейшая конструкция из первоклассной стали. Лопнувшее место имело в диаметре 17 дюймов — почти 43 с половиной сантиметра. И вот эта, казалось бы, непобедимая сталь потерпела поражение — ее переломила другая, куда бóльшая сила — сила арктического льда.

Мы оказались в совершенно безвыходном положении. Ни о каком ремонте уже не могло быть и речи. Никаких вариантов на будущее не возникало. С юмором висельников мы назвали наш ледокол домом отдыха с паровым отоплением или самым совершенным буйком для изучения полярных течений.

И вот в этой бедственной ситуации, когда на нас, казалось бы, ополчились все силы природы, внезапно отыскался союзник. Этим союзником стали течения. Дрейф происходил со скоростью, которая показалась нам очень высокой, — на такой даровой тяге мы прошли за сутки 45 миль. Всего лишь 60 миль отделяли нас от Берингова пролива. Естественно, что он казался нам в те дни особенно привлекательным и манящим.

Оптимисты рассматривали в бинокли появившийся на горизонте мыс Дежнева и высчитывали сроки завершения похода. Возможно, что эти предсказания сбылись бы, если бы нашего «Сашу» внезапно не подхватило новое течение. Оно с неукротимой энергией повлекло нас обратно, на запад, хотя, видит бог, мы сопротивлялись, как могли.

На первый взгляд может показаться странным, что лишенный тяги ледокол еще обладал способностью к сопротивлению. Мы встали на якорь, а когда на якорную цепь наваливалась какая-нибудь льдина, просто взрывали ее. И все же, несмотря на отчаянное сопротивление, 8 миль мы потеряли. Потом нас снова понесло на восток. Одним словом, если раньше ледокол двигался, куда направлял его капитан, то теперь и капитан и команда плыли туда, куда несли их незримые, но сильные течения, куда волокла нас сила природы.

Было очень досадно: топлива достаточно, машина в полной исправности, а двигаться нельзя. Машине нечего крутить — винта за кормой нет. Кругом тяжелый лед. Решили и его взять в помощники. Стали подтягиваться за расположенные впереди поля. Уходили вперед, тащили стальные тросы, крепили их за лед или ледовые якоря и, пользуясь паровой лебедкой, пытались подтянуться. Нельзя сказать, что это был лучший из способов кораблевождения. Не все полыньи и трещины проходили у нас по курсу. «Сибиряков» едва двигался, а когда корабль движется медленно, он плохо слушается руля. Одним словом, без руля и без ветрил... Впрочем, почему же без руля и без ветрил?

Первым человеком, кому пришла в голову мысль поставить парус, оказался Владимир Юльевич Визе. Он высказал эту идею старшему помощнику. Через несколько часов все шесть угольных брезентов и столько же шлюпочных парусов были подняты на мачтах «Сибирякова». Под черными парусами, со скоростью девять миль в день, мы снова двинулись на восток.

Сохранились фотоснимки этого своеобразного новоявленного парусника. Вы-

глядели мы, конечно, очень страшно, как старинный пиратский корабль. Но разве не все равно, как мы выглядели? Мы двигались. Останавливались, подрывали лед, вылезали, заносили тросы и подтягивались на них. Одним словом, пускали в ход все средства, кроме зубов,— и двигались.

Естественно, что о наших злоключениях мы все время информировали Москву. Из Владивостока на помощь нам откомандировали большой рыболовный тральщик «Уссуриец», с которым мы установили прочную радиосвязь. Капитан С. И. Кострубов ввел свое судно в Берингов пролив, приблизился к кромке льда и ожидал нас, чтобы оказать нужную помощь и взять на буксир.

Скромный тральщик, пользуясь малейшим разрежением льдов, упорно и смело пробивался навстречу «Сибирякову». Но смелость капитана Кострубова была вознаграждена не сразу. Тринадцать миль оставалось между кораблями, гриннадцать миль, на которые ни у того, ни у другого уже не хватало сил. Корабли рвались друг к другу. Лед не пускал их.

«Сибиряков» и «Уссуриец» стояли неподалеку один от другого. Разговоры по радио шли самые энергичные. Но хотелось большего контакта. Сигнальных ракет на ледоколе не оказалось. Но выручил Володя Шнейдеров. Мы радиовали «Уссурийцу»:

— Через пять минут зажигаем факелы!

На огонь магниевых факелов для ночных съемок «Уссуриец» ответил сигнальными ракетами. Сигналы были видны и им и нам, но... рандеву не состоялось. Наутро течения снова оторвали нас друг от друга.

Только через две недели мы вышли наконец на чистую воду. Это произошло 1 октября 1932 года в 14 часов 45 минут у северного входа в Берингов пролив на $66^{\circ}17'$ северной широты $169^{\circ}28'$ западной долготы.

Выходили мы на чистую воду торжественно. Прозвучал ружейный салют. Вскоре показался «Уссуриец». Мы идем навстречу друг другу. Вернее, мы ползем, а навстречу нам идет «Уссуриец» — новенькое блестящее судно, недавно построенное и спущенное на воду. Наш буксировщик все ближе и ближе. Уже можно прочитать название на его борту, в сильные бинокли виден и капитан — черноволосый «морской волк» с красным от ветра лицом.

Корабли уже совсем рядом. Воронин троекратным гудком приветствует «Уссурийца», а затем командует:

— Спустить паруса!

Черный брезент падает, а «Уссуриец», выкинув приветственные флаги, локко пришвартовывается к нашему правому борту. Кострубов и мой старый знакомый Красинский переходят к нам на борт и удаляются со Шмидтом и Ворониным для деловых переговоров.

Под руководством штурманов наши матросы и матросы «Уссурийца» хлопочут над подготовкой буксира, на котором нам предстоит пройти путь около двух тысяч миль.

Буксировка в открытом океане — дело сложное. Любой корабль представляет собой огромную массу. Чтобы не оборвало трос, на «Сибирякове» выпущено несколько смычек якорного каната. К этому канату прикреплен основательный стальной буксир, на котором и потащил нас «Уссуриец». Тяжесть этого буксирного устройства создавала большой провес, выполнявший в свежую погоду роль своеобразного амортизатора.

Так «шерочка с машерочкой», как говорили раньше, двинулись на юг мимо берегов Америки и Азии два кораблика. Ничтожно маленькие по сравнению с величественными берегами пролива и безмерно сильные характерами и волей пльвших на них людей.

— Внимание, внимание! Говорит «Сибиряков», говорит «Сибиряков». Москва, молния:

«ЦК ВКП(б) — СТАЛИНУ. СОВНАРКОМ — МОЛОТОВУ. НАРКОМВОЕНМОР — ВОРОШИЛОВУ. ЦИК — УЧЕНЫЙ КОМИТЕТ. «ПРАВДА». «ИЗВЕСТИЯ». «РОСТА». «КОМПРАВДА».

Экспедиция Арктического института на ледоколе «Сибиряков» целиком выполнила задание правительства, прошла вдоль северных берегов Союза из Белого моря в Тихий океан.

Это третий в истории проход и первый совершенный в одно лето без зимовки.

Выйдя из Архангельска 28 июля, экспедиция совершила первый обход Северной Земли, достигла устьев Лены и Колымы с запада, что открывает новые большие возможности хозяйственного развития Якутской республики выходом на запад.

Собраны научные наблюдения, освещающие новые морские пути.

Потеряв 10 сентября в тяжелом льду лопасти винта, ударной пятидневной работой сменили их среди льдов, не заходя в порт. Когда 18 сентября сломался вал и потеряли винт, экспедиция не прекратила работы, а двигалась к цели, пользуясь всеми средствами: морскими течениями, взрыванием ледовых препятствий, подтягиванием от льдины к льдине на тросах и поднятием самодельных парусов.

Во время дрейфа во льдах собран научный материал, освещающий неясную раньше картину морских течений.

В результате упорной борьбы со стихией 1 октября на парусах вышли на чистую воду, достигли цели — Берингова пролива.

Успех достигнут и трудности преодолены благодаря организованности и энтузиазму всего экипажа ледокола и всех научных работников, благодаря развитию соцсоревнования смен и бригад, давшему рекордные темпы погрузочных работ, и почти поголовному охвату ударничеством.

Во время пути восемь матросов и кочегаров вступили в партию и подано несколько заявлений научных сотрудников.

Свою работу, открытия и исследования новых морских путей считаем частью великого плана социалистического строительства и под этим знаменем преодолели преграды.

Начальник экспедиции **Шмидт.**

Капитан ледокола **Воронин.**

Заведующий научной частью **Визе.**

Предсудкома машинист **Крючков.**

Секретарь ячейки ВКП(б) матрос **Адаев».**

Но не надо думать, что наш путь за кормой «Уссурийца» по Тихому океану представлял собой нечто вроде увеселительной прогулки. Разумеется, после Арктики было полегче, но... нелегко. Происшествия случались и здесь. Одно из наиболее неприятных произошло 7 октября, когда во время сильного шторма лопнул буксирный канат. Волна была довольно высокой, но деваться некуда — скреплять буксир надо.

Эту опасную процедуру капитан «Уссурийца» Кострубов провел на самом высоком уровне. Он смело зашел с наветренной стороны прямо под грозный форштевень «Сибирякова», способный проткнуть его, как шампур порцию шашлыка. Отлично проведенный маневр позволил матросам обоих судов бросить друг другу концы. Буксировочный трос, вытянутый привязанными к нему канатами, был сращен, и мы поплыли дальше, невзирая на шторм.

Через неделю, 15 октября, когда корабли бросали якоря у Петропавловска-на-Камчатке, мы приняли по радио следующую телеграмму:

«Горячий привет и поздравления участникам экспедиции, успешно разрешившим историческую задачу сквозного плавания по Ледовитому океану в одну навигацию.

Успехи вашей экспедиции, преодолевшей неимоверные трудности, еще раз доказывают, что нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевистская смелость и организованность.

Мы входим в ЦИК СССР с ходатайством о награждении орденом Ленина и Трудового Знамени участников экспедиции.

Сталин, Молотов, Ворошилов, Янсон».

Целый месяц на буксире у «Уссурийца» мы шлепали по Тихому океану, получив указание следовать на капитальный ремонт в Японию. 4 ноября 1932 года благополучно добрались до Иокогамы. Перед заходом в порт «почистили перышки». Оба корабля были отмыты, отдраены, покрашены. Все заблестало и засверкало, словно и не было за спиной тяжелейшего похода. Одним словом, в иностранный порт мы пришли с гордо поднятой головой, как и положено приходиться победителям.

Поставили нас на внешний рейд. Прибежал к нам быстрый белоснежный моторный катер с палубой из тикового дерева, чистой, как тарелки на обеденном столе. На катере японские власти. Матросы босиком, офицеры-пограничники и таможенники в накрахмаленных белых кителях, в фуражках, расшитых золотом и позументами.

Японские власти вошли на палубу «Сибирякова». Нас выстроили в шеренгу для медицинского освидетельствования. Один из японских офицеров был врач. Он осмотрел нас, проявляя наибольший интерес к нашим глазам. Нет ли у кого-нибудь из нас трахомы? Трахомы, как, впрочем, каких-либо других болезней, не оказалось.

И мы и японцы с интересом рассматривали друг друга. Сибиряковцы были после похода оборванны и обтрепанны, да к тому же кое-кто обзавелся полярными бородами. Но даже на таком фоне в строю сибиряковцев выделялась одна очень красочная личность. Это был наш завхоз Малашенко. Облик его не мог не произвести впечатления на японцев: огромного роста, с шапкой черных, как воронье крыло, волос, черные усы и солидная, окладистая черная борода. Одним словом, посмотреть со стороны — и наш мирный скуповатый завхоз покажется чистейшим Соловьем-разбойником.

Надо полагать, Малашенко произвел на японцев сильное впечатление. К тому же они были соответственно подготовлены враждебной к нашей стране пропагандой. Видимо, в тенденциозных иностранных журналах большевики изображались именно такими, как наш завхоз. Японцы оживились, и один из них, осклабившись, показал пальцем на Малашенко и радостно воскликнул:

— Гепеу! Гепеу!

С формальностями было покончено довольно быстро. Моряки остались на корабле, а мы, экспедиционные работники, высажены на берег. По великолепной автостраде поехали из Иокогамы в Токио. Ехать было страшно: шоферы гнали невероятно, а мы, совсем не избалованные автомобильной ездой, ощущали эту скорость как нечто космическое.

В Токио нас взяли на свое попечение сотрудники советского посольства. Поселились мы довольно далеко от посольства, в квартале донельзя похожих друг на друга коттеджиков. Это и была советская колония. Домики представляли собой уже японскую территорию: права экстерриториальности на них не распространялись.

Я попал на постой в семью заместителя нашего торгпреда. Коттедж был невелик, но и хозяин и хозяйка оказались на редкость милыми, гостеприимными людьми, и я сразу же почувствовал себя уютно и приятно, хотя вся обстановка японского домика была для меня в диковинку. Пол был покрыт белоснежными циновками. При входе в дом надо было обязательно снимать обувь, и дальше по этим циновкам все уже разгуливали в носках.

В первый же вечер из бесед с нашими радушными хозяевами выяснилось то,

что большинство из нас не очень еще понимало: уехав из Москвы обыкновенными, никому, кроме друзей и знакомых, не известными людьми, мы попали в Японию уже как знатные личности. Телеграмма, которую прислали нам ЦК ВКП(б) и Совнарком, обошла газеты всего мира, в том числе и японские. Отсюда интерес к нашему походу, информация о нем в газетах, в витринах магазинов, на выставках.

Ситуация требовала, чтобы мы были быстро приведены в приличный вид. Посольство позаботилось об этом. На следующий день с утра нас повезли в большой универмаг. Мы были настолько обтрепанны, одежда и обувь пришли в такое ветхое состояние, что свой путь к новому платью я проделал, стараясь прижиматься к стенкам или прячась за своих товарищей, так как брюки мои были просто в аварийном состоянии.

В универмаге вокруг нас сразу же закружились продавцы. За длинным прилавком показали ткани, из которых на следующий день должны были быть сшиты костюмы. Мне приглянулся темно-фиолетово-коричневатый материал с искоркой. Не зная об этом, на другом конце прилавка такой же костюм заказал Петр Петрович Ширшов. Только на следующий день, узнав о сходстве наших вкусов, мы поняли, в какое неловкое положение попали. На всех приемах мы старались держаться поодаль друг от друга.

Не считая мелкого яросчета с костюмом, все в нашей экипировке оказалось хорошо, и мы ощутили себя вполне готовыми «людей посмотреть и себя показать».

Спрос на нас оказался велик. Географическое общество, разные научные и научно-технические общества, пресс-клуб — все звали для бесед и рассказов о нашем походе. Ну и к тому же хотелось посмотреть город: ведь от Москвы до Токио немного дальше, чем до Тулы или Торжка, не каждый день поедешь на экскурсию.

Провожая меня в первый мой поход по Токио, жена торгпреда, у которого я жил, предупредила об одной характерной для Японии тех лет подробности.

— У нас имеется постоянная домашняя работница, — сказала она. — Это очаровательная японская девушка. Она окончила гимназию. Отлично владеет английским языком. Очень мила и доброжелательна. Каждый вечер наша девушка уходит. Нам она говорит, что идет в баню или к подруге. Но мы-то знаем, что идет она совсем в другое место — в ближайший полицейский участок. Она обязана являться туда ежедневно и докладывать о том, что делаем мы. Теперь она должна будет сообщать и о том, что делаете и вы, наш гость. Если она будет спрашивать, куда вы идете, то, пожалуйста, никогда не шутите с ней, а говорите только правду. Иначе ее в полицейском участке могут отколотить, а мы никак не хотим, чтобы у этой славной девушки были неприятности.

Разумеется, я точно исполнял эту рекомендацию, кое-как изъясняясь с японской девушкой на английском языке.

Однако докладов любознательной девушки японской полиции показалось мало. Она обеспечила нам сервис на более высоком уровне. За каждой группой сибиряковцев по Токио ходил специально прикомандированный шпик. Слежка выглядела довольно откровенной, и отчасти это было даже удобно. Стоило нам чуть-чуть сбиться с пути, как мы подзывали нашего соглядатая, и он очень любезно нам все объяснял и показывал. Мы угощали его сигаретами. Шпик вежливо зажигал спички. Одним словом, контакты самые тесные.

И все же по уровню туристского обслуживания полицейские уступали настоящим профессиональным гидам. В результате нет-нет да мы попадали совсем не туда, куда нам следовало попасть. Так, однажды, гуляя по центру города, мы забрели в район, который назывался «ёшивара» и славился публичными домами. Попав на эту улицу, мы сразу почувствовали ее исключительность. На ней не было ни тротуаров, ни мостовой, ни какого-либо общественного или частного транспорта. Одноэтажные и двухэтажные домики подчеркнута национального об-

лика, очень похожие друг на друга. Сбегающие вниз козырьки. По углам всякие завитушки, драконы. Все это резное, разноцветное, одним словом — красиво.

В нижней части домика — никаких дверей, а нечто вроде холла. Проходишь этот холл, попадаешь на улицу, затем в холл другого заведения, потом снова на улицу. Так проходишь дом за домом.

Против условных дверей, которыми прохожий попадает в холл, на ярко начищенной медной штанге, на таких же ярких медных кольцах висит богатый занавес из парчи, шелка или бархата, расшитый драконами, хризантемами и орнаментами. Подле занавеса старый японец или японка, рядом — фотографии обитателей веселого дома. Перед занавесом башмаки, по числу которых нетрудно понять, сколь велик наплыв посетителей.

Покинув улицу увеселительных заведений, мы направились в кино, где я, прямо скажу, оскандалился. Мы остановились возле очень завлекательного плаката, на котором дыбил коня молодой человек в ковбойской шляпе с пистолетами весьма солидного калибра у пояса. Шел какой-то американский «вестерн».

Заплатив деньги, каждый из нас получил вместе с билетом шоколадку. Плитка шоколада была тоненькая-претоненькая, но на обертке были изображены герой и героиня фильма. Реклама гам поставлена хорошо.

Симпатичная японочка с электрическим фонариком в руках повела нас в зал, куда можно было входить во время сеанса и даже курить. Ряды откидных кресел стояли на довольно большом расстоянии друг от друга, позволяя билетеру быстро посадить всех на свободные места. На нижней стороне откинутого сиденья кресел были какие-то направляющие ползки. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что назначение у необычной конструкции весьма простое. Японец засовывает под сиденье шляпу, а ползки служат для того, чтобы шляпа оперлась о них полями.

Ковбои на экране стреляли и горячили лошадей, а японочки с подносами, шныряя между рядами, продавали мороженое в стаканчиках. Сегодня к этим стаканчикам привыкают все с детства, но в ту пору мороженому в Москве торговали иначе. Мороженое накладывалось между двух вафель. Порция мороженого более всего была похожа на катушку, с которой покупатель по окружности вылизывал мороженое, чтобы на закуску съесть и саму вафлю.

Убежденный, что японский стаканчик столь же съедобен, как и московские вафли, я откусил от него край и попытался жевать. Треск пошел на весь кино-театр, к тому же я чуть ли не порезал себе губы. Хорошо, что этот конфликт заглушили звуки стрельбы, раздавшиеся с экрана, и он не был замечен окружающими.

Так прошли две недели. «Сибиряков» продолжал ремонтироваться. Журналисты писали для японской печати статьи о плавании. Художники Канторович и Решетников подготовили свои зарисовки к выставке, которую устраивала газета «Асахи». Для другой газеты «Ници-ници» Шнейдеров и его помощники делали небольшую документальную картину. Наконец наступил день, когда все осталось позади. Японский пароход повез нас во Владивосток, домой.

1 января 1933 года покинул Японию и «Сибиряков», двинувшийся южным путем в Мурманск, куда он прибыл лишь 7 марта 1933 года. Это был второй в мире корабль, совершавший полный рейс вокруг материка Европы и Азии. Первым была норденшельдовская «Вега», но ей понадобилось для этого 672 дня. «Сибирякову» хватило 223 дня.

Так был подведен первый итог научному спору. Выяснилось, что Северный морской путь можно пройти на всем его протяжении от Белого моря до Берингова пролива. Стало ясно, что для этого нужны новые, более мощные ледоколы, авиабазы для ледовой разведки, топливные базы для подзаправки кораблей, долгосрочные ледовые прогнозы. Одним словом, в полярных льдах можно и нужно было прокладывать дорогу, тот арктический «большак», без которого нельзя осваивать грандиозные богатства Севера.

Все участники экспедиции были удостоены правительственных наград. Был

вместе с другими награжден и я, получив свой первый орден — орден Трудового Красного Знамени за номером 202.

Работая над этими записками, вспоминая подробности плавания на «Сибирякове», я невольно задумывался об одном удивительном противоречии. Сегодня те усилия, которые затратил наш коллектив, выглядят чем-то из ряда вон выходящим. Людям, которым сегодня столько же лет, сколько было в те годы нам, эпопея «Сибирякова» представляется нечеловеческим напряжением сил.

Тогда были другие мерки. По этим давним меркам мы просто делали работу, которую поручили нам, нам, а не кому-нибудь другому. Тогда было меньше техники и, если так можно выразиться, отсутствовал тот элементарный комфорт, без которого трудно представить себе работу сегодня.

Труд нашего коллектива был оценен высоко, но никто не смотрел на него как на нечто из ряда вон выходящее. Ведь в те дни, когда мы воевали со льдами Чукотки, вошли в строй последние турбины Днепростроя и были задуты первые домны Кузнецка. И там и тут во всей стране делали свое дело мои сверстники, люди, о которых, вероятно, можно сказать, что они составляли одну из самых больших ценностей своего времени.

Вернувшись в Москву, я на короткий промежуток времени примкнул к тем, кто защищал третий вариант Великого Северного пути, — вариант, предусматривавший регулярные полеты дирижаблей.

НЕУДАЧНЫЙ ПОЛЕТ

«Даешь советский дирижабль!». Двадцать восемь миллионов народных рублей. Корабль в овраге у деревни Мазилово. Умберто Нобиле и советские дирижаблисты. Встреча на филателистической выставке. Пропаганда с неба. «Отдать поясные!». Поединок с ветром. Над Переславлем-Залесским. Человек на канате. Лопнет или не лопнет? В ход пошла красная лямка. Летим на башню. Спасительные ели. Взрыв цепелина «Гинденбург». Нужен ли дирижабль сегодня?»

Да извинит меня читатель за нарушение хронологии, в воспоминаниях явно неуместное, но я вынужден снова вернуться назад. Мне хочется рассказать о деле, которое хотя и не было главным в моей жизни, но все же заслуживает, чтобы вспомнить о нем сорок лет спустя.

Волей обстоятельств я оказался в сфере событий, волновавших тысячи людей. Старшим поколением эти события сегодня забыты, младшему — просто неизвестны. Речь идет о дирижаблях, о первых шагах в подготовке великих дирижабельных путей, которые так никогда и не были открыты.

Добрый десяток лет дирижабли окружало исключительное внимание. И это не преувеличение. На какой-то период истории воздушных сообщений дирижабли в нашей стране были действительно всенародным делом.

Передо мной на столе крохотная книжечка с боевым задорным названием: «Даешь советский дирижабль!». На обложке — дирижабль, парящий над индустриальным пейзажем (брошюрка выпущена в 1930 году, когда наша индустрия только создавалась). Надпись в кружке — «Книжка-копейка» — и цифра тиража в выходных данных — миллион экземпляров — выглядят своеобразной характеристикой ценности и популярности этой тощенькой брошюрки. Миллион агитаторов за дирижабль вышел из типографии «Крестьянской газеты». Шестнадцать страничек текста, напечатанного сбитым, подслеповатым шрифтом на серой бумаге, обнадеживали читателей: «Дирижабли будут реять над громадными пространствами Страны Советов, будут связывать далекие окраины с центром, будут вести исследовательскую работу над неизведанными землями — словом, будут помогать строить социализм в СССР».

И не нужно думать, что категоричность утверждений маленькой книжечки представляла собой что-то исключительное. Примерно те же мысли развивали

авторы книг: «Дирижабль на хозяйственном фронте», «Строим эскадру дирижаблей имени Ленина», «Дирижабль в СССР» и многих, многих других.

Интересно просматривать сейчас все эти книжки. Ратуя за дирижабль и восхваляя его достоинства, их авторы пускали в ход самую различную аргументацию — от экономических выкладок до утверждений, мягко говоря, граничащих где-то с фантастикой. Вот, например, таблица стоимости тонны-километра для разных видов транспорта. Из нее следует: дирижабельные перевозки хотя и дороже пароходных и железнодорожных, зато выгоднее гужевых, автомобильных и самолетных. Или другой пример: американцы построили дирижабль, оснащенный не только мощным вооружением, но и целым отрядом самолетов, которые он якобы может носить в своем чреве, выпускать во время полета в воздух, а затем принимать обратно.

Несмотря на откровенную фантастичность такого рода утверждений, энергичная борьба за советский дирижабль имела вполне реальные причины. Главной было великое, чтобы не сказать величайшее, бедорожье, доставшееся от царской России. В те годы оно представляло собой бич государства. Без дорог, без скоростного транспорта управлять большой страной, развивать ее экономику было крайне тяжело. А полеты дирижаблей, озаренные вспышками сенсационных сообщений, подстегивали вполне понятное желание иметь собственный флот воздушных вездеходов.

В 1925 году интерес к дирижаблям приобрел, если так можно выразиться, государственный характер. Под председательством Н. П. Горбунова при Совнаркоме СССР возникла специальная комиссия по Транссибирскому воздушному дирижабельному пути. Дело было поставлено серьезно. Нащупывая наилучшее решение, комиссия привлекла к работе советских и иностранных специалистов по воздухоплаванию, экономистов, представителей заинтересованных ведомств. Речь шла о создании грандиозной воздушной магистрали, которой, по замыслу ее творцов, предстояло стать со временем основой для большой международной дирижабельной трассы.

Одновременно с государственными организациями решением воздухоплавательных проблем занималась и общественность. Два дирижабля мягкой конструкции, о которых я уже упоминал, — сначала «Московский химик-резинщик», затем «Комсомольская правда» — были построены Осоавиахимом, развернувшим широчайшую кампанию за дирижаблестроение.

Осоавиахим действительно сделал многое. Именно эта организация начала массовый, подлинно всенародный сбор средств. Очень скоро из разного вида пожертвований собралась впечатляющая сумма — 28 миллионов рублей. Эти деньги и составили исходный фонд для развертывания и развития дирижаблестроения в СССР.

За время экспедиции на цеппелине ЛЦ-127 мы с Федором Федоровичем Асбергом очень подружились. Этот славный человек, отличный товарищ и превосходный инженер, влюбленный в свое дело, мне очень нравился. Не удивительно, что его страстная увлеченность дирижаблями в какой-то степени заразила и меня.

Не порывая своих давних и уже достаточно прочных связей с Арктикой, я поступил на службу к дирижаблистам. Им тоже нужны были радисты, а известная рискованность полетов на дирижаблях и острота впечатлений, которую приносили эти полеты, пришлись мне по душе.

Правда, справедливости ради скорее следовало бы говорить не о дирижаблях, а о дирижабле. Путать множественное число с единственным тут не следует, так как к тому времени, когда я начал работать в Осоавиахиме, мощный дирижабельный флот этой организации состоял из одного-единственного корабля.

Размещалась моя служба на другом конце Москвы, на задворках деревни Мазилово, от которой сейчас осталось одно лишь название, прилепившееся к отличному новому району Фили — Мазилово, неподалеку от Кунцева. Этот район и сегодня славится своим парком на высоком берегу Москвы-реки. Тогда парк

был еще пышнее. Высокий берег кое-где пересекали овраги, уходившие в зеленую гущу деревьев. В одном из этих оврагов, буквально утопавшем в зелени, и располагалась стоянка нашего дирижабля.

Еще задолго до наступления века автомобилей Джером К. Джером заметил однажды, что велосипед можно использовать двояко — или же ездить на нем, или же его чинить. Время подтвердило мудрость английского юмориста. Однако еще до расцвета автомобилизма я смог убедиться в том, что ремонт подчас превращается в главное времяпрепровождение. Во всяком случае именно так складывалась обстановка в овраге вокруг нашего дирижабля.

Никаких ангаров, никаких навесов. Жалкая гондола, похожая на бельевую корзину, и баллон, весь в заплатках. Летать было некогда. Тут уж не до полетов! Нашей основной заботой было чинить, чинить, чинить. Но ремонтировали мы наш дирижабль с любовью. Мы лелеяли безумно отважную мысль: участвовать в параде над Красной площадью, заранее предвкушая впечатления от предстоящего полета. Намеревались разбрасывать какие-то подходящие случаю листовки. Увы, этим гордым планам не суждено было сбыться. Приехали какие-то высокие специалисты, осмотрели дирижабль и сказали:

— Ваш пузырь в таком состоянии, что может развалиться прямо над Красной площадью, а этот вариант нас, разумеется, никак не устраивает!

Поход «Сибирякова» вынудил меня сделать небольшой перерыв в «небесной профессии». Оставив своих коллег в овраге подле дирижабля, я отбыл в Арктику. Затем, пропутешествовав в северных широтах, снова примкнул к когорте дирижаблистов. За время моего отсутствия она существенно обогатилась — в строй вошел новый дирижабль В-3, или, как его еще иначе называли, «Ударник».

Он в два с лишним раза превосходил по кубатуре своего предшественника — «Комсомольскую правду». Не удивительно, что газеты писали о нем как о самом мощном советском дирижабле. Но не это побуждает меня вспомнить В-3. Гораздо интереснее другое: к созданию этого воздушного корабля имел самое непосредственное отношение человек, чье имя связано в первых удачных и неудачных попытках достижения Северного полюса с воздуха, — выдающийся итальянский инженер Умберто Нобиле.

Офицер итальянской армии, Нобиле занимался конструированием дирижаблей и имел большой опыт полетов на них. Именно им был сконструирован дирижабль N-1, который приобрел у итальянского правительства знаменитый Амундсен на средства, пожертвованные американским миллионером Линколном Элсвортом (тем самым, встреча с которым на борту цеппелина ЛЦ-127 так поразила мое воображение).

Отправляясь в свой исторический полет, Амундсен взял на борт «Норге» и своего финансового благодетеля Элсворта, и конструктора Умберто Нобиле. Нобиле был приглашен пилотировать дирижабль.

После того как экспедиция Амундсен — Элсворт — Нобиле была благополучно завершена, началась подготовка к новому полету на полюс. На этот раз дирижабль назывался «Италия», хотя это был почти двойник «Норге». Новую экспедицию возглавил Умберто Нобиле.

Дирижабли были похожи, но результаты полетов получились совершенно противоположными. 25 мая 1928 года в 10 часов 30 минут по причине, и по сей день оставшейся неизвестной, дирижабль «Италия» быстро спустился, сильно ударился о лед, а затем, оставив на льдине часть своей гондолы и грузов, резко взмыл в воздух. С шестью участниками на борту дирижабль улетел в неизвестном направлении, и больше этих людей никто никогда не видел. Девять человек, в том числе и Нобиле, очень пострадавший от удара об лед (у него оказались переломаны ноги и руки), попали на льдину. Десятый — моторист Помелле — был убит на месте.

Невольным пленникам льдины все же чуть-чуть повезло в разразившемся с ними несчастье. Среди обломков дирижаблекрушения оказалось достаточное ко-

личество провианта и переносная коротковолновая станция. Правда, наладить ее удалось не сразу. Только на одиннадцатый день после катастрофы архангелогородский радиолобитель-коротковолновик Шмидт поймал какие-то обрывки сообщений. И несмотря на то, что пойманные сигналы были лишь частью радиограммы, их оказалось достаточно, чтобы понять: с «Италией» случилось бедствие, но кто-то уцелел, кто-то находится в неизвестной части Арктики.

Сообщение было поймано донельзя вовремя. Но еще до того, как советский радиолобитель услышал сигнал бедствия, Советское правительство, побуждаемое гуманными соображениями, организовало при Осоавиахиме Комитет помощи. 29 мая 1928 года этот комитет обратился к населению европейского и азиатского Севера СССР с призывом помочь пострадавшим. Три ледокола — «Седов», «Малыгин» и «Красин» — двинулись на север, на поиски потерпевших бедствие. И только 11 июня, когда подготовка к спасательным работам развернулась полным ходом, итальянское правительство официально попросило Советский Союз принять участие в спасательных работах.

Далеко не все страны были едины в своем желании помочь пострадавшим: многие капиталистические государства, в том числе и Соединенные Штаты Америки, отказались принять участие в розысках. Спасательные работы развернули СССР, Италия, Франция, Швеция, Норвегия и Финляндия. Восемнадцать судов и двадцать один самолет были отправлены в Арктику.

Как известно, решающую роль в этих поисках сыграл Советский Союз, но разыскать удалось лишь группу, оставшуюся на льдине. После ее спасения правительство Муссолини официально прекратило поиски. Сделано это было так резко, что Нобиле просто запретили участвовать в дальнейших операциях ледокола «Красин». Пароход «Читта ди Милано», где размещался итальянский штаб поисков, принял на борт спасенных итальянцев и двинулся на юг.

Мне кажется, что странная на первый взгляд позиция правительства фашистской Италии не столь загадочна, сколь типична. Муссолини хотел иметь национального героя, признанного всем миром. Для этого будущему герою был дан дирижабль и созданы условия для организации экспедиции. Когда же, по обстоятельствам, от него совершенно не зависящим, произошла катастрофа, интерес к нему был моментально утрачен. Ни сам Умберто Нобиле, ни его планы в отношении дирижаблестроения итальянское правительство больше не интересовали. Именно в эту пору Нобиле и получил приглашение приехать на работу в Москву.

Люди старшего поколения, вероятно, помнят историю спасения «Италии». Тогда об этом много писали газеты. Но, вероятно, мало кто знает, что связи Нобиле с нашей страной надо исчислять не с 1928 года, когда советским людям удалось спасти командира дирижабля и его спутников от смерти, а гораздо раньше.

Как сообщает небольшая заметка в журнале «Вестник воздушного флота», 27 января 1926 года в 7 часов вечера в Деловом клубе в Москве состоялся доклад Нобиле о возможностях полярных полетов на дирижаблях. Доклад прошел при большом стечении публики — присутствовали многочисленные представители Красного Воздушного Флота, гражданской авиации, итальянского посольства, Комитета по арктическому воздухоплаванию и т. д.

«Конструктор Нобиле, — читаем мы в этом журнале, — отметил дружеское отношение, которое встретили организаторы экспедиции в СССР, и подчеркнул, что успешность проведения работ экспедиции будет много зависеть от сохранения этого отношения».

Затем были полеты «Норге», драма «Италии», походы наших ледоколов, розыски и спасение. А через некоторое время Умберто Нобиле приехал в СССР и занялся в Дирижаблестрое конструированием советских дирижаблей. Первенцем этой работы и стал дирижабль В-3.

В августе 1932 года, когда я еще плыл на «Сибирякове», дирижабль В-3 перелетел из Ленинграда, где производилась его сборка, в Москву. Командовал кораблем начальник эксплуатационного отдела Дирижаблестроя известный возду-

хоплаватель М. Н. Канищев. Вместе с ним руководил переброской дирижабля в Москву и начальник технического отдела Дирижаблестроя Умберто Нобиле.

Не все сложилось гладко. После четырнадцати часов полета иссякли запасы бензина. Под Москвой дирижаблю пришлось совершить вынужденную посадку. Как сообщала «Правда»: «Благодаря исключительному искусству инж. Нобиле этот крайне трудный спуск почти без помощи с земли был произведен блестяще. Мы сели на обширном поле у деревни Милеты, недалеко от станции Малаховка».

Было бы неправдой сказать, что в это время я не встречался с Нобиле, но почти никаких воспоминаний у меня по этому поводу не сохранилось, да и не могло сохраниться, хотя Нобиле проработал в Дирижаблестрое около двух лет. Слишком была велика разница в нашем положении. Я — рядовой радист одного из дирижаблей. Нобиле — признанный мировой конструктор. Я хорошо запомнил лишь подтянутую, с военной выправкой фигуру Нобиле, гулявшего со своей собачкой Титиной.

С тех пор прошло около тридцати пяти лет, и мы снова встретились с Нобиле. На этот раз встреча произошла в Праге, где в 1968 году происходила всемирная филателистическая выставка. К тому времени Нобиле было уже больше восьмидесяти лет, но это не мешало ему сохранять бодрость. В Прагу он приехал на автомобиле вместе со своей молодой и очень красивой женой.

На выставке много делалось для развлечения филателистов, а заодно с ними и пражской публики. По площади катилась старинная почтовая карета, в которой сидела дама в платье небесно-голубого цвета, с кринолином. На козлах восседал солидный кучер в мундире почтового ведомства каких-то очень стародавних времен. Время от времени он громко щелкал бичом и трубил в гнутый почтовый рожок.

В этой программе развлечений заняли свое место и мы с Нобиле. Нам поручили дать старт трем воздушным шарам, отправлявшимся с одной из пражских площадей в короткий тридцати-пятидесятикилометровый полет. Полет этих баллонов давал возможность выпустить специальные конверты и погасить их особыми штемпелями.

В нужный момент, когда нам это подсказали, мы с генералом Нобиле дали соответствующую команду. Разумеется, эта команда не играла какой-то практической роли, а носила скорее, я бы сказал, декоративный характер. Все делалось независимо от нее, само собой.

Однако, рассказывая о запуске шаров, я изрядно забежал вперед. Разреши-те вернуться в начало тридцатых годов, когда из воздухоплавательной базы Осоавиахима у деревни Мазилово я перекочевал на Кузнецкий мост в Дирижаблестрой. Это новое для нашей промышленности учреждение размещалось тогда во втором этаже старенького здания, напротив зоомагазина. Здание сохранилось, на его первом этаже и по сей день размещены какие-то выставочные помещения. Но Кузнецкий мост был местоположением лишь нашей конторы. Практическая же деятельность развертывалась на одной из станций, где я и совершил свой полет на дирижабле В-3, о котором и хочется сейчас рассказать, хотя он был не очень удачным.

...Наконец дождались. Наш полет разрешен. Началась подготовка к отправлению.

Дирижабль В-3 не принадлежал к плеяде воздушных великанов. После цепелина он показался мне совсем маленьким, хотя 3 тысячи кубометров — это тоже, в общем, неплохо. Полет, который нам предстояло совершить, был из числа агитационных. Одним выстрелом наше начальство собиралось убить двух зайцев: потренировать начинающих воздухоплателей и одновременно провести агитационную работу. Маршрут шел по кольцу чуть севернее столицы: Москва — Владимир — Иваново-Вознесенск — Ярославль — Москва. Нам предстояло облететь этот район, сбрасывая по ходу дела осоавиахимовскую литературу. Как рассудили те, кто нас посылал, ценность брошюры, «упавшей с неба», в глазах подъяв-

ших ее была явно выше ценности той же брошюры, просто купленной в киоске. Отсюда и высокий пропагандистский эффект предстоящего полета в глазах начальства.

Наконец все проверено и перепроверено. Можно ручаться за поведение разных частей и агрегатов нашего корабля: все механизмы в исправности и действуют как положено. Однако мы никак не можем отвалить.

Несколько дней проволынили синоптики, и осуждать их за медлительность не приходилось. Март — месяц с неустойчивой погодой и сильными ветрами — действительно мог одарить нежелательными сюрпризами. Ветер для нашего корабля был крайне нежелателен, чтобы не сказать просто — очень опасен. Отсюда и осторожность синоптиков, естественная осторожность людей, отвечающих за свои слова и поступки.

И вот наконец объявление:

— Завтра утром летим. Всему экипажу прибыть на базу дирижаблей самым первым поездом!

Поезд отходил очень рано, и даже трамвай, который, как казалось москвичам, почти никогда не спал, еще бездействовал. От Чистых прудов до Савеловского вокзала путь немалый, но ввиду того, что трамвайное движение не открылось, а персональных автомобилей для нас никто не приготовил, пройти эту дорогу пришлось пешочком. Она показалась особенно долгой потому, что для предстоящего полета надо было одеться потеплее, что я, разумеется, и сделал.

В грязном, мрачном и холодном вагоне пригородного поезда собрался весь экипаж дирижабля. За разговорами и куревом время промелькнуло незаметно. Поезд сбавил ход. За окнами появился щелястый перрон платформы, огороженной какими-то хлипкими дощатыми стенами.

Экспрессы у станции не останавливаются. И не удивительно. Это была крохотная и неприметная пригородная платформа. Однако, подобно многочисленным родственницам, ее щедро украшали образцы изящной железнодорожной словесности. В этом смысле здесь все было в норме. Рядом с плакатами «Береги жизнь, не ходи по путям», «Пользуйтесь аккредитивами», «Не прыгай на ходу» шелестел прошлогодний первомайский плакат, успевший за длительную вахту утратить яркость своих первоизданных красок.

И тем не менее, несмотря на обыденность, станция эта была для нас замечательной: ведь здесь находился эллинг, в котором стоял дирижабль «Ударник» (он же В-3).

Гуськом, по протоптанной в сугробах тропинке, мы направились к эллингу. Снег был по-мартовски рыхл и зернист. Заполнив почти весь эллинг, дирижабль в первые минуты выглядел непомерно громадным. Но стоило стартовой команде осторожно вывести его из ворот, как он сразу же потерял свою величественность и массивность, но не таинственность...

В предрассветных сумерках наш В-3 выглядел допотопным чудовищем. Движения оболочек при порывах ветра усиливали это сходство. Казалось, что огромная машина дышит, и было даже страшно, что такой гигант удерживается руками всего лишь нескольких десятков людей.

Эти люди — курсанты воздухоплавательной школы — держали наш корабль за поясные. Чтобы он взмыл вверх по команде, их надо было отпустить все сразу, одновременно. Но до команды было еще далеко. «Ударник» пополнял запасы подъемного газа. Курсанты приплясывали от холода и сырости. Затекшими от напряжения руками они удерживали корабль, который ощутимо рыскал от малейшего дуновения ветерка.

Конечно, было хорошо, что синоптики дали нам наконец «добро» на полет. Однако назвать напороченную ими погоду хорошей было бы по меньшей мере рискованно. Сплошная облачность среднего яруса делала наступающий день сереньким и тусклым. Единственное, что нас утешало: сильного ветра не будет.

Шли последние приготовления. Механики -- кажется, это их постоянное за-

нятие, — стоя на высоченных стремянках, копались в моторах. Немногочисленный летный состав в неуклюжей меховой одежде влезал в гондолу, готовя приборы и рабочие места. Одним словом, предстоял очередной тренировочный полет. Мы не собирались бить мировые рекорды или достигать недостижимое. «Вывозились» будущие, пока еще молодые, воздухоплаватели. Надо же когда-то знакомиться с правилами поведения в воздушном океане.

— Ну-ка, орлы, пошевеливайтесь!

Эти призывы командира-наставника раздавались все чаще по мере продвижения часовой стрелки к назначенному времени старта. «Орлы» пытались быстрее перебирать ногами в пудовых меховых унтах и тащили последние грузы — тюки с осоавиахимовской литературой, пакеты с бутербродами и большие термосы. Полет предстоял длительный, надо было позаботиться и о провианте.

Старший такелажник Гузеев, задрал голову, несчетное количество раз обошел дирижабль. Миллион, разве чуть меньше, креплений оглядел он всевидящим оком. От сложнейшего такелажа подвески гондолы и моторов, от правильно проложенных тросов рулей глубины и направления зависели человеческие жизни.

В этом хаосе узлов, креплений, петель, роликов и веревок лучше всех разбирался именно он.

Гузеев был непререкаемым авторитетом. Десятки лет работы в области воздухоплавания, знания, умение и неисчерпаемый запас рассказов о всевозможных случаях делали его общим любимцем.

Хорошо помню один из его рассказов. В агитполет отправился небольшой аэростат. Двум воздухоплавателям поручили разбрасывать над населенными пунктами осоавиахимовскую литературу. При низкой облачности воздушный шар проплывал над деревней. Оболочка шара скрывала облака. Снизу виднелась только гондола, бесшумно двигавшаяся совсем низко над деревенской улицей. Конечно, такое явление привлекло внимание населения глухой деревеньки от мала до велика. Тем более что в тот день деревня отмечала большой церковный праздник. И тут воздухоплаватели, сеятели разумного, доброго, вечного, то ли из озорства, то ли по другим непонятным причинам, осипшими от долгого пребывания на холоде глотками, рявкнули какое-то церковное песнопение.

Фурор был необычайный, а нагоняй от начальства огромный. «Спасибо» этим остроумцам народ не сказал.

...Как всегда, в последние минуты перед стартом царила неразбериха и суматоха. Кто-то что-то забыл, срочно нужно было завернуть какую-то гайку, куда-то позвонить по телефону. Затем у дирижабля появились синоптики, или, как их называют обычно, «ветродуи». Молчаливая группа во главе с командиром корабля склонилась над развернутой синоптической картой — это было безошибочным признаком того, что момент старта недалек.

Наконец все земные дела закончены. Оболочка приняла в свое чрево содержимое многочисленных газгольдеров, что явно пошло ей на пользу — расправились морщины, и хотя не известно, как выглядят молодые киты в расцвете сил, но дирижабль, вероятно, стал именно таким. И характер у нашего пузыря по мере заправки газом тоже становился ершистее. Как молодой, застоявшийся конь, он все чаще дергался и игриво взбрыкивал в руках стартовой команды.

— Экипаж, на посадку!

Поддерживая друг друга, карабкаясь по зыбкой алюминиевой лесенке, мы с трудом протискивались в дверку гондолы. Теснота в гондоле была воистину выдающаяся. Кормовая часть забита бидонами с горючим и маслом. Сюда уже втиснулись лоснящиеся от масла механик и моторист. Все свободное пространство занято балластом. Будь они неладны, эти брезентовые мешочки с песком! Из-за них ногу некуда поставить, а голова упирается в потолок гондолы.

Я молча втиснулся в свой закуток, что при моем росте было явно нелегко. Собственные ноги под висящим на кронштейнах приемником пришлось ставить на место с помощью рук. От тесноты стало еще холоднее. Можно было или сго-

ять, или сидеть, и притом только в одном положении. А, как на грех, хотелось повернуться поудобнее, подмывало двигаться.

Старт проходил в полной тишине. Раздавались командные слова: «Завести моторы!», «Отдать поясные!» Застрекотали небольшие двигатели, извиваясь, как змеи, упали поясные, на которых удерживался дирижабль, и протокольный возглас стартера: «Дирижабль в полете!» — послышался уже откуда-то снизу. В желтое поцарапанное окно были видны запрокинутые головы провожающих.

Легко и плавно набирая высоту, корабль взмыл вверх. Раздвигался горизонт, расширялась панорама скучного, пасмурного дня. Заснеженные поля перемежались чернеющими перелесками, по-мартовски грязные дороги напоминали о близости весны.

Москвичи, месяцами не видящие ни заката, ни восхода солнца, общающиеся с природой только во время утреннего, строго прохронометрированного бега на работу, и не подозревают, как близко природа подступает к городу.

Уже в пяти минутах полета от Москвы — бесконечные поля и леса до белесого, сливающегося с небом горизонта редко оживляются трассой высоковольтной линии или полотном железной дороги. Безмолвно и неторопливо движутся поезда. Даже экспрессы с высоты выглядят еле-еле ползущими. Вовсю старается паровоз: видны клубы пара, но не слышны гудки. Железной дорогой иногда пользуются для ориентировки неопытные штурманы.

Хуже, когда на эти ориентиры желают взглянуть поближе. Тогда над тихими полустанками бреющим полетом проносятся самолеты, пугая своим грохотом ни в чем не повинных железнодорожников. Ничего не поделаешь — надо же прочесть название станции!

Воздушный океан не был таким безбрежным, как казалось на первый взгляд.

Вскоре на борту установился обычный порядок. Все молча занялись своим делом. Рядом с рулевым Людмилой Эйхенвальд, единственной женщиной, стоял командир корабля Иван Иванович Мейснер, изредка бросая взгляд на компас. Подгоняемый попутным ветерком, дирижабль вскоре добрался до Волги. Мы летели над Ярославлем... Нет, Волга зимой — это не Волга. В ожидании лучших дней под берегом стояли вмерзшие баржи и пароходики. Волга отдыхала.

Сбрасывание пакетов с литературой заняло не много времени, и, достигнув самой дальней точки своего маршрута, корабль повернул восвояси.

Вот тут-то и началось!

Ветер, до этого благоприятствовавший полету, из доброго союзника превратился в противника. Шаг за шагом мы протискивались к далекой Москве, но ветер крепчал. Рулевой все чаще и чаще «упускал» дирижабль. Время от времени корабль сбивался с курса. Нас откидывало назад, и начиналась очередная попытка выправить курс. А для этого нужно было сделать большой полукруг и попытаться снова взять нужное направление. В конце концов это удавалось, но, как правило, ненадолго.

Внизу — скучные снежные равнины и леса. Уже наступили сумерки, а мы все болтаемся в воздухе, далеко от Москвы, без малейшей возможности вернуться. Через некоторое время выяснилось, что и горючего до базы не хватит. Все чаще передавал я на базу тексты, наспех нацарапанные командиром на клочках бумаги, сообщая о местонахождении дирижабля. Командир информировал начальство, что не в силах вернуться в Москву.

Наконец не столь на моторах, сколь ветром наш дирижабль нанесло на какой-то городишко. Как уютно теплились в домах огоньки этого утопавшего в сугробах городка! Должно быть, в низеньких комнатах было жарко от печей, а где-то, возможно, попевал и самовар. Но о самоваре мы не могли даже мечтать. Какой уж тут самовар. Не до жиру, быть бы живу. Нам бы более или менее благополучно спуститься на грешную землю!

Горячее на исходе. Стемнело. Эти обстоятельства и продиктовали решение — не отрываться от города. Так или иначе, но мы должны здесь приземлиться и закончить полет.

Но где же мы собирались приземляться? Несмотря на беспорядочность нашего полета и чрезмерное вмешательство ветра, штурман оказался на высоте. Он хорошо следил за картой и без особого труда опознал в городке Переславль-Залесский. Большое озеро, где Петр I строил свой потешный флот, вплотную подступавшее к домам, подтвердило: мы определились правильно. Дирижабль стал кружить над городом. Почти бреющим полетом он колобродил над мирными домишками. Выбегавшие из домов люди наспех натягивали шубы и, задрав головы, недоумевающе следили за непонятным поздним гостем. Тем временем командир закоченевшей рукой писал подробную записку с просьбой принять заблудившийся корабль.

Посадка даже небольшого дирижабля — дело совсем не простое, тем более что вряд ли кто-либо из жителей видел до встречи с нами что-либо подобное. Составить исчерпывающую информацию необученной посадочной команде было сложно: надо было изложить все коротко, но ясно. За борт полетел вымпел с запиской. Прильнув к заледеневшим окошкам, экипаж пытался разглядеть дальнейший ход событий. Какой-то мальчишка схватил шлепнувшийся в середине площади вымпел и, прочитав на записке адрес, помчался к дому, расположенному невдалеке от площадки.

Через несколько минут из дома выскочили два человека. Они сели в стоявший у подъезда автомобиль и помчались на окраину города. Дирижабль последовал за ними. На краю города виднелся большой корпус с ярко освещенными окнами. Высокая труба — неотъемлемый признак производственного предприятия — позволяла предполагать наличие большого количества организованных людей. Предположение подтвердилось. Вскоре стали выбегать люди и, одеваясь на ходу, лезли в подъехавшие грузовики. Возглавляемая легковой машиной, вся эта процессия на рысках двинулась в сторону озера. Через некоторое время вспыхнул яркий костер, и с подветренной стороны треугольником, как летящие журавли, выстроились две шеренги людей. Им предстояло поймать и удержать гайдропы, или, проще говоря, канаты, за которые можно будет подтянуть дирижабль к земле.

Полет заканчивается. Скоро можно будет побегать, вволю потопать по твердой, надежной земле окоченевшими ногами. Резко пикируя и гремя моторами, дирижабль нацелился на шеренги людей. При подходе к земле одновременно выключены моторы и сброшены гайдропы. Увы, в своем стремлении поскорее стать на якорь мы несколько поторопились и раньше времени выбросили гайдропы. Они едва достигли земли. Шеренги встречавших расстроились, произошла легкая свалка и суматоха. А в это время, как на грех, — порыв ветра. Дирижабль отклонился в сторону и вверх. Несколько человек, правда, пытались удержать воздушную громаду, но тщетно!

Со стороны это единоборство с кораблем, вероятно, напоминало охоту первобытных людей на мамонта. «Мамонт» побеждал. Удержать дирижабль явно не удавалось. Все большее число наших спасателей отказывалось от этой попытки и отскакивало в сторону.

Надо отдать должное нашим добровольным помощникам: несмотря на полное отсутствие опыта, они продемонстрировали завидное присутствие духа и мужество. Кончик гайдропа, за который можно было ухватиться, оказался очень коротким, но небольшая группа с мужеством отчаяния вцепилась в него мертвой хваткой. Увы, и им пришлось отпустить гайдроп. Дирижабль пошел вверх, и стала редеть даже эта небольшая кучка. У людей явно не хватало сил для победы, но все же они сопротивлялись как могли. Даже когда гайдроп уже не касался земли, на нем продолжал висеть упорнейший из упорных — самый последний, самый настойчивый доброволец.

С каждой секундой высота увеличивалась. Положение невольного воздухоплатателя, оказавшегося между небом и землей, становилось все опаснее. Забыв, что наши голоса ему не слышны, в гондоле хором кричали:

— Прыгай!

То же самое кричали и с земли. Но в такой миг решиться, наверное, очень трудно. К счастью, прыжок оказался благополучным.

Освободившись от усилий наземной команды, дирижабль поднимался все выше и выше. Земля уплывала из-под ног. Скрылись уютные огоньки города. Затем померк и огонь костра. Наступила звенящая тишина, прерываемая только свистыванием ветра в такелаже. Сплошная облачность усиливала темноту. Все неразборчивее становились темные пятна леса. Ориентировка терялась.

— Заводи моторы!

Моторы не заводились.

Дирижабль находился в свободном полете. С каждой минутой он забирался все выше. Стрелка манометра давно перевалила через красную контрольную черту на циферблате. Нам не полагалось подниматься выше 800 метров, но приборы уже показывали 1700. Высота полета неуклонно росла, а члены команды отлично понимали: еще немного — и напор газа в оболочке просто разорвет ее изнутри.

Сыпаться горохом с лопнувшего на полутораклометровой высоте дирижабля было волнующей, но не самой привлекательной перспективой. Разумеется, подъем надо было остановить. В ожидании, когда это произойдет, экипаж сохранял полное молчание. И хотя каждый по поводу создавшегося положения составил себе собственное мнение, окончательное решение должно было принадлежать командиру.

Мы ждали решения командира, а наше положение тем временем становилось все более угрожающим. В полной темноте дирижабль стремительно поднимался. С каждой минутой нарастала вероятность разрыва оболочки. Моторы не заводились. Куда несло корабль, никто не понимал и не мог понять. А садиться нужно было — нужно было во что бы то ни стало.

Командир приказал приступить к аварийному спуску.

На борту дирижабля в оболочку заделан небольшой треугольник из стального тросика. К вершине треугольника крепко-накрепко крепится ярко-красная ляжка. Размещается эта ляжка обычно в укромном месте у потолка гондолы, чтобы по неосторожности за нее никто бы не задел. Назначение красной ляжки известно всем: она открывает треугольник в оболочке — аварийный клапан.

Пользуются этим клапаном только в исключительных случаях. А так как другого выхода у нас не было, единственный путь к земле могла открыть нам эта красная ляжка.

Итак, аварийный клапан раскрыт. В бок дирижабля зияет большущая треугольная дыра, из которой хлещет газ, заставляя дирижабль снижаться. Вырванный клочок оболочки хлопает по гондоле. Не скажу, чтобы этот аккомпанемент доставил нам чрезмерно большое удовольствие. Да, так уж устроен человек: всегда он чем-то недоволен. Так было и с нами. Несколько минут назад нам не нравилась большая, неуклонно нарастающая высота полета. Теперь не по вкусу пришлось стремительное падение в темноту.

Когда мы приблизились к земле и снова стали различимы темные пятна лесов, дирижабль потерял управление. Оболочка, из которой вышла большая часть газа, переломилась пополам. Тросы, идущие к рулям, провисли. Рули были обречены на бездействие. Штурвал оказался явно лишней деталью конструкции.

Под тяжестью моторов осела задняя часть гондолы. Нос корабля задрался вверх, и, хотя по распоряжению командира все сгрудились в носовой части, уравновесить гондолу не удалось. Мы стояли, цепляясь руками и ногами за стенки и окна, но угол наклона оставался примерно 45 градусов. Окна были распахнуты настежь. О том, чтобы беречь тепло, можно было больше уже не думать.

— Право руля! Летим на башню!

Истошный крик обычно спокойного командира заставил всех вздрогнуть. Внизу перед дирижаблем на холмистой местности внезапно вырос на бугре старинный дом с высоченной башней. Дирижабль, снижаясь, шел прямо на это неожиданное препятствие.

Людмила Эйхенвальд, забыв, что рули не действуют, инстинктивно схватилась за штурвал. Разумеется, безрезультатно. Дирижабль по-прежнему несло на башню. Надвигалась катастрофа...

Над головой рулевого беспомощными петлями свисали ослабевшие тросы рулевого управления. За спиной его в полной бездеятельности стоял я. При приближении к земле антенна была убрана, радиосвязь прекращена.

В этом ослабевшем рулевым тросе я с какой-то непостижимой для самого себя быстротой разглядел один из очень немногих шансов на благополучную встречу с землей. Как всегда в такие минуты, когда сознание работает с невероятной быстротой, время словно растягивается, помогая выбрать и реализовать наиболее правильное решение.

Руками в толстых меховых рукавицах я ухватился за трос, быстро обернул его несколько раз вокруг рук и навалился всеми своими восьмьюдесятью пятью килограммами. То же самое, только голыми руками, попыталась сделать и наша рулевая. В гондоле прозвучал женский крик — трос глубоко рассек ладони обеих рук нашей Людмилы, но зато угрожающая темная тень башни промелькнула слева буквально в двух-трех метрах.

И все же радоваться было рано. Едва миновала одна опасность, как навстречу нам стремительно рванулась другая: двигаясь вперед, дирижабль падал на деревья.

Немного счастья надо иметь даже при падении. Будь это дубовый или березовый лес, экипаж корабля превратился бы в шашлык, нанизавшись на торчащие вверх сучья.

Большие заснеженные ели приняли на свои опущенные лапы падающий корабль. Эти естественные пружины смягчили силу удара. Но удар был все же такой, что дирижабль провалился между деревьями до самой земли. Треск ломающихся деревьев, грохот разваливающейся гондолы, слова команды — все смешалось воедино.

Трое выскочили из гондолы и, уязвая по пояс в глубоком снегу, пытались завязать гайдроп за ближайшие деревья. Не так-то просто: глубокий снег, темнота — все против нас. А трое спрыгнувших людей значительно облегчили изнемогавший дирижабль, и он попытался тотчас же рвануть вверх.

Крики и слова, когорыми помогали выскочившим те, кто остался в гондоле, оправдывались лишь опасностью и необычностью обстановки. Наконец гайдроп закреплен. Как смертельно раненное чудовище, оболочка улеглась на заснеженных деревьях. Наверное, мы приземлились неподалеку от жилья: кто-то, разгребая снег, приближался к нам с фонарем.

О нет! Свет не нужен. Совсем не нужен. Взрыв остатков водорода был бы для нас явно излишним...

В наши дни, когда идут ожесточенные споры о том, возрождать или окончательно хоронить дирижабли, поклонники воздушных кораблей этого типа, памятуя о моих полетах, причислили меня к своим единомышленникам. Я неоднократно получал приглашения на собрания энтузиастов воздухоплавательной техники. И вот теперь, написав о неудачном полете, я понял, что рискую заслужить репутацию дирижаблененавистника. Спешу сообщить читателям, что не хотел бы числиться ни в той, ни в другой категории. Это было бы в равной степени несправедливо.

Все же и название главы «Неудачный полет», и рассказ о таком неудачном полете выбраны не случайно. Дело в том, что все увлечение дирижаблями выглядит, пожалуй, неудачным полетом человеческой мысли. Высказывая такого рода

утверждение, призову на помощь столь авторитетного в мире дирижаблистов человека, как Умберто Нобиле. В 1933 году в газете «За индустриализацию» Нобиле писал:

«За последние пять лет зарегистрировано три больших катастрофы с дирижаблями: «Италия», Р-101, «Акрон», которые в значительной степени отразились на дирижаблестроении. Каждая из этих катастроф вызвала длительную дискуссию. Комиссии долго обсуждали причины гибели дирижаблей. Производились исследования, но почти никогда они не давали положительных результатов...

Под давлением бури некоторые менее прочные части могли не выдержать, и это могло вызвать потерю газа. Нельзя претендовать на такую прочность дирижабля, чтобы ни одна его часть не сдала во время бури. Поставить такую задачу перед конструктором — значило бы сделать невозможным проектирование и постройку дирижабля».

В этой статье Нобиле ратовал за исполинский дирижабль, считая, что дирижабль-гигант окажется гораздо более безопасным, нежели морские пароходы. В 1933 году, когда статья увидела свет, такого рода утверждение выглядело вполне правдоподобным и убедительным. Однако через несколько лет жизнь опровергла и этот тезис.

Катастрофы с дирижаблями, о которых упоминал в своей статье Нобиле, не прошли бесследно. Постепенно большинство высокоразвитых стран отказывалось от этих летательных аппаратов, отдавая предпочтение быстро развивавшемуся и крепнувшему самолету. Наиболее упорными оказались немцы. Они продержались до 1937 года — до катастрофы дирижабля «Гинденбург» ЛЦ-129, происшедшей 6 мая 1937 года в 18 часов 25 минут на аэродроме Лейкхэст (штат Нью-Джерси, куда дирижабль прибыл из Франкфурта).

«Гинденбург» был исполинский корабль объемом в 200 тысяч кубических метров, в два раза больше цеппелина ЛЦ-127, на котором я летал в Арктику. Что случилось с «Гинденбургом», так и осталось загадкой. Высказывались самые разные версии: выстрел зажигательной пулей, вредительство, пожар от искрившего двигателя в тот момент, когда дирижабль выпускал водород, удар молнии...

Эти версии, то опровергаемые, то подтверждаемые специалистами, публиковались печатью всего мира. Однако не зная причин аварии, все отлично знают ее результаты: погибло двенадцать пассажиров, двадцать два члена команды и один зритель. Умер от ран и ожогов капитан дирижабля Лемм.

Посадку «Гинденбурга» и случившуюся с ним катастрофу снимал какой-то оператор хроники. Он вел себя как в высшей степени деловой и предприимчивый американец. Мгновенно сообразив, что на этой съемке можно сделать большие деньги, оператор, отсняв катастрофу, побежал на телеграф и послал хозяину телеграмму, не пожалев в его адрес эпитетов. Так как телеграмма была с оплаченным ответом, то этот ответ последовал без промедлений: «Вы уволены». Именно этого и добивался предприимчивый хроникер. Он стал обладателем уникального материала, на котором, разумеется, заработал изрядную сумму.

Правда, надо заметить, что немецкие специалисты клятвенно заверяли после этой аварии весь мир, что больше не будут пользоваться водородом и перейдут на гелий. Однако их заверения никого больше не волновали: мир утратил интерес к дирижаблям.

И наконец, вопрос, который так часто задают сегодня: нужен ли нам дирижабль? Полагаю, что нужен. От того, что изобретен радиотелеграф и радиотелефон, никто не станет спиливать телеграфные столбы вдоль линии железной дороги. Как одно из проявлений техники, дирижабль имеет, вероятно, право на существование, но... Тут-то и вступает это обязательное «но». Все решает экономика. И когда поборники дирижабля утверждают, что сегодня он может быть избавлен от большинства недостатков, то остается лишь подсчитать, сколько будет это стоить.

Нельзя забывать и о том, что создание дирижаблей — это по существу создание новой отрасли промышленности, совершенной иной, чем для самолетов, системы земного обслуживания. Иными словами, трудно надеяться на то, что в ближайшее время произойдет полная реабилитация летательных аппаратов легче воздуха. Слишком высоки барьеры, которые им надо преодолеть, чтобы реально соперничать с самолетами и вертолетами.

Что же касается людей, спешащих раз и навсегда поставить на дирижаблях большой жирный крест, то я глубоко убежден в их неправоте. Приведу лишь один пример: в конце XIX века ракета была полностью отвергнута и похоронена, уступив место нарезному оружию. Какова ее судьба сегодня — общеизвестно.

Да, безапелляционные приговоры всегда опасны.



ПУБЛИЦИСТИКА

К 150-летию со дня рождения Фридриха Энгельса

Г. БАГАТУРИЯ

★

ДИАЛЕКТИКА ПРИРОДЫ— ДИАЛЕКТИКА ИСТОРИИ—ДИАЛЕКТИКА БУДУЩЕГО

(Энгельс о возрастающей роли общественного сознания)

Велик соблазн восхвалять юбиляра. Что может быть проще, если юбиляр действительно велик! Но юбилей — это всегда повод задуматься о жизни и делах человека, о его значении. А если сделанное им запечатлено в его книгах, статьях, рукописях, то вот и повод еще раз перечитать, заново осмыслить это его наследие.

В. И. Ленин как-то сослался на известные стихи Лессинга:

Wir wollen weniger erhoben
Und fleissiger gelesen sein,—

то есть: мы хотим, чтобы нас поменьше превозносили и поприлежнее читали. Следовать такому совету всегда полезно. В произведениях Энгельса, как и в трудах Маркса и Ленина, говоря языком современной науки, заложен почти неисчерпаемый запас информации. Все снова и снова возвращаясь к их трудам, мы каждый раз находим для себя нечто новое. И не просто — сегодня одно, а завтра другое. С каждым поколением понимание марксистской теории становится все более глубоким. Каждая новая эпоха все более полно овладевает этим могучим орудием познания и преобразования мира. Характерно при этом, что процесс распространения марксизма (усвоение его, овладение им) в какой-то мере повторяет некоторые черты самого становления и развития марксистской теории — это своего рода биогенетический закон в истории мысли (онтогенез повторяет филогенез). В силу такой закономерности поздний период развития марксизма — в частности новые идеи, выдвинутые Энгельсом в последний период его жизни, после Парижской коммуны, — должен привлекать к себе все большее внимание.

В настоящее время, когда благодаря новому изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (по завершении оно составит пятьдесят томов) в широкий научный оборот введены сотни неизвестных или малоизвестных прежде работ и писем основоположников научного коммунизма и этот количественный рост привел также и к некоторому качественному изменению картины их теоретического наследия, придав ей большую полноту и динамичность, — теперь, как никогда раньше, сложились благоприятные предпосылки для более глубокого понимания марксистской теории и тем самым для более эффективного применения ее во всех областях познания и практического действия.

В нашем сознании образ Энгельса, его научная и политическая деятельность неразрывно связываются и почти сливаются с представлением о Марксе и марксизме вообще. Это естественно и закономерно. Но не следует забывать и другого — самостоятельной роли каждого из них в совместной деятельности. Склонность к отождествлению Маркса и Энгельса проявилась еще при их жизни: об этом как-то один из них с иронией писал другому. Их объединяло слишком многое, но до примитивного тождества дело все-таки не доходило. Трудно выразить все это лучше, чем это сделал в своих воспоминаниях об Энгельсе Поль Лафарг. «Нельзя думать об Энгельсе, — писал он, — не вспоминая в то же время Маркса, и наоборот: жизни их настолько тесно переплелись, что составляли, так сказать, одну единую жизнь. И тем не менее каждый из них представлял собой ярко выраженную особую индивидуальность; они отличались друг от друга не только по внешнему облику, но и по характеру, по темпераменту, по манере мыслить и чувствовать»¹.

Сам Энгельс со свойственной ему объективностью утверждал, что марксистская теория по праву носит имя Маркса. Но эта теория немислима без всего того, что в обоснование и особенно в развитие ее сделал он сам. Как справедливо подчеркивал В. И. Ленин, «нельзя понять марксизм и нельзя цельно изложить его, не считаясь со всеми сочинениями Энгельса»². Как мыслитель, хотя и уступающий по масштабу своему великому другу, но мыслитель гениальный, Энгельс, что называется, тоже «имел свое лицо». Определенные стороны единой, сообща созданной марксистской теории, целый ряд разделов ее и проблем именно он разработал наиболее полно. Эти идеи ни в какой своей части не были уклоном или отходом от марксизма. В громадном большинстве случаев в работах самого Маркса обнаруживаются параллельные разработки. Для взаимоотношений Маркса и Энгельса характерны и глубокое, принципиальное единство взглядов, и определенные различия, выражавшиеся в известном разделении труда, которое естественным образом сложилось между ними. Одним словом: не абстрактное тождество, а диалектическое единство — во всей их теоретической деятельности.

К числу специфических заслуг Энгельса, как это очевидно, относится разработка диалектико-материалистического понимания природы. Одной из его главных заслуг была и разработка некоторых сторон диалектики. Эпохой расцвета его теоретической деятельности явился период после Парижской коммуны, в особенности семидесятые годы прошлого века. К этому времени он покончил с «проклятой коммерцией», «собачьей коммерцией», которой на протяжении почти двадцати лет вынужден был заниматься, чтобы спасти Маркса и его семью от нищеты и дать возможность ему продолжать теоретические исследования и политическую борьбу. А после того, как I Интернационал в основном выполнил свою историческую миссию и местопребывание его Генерального Совета, одним из активнейших членов которого он являлся, было перенесено из Европы в Америку, Энгельс обрел наконец хотя и вынужденный историческими обстоятельствами, но столь необходимый для большой научной работы досуг.

30 мая 1873 года настал «звездный час» в жизни Энгельса-теоретика. В этот день у него сложилась концепция его главного труда — «Диалектики природы». Своим замыслом он спешит поделиться с другом. «Сегодня утром в постели, — пишет он Марксу, — мне пришли в голову следующие диалектические мысли по поводу естественных наук...» — и далее излагает основную идею труда, над которым будет работать теперь с перерывами на протяжении десяти лет, пока смерть Маркса не прервет этих исследований и новые неотложные задачи по руководству международным рабочим движением и по завершению и изданию работ Маркса, прежде всего «Капитала», не отодвинут его собственные замыслы на задний план.

¹ «Воспоминания о Марксе и Энгельсе». Госполитиздат. М. 1956, стр. 81.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 93.

Десятилетие 1873—1883 годов — в известном смысле вершина творческой деятельности Энгельса. Именно в этот период выдвигает он ряд гениальных идей, существенно обогативших классическую теорию марксизма. В эти годы он создает два главных своих труда — «Анти-Дюринг», эту подлинную энциклопедию марксизма, и рукопись «Диалектики природы», работа над которой так и не была завершена. Среди новых идей, которые он развивает в это время, выделяется и мысль о возрастающей роли общественного сознания. Быть может, резче всего она выступает в одном из подготовительных фрагментов к «Анти-Дюрингу». Но она была подготовлена всем предшествующим развитием марксизма, работой над «Диалектикой природы» и получила определенное отражение и дальнейшее развитие в тексте самого «Анти-Дюринга» и в последующих работах и письмах Энгельса.

Сам Энгельс неоднократно указывал, что научный коммунизм покоится на двух великих открытиях Маркса — на материалистическом понимании истории и на теории прибавочной стоимости. Можно добавить, что в основе того и другого лежит материалистическая диалектика, выработку которой Энгельс приравнивал по значению к первому открытию Маркса. Материалистическое понимание истории (исторический материализм) было впервые всесторонне, как целостная концепция, разработано совместно Марксом и Энгельсом в середине сороковых годов в рукописи «Немецкой идеологии» (1845—1846). Формулируя центральный тезис этой материалистической концепции, авторы «Немецкой идеологии» писали: «Сознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием... а бытие людей есть реальный процесс их жизни... Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание». Тринадцать лет спустя, давая классическую формулировку сущности материалистического понимания истории в предисловии к своей книге «К критике политической экономии», Маркс писал то же самое: «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание»¹.

Первой исторической проверкой нового мировоззрения явилась европейская революция 1848—1849 годов. Теория блестяще выдержала испытание практикой. Революция подтвердила правильность и вместе с тем показала необходимость дальнейшего развития марксизма. Материалистическая концепция вполне оправдала себя. Но революция дала богатый материал для размышления. Вопреки ожиданиям она не привела к крушению буржуазного общества. Этот кардинальный факт требовал объяснения. Объективно это вело к дальнейшим исследованиям в двух направлениях: к более глубокому изучению экономической основы общества и к учету влияния надстроечных факторов. Маркс возобновляет свои экономические исследования, завершившиеся через много лет созданием «Капитала», и начинает уделять особое внимание таким надстроечным явлениям, как, например, внешняя политика. В этом отношении характерно его признание в одном из писем Энгельсу 1853 года: «Я рад, что случай заставил меня поближе ознакомиться с внешней политикой... Этот момент мы совсем упускали из виду...»

Новые стимулы для доработки материалистической концепции в том же направлении дал опыт Парижской коммуны 1871 года. Он убедительно показал, что без массовой пролетарской партии, основанной на принципах научного коммунизма, успешное осуществление пролетарской революции невозможно. Исторические события свидетельствовали о возрастающей роли субъективного фактора в рабочем движении, о важной роли его в историческом процессе вообще. Парижская коммуна явилась поворотным пунктом в историческом развитии. После нее складывается новая историческая ситуация и вместе с тем начинается новый период в истории марксизма. Через три года Энгельс приступает к работе над «Диалектикой природы».

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 3, стр. 25; т. 13, стр. 7. Далее ссылки на тома Сочинений даются в тексте.

Непосредственной задачей, которую ставил перед собой Энгельс, было философское обобщение крупнейших достижений естествознания, свидетельствовавших о диалектическом характере процессов развития природы, об универсальности законов материалистической диалектики, и на этой основе — дальнейшее развитие диалектического материализма. «Дело шло о том,— говорил Энгельс,— чтобы и на частностях убедиться в той истине, которая в общем не вызывала у меня никаких сомнений, а именно, что в природе сквозь хаос бесчисленных изменений прокладывают себе путь те же диалектические законы движения, которые и в истории господствуют над кажущейся случайностью событий...» (т. 20, стр. 11).

Таким образом, в конечном счете решение этой задачи должно было привести к новому обоснованию всеобщности законов материалистической диалектики. Но сама их всеобщность не вызывала сомнений. Во всяком случае действие их в сфере истории человеческого общества можно было считать доказанным еще раньше — именно Гегелем. Как отмечал Энгельс, Маркс и он «спасли из немецкой идеалистической философии сознательную диалектику и перевели ее в материалистическое понимание природы и истории» (там же, стр. 10). Диалектико-материалистическое понимание истории было выработано основоположниками марксизма прежде, чем Энгельс приступил к детальной разработке диалектико-материалистического понимания природы. Но решая эту последнюю задачу — исследуя диалектику природы — и обосновывая тем самым всеобщность законов материалистической диалектики, Энгельс вместе с тем более резко осознал и выявил диалектический характер исторического развития — диалектику истории. Это нашло свое выражение и в определении диалектики как науки о всеобщих законах развития природы, общества и мышления, и в выделении трех основных законов диалектики и раскрытии их действия в области истории, и в дальнейшем развитии диалектической стороны самого материалистического понимания истории.

Центральная идея «Диалектики природы», намеченная уже в письме 30 мая 1873 года, — классификация форм движения материи и соответственно этому классификация наук, их изучающих. Основные формы, изучаемые естественными науками: механическое, физическое, химическое и биологическое движение. Каждая низшая форма движения переходит посредством диалектического скачка в высшую форму. Биологическая форма движения переходит в социальную, историческую. Наивысшей формой движения является мышление. Эта последняя, собственно говоря, лежит уже вне предмета исследования «Диалектики природы». Но по общему замыслу «Диалектики природы» Энгельс наметил рассмотреть переход от природы к истории человеческого общества, переход к высшей форме движения материи, — переход от диалектики природы к диалектике истории. Этот переход и представляет особый интерес с точки зрения материалистического понимания истории. Здесь можно выделить ряд тем-аспектов: мышление как высшая форма движения материи, роль труда в процессе становления человека, отличие человека от животных, законов истории от законов природы. Все эти темы впервые или по-новому ставятся в «Диалектике природы». Исследуя их, Энгельс поднимает и вопрос о возрастающей роли сознания в жизни общества.

Переход от истории природы к истории общества образует процесс превращения животного в человека, решающую роль при этом играет труд. Труд создал человека, труд отличает человека от животного и играет решающую роль в жизни человеческого общества, а сам труд начинается с изготовления орудий. Но, развивая дальше идеи, высказанные уже в «Экономическо-философских рукописях» Маркса 1844 года, в «Немецкой идеологии» и в «Капитале», Энгельс констатирует, что наряду с трудом (производством) и на его основе одним из главных отличий человека является также сознание, мышление, и это отличие со временем, в ходе исторического развития, нарастает. Общество людей становится все более человеческим. Исходя из этого, в будущем Энгельс предвидит существен-

ное изменение роли сознания. Здесь мысль его развивает концепцию Маркса о подлинно человеческом обществе будущего, высказанную в «Тезисах о Фейербахе» и в предисловии к «К критике политической экономии».

«Вместе с человеком, — говорит Энгельс во «Введении» к «Диалектике природы», — мы вступаем в область истории». Чем больше люди удаляются от животных, «тем в большей мере они делают свою историю сами, сознательно, и тем меньше становится влияние на эту историю непредвиденных последствий, неконтролируемых сил, и тем точнее соответствует исторический результат установленной заранее цели». И все-таки до сих пор «продолжают преобладать непредвиденные последствия... неконтролируемые силы гораздо могущественнее, чем силы, приводимые в движение планомерно. И это не может быть иначе до тех пор, пока самая существенная историческая деятельность людей, та деятельность, которая подняла их от животного состояния до человеческого, которая образует материальную основу всех прочих видов их деятельности, — производство, направленное на удовлетворение жизненных потребностей людей, т. е. в наше время общественное производство, — особенно подчинена слепой игре не входивших в их намерения воздействий неконтролируемых сил и пока желаемая цель осуществляется здесь лишь в виде исключения, гораздо же чаще осуществляются прямо противоположные ей результаты... Лишь сознательная организация общественного производства с планомерным производством и планомерным распределением может поднять людей над прочими животными в общественном отношении точно так же, как их в специфически биологическом отношении подняло производство вообще. Историческое развитие делает такую организацию с каждым днем все более необходимой и с каждым днем все более возможной. От нее начнет свое летоисчисление новая историческая эпоха, в которой сами люди, а вместе с ними все отрасли их деятельности, и в частности естествознание, сделают такие успехи, что это совершенно затмит все сделанное до сих пор» (там же, стр. 358—359).

Эта концепция, изложенная в 1875 году во «Введении», через несколько месяцев, летом 1876 года, получила дальнейшее развитие в работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» (см. там же, стр. 494—497). Здесь любопытно, в частности, как Энгельс объясняет возникновение идеализма. Проследившая развитие труда, он говорит также о появлении искусства и науки, о возрастании роли умственного труда. Продукты головы стали казаться чем-то господствующим над человеческим обществом. «Всю заслугу быстрого развития цивилизации стали приписывать голове, развитию и деятельности мозга. Люди привыкли объяснять свои действия из своего мышления, вместо того чтобы объяснять их из своих потребностей (которые при этом, конечно, отражаются в голове, осознаются), и этим путем с течением времени возникло... идеалистическое мировоззрение...» (там же, стр. 493).

Таким образом, возникновение идеализма Энгельс объясняет как результат преувеличения, гиперболизации, абсолютизации роли сознания, умственного труда, духовного производства — того, что составляет одно из главных отличий человека от животного. Но это отличие со временем усиливается, роль сознания в жизни общества возрастает. С переходом к подлинно человеческому, коммунистическому обществу в этом отношении неизбежно должен будет произойти существенный, качественный скачок. Как изменится при этом роль сознания, соотношение общественного бытия и общественного сознания? К такому вопросу неизбежно подводит логика всех рассуждений Энгельса на эту тему. Ответ на него он сам наметит, быть может, всего несколько недель спустя в подготовительных материалах к «Анти-Дюрингу».

В одном из фрагментов-набросков к будущей книге последовательнейший материалист Энгельс формулирует на первый взгляд совершенно необычную мысль: «Взгляд, согласно которому будто бы идеями и представлениями людей созданы условия их жизни, а не наоборот, опровер-

гается всей предшествующей историей, в которой до сих пор результаты всегда оказывались иными, чем те, каких желали, а в дальнейшем ходе в большинстве случаев даже противоположными тому, чего желали. Этот взгляд лишь в более или менее отдаленном будущем может стать соответствующим действительности, поскольку люди будут заранее знать необходимость изменения общественного строя (*sit venia verbo*¹), вызванную изменением отношений, и пожелают этого изменения, прежде чем оно будет навязано им помимо их сознания и воли» (там же, стр. 639).

Но ведь «взгляд, согласно которому будто бы идеями и представлениями людей созданы условия их жизни», — это идеалистический взгляд, взгляд, который сводится к положению: сознание определяет бытие, это идеализм в применении к человеческому обществу, идеалистическое понимание общества и его истории. А Энгельс говорит, что «этот взгляд... может стать соответствующим действительности!» Значит, соотношение между бытием и сознанием может измениться? По смыслу того, что говорит Энгельс, в известной мере, в определенном смысле, да. В каком же именно? Разумеется, не в том, что сознание и только сознание станет определять бытие. Энгельс был и остается материалистом. Бытие определяло и будет определять сознание. Что же тогда изменится и изменится ли вообще что-либо в их соотношении?

Обратите внимание на аргумент, который Энгельс выдвигает против идеализма: он говорит, что идеалистический взгляд «о про вер га е т с я в с е й п р е д ш е с т в у ю щ е й и с т о р и е й». Энгельс очень конкретен. Он аргументирует ссылок на имеющийся исторический опыт. Материалистическое понимание истории выступает как обобщение исторической практики. Ну, а если в будущем эта практика как-то изменится? Значит, адекватным образом должно будет измениться и ее теоретическое обобщение. Но есть ли основания для того, чтобы предположить какое-то изменение? Да, есть. И об этом свидетельствует та же история.

При анализе «Диалектики природы» мы уже видели, что Энгельс констатировал там возрастающую роль сознания в истории человеческого общества и предвидел качественное изменение его роли в жизни общества в результате его коммунистического преобразования. Таким образом, предпосылки для вывода, сделанного во второй половине 1876 года, были заложены уже перед этим в «Диалектике природы». Если же иметь в виду предпосылки более отдаленные, то они восходят по крайней мере к «Немецкой идеологии», где Маркс и Энгельс критикуют созерцательный и метафизический материализм Фейербаха по вопросу о взаимоотношении человека и природы. Эта критика в конечном счете сводится к новому, диалектическому пониманию соотношения бытия и сознания, их взаимодействия, к новому пониманию самого бытия («бытие людей есть реальный процесс их жизни»), к пониманию решающей роли материальной практики, материального производства в жизни человеческого общества.

Последовательно, подлинно материалистическое понимание истории в то же время необходимо должно быть, не может не быть и диалектическим пониманием истории. А это диалектическое понимание в применении к основному вопросу — о соотношении общественного бытия и общественного сознания — требует, во-первых, учитывать взаимодействие того и другого и, во-вторых, учитывать развитие этого взаимодействия. Этому последнему требованию и удовлетворяет новое положение, сформулированное Энгельсом в подготовительных материалах к «Анти-Дюрингу». Оно есть логическое следствие материализма диалектического, одно из ярко выраженных отличий марксистской концепции от всей прежней философии, в том числе и от домарксистского, созерцательного, метафизического материализма.

¹ Да будет позволено сказать так (лат.).

В отличие от материализма метафизического марксизм не ограничивается утверждением, что бытие определяет сознание. Между тем и другим существует взаимодействие, первичной и определяющей стороной которого является и остается материальное бытие. Но характер самого этого взаимодействия есть явление историческое и по мере развития исторического процесса изменяется — изменяется в соответствии со всеми законами диалектики.

В тексте самого «Анти-Дюринга» идея, высказанная в ходе его подготовки, получила определенное отражение и развитие. Здесь она связывается с вопросом о свободе и необходимости. С точки зрения диалектического материализма, Энгельс развивает тезис: свобода есть познанная необходимость. А описывая коммунистическое преобразование общества, он говорит: «Только с этого момента люди начнут вполне сознательно сами творить свою историю... Это есть скачок человечества из царства необходимости в царство свободы» (там же, стр. 295).

«Это есть скачок человечества из царства необходимости в царство свободы». Значит, из царства слепой необходимости в царство познанной необходимости. Значит, переход от стихийности к сознательности, от подчинения слепым законам природы к господству над ними, переход к подлинно человеческому обществу (ведь сознание тоже является существенным отличием человека от животного).

Свобода есть познанная необходимость. Значит, свобода не устраняет необходимости, а как бы возвышается над ней подобно надстройке над базисом.

Когда Энгельс писал в «Анти-Дюринге» о свободе и необходимости, он, очевидно, не знал, что десятилетием раньше в рукописи третьего тома «Капитала» Маркс развивал по существу ту же самую концепцию: «Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства». Материальное производство — это царство естественной необходимости. «Свобода в этой области может заключаться лишь в том, что коллективный человек, ассоциированные производители рационально регулируют этот свой обмен веществ с природой, ставят его под свой общий контроль, вместо того чтобы он господствовал над ними как слепая сила... Но тем не менее это все же остается царством необходимости. По ту сторону его начинается развитие человеческих сил, которое является самоцелью, истинное царство свободы, которое, однако, может расцвести лишь на этом царстве необходимости, как на своем базисе» (т. 25, ч. II, стр. 386—387).

При переходе к подлинно человеческому, коммунистическому обществу соотношение между общественным сознанием и общественным бытием подобно соотношению между свободой и необходимостью именно потому, что свобода есть познанная необходимость, как сознание есть осознанное бытие. Сознание в определенном — указанном Энгельсом — смысле станет определять бытие. Это не значит, что бытие перестанет определять сознание. Его в конечном счете решающая роль сохранится. (Свобода может расцвести лишь на базисе необходимости.) Их взаимодействие на основе определяющей роли бытия сохранится. Изменится лишь его характер. Но изменится существенным образом.

Вывод о возрастающей роли общественного сознания не был ни случайным, ни обособленным. Он строго следовал из самых основ, из фундаментальных принципов диалектико-материалистического понимания истории и органически связан с рядом других положений марксистской теории. Логической предпосылкой его была мысль об активной роли человека, его деятельности и его сознания, в историческом процессе. Еще молодой Энгельс, полемизируя в «Святом семействе» против гегельянцев, писал: «История не есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как средством для достижения своих целей. История — не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека» (т. 2, стр. 102). Тот же смысл имели неоднократно критические замечания Маркса в адрес «так называемой объективной историографии», главным представителем

которой был реакционный немецкий историк Леопольд Ранке. По поводу этого апологетического направления Маркс на полях рукописи «Немецкой идеологии» записывает: «Так называемая объективная историография заключалась именно в том, чтобы рассматривать исторические отношения в отрыве от деятельности. Реакционный характер» (т. 3, стр. 39).

Такой созерцательно-апологетической концепции Маркс и Энгельс противопоставляют тезис: «Люди сами делают свою историю». Но они делают ее не так, как им вздумается: их деятельность обусловлена объективными материальными факторами. В этом пункте материалистическое понимание истории диаметрально противоположно всем разновидностям идеализма.

«Люди сами делают свою историю» — этот тезис проходит через многие произведения Маркса и Энгельса («Святое семейство», «Немецкая идеология», «Восемнадцатое брюмера», «Диалектика природы», «Анти-Дюринг», «Людвиг Фейербах», письма девяностых годов) и привлекает особое внимание Энгельса в последний период его жизни. Он эквивалентен положениям об активной роли человека в историческом процессе, об относительной самостоятельности общественного сознания, о его обратном воздействии на общественное бытие, о качественном отличии законов развития общества от законов природы. Энгельс отождествляет его с тем, что люди действуют в большей или меньшей мере сознательно.

Когда в последние годы его жизни некоторые вульгаризаторы из среды социал-демократов попытались опознать марксизм, свести исторический материализм к «экономическому материализму», диалектико-материалистическое понимание истории к метафизико-материалистическому, — Энгельс резко выступил против этого. Именно в эти годы он настойчиво повторял: марксизм — не догма, а руководство к действию, материалистическое понимание истории — не доктрина, а метод познания. Он высмеивал повторяемое вульгаризаторами «абсурдное утверждение метафизика Дюринга, будто у Маркса история делается совершенно автоматически, без всякого участия (делающих ее, однако) людей и будто экономические отношения (которые, однако, сами создаются людьми!) играют этими людьми словно простыми шахматными фигурами» (т. 22, стр. 89).

«Люди сами делают свою историю», и все-таки до сих пор общество развивалось стихийно. Хотя это не означает, конечно, что между развитием природы и развитием общества нет никакого различия. «История развития общества, — писал Энгельс в 1886 году, — в одном пункте существенно отличается от истории развития природы. В природе... действуют одна на другую лишь слепые, бессознательные силы... Здесь нигде нет сознательной, желаемой цели... Наоборот, в истории общества действуют люди, одаренные сознанием... Здесь ничто не делается без сознательного намерения, без желаемой цели» (т. 21, стр. 305—306).

Через несколько лет, поясняя ту же мысль, он говорил: «Мы делаем нашу историю сами, но, во-первых, мы делаем ее при весьма определенных предпосылках и условиях. Среди них экономические являются в конечном счете решающими... Во-вторых, история делается таким образом, что конечный результат всегда получается от столкновений множества отдельных волей... Этот результат можно опять-таки рассматривать как продукт одной силы, действующей как целое, бессознательно и безвольно. Ведь то, чего хочет один, встречает противодействие со стороны всякого другого, и в конечном результате появляется нечто такое, чего никто не хотел» (т. 37, стр. 395—396).

И все-таки человеческое общество даже на стадии его стихийного развития Энгельс не отождествляет с остальной природой. В этом еще в целом стихийно развивающемся обществе уже есть элементы сознательного развития, они еще не преобладают, но постепенно нарастают. Поэтому известный тезис о естественно-историческом характере законов развития человеческого общества на протяжении всей его предшествующей истории не может означать отрицания специфического отличия его от общества животных, отличия, возникающего уже с момента выделения человека из животного мира.

Таким образом, Энгельс констатирует активную и притом возрастающую роль сознания в историческом процессе. Но действительно ли он предвидит качественное изменение роли сознания в будущем? Не является ли случайной (или преувеличением) мысль, высказанная в 1876 году в приведенном фрагменте из подготовительных материалов к «Анти-Дюрингу»? Разумеется, нет. И об этом свидетельствуют не только смежные по времени места в «Диалектике природы» и самом «Анти-Дюринге». Уж слишком закономерно укладывается она в контекст всей марксистской теории.

Действительно, и в самом этом фрагменте, и в последующих высказываниях мы постоянно встречаем оговорку, что «во всей предшествующей истории», «до сих пор» развитие общества происходило стихийно: «История, как она шла до сих пор, протекает подобно природному процессу». «Люди сами делают свою историю, но до сих пор они делали ее, не руководствуясь общей волей, по единому общему плану». «С точки зрения Маркса, весь ход истории — имеются в виду значительные события — совершался до сих пор бессознательно...» (т. 37, стр. 396; т. 39, стр. 175, 352; подчеркнуто мной; последнее высказывание взято из письма Зомбарту, впервые опубликованного в 1961 году).

Смысл такой постоянной оговорки ясен: до сих пор, но не в будущем, коммунистическом обществе, когда прежнее стихийное развитие общества превратится в сознательно направляемый процесс. О сознательном и планомерном развитии будущего, коммунистического общества основоположники марксизма говорили всегда. Правда, и их предшественники-утописты тоже высказывали аналогичную идею, говорили о разумном характере будущего общества. Но это как раз тот случай, о котором, перефразируя известные слова Теренция, можно сказать: когда двое говорят одно и то же, это еще не одно и то же. Утописты исходили из идеалистического понимания истории. Тогда как Маркс и Энгельс, опираясь уже на исторический материализм, диалектически предвидят закономерное изменение роли сознания в коммунистически организованном обществе.

Еще раз Энгельс касается этого изменения в одном из писем 1893 года: «Природе потребовались миллионы лет для того, чтобы породить существа, одаренные сознанием, а теперь этим сознательным существам требуются тысячелетия, чтобы организовать совместную деятельность сознательно: сознавая не только свои поступки как индивидов, но и свои действия как массы, действуя совместно и добиваясь сообща заранее поставленной общей цели. Теперь мы уже почти достигли такого состояния» (т. 39, стр. 55—56). Энгельс очень четко формулирует здесь качественно новый момент в общественном сознании коммунистического общества: сознательный характер действий не только индивидов, но всего общества в целом.

Одной из главных теоретических предпосылок вывода о качественном изменении роли сознания с развитием общества был глубоко диалектический подход к историческим явлениям. Такой подход был в высшей степени присущ Энгельсу. Это чрезвычайно ярко проявилось в другом его открытии, на исходе того творческого десятилетия, которое началось замыслом «Диалектики природы». Как бы применяя диалектику к самому материалистическому пониманию истории, он пришел к мысли о развитии определяющего фактора исторического процесса, о становлении, историческом развитии определяющей роли материального производства. Эту мысль он впервые высказывает в письме к Марксу 8 декабря 1882 года: на ранних ступенях развития человеческого общества «способ производства играет не столь решающую роль», как родовые связи (т. 35, стр. 103). А немного раньше, в сентябре того же года, Энгельс впервые вносит уточнение в классическую формулу «Манифеста Коммунистической партии» и «Анти-Дюринга»: «Вся прежняя история была историей борьбы классов». Теперь он исторически ограничивает, конкретизирует данный тезис, добавляя: «за исключением первобытного состояния».

Через год после смерти Маркса, как бы исполняя его завещание, в марте—

мае 1884 года Энгельс создает одно из лучших своих произведений — книгу «Происхождение семьи, частной собственности и государства». В ней он развивает мысль об историческом характере определяющей роли способа производства. В предисловии к книге, говоря о соотношении двух видов производства — производства средств к жизни и производства самих людей, — он формулирует то положение, что в ходе исторического развития их соотношение изменяется и это приводит к качественным изменениям структуры человеческого общества. По существу Энгельс применяет здесь принцип историзма к основной концепции материалистической теории истории. Используя новые достижения науки (в первую очередь исследования Моргана), Энгельс фактически развивает одну из концепций (о видах производства), которую они с Марксом разрабатывали еще в «Немецкой идеологии». Вместе с тем, как показывал В. И. Ленин еще в полемике с Михайловским, Энгельс целиком и полностью остается на позициях материализма (напомним также, что, по словам Ленина, в книге Энгельса можно отнестись с доверием к каждой фразе). Более того: можно сказать, что Энгельс здесь обобщает и в то же время конкретизирует материалистическое понимание истории.

Вот это важнейшее место. «Согласно материалистическому пониманию, — пишет Энгельс, — определяющим моментом в истории является в конечном счете производство и воспроизводство непосредственной жизни. Но само оно, опять-таки, бывает двоякого рода. С одной стороны — производство средств к жизни: предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с другой — производство самого человека, продолжение рода. Общественные порядки, при которых живут люди определенной исторической эпохи и определенной страны, обуславливаются обоими видами производства: степенью развития, с одной стороны — труда, с другой — семьи. Чем меньше развит труд, чем более ограничено количество его продуктов, а следовательно, и богатство общества, тем сильнее проявляется зависимость общественного строя от родовых связей». С развитием производительности труда общество, структура которого основана на родовых отношениях, сменяется обществом, в котором полностью господствуют отношения собственности и в котором «развертываются классовые противоречия и классовая борьба, составляющие содержание всей писаной истории вплоть до нашего времени» (т. 21, стр. 25—26). Так мысль, возникшая в конце 1882 года, достигает теперь своего полного развития.

Как видим, остро развитое чувство историзма сказывается и в подходе Энгельса к анализу определяющего фактора человеческого общества, и при определении им роли классовой борьбы. Тот же историзм характерен и для его воззрений на роль сознания в жизни общества. Но по существу тот же диалектический принцип историзма лежит и в основе знаменитого вывода Маркса о превращении науки в непосредственную производительную силу. Маркс сделал его в своей генеральной рукописи 1857—1858 годов — «Критика политической экономии». — той самой, в которой он пришел к своему второму великому открытию (теория прибавочной стоимости) и которая представляет собой первоначальный вариант «Капитала».

Маркс здесь установил, что по мере развития крупной промышленности складываются определенные материальные предпосылки коммунистической организации производства и всего общества. «Созидание действительного богатства становится менее зависимым от рабочего времени и от количества затраченного труда, чем от мощи тех агентов, которые... зависят, скорее, от общего уровня науки и от прогресса техники, или от применения этой науки к производству... Труд выступает уже не столько как включенный в процесс производства, сколько как такой труд, при котором человек, наоборот, относится к самому процессу производства как его контролер и регулировщик... Вместо того, чтобы быть главным агентом процесса производства, рабочий становится рядом с ним... Как только труд в его непосредственной форме перестал быть великим источником богатства, рабочее время перестает и должно перестать быть мерой богатства». При комму-

низме «мерой богатства будет отнюдь уже не рабочее время, а свободное время». Все это — материальные условия, которые порождаются развитием крупной промышленности и которые взрывают основу буржуазного общества — капиталистическую частную собственность. Маркс подчеркивает, что современные средства производства — это «созданные человеческой рукой органы человеческого мозга, овеществленная сила знания». Их развитие является показателем того, насколько наука превратилась «в непосредственную производительную силу, и отсюда — показателем того, до какой степени условия самого общественного жизненного процесса подчинены контролю всеобщего интеллекта и преобразованы в соответствии с ним». При коммунизме процесс производства уже вполне превратится в «экспериментальную науку, материально творческую и предметно воплощающуюся науку» (т. 46, ч. II, стр. 213—215, 217, 221).

Формула Маркса о превращении науки в непосредственную производительную силу — не метафора, а научное описание реального процесса, который начался задолго до Маркса и принял столь бурный характер в наше время. Нетрудно понять, что этот процесс, являющийся одним из главных аспектов возрастания роли общественного сознания, ведет к глубокой перестройке всей структуры человеческого общества. Ведь не секрет, что именно производительные силы определяют производственные и в конечном счете все общественные отношения между людьми.

Безграничное и все ускоряющееся развитие науки в будущем, особенно в условиях коммунистического общества, Энгельс предвидел уже в своей ранней работе, в гениальных, по определению Маркса, «Набросках к критике политической экономии», опубликованных в Париже весной 1844 года на страницах «Немецко-французского ежегодника». Прогресс науки, говорит Энгельс, бесконечен. И формулирует важную закономерность: «Наука движется вперед пропорционально массе знаний, унаследованных ею от предшествующего поколения». Отсюда следует, что ее движение должно постоянно ускоряться и в будущем она будет играть огромную роль. «Работа в области науки, — подчеркивает Энгельс, — окупается также и материально». Да еще как окупается! «Только один такой плод науки, как паровая машина Джемса Уатта, принес миру за первые пятьдесят лет своего существования больше, чем мир с самого начала затратил на развитие науки». «При разумном строе... — предвидит Энгельс, — духовный элемент, конечно, будет принадлежать к числу элементов производства...» (т. 1, стр. 568, 554—555).

Отмечая в «Диалектике природы» то же явление ускорения, Энгельс писал, что с эпохи Возрождения «развитие науки пошло гигантскими шагами, ускоряясь, так сказать, пропорционально квадрату удаления во времени от своего исходного пункта, как бы желая показать миру, что по отношению к движению высшего цвета органической материи, человеческому духу, имеет силу закон, обратный закону движения неорганической материи» (т. 20, стр. 509). Мы уже видели, как во «Введении» к «Диалектике природы» Энгельс предсказывал такие успехи естествознания «в новую историческую эпоху», то есть при коммунизме, «что это совершенно затмит все сделанное до сих пор». Ту же мысль мы встречаем и в «Анти-Дюринге»: «Будущие исторические периоды... обещают небывалый научный, технический и общественный прогресс» (там же, стр. 359, 118).

Из понимания возрастающей роли науки вытекало важное следствие для теории пролетарской революции — необходимость использовать специалистов. Разработка данного вопроса — прямая заслуга Энгельса. К постановке его он пришел еще в 1851 году, размышляя над опытом прошедшей революции и пытаясь предвидеть вероятные трудности, с которыми может столкнуться революционное преобразование общества, пролетарская революция. С тех пор он неоднократно возвращался к тому же вопросу. В последний раз он затронул его в своем обраще-

нии к международному конгрессу студентов-социалистов, и оно воспринимается как завещание. «Пусть ваши усилия, — писал он 19 декабря 1893 года, — приведут к развитию среди студентов сознания того, что именно из их рядов должен выйти тот пролетариат умственного труда, который призван плечом к плечу и в одних рядах со своими братьями рабочими, занятыми физическим трудом, сыграть значительную роль в надвигающейся революции». И затем следует очень важное указание на одно из существенных отличий пролетарской революции от буржуазных, из чего сразу же становится ясно, почему, собственно, необходимо будет решить проблему специалистов: «Буржуазным революциям прошлого от университетов требовались только адвокаты, как лучшее сырье, из которого формировались их политические деятели; для освобождения рабочего класса понадобятся, кроме того, врачи, инженеры, химики, агрономы и другие специалисты, ибо дело идет о том, чтобы овладеть управлением не только политической машиной, но и всем общественным производством, а тут уж нужны будут отнюдь не звонкие фразы, а солидные знания» (т. 22, стр. 432).

Значит, дело опять-таки сводится к тому, что на место стихийного развития общества идет сознательное, планомерное, и уже всему обществу в целом, а не отдельным, обособленным производителям понадобятся самые различные специалисты, чтобы организовать все отрасли человеческой деятельности, осуществить экономическую централизацию и сознательное управление развитием всего человеческого общества.

Из глубокого понимания диалектики прошлого исторического развития вытекает предвидение диалектического развития будущего, коммунистического общества. Это касается не только роли сознания. Заслугой Энгельса является разработка многих аспектов этой диалектики будущего. Сюда относятся: понимание того, что будущее, коммунистическое общество не есть нечто раз навсегда данное, что оно будет постоянно изменяться и развиваться; принципиальный отказ от каких-либо раз навсегда данных, готовых решений относительно будущего; отказ от бесплодных попыток предвидеть детали этого будущего общества; осознание глубокого отличия будущего, коммунистического общества, его «непохожести» на существующее, буржуазное и т. д. Вот некоторые типичные высказывания на этот счет, относящиеся к последним годам Энгельса (некоторые из них стали известны сравнительно недавно):

— Партия, к которой я принадлежу, не выдвигает никаких раз навсегда готовых предложений. Наши взгляды на черты, отличающие будущее, некапиталистическое общество от общества современного, являются точными выводами из исторических фактов и процессов развития и вне связи с этими фактами и процессами не имеют никакой теоретической и практической ценности (1886).

— Так называемое «социалистическое общество» не является, по моему мнению, какой-то раз навсегда данной вещью, а как и всякий другой общественный строй его следует рассматривать как подверженное постоянным изменениям и преобразованиям (1890).

— Переходные этапы к коммунистическому обществу... это самый трудный вопрос из всех, какие только существуют, так как условия непрерывно меняются (1891).

— У нас нет конечной цели. Мы сторонники постоянного, непрерывного развития, и мы не намерены диктовать человечеству какие-то окончательные законы. Заранее готовые мнения относительно деталей организации будущего общества? Вы и намек на них не найдете у нас. Мы будем уже удовлетворены, когда нам удастся передать средства производства в руки всего общества (1893) (т. 36, стр. 363—364; т. 37, стр. 380; т. 38, стр. 108; т. 22, стр. 563).

Если же говорить о конечной цели коммунистического преобразования обще-

ства, то эта цель — свободное развитие каждого человека и всего общества (см. т. 39, стр. 166).

Мысли Энгельса о развитии будущего общества смыкаются с учением Маркса о фазах перехода к полному коммунизму.

Энгельс специально исследовал действие основных диалектических законов в истории человеческого общества. Экстраполируя их действие на будущее, он приходит к ряду специфически диалектических прогнозов относительно коммунистического общества. Так, ярким примером снятия противоположности является его вывод об устранении противоположности социального равенства и неравенства: «Через несколько поколений общественного развития при коммунистическом строе и при умножившихся ресурсах люди должны будут прийти до того, что кичливые требования равенства и права будут казаться столь же смешными, как смешно, когда теперь кичатся дворянскими и тому подобными наследственными привилегиями. Противоположность как по отношению к старому неравенству и к старому положительному праву, так и по отношению к новому, переходному праву исчезнет из практической жизни; тому, кто будет настаивать, чтобы ему с педантической точностью была выдана причитающаяся ему равная и справедливая доля продуктов, — тому в насмешку выдадут двойную порцию!» (т. 20, стр. 637).

В контексте всех этих диалектических представлений о будущем мысль о существенном изменении роли сознания, в результате коммунистического преобразования общества, выступает как совершенно закономерная. Так из диалектики природы вырастает диалектика истории, которая переходит в диалектику будущего.

В 1914 году, конспектируя «Науку логики» Гегеля, читая ее материалистически, В. И. Ленин формулирует в своих «Философских тетрадах» положение, на первый взгляд столь же непривычное, как и формула Энгельса в подготовительных материалах к «Анти-Дюрингу». Ленин записывает: «Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его». Но это непривычно лишь с точки зрения материализма метафизического и созерцательного. Ниже Ленин поясняет: «Мир не удовлетворяет человека, и человек своим действием решает изменить его»¹.

За семь десятилетий до этого в тезисах Маркса о Фейербахе, которые Энгельс назвал «первым документом, содержащим в себе гениальный зародыш нового мировоззрения», был сформулирован по существу тот же исходный принцип нового — диалектического и практического — материализма: «Философы лишь различным образом обьясняют мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Этот фундаментальный принцип в конечном счете и развивает гениальная мысль Энгельса о возрастающей роли общественного сознания.

И еще одно сопоставление. Известно классическое положение марксизма: экономика определяет политику. А в статье «Еще раз о профсоюзах», выявляя диалектическое содержание данного положения, Ленин писал: «Политика есть концентрированное выражение экономики... Политика не может не иметь первенства над экономикой. Рассуждать иначе, значит забывать азбуку марксизма»². В аналогичном случае Энгельс говорил: «К чему же мы тогда боремся за политическую диктатуру пролетариата, если политическая власть экономически бессильна?» (т. 37, стр. 420).

Наблюдая развитие элементов будущего в недрах современного ему общества, Энгельс предвидел последствия, к которым эти тенденции ведут. По мере дальнейшего развития буржуазного общества такие тенденции продолжали усиливаться и углубляться. После первой победоносной пролетарской революции процесс становления нового общества начался реально. Целый ряд тенденций, характерных

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 194--195.

² Там же, т. 42, стр. 278.

для эпохи перехода человеческого общества от капитализма к коммунизму, от стихийности к сознательности, развернулся в полную меру уже после Энгельса. Они наглядно демонстрируют всю гениальность марксистского прогноза. Возрастание удельного веса духовного производства, умственного труда в совокупном общественном производстве по мере развития его от простой механизации к современной автоматизации и кибернетизации, превращение науки не только в основу производства, но и в основу управления всем обществом, возрастающая роль коммунистической партии и коммунистической идеологии в развитии общества — все это реальные воплощения возрастающей роли общественного сознания, совершающегося перехода его на качественно новый уровень развития.



ГАЛИНА СЕРЕБРЯКОВА

★

ТИТАН

Более тридцати лет мысли мои были прикованы к эпохе, в которую жили и творили Маркс и Энгельс. Все, что относилось к ним, их близким, соратникам, стало как бы частью и моей жизни. Это было для меня счастливое время. Приобщение к людям столь совершенным, как Энгельс, наполняет жизнь новым, большим смыслом.

Мне довелось встретить нескольких людей, которые были с ним лично знакомы. Один из них — русский бунтарь, способный журналист Русанов, чьи многократно изданные воспоминания воскрешают несколько часов, проведенных автором в обществе Энгельса в последнюю пору его жизни. Нервный, немолодой, низкорослый и сухощавый, с тревожным и умным взглядом — Русанов, каким я увидела его в двадцатых годах в Париже, отчетливо запомнился мне. Он многое повидал и пережил, но, словно великий дар судьбы, словно самое дорогое, что довелось ему увидеть за его век, нес он яркое воспоминание об Энгельсе, о его блистательном уме и человеческом обаянии.

А рассказ старого рабочего, которого я отыскала в Манчестере, запомнился не только услышанным, но особенно тем подобием электрического тока, пронизавшего нас, едва речь зашла об Энгельсе, — так сильно было воздействие на окружающих этого исполина.

Мы сидели в маленьком ресторанчике у бурого Манчестерского канала. Совсем недалеко отсюда некогда находилась текстильная фабрика Эрмена и Энгельса, где конторщиком много лет работал Фридрих.

Я настойчиво выпрашивала старого пролетария о его прошлом. Он слышал Энгельса, видел его. Собеседник, к сожалению, оказался немногословным. Однако время не стерло общего впечатления.

— Энгельс был совершеннейший из людей, — сказал старик.

З. Венгерова, известная переводчица, жена поэта Н. Минского, с которой я часто виделась в начале тридцатых годов в Лондоне, близко знавшая дочь Маркса Элеонору, хорошо помнила и Фридриха Энгельса. Я слушала ее, и передо мной вставала фигура человека во всех отношениях необыкновенного. Ее рассказ позволил мне впервые ощутить, какой многогранной и в то же время гармоничной личностью был Энгельс. Венгерова видела его на первомайском празднике в Лондоне. Ему было тогда за семьдесят, но его походка, уверенная жестикация, его способность мгновенно оживляться вовсе не вязались с почтенным возрастом.

— Как и Маркс, Энгельс до конца своих дней был полон творческих неизрасходованных сил, — заметила Венгерова, ссылаясь не только на свои впечатления, но и на слова Элеоноры Маркс-Эвелинг, от которой не раз слышала об этом.

Сильное впечатление произвел на меня рассказ об Энгельсе, услышанный от Клары Цеткин. Она говорила о нем так, будто он не умирал. Велика была духовная общность Энгельса и его ученицы.

На балконе железнодорожного санатория в 1925 году Цеткин, собрав вокруг себя отдыхающих, в числе которых бывали обычно Н. К. Крупская и М. И. Ульянова, по-немецки рассказывала о неповторимом прошлом. Кто-либо переводил нам ее слова. Она мастерски воспроизводила образы первых коммунистов земли. Фридриха Энгельса, как и Ленина, Цеткин описывала с особенным, почтительным чувством. III Международный социалистический конгресс в Цюрихе, где Красная Клара впервые увидела Энгельса, рукоплескавшего ее речи, стал для нее тем счастливым рубежом, о котором никогда не забывает человек.

Эти рассказы дополнили важными штрихами письменные и печатные свидетельства о жизни великого мыслителя и революционера. Так сложился у меня образ Фридриха Энгельса, который потом я попыталась воссоздать в книгах.

* * *

Северный ноябрьский ветер сорвал последние листья в садах и парках двух городов-близнецов — Бармена и Эльберфельда, расположенных друг подле друга, когда маленький Фридрих увидел впервые свет неба и материнских глаз. Он родился в Брухе, округе Бармена. Там среди мощных деревьев стоял добротный трехэтажный дом с многочисленными пристройками, сараями, конюшнями — словом, со всем тем, чем и должен быть окружен дом преуспевающего фабриканта.

И младенцу, появившемуся на свет в таком доме, заранее была предназначена прямая и ясная дорога жизни. Он должен был стать таким же, как отец, безупречным представителем быстро набирающего силы класса — буржуазии, преданным церкви, прусской короне, купеческой гильдии.

И в первые годы его жизни как будто все складывается так, как представлялось отцу. Малыш рос здоровым, розовощеким, русоголовым. Он был неустрашимым и, казалось, жаждал помериться силой с жизнью. Он отличался той неумейной, естественной живостью, которая предвещает долголетие и удачу.

В гимназии в Эльберфельде, куда Фридрих был отдан четырнадцати лет, он удивлял учителей необыкновенными способностями. Все давалось ему на редкость легко — науки, слагание стихов, рисование. Он был прекрасным спортсменом — отменно фехтовал, ездил верхом, плавал.

Казалось бы, Энгельсу-старшему оставалось только радоваться успехам сына и поощрять его. Но за год до выпускных экзаменов отец заставляет Фридриха покинуть школу. Это решение не было случайным. У барменского фабриканта была своя логика.

Конечно же, он любил Фридриха, радовался его появлению на свет. После крестин устроил семейный пир и, выражая нахлынувшие на него отцовские чувства, даже самолично играл на виолончели, а затем на фаготе торжественные мелодии. Но это была радость не просто отца, а отца-фабриканта. И сын для него был не просто сыном, а наследником, который должен после его смерти взять в руки дело.

А Фридрих год за годом сбивался с намеченного пути. Он был весь поглощен жаждой знания, исканием ответов на трудные и начиненные порохом вопросы. Подражая Диогену, бродил он среди дня по огромному дому с фонарем в руке в поисках Человека и не находил его. Задыхаясь от нудных поучений и гнета традиций, он прятался у своего дряхлого деда — играл на клавесине или читал пожелтевшие книги.

Все эти увлечения Фридриха были понятны его матери. Элиза Энгельс, как и ее сын, любила поэзию и музыку. Ей, одаренной от природы впечатлительной и яркой натурой, были близки искания сына, его неудовлетворенность. Она видела, что в этом проявляется духовная недюжинность ее первенца, и гордилась им.

Отец же относился к Фридриху по-другому. Иные его увлечения казались ему явно излишними, интересы слишком широкими, а его пылкость просто опасной. Такого ребенка нелегко обуздать и подчинить себе. Он постоянно пытался

вносить в складывающийся характер необходимые коррективы, но это плохо удавалось.

И вот за год до выпускных экзаменов Энгельс-старший решает, что Фридриху не стоит продолжать образование, ибо потом будет уже поздно возвращать его на путь истинный. По его мнению, настало время входить сыну в свою будущую роль — хозяина, коммерсанта.

Тридцать пять лет Энгельс был обречен заниматься ненавистным ему делом. И хотя ему пришлось подчиниться отцовской воле, но работа на разных фабриках сделала его вовсе не преуспевающим буржуа, как мечтал барменский фабрикант. Его сын стал грозным разрушителем культа наживы и принуждения, грозным глашатаем вольности.

Фридрих с малолетства видел чудовищные противоречия вокруг. Безделье и богатство одних, изнурительный труд и нищета других поразили его. Позднее он переименовал родной Вупперталь в «Мукерталь», что означает «Долина ханжей». Пьянство и церковное неистовство, библия и пиво — вот чем жил Бармен.

Поездки по Германии, а затем работа в Англии убедили Энгельса, что повсюду жизнь полна теми же противоречиями, какие видел он в родном городе. Его обогатила близость с рабочими, изучение опыта их борьбы. И следствием этого явилось гениальное творение — «История рабочего класса в Англии».

...В двадцать лет Энгельс впервые полюбил, но это не принесло ему счастья. Имя любимой им женщины осталось неизвестным. Боль разлуки с нею была столь сильна, что юноша думал о самоубийстве и спасся, странствуя по Европе. Позже он встретил в трущобах Манчестера ирландку, работницу с фабрики своего отца, белокурую Мэри Бернс. Молодые люди не расставались вплоть до смерти Мэри, скончавшейся от болезни сердца на руках Фридриха в шестидесятых годах. Спустя несколько лет Фридрих соединил свою жизнь с младшей сестрой покойной Мэри, Лицци Бернс, на которой официально женился. Детей у Энгельса не было. Отцовское чувство он перенес на дочерей Маркса. Женни, Лаура и Элеонора любили Энгельса. Они были его политическими соратницами и помощницами.

...Многогранность нередко уводит от единственной цели, в достижении которой человек раскрывает во всю ширь сокровищницу ума и сердца. За что бы ни брался Энгельс, он достигал вершин своеобразия, явной неповторимости. Он легко мог стать поэтом, писателем, художником, видным военным, ученым, наконец, крупным промышленником.

Он первый создал жанр, весьма обогативший литературу, — художественно-политический очерк. Его письма из Вупперталя, описания Рейнландии, ее жителей, общественных противоречий остаются непревзойденными. Образы, сравнения, зарисовки в его очерках стали классическими.

Его рисунки смелы, исполнены ума, иногда сарказма, часто поэзии. В них отразилась незаурядная наблюдательность автора, его умение схватить и передать тонкую психологическую характеристику модели.

Если стиль, как говорили мудрецы, — это человек, к которому обращаешься, то рисунки Энгельса — отражение его самого: пронзательного, сердечного, от важного до самоотдачи, неустанного в поиске истины и борьбе за нее, правдивого до праведности.

Энгельс мог бы стать художником, и, по мнению знатоков, превосходным мастером. Но даром художника он, как и Пушкин, пользовался лишь для беглых зарисовок случайных встреч, мелькнувшей мысли, запомнившегося пейзажа.

Энгельс отлично знал музыку, охотно дирижировал хором, пел сам народные, студенческие, революционные песни и даже арии из современных ему опер, романсы Шуберга, Шумана.

Взыскательным и мудрым литературным критиком проявил он себя в беседах и переписке с писательницей Минной Каутской.

Он был талантливым военным теоретиком и тактиком, храбро сражался в

1849 году в революционных войсках Биллиха, получил прозвища «генеральный штаб», «генерал». И стань он профессиональным военным, несомненно, дошел бы до высших чинов.

Можно продолжить список профессий, в которых Энгельс мог добиться больших успехов. Но он, отвергнув все эти блистательные возможности, выбрал для себя путь борца за дело рабочего класса, чреватый постоянными опасностями и не сулящий никаких благ.

...Энгельс и Маркс еще задолго до личного знакомства много слышали друг о друге. Встретившись, они соединили свои судьбы навсегда.

Они находили, что земное счастье — это возможность делать наибольшее число людей счастливыми. Они отбросили утопические проекты Сен-Симона, Фурье и Кабе как бесплодное блуждание в тумане. Они разрушили привычные представления своего времени и среды о материальном преуспеянии как смысле бытия. Зная, что им не суждено дожить до осуществления идеи коммунизма, они боролись неустанно с реакционными правительствами, воинствующими капиталистами, колониалистами, ханжами. Два великих мыслителя облегчили владычице Истории ее поступательное движение к прогрессу.

Бессмертные произведения «Святое семейство», «Коммунистический манифест» и другие писались обоими гениями, соратниками, идейными побратимами.

Мысли их, как и чувства, зазвучали согласно, точно движимые одним током крови, рожденные в одном мозгу. Так велика была их близость и могущество интеллектов, что сильнейшие из врагов — Меттерних, Бисмарк, Наполеон III — оказались вынужденными считаться с вождями и самим воинством коммунистов.

В Вене, на вечере, устроенном в честь Энгельса, он сказал: «Нет такой страны, нет такого крупного государства, где бы социал-демократия не была силой, с которой всем приходится считаться. Все, что делается во всем мире, делается с оглядкой на нас. Мы — великая держава, внушающая страх, держава, от которой зависит больше, чем от других великих держав. Вот чем я горжусь. Мы прожили не напрасно и можем с гордостью и удовлетворением оглянуться на свои дела».

После смерти отца Энгельс мог бы покончить навсегда с «проклятой коммерцией», но Маркс и его семья бедствовали. Без денежной помощи друга разрабатывать дальше сложнейшую теорию, писать главный труд жизни «Капитал», столь нужный людям, Маркс не смог бы. И Энгельс продолжал оставаться в тяжком «плену» отвратительного для него занятия и проводил дни на текстильной фабрике в Манчестере, добывая деньги, чтобы помочь Марксу и другим единомышленникам.

Братъ бывает куда труднее, нежели давать. Нужна великая душевная близость и понимание общности устремлений, чтобы не страдать от этого. Маркс и Энгельс прошли достойно и это испытание. Их дружба, примеры которой можно найти только в мифологии, окрепла и никогда не омрачалась.

Неповторимо всеобъемлюща и удивительна двадцатилетняя переписка Маркса и Энгельса. Она превратилась в подлинную энциклопедию всей экономической, философской, политической, научной и культурной жизни планеты их времени. Эта сокровищница помогает постичь логику движения их мыслей, понять, как приходили они к открытиям и находкам. Письма вводят в творческую лабораторию двух гениев, раскрывают сущность их характеров: огромную щедрость душ, жизнелюбие, проникновенное чувство юмора, понимание доброй шутки, страсть к борьбе, бесстрашие, самоотверженность и постоянную бодрость.

После смерти Маркса Энгельс завершает и издает второй том «Капитала» и многие незаконченные труды друга. Для него Маркс никогда не умирал. Он ощущал друга в своем сердце, додумывал, воскрешал мысль умершего. Их связь не оборвалась. Энгельс донес до людей все, что не успел издать и сделать до конца в своих теоретических трудах Маркс.

...Энгельс стремился читать литературу других народов в подлиннике. Он не уставал изучать все новые и новые иноземные языки. Даже самый точный перевод казался ему не более чем гербарием, в котором лежали засушенные, а не живые цветы.

Накануне Крымской войны Энгельс принимается за изучение русского языка. Одновременно он занимается и персидским. Датская война заставила Энгельса познакомиться с речью народов, населяющих Скандинавию. Истинный полиглот, Энгельс говорил и писал на двенадцати, а читал на двадцати языках. Знание различных языков помогало Энгельсу в его деятельности в I и II Интернационале. Им создано несколько ценнейших трудов по лингвистике и сравнительному языкознанию. Русский ему особенно полюбился. В его литературном наследстве сохранились переведенные им на немецкий пятнадцать строф из «Евгения Онегина», а также записи, связанные с чтением в оригинале «Медного всадника» и «Горя от ума». Русская литература глубоко интересовала Энгельса. Помимо Пушкина и Лермонтова, ему были хорошо знакомы произведения Державина, Салтыкова-Щедрина, Добролюбова, Чернышевского. О русском языке Энгельс говорил, что он «...всемерно заслуживает изучения как сам по себе, ибо это один из самых сильных и самых богатых живых языков, так и ради раскрываемой им литературы...».

Энгельс основательно изучал труды русских ученых, экономистов, статистиков, революционеров. Огромное уважение питал он к Чернышевскому и многим другим ярким представителям русской общественной мысли. Анненков, Елизавета Томановская, Лопатин, Степняк-Кравчинский, Ковалевский, Русанов, Засулич, Плеханов были связаны личной дружбой с Энгельсом, переписывались с ним, учились у него, обсуждали насущные вопросы революционной стратегии. В свой черед Фридрих Энгельс любил Россию и внимательно следил за тем, что в ней происходило. Карийская трагедия, положение русских крестьян и рабочих волновали Энгельса, — Маркс и он предвидели грядущую пролетарскую революцию именно в России. Десятки русских книг всегда лежали на рабочем столе Энгельса.

Хотя, подобно Марксу, Энгельс избегал пророчествовать и заявлял о многообразии путей развития будущего мира, он предсказал даже мировую войну в начале XX века.

Германская империя, говорил Энгельс, своей политикой аннексий, гонки вооружения, разжигания националистической пропаганды навлекла на себя ненависть всего мира. Раскрывая агрессивную сущность политики и других государств, он писал об угрозе войны невиданного масштаба — мировой войны, в которую будут вовлечены так или иначе все большие и малые народы.

...Одному из своих берлинских корреспондентов Энгельс писал: «...Наше понимание истории есть прежде всего руководство к изучению, а не рычаг конструирования... К нашим рабочим, и только к ним... я питаю безусловное доверие. Как и всякой большой партии, им не избежать в ходе развития отдельных ошибок, возможно даже и больших. Массы учатся... на последствиях своих собственных ошибок, приобретая опыт на своей собственной шкуре...»

Научный социализм, которому вместе с Марксом Энгельс положил начало, нашел в нем не только творца, но и зоркого стража. Отступникам, надевшимся на то, что буржуазное государство постепенно «врастет» в социализм, Энгельс противопоставлял пролетарских революционеров — деятелей Парижской коммуны и созданный ими строй.

«...рабочий класс... — писал он, — дабы не потерять снова своего только что завоеванного господства, должен, с одной стороны, устранить всю старую, доселе употреблявшуюся против него, машину угнетения, а с другой стороны, должен обеспечить себя против своих собственных депутатов и чиновников, объявляя их всех, без всякого исключения, сменяемыми в любое время».

По всей планете в то время разгорались революционные костры, и ничто не

могло уже потушить их пламя. В России и Бельгии, Италии и Венгрии каратели нападали на первомайские демонстрации, преследовали забастовщиков, бросали в тюрьмы социалистов. Но на земле, вспоенной кровью невинных, быстро растут мстители. Рать коммунистов набирала силу.

...В 1893 году, незадолго до смерти, Энгельс поехал из Англии на континент, побывал в Германии, Швейцарии и Австро-Венгрии. Его с триумфом встречали рабочие, многочисленные соратники. В Цюрихе на III Международном социалистическом конгрессе он выступил с краткой речью.

— Граждане и гражданки... — начал он. — Неожиданно блестящий прием, который вы мне оказали и которым я был глубоко тронут, я отношу не к себе лично, а принимаю его лишь как сотрудник великого человека, портрет которого висит вон там вверху. (Речь идет о Марксе.)

Скромность Энгельса не раз удивляла современников. Он не выносил никакого лицемерия, лести, пресекал любое их проявление, постоянно отказывался от всяких чествований. Узнав, что певческий кружок членов Лондонского коммунистического просветительского общества немцев-изгнанников хочет торжественно отметить день его рождения, он, ссылаясь на необходимость быть в тот вечер в другом месте, вежливо отказался прийти. Он писал: «...и Маркс и я всегда были против всяких публичных демонстраций, посвященных отдельным лицам».

Однако в день его семидесятилетия все социалистические газеты мира писали об Энгельсе. Кабинет его квартиры в Лондоне был завален цветами, горами подарков, сотнями писем и телеграмм. Почтительно и нежно поздравили Энгельса и многие русские революционеры.

Наследие великого мыслителя имеет огромное значение и в наши дни. И, оценивая его заслуги перед человечеством, мы можем смело повторить слова, сказанные некогда Энгельсом о Марксе: «Имя его и дело переживут века».



В. ЗАТВОРНИЦКИЙ,
Герой Социалистического Труда

★

СЕМЬСОТ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

(Повесть о жизни *)

1

Помню, ставили мы башню в районе Чертанова. Был обеденный перерыв. Сидели мы высоко, на четырнадцатом этаже, спускаться на землю лень было и потому обедали, не покидая рабочего места. И разговор при этом шел самый обычный. И тут Степан Щербина, с которым мы проработали двадцать лет, сказал:

— Высоко все-таки отсюда видать.

Вид с башни и в самом деле был замечательный, но мы уже привыкли к нему и, можно сказать, не замечали

Зубчатый силуэт города простирался во все стороны до самого горизонта. И прежде всего в этом силуэте выделялся Кремль, его острые взметнувшиеся башни и округлые купола, сиявшие золотом под солнцем. Там и тут сверкали шпили высотных зданий. Ввинчивались в небо телевизионные вышки: две стальные на Шаболовке и бетонная в Останкине.

С трех сторон город обступали леса заводских труб, серые конусы теплоцентралей и одноногие, будто железные аисты, строительные краны. А с четвертой, юго-западной, стороны жилые массивы незаметно переходили в обширные рощи, дубравы, сады. Нам случалось работать и там, у самой городской черты, откуда столица вдыхала в себя крепкий сосновый дух и терпкие пряные запахи полей.

— Широко видно,— согласился со Степаном Анатолий Журкин, который работал в бригаде чуть поменьше, восемнадцать лет.

— А если бы все наши дома сложить,— продолжал Степан,— интересно, сколько бы этажей получилось? И что бы тогда мы с них увидели?

Неожиданная идея Степана пришлась всем по душе, и мы принялись увлеченно вспоминать, где работали и сколько этажей там поставили.

— На Нагорных семь раз по пять,— вспоминал Анатолий.

— На Ленинском восемь раз по девять,— вставлял Исхак Хуснетдинов.

— На Песчаной пять раз по восемь,— продолжал Борис Лисов.

Считали дружно, и получилось у нас ни много ни мало — семьсот этажей. И, значит, стояли мы сейчас на семьсот первом этаже.

Что же можно увидеть с семьсот первого этажа?

Не только московские дали, но и свое место среди них, а если взглянуть еще дальше, можно увидеть всю прожитую жизнь.

Не буду кривить душой, будто с самого детства мечтал стать строителем, произошло это вполне случайно и буднично, но строители в нашем роду, конечно же, имелись. Дед рассказывал, что его отец ставил церкви на Тамбовщине: пять куполов за два года поднимали и еще звонницу.

* Журнальный вариант.

Родословная моя не фиксировалась в родовых грамотах, но именно они, наши деды и прадеды, поставили на Руси все, что мы храним сейчас как нашу историю.

А вот отец мой и дед по отцовской линии уходят своими корнями в польскую почву, так что я с полным правом могу причислить к своей родословной и польских прадедов, мастеров каменного дела. Не раз я бывал в Польше и видел своими глазами их замечательные творения: Вавельский замок в Кракове, ратуши в Торунни, Познани и многое другое.

После первой мировой войны пленный галичанин Анджей Затворницкий остался в тамбовских краях, с него и начинается новая линия нашего рода.

Детство мое пришлось на военную пору: когда началась война, мне шел тринадцатый год. Работал в поле, косил, молотил, был почтальоном, разнося похоронные по крестьянским дворам, строил колхозную плотину на пруду,— словом, несytое военное детство. В победу мне исполнилось шестнадцать, и я уже понимал, что наступает время, когда без специальности не обойтись.

А вскоре представился и случай. В районном центре объявился вербовщик из Москвы, который, говорили люди, ищет молодых ребят. Я поспешил в районный центр.

— На кого учите?

— В столицу поедешь. На кого хочешь, на того выучишься. Желаеть—на жестянщика. Желаеть—на столяра. В столице люди нужнее. Там, знаешь, какое строительство разворачивается? По великому плану. И семьсот граммов хлеба за это полагается. Семьсот на день. Соображаешь?

Насчет хлеба я сразу понял. Кто же это не поймет в такое время. С жестянщиками тоже оказалась полная ясность. Наш сосед Ульянычев Иван Иванович весь век только этим делом промышлял. Гнул для людей корыта, ведра, паял дырявые чайники. Неплохая у него была для деревни специальность. Минуты не сидел без дела и деньги получал немалые. А если к тому же еще и хлебная пайка, то чего тут было долго раздумывать.

— Пишите меня, дяденька, в жестянщики,— попросил я.

Взял из дому какую удалось провизию: лепешек, мятой картошки, отрубей — и в назначенный вербовщиком час появился в Жердевке.

На третьи сутки старенький паровоз устало притащил нас в Москву на Казанский вокзал. Мы ехали по ночному городу в закрытом деревянном коробе грузовика. Города я в этот раз не увидел. Только вокзальную площадь и двор с разномастными каменными домами, где нас выпрузили. Но и того хватило, чтобы произвести в нас великое удивление.

В нашей группе было тридцать парней. Все тамбовские, и в основном из нашего Шпикуловского района: Григорьевский Иван, Сапрыкин Владимир, Алехин Виктор и другие. Поместили нас вместе, в высокой и сводчатой проходной комнате.

Проснулся я от радостно-удивленного возгласа Владимира Сапрыкина:

— Ребята, а под боком — Кремль!

— Брешешь! — крикнул я спросонок.

Кажется, знал, что нахожусь в Москве и рано или поздно увижу Кремль. Но все равно не мог поверить, что первую же московскую ночь провел чуть ли не под его стенами.

Сапрыкин продолжал с укоризной:

— Проспали, лодыри, а там Спасская башня. Часы золотые со звоном.

Мы мигом слетели с коек. Каменными закоулками Володя провел нас к реке на Софийскую набережную. На противоположном берегу уже вскрывшейся реки и впрямь высился Кремль. С тех пор я порядком повидал в мире и точно знаю, что на свете не много мест, равных по своей красоте кремлевскому ансамблю.

В течение дня мы еще не раз бегали смотреть Кремль. Как только оказывалось пустое время, так и шли к реке. Там, на набережной, нас нашел мастер — и велел возвращаться в общежитие.

В комнате сидел рослый плечистый человек. Отложив в сторону лужматую лисью шапку, он рассматривал какую-то бумагу.

— Фирсов, директор наш,— шепнул мастер Тишков.

Мы вразной поздоровались. Фирсов сказал, чтобы мы садились. А потом спросил:

— На кого желаете учиться?

— Хотим жестянщиками...

— Плотниками!..

— Слесарями!

— На слесарей мест нет,— возразил директор.— На жестянщиков тоже вакансии заполнены. Будете каменщиками.

Каменщиками? Мы молчали. Никто из нас не знал толком, что это за специальность. В наших местах из кирпича не строили, строили из самана. И я понял эти слова буквально: укладывать камни. Но куда в деревню с такой профессией? Дорогу стелить? Так она у нас и без того крепкая. Да и не надо лошадям каменную. Одна тряска от нее.

— Не хотим с булыжниками,— вылез первым Володя Сапрыкин.

— Не могут быть все слесарями,— пожал плечами Фирсов.— Подумайте до завтра.

Мы проводили директора до дверей и опять пошли на набережную.

— Ребята, а ведь Кремль-то из кирпичей,— задумчиво сказал я.

— Ну и что? — не понял меня Сапрыкин.— Засмеют в деревне с такой профессией.

На другой день директор послал нас на трамвайную остановку и сказал, чтобы мы добирались до Трехгорки кто как сможет. Автоматических дверей у вагонов тогда не было, и пассажиров было побольше, чем нынче. Я со страхом повисел на подножке, потом удалось протиснуться в вагон. Ехали, конечно, без билетов, этот способ мы освоили сразу.

На Пресне, у Трехгорки, строилось трехэтажное кирпичное здание. Его-то и решил показать нам директор. По скользким деревянным трапам мы залезли наверх и разошлись по этажу. Немолодые каменщики легко отбивали молотками кирпич, подгоняли его размеры, укладывали на раствор. Они охотно вступали в разговор.

— Память о себе людям оставите,— словоохотливо объяснил рослый каменщик.— Всю жизнь ваши дома стоять будут.

— Насчет заработка как? — поинтересовался практичный Григорьевский.

— Нашел о чем тужить,— заверил каменщик.— Не хуже, чем у людей. Хороший мастер и тышонку может получить, и больше.

Это он, конечно, на старые считал. Но все равно мне такие деньги и во сне не снились. «Шут с ним,— решил я.— Каменщиком так каменщиком. В крайнем случае займусь в деревне печным делом».

Не знаю, чем подкрепляли свое решение остальные тамбовские ребята. Только после этого похода почти все наши согласились учиться на каменщиков.

Однако каменщиком стать не просто. Порядочно прошло времени прежде, чем я вывел первый настоящий столб.

Вообще-то столб — это простенок между окнами или дверями, в лифтовых шахтах и прочих местах. Одним словом, не сплошная стена, а ее отрезок. Каменщики столбов не любят и стараются убежать от них. Выводить столб трудно, да и заработаешь на такой кладке меньше.

Столбы имеют много секретов, но самый сложный из них — «цепная кладка». При этом швы кирпичной кладки должны не совпадать по вертикали, а заходить друг на друга. Это называется перевязкой. Чтобы выложить такой столб, надо заблаговременно наколоть четверки, половинки и трехчетверочки кирпича. Ну, и расчет иметь надо, как лучше устроиться, чтобы меньше бегать вокруг столба. Сперва я складывал столбы на земле всухую, без раствора. Составлял прямоугольники толщиной в полтора, два, три кирпича. Иногда для большей прочности прибавлял песочку. Потом являлся мастер. Проверял мою работу по отвесу и, конечно, находил уйму погрешностей. После этого столб разбирался, а я начинал складывать в учебных целях новый. Пожалуй, это напоминало игру в кубики, только мне в детстве кубиками поиграть не довелось.

Я пишу не пособие по технологии. Поэтому расскажу сразу о том, как возмнил я, что постиг в совершенстве каменную премудрость и решил сложить столб лихо, как это делают заправские каменщики. Было это на первом этаже одной трехгорской новостройки,

Кирпичный прямоугольник быстро рос и вымахал уже почти с меня. Я чуть не пел от радости, что он подымается, как на дрожжах, и что из меня получается толк. До того разгулялся, что даже не заметил, как за моей спиной вырос прораб Александр Андрианович Морозов. Постоял, поглядел и как даст кирзовым сапогом по столбу. Раствор еще не схватился, и кирпичи с шумом обрушились.

— Чего это вы?— Я даже рот разинул от удивления.

— Ты что, кривой? — усмехнулся прораб.— На пять сантиметров ушел.

Я принялся верстать столб снова. Но теперь в ушах уже не звенели колокола Я больше не спешил. Осторожно стелил раствор. Бережно топил в нем кирпичи. И то и дело вывешивал отвесом кладку. Но опять появился Морозов и хладнокровно и беспощадно разрушил мое очередное творение.

Я уже не задавал вопросов. Тяжело вздохнул и вновь взял в руки мастерок. На этот раз прораб где-то задержался. Чувствовал я себя прескверно. Наконец он появился. Обошел столб и холодно изрек:

— Вообще-то грязноват, хоть и ровный. Сойдет и такой, раз ты лучше не можешь.

Столб остался стоять на всю жизнь, как говорил старый каменщик. И я на всю жизнь запомнил тот дом на Трехгорке.

Первыми справились с «кубиками» Григорьевский и Алехин. Во всяком случае так решил мастер. И как бы в награду за успех поставил он ребят на кладку перегоронок. А я почему-то застрял в начальном классе и работал у них вроде бы подсобником. Доставлял и готовил раствор, подавал кирпич. Работа как работа. Но не скрою, было досадно, что кому-то уступил и оказался на вторых ролях.

— Когда стенку дадите? — приставал я к мастеру.

— Черед не подошел.

В конце концов вдвоем с Сапрыкиным мы получили, как говорят строители, фронт в гараже на Дружинниковской и должны были выложить там перегородку метра в четыре высотой с проемом для двери. Вот это был настоящий день! С утра Тишков поставил угловые рейки, а от них мы уже плясали сами. Теперь нам самим подносили раствор и подавали кирпич. И я изредка покрикивал на своего подсобника, чтобы он быстрее шевелился. Словом, изображал из себя заправского мастера. За смену мы с Сапрыкиным уложили куба три, и, кажется, неплохо.

Нас часто перекидывали со стройки на стройку. И очередной адрес — Хорошевка — сперва ничем нас не заинтересовал. Еще один дом, и только. Но тут оказалось, что это наш диплом. Сам директор сказал нам об этом. Диплом имел два этажа. И от того, как мы их сложим, зависело, что о нас подумают, куда и кем пошлют.

Никогда в жизни я не старался так, как на том доме. И никогда еще не волновался так, как в день экзамена. Наконец мастер Коновалов, Тишков и другие члены комиссии приблизились к сложенному мною оконному проему. Они не спеша промеряли его деревянной рейкой, вывешивали отвесом, ложились на подоконник, разглядывая наружные швы. Словом, вели себя, как обычно ведут себя в таких случаях добросовестные учителя. Но мне казалось, что у моего окна они застряли особенно надолго. «Ничего мне хорошего не светит,— решил я и подумал:— Хоть бы дали третий разряд». Я уже и сам видел пятно от раствора и вылезший из ряда кирпич. «Ну, конечно, третий дадут. Хорошо бы третий».

— А вы как думали? — заговорил Николай Иванович Тишков.— Это Володька Затворницкий делал. Он тоже из шпикуловских. Молодчик-парень.

— С чего углы начинают? — спросил меня председатель комиссии.

Я немного подумал и ответил. Наверно, удачно. Потому что экзаменаторы весело переглянулись.

— Как гнезда для балок заделывают, знаешь? Как швы заполняют, знаешь? Ничего не скажешь, вопросов для меня они не жалели.

— Хватит,— поставил точку председатель.— Дело знает, дадим пятый разряд.

Я просиял. Вот это да! Не часто сыпались такие шедрости на фезеешников. Четвертый — это пожалуйста. А чтобы пятый, для этого надо в счастливой рубашке родиться.

Присвоили мне пятый разряд, и я сразу вырос в собственных глазах. Еще бы! Полтора гавриков было нас в школе, а пятый дали, кроме меня, еще только двум: Ваньке Григорьевскому и Володке Сапрыкину. Тоже нашим тамбовским. Так, за полгода мы овладели новой профессией.

После экзаменов школьное начальство устроило для нас знатное пиршество. Происходило оно в обеденном зале фабрики-кухни. Сверх обычного пайка каждому дали кружок рюлета из кровяного фарша, медовую коврижку и пол-литра компота из сухофруктов.

2

Нас послали на строительство дома девять по улице Горького — напротив Центрального телеграфа.

Стройка эта считалась тогда самой крупной в Москве. Как все поменялось с тех пор! Теперь в столице одновременно растут десятки, а может, и сотни таких зданий, и к ним привыкли и москвичи и строители.

А тогда все строительное начальство водило хороводы вокруг нашей площадки. Вдоль строящегося фасада с самого начала ходил башенный кран. Потом привезли и собрали еще один. Им помогали автомобильные краны и краны на гусеничном ходу. Взлетали вверх клетки с грузами. На небольшом пятачке всегда толпились самосвалы.

Сейчас кого удивишь такой картиной? А в то время подобное скопление техники можно было увидеть лишь на немногих избранных стройках.

Каменщиков на девятый дом собирали по всей Москве. Тут оказались вместе Петр Семенович Орлов, Александр Леонтьев, Павел Устинов, Михаил Якутин, Иван Мизонов, Алексей Соколов. Заядлые каменщики, не побоюсь назвать их великими мастерами каменного дела.

Что ни имя — то глава в каменной книге Москвы. Кто из них лауреат, кто депутат. Не говорю уж, сколько о них было в свое время писано в книгах, газетах и журналах.

Крепкие мужики, толковые, хитрые и себе на уме. Они были из села Порецкого Владимирского уезда бывшей Владимирской губернии. Знаменитое среди каменщиков село. В нем эта профессия веками передавалась от отца к сыну. Чуть подрастет парень, получает яловые сапоги, торбу, мастерок и отправляется в дальнюю дорогу, в отход.

Главным моим учителем стал Петр Семенович Орлов.

— Тебе, Володка, — говорил он, — счастливый жребий выпал. Из церковноприходской попал сразу в академию. В кирпичную академию. Таких каменщиков нигде больше нету. На стариках мир стоит. Учись у нас, пока живы. Занимай ума.

Про кирпичную академию он очень удачно сказал. Мне посчастливилось работать под началом всех этих мастеров. Первым моим бригадиром был Александр Николаевич Леонтьев, считавшийся самым скорым каменщиком в Москве. За смену он легко укладывал три-четыре тысячи кирпичей, справляясь по тогдашним нормам за двоих, а то и за троих.

Меня особенно поражало, что Александр Николаевич вроде бы никуда не торопился. Находил время передохнуть, перекинуться острым словечком с товарищами и при этом не выпускал из виду и нас.

Леонтьев не терпел никаких хитростей в работе.

Стены, как известно, ставились тогда из нескольких рядов кирпичей: внешний (фасадный) и внутренний ряды мы называли верстами, а те, что были между ними, звались забутовкой или просто середкой. И вот я стоял в леонтьевском звене на середке. Помню, заполнил почти все пространство, осталось загнать последний кирпич. Примерил я его, а он не лезет. Мне бы отколоть молотком краешек, и кирпич как влитой сядет. Но молотка под рукой нет. За ним надо бежать. Ладно, думаю, и так обойдется. Двинул каблук, и кирпич, побряхтев, втиснулся в дыру.

Александр Николаевич тут же отложил в сторону мастерок, повернулся ко мне:

— Сейчас как врежу по ноге, враз хромым станешь. Люди спросят: чего, дружок, хромаешь? А ты им скажешь: брак допустил. Через него и пострадал. Как думаешь, приятно им на тебя глядеть будет?

— Извините, дядя Саша, — попросил я.

Леонтьев достал из середики мой кирпич, легонько ударил по нему молотком, без всяких усилий вставил его на место. Затем поправил скривившуюся кладку и молча удалился. Невесело мне работалось в тот день. Я уже начинал понимать, что быстрота и спешка не имеют друг с другом ничего общего.

А после смены, когда переодевались в бытовке, Леонтьев наставлял меня «на путь истинный»:

— Работа у нас с тобой, Володя, почти ювелирная. У кладки грани должны быть, как у шлифованного алмаза. Заруби себе это, если хочешь стать каменщиком.

Вскоре меня перевели в звено Михаила Кузьмича Якутина. Сперва от этого ничего не изменилось. Я по-прежнему стоял на забутовке и заполнял кирпичом пустоты. Но постепенно стал замечать, что исчезает скованность, которую я раньше все время чувствовал. Мои движения приобрели известный автоматизм. От Якутина я уже не отставал и склонен был отнести это тоже за счет своих быстрых успехов. Но ведь и Михаил Кузьмич укладывал кирпичи медленней, чем Леонтьев. А это мне в голову почему-то не приходило.

— Вставай на внутреннюю версту,— сказал мне однажды Якутин.— А я наружную погоню.

Вот и сбылось то, о чем я мечтал. Меня ставили на настоящую кладку. Пожалуй-ста, разворачивайся. Показывай все, на что ты годен.

Всю смену я работал как заведенный и ни на шаг не отстал от Якутина.

Все-таки Леонтьев был прав, когда говорил, что мастерство каменщика секретное и объяснения не имеет. Миновало два месяца с того момента, как я был поставлен на внутреннюю версту, и в один прекрасный день мы с Якутиным обогнали самого Александра Николаевича. Спросите меня, как это случилось, и я не скажу в ответ ничего вразумительного. Вроде и Леонтьев работал не медленней, чем обычно, и Якутин, по своему обыкновению, никуда не торопился. А я и подавно не пускался вскачь. Был научен, так сказать, предшествующим опытом. А вот обогнали — и все тут.

Ну, думаю, хоть теперь меня Михаил Кузьмич похвалит. Так нет же, опять у него вид мрачный. И в тот день повторил он свою обычную приговорку:

— Молод ты еще, Володька. Всего-то у тебя образование в нашем деле один класс да один этаж и тот без крыши.

Но когда нам торжественно вручили переходящий красный вымпел, Якутин, приняв его из рук председателя стройкома, тут же отдал мне:

— Держи, Володька! Ты его заработал.

Я воткнул вымпел рядом со своим рабочим местом и время от времени украдкой на него поглядывал. Жаль только, скоро пришлось отдавать переходящий вымпел, на этот раз Павлу Карповичу Устинову.

Так вот и рос наш дом. И я вместе с ним. Дошли мы до макушки, и сделалось из меня, как определил Якутин, полкаменщика.

У меня в то время как раз гостил отец. И прежде чем окончательно проститься с девятым домом, я пришел на стройку вместе с ним.

Мы походили по двору, по этажам, потом я потащил отца на крышу. Отец боязливо отодвигался от огороженного балюстрадой края, даже посмотреть вниз не решался.

— Как же ты работаешь на такой высоте, Володька? — изумился он.

А я, сознавая свое превосходство, давал пояснения. Отсюда, из центра, прекрасно был виден весь город, и границы его прозрачно размывались вдаль, словно на картине.

3

После девятого дома нас перебросили на Ленинградское шоссе, к станции метро «Сокол». Сейчас это центр Ленинградский проспект, Песчаные улицы. Их даже территориально не сочтешь окраиной. Ведь городская черта пролегает далеко отсюда: за Химками, за Тушином, Серебряным бором.

Но старые москвичи рассказывали мне, что в начале тридцатых годов даже стадион «Динамо» считался краем света. Жители противоположных районов города выез-

жали на матч, как на дальнюю рыбалку, за несколько часов до начала. А трамвай «шестерка» добирался от Большого театра до поселка Сокол битый час. Впрочем, тогда это место чаще называли селом Всесвятским.

Да и позднее осенью сорок восьмого года, когда я впервые появился на Соколе, этот район выглядел как далекая окраина. Шаткие деревянные мостки соединяли края оврага, на дне его вилась речка Таракановка. Стояли как попало двухэтажные бараки с распоротым штукатурным нутром, из которого вываливалась, будто требуха, почерневшая дранка. А за оврагом торчали редкие сосны и березы. Парк — не парк, роща — не роща. Был там еще какой-то странный памятник, глыба гранита со строкой: «Как хороша жизнь! Как хорошо жить!», взятой из дневника неизвестного студента, погибшего в первую мировую войну.

Словом, тогда трудно было предположить, что скоро на этом месте возникнет район Песчаных. И что этот район совершит определенный переворот в строительном деле.

Еще закладывались в разных концах столицы штучные дома наподобие нашего девятого. К фасадам приклеивались бесчисленные колонны, грузные порталы, массивные цоколи, внушительные резные карнизы. Плели затейливые узоры лепщики, и цветасто разрисовывали стены живописцы. А дома на Песчаных как бы соревновались, кто быстрой и решительней сорвет с фасадов эту мишуру. Здесь в разумных пределах использовались элементы типизации и вместе с тем архитекторы пытались сохранить за домами и кварталами их своеобразие.

В этих корпусах нашли применение индустриальные детали из сборного железобетона. К тому, что было уже известно с довоенных времен, прибавились лестничные площадки, фундаментные плиты и стенные блоки для подвалов. Здесь же испытывались каркасы из колонн и балок заводского изготовления и многое другое. Между прочим, первые многоэтажные каркасно-панельные дома тоже родом с Песчаных.

А как преобразились фасады домов! На первое место в них выдвинулись те архитектурные детали, которые были естественным украшением жилых зданий: балконы, подъезды, витрины. Они рождали совсем иное настроение, нежели, скажем, пышный фасад дома против Центрального телеграфа.

В архитектурном путеводителе по Москве говорится: «Строительство на Песчаных улицах началось в 1948 году. Ныне на территории почти в 300 гектаров возвышаются жилые дома с общей площадью около 400 тысяч квадратных метров. Проведены также необходимые работы по инженерному оборудованию территории, благоустройству и озеленению».

Нынче такими цифрами никого не удивить. Сколько с тех пор появилось в столице новых районов и сколько еще появится. Рядом с ними Песчаные кажутся каплей в море.

Но представьте себе послевоенную Москву. Жилые новостройки буквально напечет, и получить ордер на квартиру необыкновенно сложно. В большинстве своем это привилегия людей заслуженных, имена которых известны всей столице. Помню, даже я точно знал, кто из видных ученых, инженеров, артистов и рабочих-новаторов въехал в новые квартиры малоэтажных коттеджей на Хорошевском шоссе.

И вот новоселья перестают быть «предметом роскоши» и делаются своеобразным «ширпотребом». Тысячи семей переезжают куда-то на Песчаные. «Песчаные? Это же край света». — «Ну и пусть край, зато там все удобства». Именно тогда начали входить в моду подобные диалоги.

Не какие-то избранные перебирались в район Сокола, а знакомые, родные, соседи, сослуживцы. Новоселы бегали по скудным мебельным магазинам в поисках комодов, славянских шкафов, этажерок, круглых столов — гарнитуров тогда и в помине не было.

Все, что вскоре делается неременной приметой московского быта, начиналось отсюда, с Песчаных.

Большая группа проектировщиков и строителей была удостоена за создание района Песчаных улиц Государственной премии. Думаю, что не только те, кто конкретно

назван в постановлении, но и остальные участники стройки тоже имеют право считать себя лауреатами.

Переехал я на Песчаные вместе с Павлом Карповичем Устиновым, работал в его бригаде. Получили мы пятьдесят третий корпус на самом берегу Таракановки. Речку уже начинали забирать в бетонную трубу. Десятки машин день и ночь свозили строительный мусор, заваливая овраг.

Мы с дядей Пашей уже на равных работали. Наше звено считалось самым сильным. Больше всего кирпичей клали, и денег на нашу долю тоже больше всего приходилось.

К тому времени в бригаде один только Устинов мог меня опередить. Да и ему не всегда удавалось. Дядя Паша, в похвалу ему будет сказано, не страшился такой междоусобицы и не боялся, что его ученик то и дело наступал ему на пятки. Посчастливилось мне, что встретил на своем пути такого правильного и душевного человека.

Павел Карпович часто отлучался со стройки то в контору, то по другим делам. Обычно он говорил:

— Принимай, Володька, дела. Бригадирствуй за меня.

А я еще до совершеннолетия не дотянул и должен был управляться с братией в двенадцать человек. Были среди них и мои сверстники, хлопцы из нашего же выпуска, были и разнорабочие, и девчата-подсобники, и даже пожилые мастера. Особенно я тусовался перед Тихоном Михайловичем Гурьевым. Как-никак, он на свете прожил раза в три больше меня. И каменщиком на своем веку поработал дай бог сколько. И разряд был у него по тем временам самый высший — седьмой.

Мы ставили дом за домом. Сорок девятой, сорок восьмой, сорок первый, пятьдесят девятой, сорок шестой... Сложить их вместе — получится квартал. Тот самый, что вырос первым на улице Левитана.

Однажды на стройке появился Борис Федорович Жариков. Сейчас он маститый инженер, управляющий трестом «Мосгорстрой». А тогда Жариков был молодым специалистом и охотно затевал всевозможные начинания.

— На стариков надежды мало, — заговорил он со мной. — На молодежь надо опираться. Нужно омолодить древнее каменное искусство.

Я слушал и не понимал, к чему он клонит.

— Значит, сделаем так: создадим комсомольско-молодежную бригаду, тебя поставим в ней бригадиром. Проведем мероприятие громко. Чтобы прозвучало и послужило примером.

— А как не справимся?

— Так ты не торопись, — согласился Жариков. — Перед таким шагом требуется все взвесить.

Сегодняшним молодым строителям подобный диалог и мои тогдашние сомнения скорей всего покажутся странными. Сколько хочешь теперь на столичных стройках комсомольско-молодежных бригад, есть даже целые молодежные управления. А тогда заправскими каменщиками считались только люди степенные и немолодые. Великие мастера и по опыту и по годам. Им все первые роли отдавались. И бригадиры все из них были.

Конечно, Жариков зря говорил, что на стариков надежды мало. Хорошо бы мы без них выглядели. Но в одном он был прав. Не многим из молодых удавалось, как мне, получить собственную захватку. Одно звание было, что мы каменщики, а если поглубже посмотреть, то обыкновенные подсобники. Конечно, новые методы кладки, основанные на принципе разделения труда, так называемые «двойки», «тройки» и, наконец, «пятерки», введенные Королевым, несколько поколебали традицию, но и при них старики все-таки остерегались давать молодым первые роли.

Когда я сказал ребятам о предложении Жарикова, на меня сразу напали.

— Соглашайся, Володька! — потребовал Сапрыкин. — За нами, как за каменной стеной, будешь. Не подведем.

А тут еще наш комсорг:

— Будет вам всевозможная поддержка, создадим условия!

Словом, сорок шестой дом Павел Карпович доделывал уже один. А я с бригадой, составленной из своих сверстников, получил новый объект — девятиэтажный жилой дом. Дали нам его пополам с моим былым крестным Леонтьевым.

Ребята слово свое сдержали. Работали как звери, и я за ними и впрямь был точно за каменной стеной. А мне новая должность такой интересной казалась, что и не описать.

Специальность каменщика тем еще хороша, что ты легко можешь сравнить свою кладку со стеной соседа. Я и этим занимался. Но сравнение пока выходило не в нашу пользу. У Леонтьева весело получалось, фасад чистенький, расшивка на виду, шов ко шву, не отличишь их, такие они ровные. А наши будто новобранцы на первом построении. Один из ряда выпирал, другой, напротив, заваливался, в третьем — раствор выплескивался через края. Но тут уж нам ничего не поделать. Ведь Леонтьев был лауреатом Государственной премии — такую награду зря не дадут.

А в быстройте мы с ним тягались. До сих пор не понимаю, как нам удалось обойти его в первый же месяц. Ведь я уже писал, что за Леонтьевым по всей Москве неслась слава самого скорого каменщика. Но, верно, потому нам это удалось, что мы спали и во сне видели, что будем первыми. И после смены нередко по своей охоте часок-другой прихватывали.

На другой месяц Леонтьев показал, на что он способен. Но третий месяц опять был нашим. На этот раз и по качеству мы не отстали. На стройку заявилось начальство, и профсоюзный бог отдал мне переходящий вымпел управления по итогам квартала.

Примерно в это время о нас узнали в районе. Меня позвали на какое-то большое собрание и посадили в президиум. Это большая честь, представляете, что со мной делалось. Поместили на самом виду и персонально два раза упомянули: сперва когда выбирали в президиум, а потом среди других — в докладе.

С тех пор меня стали регулярно приглашать то в Колонный зал, то в Большой театр, то в какой-нибудь из дворцов. На сцену меня там, понятн^о, не сажали. Не те масштабы. Но и в зале или даже на ярусах находиться было не менее приятно. Ведь с какими людьми я сидел рядом! Вся страна их знала. Я и своих там встречал: Орлова, Королева, Леонтьева. Выбирал место поближе к ним. А после всегда оставался на концерт.

Однажды я попал даже на банкет. В нашем тресте подводили итоги соревнования с соседями. Не то мы их победили, не то они нас. Я этого и тогда толком не понял. Но стол, помню, был превосходный, тем более что дело происходило за три дня до полочки, я и наелся на все три дня вперед.

Вот как у меня все складно получалось, словно в добрых бабушкиных сказках. Сам не пойму до сих пор — за что мне было такое везенье? Позвали за первой грамотой, и оказалась она не от кого-нибудь, а сразу от райкома комсомола.

До седьмой грамоты я их вешал на стену. Потом комендант общежития пригрозил, что отберет их у меня, и я бережно прятал грамоты в чемодан. Не сочтешь, сколько их у меня теперь. И от кого — тоже не перечислишь. Но я их бережно храню и радуюсь каждой новой. Всю мою московскую жизнь по ним представить можно.

4

Семь лет я смотрел на Кремль. Откуда только мне его не случалось видеть: с противоположного берега реки, с этажей девятого дома и даже с крыш окраинных новостроек. И вот я впервые вошел в него. В кармане моего пиджака лежал мандат участника Всесоюзного совещания строителей.

Зал Большого Кремлевского дворца, в котором происходило совещание, был знаком мне по кино и фотографиям. Но вблизи он выглядел строже и вместе с тем торжественней.

Я разыскал свое место. Разложил на полочке, приделанной к переднему стулу, тексты докладов и других документов. Повозился с наушниками, соображая, как их довести до уха. Потом сладил с ними и до конца совещания уже не пропустил ни одного выступления.

Конечно, я ощущал важность всего того, что происходило в зале, и был несколько удивлен и вместе с тем обрадован, что оказался причастным к столь большим событиям в архитектуре и строительстве. Однако не могу утверждать, что в то время я понимал все, о чем говорилось с трибуны, и полностью отвечал порученной мне роли.

Но с тех пор многое переменялось. Так получилось, что начиная с 1954 года я участвовал во всех значительных совещаниях строителей, которые происходили в Москве. Имел самое прямое отношение почти ко всем экспериментальным новостройкам. Встречался со многими интересными людьми: рабочими, инженерами, архитекторами. Много повидал, прочитал немало специальной литературы, выслушал бесчисленное число докладов.

Под влиянием всего этого у меня сложились определенные представления о тех бурных для нашего строительства и архитектуры временах. Именно это придает мне смелость затеять на этих страницах своеобразный архитектурный разговор.

Итак, прижавшись к наушникам, я слушал докладчиков. Помнится, о типовых проектах и экономичных решениях говорил тогдашний президент архитектурной академии А. Мордвинов. Держался он как-то скованно и даже несколько растерянно. Для этого имелись достаточные основания. В свое время он же теоретически обосновывал излишества. Утверждал, что все великие эпохи старались увековечить себя в величественных и монументальных сооружениях, и советовал нашей архитектуре заняться тем же. Доказывал, что создание значительных архитектурных произведений требует строительных объемов, не обусловленных прямой практической необходимостью (портики, монументальные залы, башни). К тому же Мордвинова то и дело останавливали репликами из президиума. А сосед по залу сказал мне, что дни президентства докладчика сочтены.

След за Мордвиновым и как бы в противовес ему на трибуне появился главный архитектор Москвы А. Власов. Его доклад почти не отличался от предыдущего по теме и даже по названию. Только составлен он был применительно к столице. Власов долгое время работал в Киеве и оставил там после себя тортообразный Крещатик. Но отдав дань тогдашним вкусам, он все же проявил в этой работе незаурядное мастерство планировщика. Ансамбль Крещатика оказался интересно решенным композиционно. Дома удачно раскрывались в сторону улицы и хорошо привязывались к холмистой местности. К московским же ошибкам он был мало причастен. Единственный построенный им тут дом — Дворец труда на Ленинском проспекте — появился еще до войны и не имел ничего общего с «нарисованной архитектурой». Власов чувствовал себя уверенно и без всякой робости оценивал предшествующий период. Тот же сосед пояснил мне, что Власова прочат в преемники Мордвинову.

Дома, которые я строил, не раз упоминались на совещании. Но ораторы, как назло, говорили о них малоприятные вещи. Девятому дому досталось за то, что отделка его фасада обошлась в треть стоимости всего здания. Другому моему корпусу на улице Горького поставили в вину богато украшенный карниз и принесенный ему в жертву целый этаж, квартир двадцать — не меньше. За домом преподавателей на Ломоносовском проспекте обнаружилась целая куча грехов. Он был и дорогим, и состоял из множества архитектурных деталей, и, наконец, долго строился. На совещании все эти просчеты авторов были собраны вместе и раскрыты подробно и обстоятельно. С огласиться, вывод малоприятный не только для тех, кто проектировал эти здания, но и для тех, кто их строил.

Но я утешал себя тем, что имел прямое отношение только к качеству строительства, а на него особых нареканий не было. К тому же известно, что во всякой работе самое страшное не когда тебя ругают, а когда перестают замечать. Выходило, что все это время я находился на видных стройках, коли вокруг них скрестились копыя.

А потом с трибуны несколько раз похвалили Песчаные, и я совсем воспрянул духом.

Вообще мне кажется, что на том совещании мы чересчур увлеклись разбором прошлых ошибок. Не жалели слов и времени, ниспровергая уже построенные здания. Хотели мы этого или не хотели, но отнимали **сами у себя минуты и часы, столь нужные для того, чтобы договориться, как строить дальше.**

Дома уже стояли. А кто не знает, что градостроительные ошибки почти непоправимы. Во всяком случае на протяжении жизни одного, а то и нескольких поколений. Не зря Гёте сказал: «Можно делать ошибки, но нельзя строить ошибки». Вот мне и кажется, что лучше бы нам тогда подумать об этом.

Теперь я понимаю, что архитектура — это не мода, которой предписаны едва ли не любые возвраты в прошлое. Нельзя переносить из других эпох отжившие типы сооружений. Иначе зодчество оказывается лишь изображением. Отрывается от современных потребностей общества, отстает от уровня его знаний и техники, вступает в противоречия с новыми строительными материалами и конструкциями. Наконец, не выдерживает испытания экономикой.

Знаю, что многое из того, что когда-то выдавалось за красоту: вся эта лепнина, прицепленные где и как попало башни, шпили, колоннады — безвкусица, пошлость и мешанство. Но в то время это мне нравилось. И мои претензии к архитекторам не шли дальше попреков за то, что многие из нарисованных ими деталей не так-то просто перенести на фасад.

А перед авторами высотных домов я и вовсе был готов скинуть шапку. Так мне нравились эти громадины. Но их авторам как раз больше всего досталось на совещании. Причем не за конкретные ошибки, а за само обращение к такому типу зданий. Помню, меня тогда поразили слова о том, что незачем нам лезть в небо. Пусть капиталисты туда лезут, раз у них земли не хватает, а у нас в ней вроде бы нужды нет.

Я вырос в крестьянской семье и знал, какое значение придавали мои односельчане каждой сотке. А ведь происходило это не в краю лоскутных северных пашен, а на степной Тамбовщине. И вдруг такое вольное обращение с городской землей.

Среди прочих аргументов против высотных зданий была приведена частушка о том, как хорошо жить в высотном доме на четвертом этаже, и высказано сочувствие в адрес старушек, которым приходится взлетать так высоко (на лифтах, разумеется), и окончательный приговор высотным сооружениям был вынесен.

Но посмотрите, что получается. Ругали-ругали эти здания, а теперь не представляем без них своей Москвы.

В прошлом веке Москва имела ярко выраженный силуэт, недаром о ней говорили: город сорока сороков церквей. Но в начале века поднялись многоэтажные доходные дома, и Москва «осела». И вот высотные здания вновь подняли Москву, создали новый силуэт столицы.

Другое дело, что стоимость квадратного метра площади оказалась в этих зданиях непомерно раздутой. Об этом бы и следовало вести речь. Тем более, что вскоре нам все равно придется поднимать силуэт города и возобновить высотное строительство.

Вообще мне кажется, что приговор современников в отношении отдельных значительных сооружений сплошь и рядом не совпадает с последующими оценками.

Так, в двадцатые годы архитектурные журналы публиковали снимки нового для того времени здания московского Центрального телеграфа не иначе, как перечеркнутыми двумя красными полосами. Этим самым хотели показать его безнадежное отставание от времени. Но вопреки такому суждению телеграф и до наших дней остается едва ли не самым современным и самобытным зданием на улице Горького. Во всяком случае из числа тех, что были построены в советское время. С ним не может даже поспорить высотный подражательный корпус гостиницы «Националь». Действительно, он вроде бы современный. Но во время зарубежных поездок я видел не один двойник «Националя». Здание же телеграфа — это принадлежность только Москвы. Ее непременная часть.

Я клоню все к тому же. Что построено — то построено. Самые значительные здания, построенные с излишествами, тоже по-своему выразили свое время. Нам еще долго придется жить рядом с этими домами. Поэтому будем к ним снисходительными.

Иным поворот 1954 года в строительстве мог показаться неожиданным, случившимся из-за чьего-то внезапного прозрения. Но архитектуре с излишествами уже вынесла свой приговор экономика. Приверженцы этого стиля еще кое-как сводили концы с концами, пока объемы строительства были невелики. Однако стоило нам оправиться после

войны и повести речь о массовом жилищном строительстве, как тотчас же обнаружилась несостоятельность той архитектуры. Она бы скоро оставила нас, как это говорится, без штанов. Да и строительство растянулось бы на многие десятилетия.

Вот почему еще в конце сороковых годов начался поиск принципиально новых и прогрессивных архитектурно-строительных решений. Делались попытки восстановить союз зодчества с индустриальным производством, с новыми материалами и конструкциями. Достаточно вспомнить застройку района Песчаных, первые крупноблочные и крупнопанельные дома, повторное применение проектов, опыты типового и поточного строительства и многое другое.

Партия уже тогда поддерживала поиски строителей, архитекторов и смело поставила вопрос о решительном изменении творческой направленности советской архитектуры.

Теперь продолжу свой рассказ о совещании. Мне кажется, что тогда мы возложили на архитекторов непомерно большую долю вины за допущенные излишества. Конечно, архитекторы тут легко уязвимы. Издавна известно, что они склонны увлекаться, питают страсть к монументальности и способны, если за ними не смотреть, пустить по миру своих заказчиков.

Но известно и другое. Деньги на строительство архитектор не из своего кармана выкладывает: ему для этого отпускаются средства. А средства отпускались на вполне конкретные проекты.

Не снимаю вины с архитекторов. Они специалисты. Им было ясней, что так строить нельзя. Но и все остальные были не без глаз. Так что справедливой бы поделить тяжкую ношу ошибок между всеми, кто имел тогда отношение к строительству.

Сейчас-то легко критиковать бывшие ошибки. Наверное, часть из них можно было предотвратить. Но думаю, что лишь часть, потому что никогда еще в человеческой истории не совершался такой стремительный скачок в темпах и объемах жилищного строительства.

В середине тридцатых годов естественный ход развития советской архитектуры без всякой нужды прервался, и она свернула на ущербный путь. Продолжалось это почти два десятилетия, и теперь зодчим было не так-то просто отрешиться от груза прежних ошибок и обрести себя в новой архитектуре. Приходилось переучиваться, а времени для этого им дать не могли.

Положение осложнялось еще и тем, что проекты новых индустриальных типовых домов в большинстве своем не успели пройти обкатку на экспериментальных стройках. И монтажные площадки как бы соединили в себе испытательный и главный сборочный конвейер. Эти же две труднос совместимые роли испытателей и сборщиков достались всем, кто возводил новые дома.

5

— Был ты, Владимир, каменщиком, а станешь монтажником. Веление времени! — Начальник нашего управления Гендель даже просиял от собственных слов, так они ему понравились. — Академию открывать не будем — некогда. Вместо нее девятый квартал откроем. Школа — лучше не надо. Мигом перекантуешься на монтажника. Усек?

Чего же тут не усечь: завязка знакомая. Все повороты в моей строительной судьбе начинались с таких же неожиданных и категорических фраз.

— Я в Бухаресте лекцию прослушал, — сообщил я Генделю. — Наш один читал, из Харькова. Образованнейший человек.

— Вот и действуй таким манером, — не дал мне разговориться Гендель.

И о своей первой поездке в соседнюю Румынию пришлось мне вспомнить в одиночестве.

Ехали туда по приглашению румынских строителей, и было нас четверо: профсоюзный работник из Крыма, прораб из Ленинграда, монтажник из Харькова и я.

Не раз приходилось читать очерки о зарубежных путешествиях. Авторы их по долгу бродят по чужим улицам, осматривают заповедные руины, посещают музеи и театры, отведывают местные яства и горячительные напитки. А мне и за границей досталась иная жизнь.

Всюду, где мы появлялись, нам предлагали поработать. Впрочем, этого и следовало ожидать. Ведь поездка была затеяна с целью обмена опытом.

Сперва я клал стенку на окраине Бухареста. Помогали мне двое румын, а остальные наблюдали, как это у нас получается.

Час с четвертью я простоял у стены и уложил 1200 кирпичей. наших хозяев это удивило. Оказывается, мы сделали дневную норму. Вкальвали мы, разумеется, подходяще. Меня впору было выжимать. С моих румын тоже пот лился в три ручья, но зато и удовольствие они получили большое.

После работы нам предложили ванну. Потом подали кислое вино и сифоны с газировкой. Что ж, вполне приличные бытовые условия.

На другой день я снова взял ненадолго мастерок. Каменщики выкладывали папает на крыше. И мне захотелось пройтись, как говорится, с ветерком. Хоть несколько рядов да оставить после себя на память. Я даже переодеться не стал. Как был в костюме, так в нем и подступил к стене. Помогала мне курчавая девушка. Машей, кажется, звали, если ее имя на наш лад перевести. Глаза у нее черные, глубокие. Думаю, это весьма положительно сказывалось на производительности труда каменщиков, которым она помогала.

Но самое главное случилось на третьей улице. Там строился пятиэтажный дом. Я приехал на эту стройку вместе с харьковским монтажником. Работа нашлась и для меня и для него: стены дома были кирпичные, а перегородки из заводских деталей.

Я получил фасадочную стенку, харьковчанин — свои перегородки, и на глазах удивленных румын мы вступили в невольное соперничество. Мне некогда было глядеть, как он работает. Безостановочно укладывал кирпичи, соленый пот с меня лился, в растворе весь измазался. Отрывался только попить. Пока я таким манером из кожи лез, мой харьковский дружок расхаживал по площадке как министр. Только ломом помахивал да крановщиком командовал. Впрочем, это я из зависти. Конечно, и ему скучать не приходилось. Но все равно харьковчанину было легче, чем мне.

И что бы вы думали? Я за два часа пять кубов кладки выгнал. А он за то же время девятнадцать кубометров смонтировал. У меня стена выросла на семь рядов и вытянулась на двадцать метров. А он пол-этажа перегородил.

Я намотался. Спину не разогну. Хотел бы скрыть, да разве скроешь! Монтажник же старался показать, будто он только что из однодневного дома отдыха. И еще меня подначивал.

— Что, друг, притомился? — во всеуслышанье осведомился он. — Сочувствую. Было время, сам этим грязным делом занимался.

Знал бы он, что посыпает солью мои раны. Я и раньше с завистью поглядывал на монтажников. Часто сравнивал эти две строительные профессии и приходил к выводу, что у монтажников еще все впереди, а каменщики уже достигли предела.

До войны мастер укладывал за смену семьсот—восемьсот кирпичей. А как пошли «двойки», «тройки», «пятерки», порой свыше трех тысяч на каждого приходилось — не только на каменщика первой руки. Я с бригадой укладывал за смену до тринадцати тысяч, а мог бы уложить и все двадцать, если б снабжение получше было и порядка побольше на стройке. Куда же дальше двигаться? Ведь у нас руки, а не машины. Хочешь не хочешь, а предел им положен.

К тому же кирпич в те годы подвергли неоправданной опале. Где надо и не надо, заменяли его сборным железобетоном и кричали на всех перекрестках, что дни кирпича уже сочтены и что на стройках он вроде родимого пятна капитализма.

Скоро выяснилось, что с похоронами кирпича мы явно поторопились. Но было в тех рассуждениях и рациональное зерно: дальнейший рост производительности труда, снижение стоимости строительства и резкое сокращение сроков могло идти лишь за счет увеличения спорности домов и превращения строительной площадки в монтажную.

Откуда же было взяться монтажникам? Только из каменщиков и могли они взяться. Поэтому наш разговор с начальником управления Генделем был вполне закономерным, как и новый поворот в моей строительной судьбе.

Площадка для нашего посвящения в монтажники была уготована нам незаурядная: девятый экспериментальный квартал Новых Черемушек.

Здесь проходили проверку новые принципы застройки и планировки. Свободно поставленные среди зелени дома, по мысли архитекторов, должны были доказать свое право на многократное повторение в других кварталах и районах столицы. Мыслилось, что они предоставят жильцам максимальные удобства и при этом будут стоить как можно дешевле. Каждый дом чем-нибудь да отличался от другого. Наряду с кирпичными зданиями тут монтировались дома из крупных панелей и блоков.

С самого начала нас поджидали сюрпризы. Оказалось, что на площадке нас уже ждут три готовых «нуля», только что законченные вновь созданным трестом «Мосфундаментстрой». Нам оставалось лишь смонтировать на этих «нулях» восьмиэтажные башни из крупных блоков.

Первый монтажный день начался с речей. Сперва нас обстоятельно инструктировал Морозов, потом пришел на помощь инструктор треста организации строительства Михаил Григорьевич Ананьев.

Так бы мы с радостью и слушали их до конца смены, но рано или поздно все равно бы пришлось приступить к монтажу. Поэтому Морозов приосановил лекцию Ананьева на полуслове и сказал:

— Валяй, Затворницкий! Остальное узнаешь по ходу дела.

Морозов и Ананьев остались с нами, но я все равно чувствовал себя как рыба, выброшенная на берег. Пытаясь скрыть охватившую меня робость, подал знак такелажнику и крановщику. Вскоре на наш угол приплыл первый блок. Мы около него минут десять проплясали, сличая с чертежом и соображая, какой его сторсной повернуть.

То же самое и с провешиванием получилось. Отвес полагается в двух местах прикладывать, а мы его со страху ко всем плоскостям пристраивали.

Не скоро двигалось у нас дело. Но, по-моему, я еще в первый день открыл для себя главный секрет монтажа: точность в нем нужна, высокая точность, как во всяком другом индустриальном производстве. И главную беду монтажа тоже скоро постиг: некомплектная поставка деталей. Эта беда и теперь у нас главная. Не так давно монтировали мы 14-этажное здание в Чертанове. Находились на втором этаже, а детали нам слали для последнего. За то называлось это теперь вполне приличными современными словами — производственно-технической комплектацией.

Но возвращаясь к девятому кварталу. Когда мы с грехом пополам добрались до половины фасада по первому этажу, на площадке появился фотограф «Московской правды» и запечатлел этот незабываемый момент для своей газеты. На фотографии все выглядело куда солидней: краны, блоки и мы вроде бы весьма уверенно командуем ими.

Так без долгих приготовлений и довольно буднично мы распрощались с каменной кладкой. Но зарубки от нее останутся на всю жизнь. Мой бывший коллега по кирпичной кладке Геннадий Владимирович Масленников вот уже с каких пор этим делом не занимается и работает на руководящих инженерно-технических должностях, а сошлись мы с ним недавно, и показал он на левой ладони шишку от былого мастера. Я тоже свою ладонь продемонстрировал, и тоже на ней бугор был.

Вот что такое для нас кирпичная кладка. Как первая любовь — и рады бы забыть о ней, да не можем.

Освоившись с первыми этажами первой башни, мы принялись и за две остальных. Дальше вся троица росла вместе. Народ в бригаде подобрался способный, вскоре мы достигли на монтаже таких скоростей, что и теперь не всегда за ними угоняемся. За месяц монтировали семь этажей. Думаю, что не только новая техника и наша сноровка позволили нам достичь таких приятных результатов, но и приподнятое настроение. Девятый квартал гремел на всю страну. Журналисты атаковали его еще на столах проектантов и не отпускали с газетных полос до самого завершения.

В том же году произошло другое радостное для меня событие.

Было это в воскресенье. Я сидел в вестибюле парикмахерской у нас в Кожухове и ждал, когда подойдет моя очередь. На круглом столике лежало несколько газет. Наугад взял одну из них. Это была «Московская правда» с Указом о награждении строителей. Список был просторным, и я углубился в его изучение.

Мне не приходилось слышать, чтобы кого-нибудь из моих товарищей или знакомых представляли к награде, но судя по тому, что мы построили за последнее время в Москве, в списке вполне могли оказаться знакомые имена. Первые два раздела просмотрел полностью, как говорится, от «А» до «Я». Потом незаметно для себя стал искать букву «З». Оказывается, не зря. В списке награжденных орденом «Знак Почета» нашел и свое имя.

Что со мной стало! Тут же забыл, для чего пришел в парикмахерскую. Свернул газету и тайно сунул ее в карман. Хлопнул на радостях дверь и припустился домой.

Открыла мне Полина, я прямо с порога сунул ей газету:

— Читай!

Вместе с ней пробежали весь Указ от корки до корки и нашли в нем немало своих. Мой прежний учитель Михаил Кузьмич Якутин получил орден Ленина. Устинов оказался в числе награжденных орденом Трудового Красного Знамени. Были и другие из нашего управления. Кого орденами отметили, кого медалями. Конечно, мы и за всех порадовались.

Надо было бежать к ребятам. Так я и поступил. Нашел своих соседей — Володю Сапрыкина, Сашу Березина, еще кого-то. Вместе отметили это событие.

Помню, после совещания строителей я, покидая Кремль, оглянулся и долго смотрел на него. Думал: попаду ли сюда еще?

Попал-таки — и довольно скоро. Но теперь в другое здание. То самое, над которым высятся зеленый купол и струится на ветру развернутый флаг.

После вручения наград нас собрали в круглом Свердловском зале. Я все интересовался стенами. Метра полтора в них толщины. Вот это кладка! На улице жарница, а тут прохладно.

6

Я иду со смены или на смену. По обе стороны стоят «пятиэтажки», новые, только что заселенные, скроенные по одному фасону и на одну мерку. Безобразные черные швы перекрещивают фасады, краски поблекли, плитка на панелях начинает лупиться. Чахлое деревце торчит из кучи строительного мусора.

Где я видел такую картину? Может, в кварталах Зюзина или Волхонки-ЗИЛа, а, может, на Нагорных или в Черемушках. Всюду я там строил, но не могу нынче узнать те здания, которые своими руками поднимал от подошвы до макушки. Да и кто возьмется отличить эти кварталы один от другого, когда весь город застраивался по сути одним домом. Разве башни-девятиэтажки изредка оживят эту степную гладкость, но ведь в те годы и они выдавались по скупым нормам, доставаясь далеко не каждому кварталу.

Читатель, верно, уже догадался, что я пишу о годах, в известной мере отмеченных печатью субъективизма. Но новоселам, да и нам, строителям, от этого не легче. Сколько домов, сколько этажей вывела в те годы одна лишь наша бригада! Мы без остатка отдавали себя работе, забывали о времени, опрокидывали привычные нормы и представления о скоростях монтажа. Случалось нам брать и силой и навалом. Ведь порой только жестокий штурм мог исправить первоначальные просчеты проектировщиков, плановиков, снабженцев. Но и умом мы тоже брали. А как иначе? Ведь по существу на этих площадках заново рождалась технология домостроения из сборного железобетона. Мы вносили в проекты столько своего, что хоть просись к проектировщикам в соавторы.

На близких домах мы совершенствовали нашу строительную технологию, оттачивали свое мастерство. Мы тогда так разогнались, что едва ли не на каждом квартале у нас возникал какой-либо новый почин. Иногда на всю страну, иногда потише, такой, что шел не дальше треста.

С тех пор, как нас на ходу перекаптовали из каменщиков в монтажников, у меня появились постоянные спутники. Взять хотя бы Геннадия Владимировича Масленникова. Он, как и я, начинал каменщиком, потом стал монтажником. В то время, когда я с ним встретился, Масленников уже возглавлял бригаду, слава которой гремела на всю страну.

Вторым был бригадир Василий Захарович Прокопенко. Он тогда еще только начинал, но сразу же обратил на себя внимание. Помню, мы познакомились в одном из кварталов района Волхонка-ЗИЛ. И тотчас же решили, что отметим это событие по-

своему: будем монтировать этаж крупнопанельного дома не за семь дней, как определял график, а за пять.

Разумеется, в подобном изложении наш очередной почин может показаться вполне легковесным. Собрались два молодых бригадира и без долгих разговоров взялись более чем на треть сократить установленные сроки монтажа. Коли это так просто, отчего же другие до сих пор дремали.

В том-то и дело, что это было совсем не просто. Монтаж — не кирпичная кладка. Конечно, ловкость и сноровка и тут играют немаловажную роль, но одной сноровкой двух дней не сэкономишь.

Однако уже не был секретом другой путь: так называемый монтаж с колес по часовому графику. Ведь монтажники венчают домостроительный конвейер, который состоит из трех основных звеньев: изготовление, транспортировка и монтаж.

Тут сама собой напрашивалась идеальная схема непрерывного процесса. Заводские краны грузят готовые детали в кузова специальных автомобилей, которые везут их на монтажные площадки. Там детали подхватывают строительные краны и переносят на этаж, где они тут же водружаются на заранее приготовленное для них ложе.

Однако такая схема все еще оставалась мечтой. На деле же заводы сплошь и рядом посылали нам детали, черед для которых наступит еще не скоро, и не давали того, что было нужно немедленно, сию минуту. Конвейер прерывался. Детали, нужда в которых пока не ощущалась, приходилось разгружать на землю, а монтажники слонялись по площадке в поисках работы или устраивали, как говорят, перекур с дремотой. Кто-то правильно назвал подобную комплектацию строек не организацией производства, а системой «путай-путай».

Часовой график мог устранить этот разноречивый, он и приводил нас к той самой идеальной схеме, на которую Прокопенко и я как раз рассчитывали, принимая новые обязательства. Помимо всей прочей подготовки, монтаж с колес был немислим без работы в три смены. Свободных бригад в управлении не нашлось, и решили срочно создавать новый коллектив. Руководить им поручили Геннадию Иннокентьевичу Ламочкину. Тогда этот прославленный впоследствии строитель был еще никому не известен. Такелажник и студент вечернего техникума, он в то время впервые возглавил бригаду.

Вначале, пока наш почин был еще всем внове, часовой график более или менее соблюдался. На заводах существовал жесткий контроль за его исполнением. И на первом корпусе, который монтировался с колес, мы не только выполнили, но и превысили принятые обязательства.

Обычно чем шире распространяется почин, тем больше сил набирает. Судьба нашего нового начинания оказалась печальным исключением из этого правила. Пока монтаж с колес был привилегией одной, ну, в крайнем случае нескольких монтажных площадок, кое-как удавалось сводить концы с концами с помощью достаточно модных в то время волевых методов. Когда же число таких площадок попытались увеличить, графику стали рушиться на глазах. Мы еще пытались некоторое время упорствовать, а потом сдались и были принуждены возвратиться к прежним методам монтажа.

Эта проблема и по сей день живуча. Монтаж с колес удалось внедрить лишь немногим бригадам, работающим в эсобо благоприятных условиях. На большинстве же строительных площадок пока не удается разубить этот узел, в котором спутаны как попало связи между заводами, автомобилистами и нами, монтажниками. Надеюсь здесь на новую систему планирования и экономического стимулирования, на которую перешли теперь и в строительных организациях.

Вскоре после первых наших опытов с монтажом по часовому графику нас перебросили на строительство спальных корпусов детского интерната.

Среди пятиэтажных и бесхарактерных, как я их называл, домов эта стройка оказалась с характером. С августа беспрерывно лили дожди, и мы добирались до стройки в лучшем случае вброд.

А ведь ничто не обещало таких приключений. Вопреки тогдашнему обыкновению инженерная подготовка территории, или проще — прокладка временной дороги, здесь предшествовала монтажному циклу. Однако с первыми же дождями дорога потреска-

лась и затонула в жидком грунте. Ох, и почва там оказалась! Нигде я больше такого кошмара не видел. Ну, прямо будто твердь еще не успела отделиться от хляби.

Дожди, дожди, дожди... Не случайно я именно на интернате первый раз почувствовал радикулит. После смены попали под ливень. Ребята принялись прыгать через лужи. Я тоже было оттолкнулся, но внезапно стрельнуло в пояснице. Ноги онемели, я точно переломился пополам. Еще не понимая, что со мной стряслось, стал клониться к мостовой.

— Ты что, бригадир? — удивленно спросил меня с того края лужи Журкин.

— Сейчас, Анатолий,— пообещал я.

Но боль не проходила, и пришлось плестись вброд. С помощью ребят я кое-как добрался до дома. К вечеру радикулит убрался до следующего подходящего случая.

Однажды утром прихожу на площадку. Дождь, конечно, лил как полагается. Только проник через хляби в помещение, как кинулся ко мне Хуснетдинов:

— Беда, бригадир. Пропадает корпус!

Интернат был уже подготовлен к сдаче, но еще не накрыт. А тут ливень и ураган привалили, на наше «счастье». Конечно, если разобраться, то от воды пропадает лишь работа отделочников, но кто же в такую минуту станет делить свое и чужое. Кинулись мы на крышу. Ветер нас едва не сбрасывает, но мы стоим. Притащили рулоны с пергамином, разматываем их, подгружаем кирпичом, перемычками, чтобы ветер не сорвал.

До конца смены боролись мы с непогодой. Четвертый этаж немного подтек. Третий же полностью отстояли, а так бы до первого этажа вода пробилась.

Временная кровля дня три после этого простояла, пока ее не сменили на постоянную. Пергамин, конечно, пропал. Это примерно с полсотни убытков. Ну еще прораб выписал нам за борьбу со стихией шестьдесят рублей. А сколько мы денег спасли! Пожалуй, сотнями тысяч пахло. Это не считая времени, которое потребовалось бы для повторной отделки.

В подобные дни куда лучше, чем в обычные, понимаешь, какие замечательные ребята работают рядом с тобой — в твоей бригаде.

Со специальностью мне лично очень повезло. Как будто она случайно досталась, а с первого раза вмастило, будто по мечте выбирал. Исхак Хуснетдинов, о котором я уже упоминал, тоже вроде меня с первого раза попал в яблочко, сразу нашел работу по себе. А Степан Тимофеевич Щербина или Саша Поботкин, прежде чем стать строителями, перебрали немало специальностей. Зато уж теперь определились твердо и ни на какую другую свою профессию не поменяют.

Наша бригада отличается завидным долголетием. Средний стаж работника—13—15 лет. Иные бригадиры жалуются на текучку кадров, а я такой заботы в жизни не знал.

Но это вовсе не значит, что в нашей бригаде существуют только розовые конфликты хорошего с лучшим, что у нас совершеннейшая благодать и остается лишь выдать каждому ангельские крылышки за счет стройкома.

Самые обыкновенные люди приходят к нам. Никто их специально не подбирает и не подбирает, ни раньше, ни теперь. Так что разное случается.

Чего стоит, например, одна история, благодаря которой у нас на глазах поседел Хуснетдинов. Было это на Загородном шоссе. Я заводил угол — и вдруг смотрю, ко мне идет широким шагом милицейский капитан.

— Вы Затворницкий? Поговорить нужно.

Я попросил минуту обождать. Он отошел в сторону, курит и смотрит на меня испуганно. Установил я блок и докладываю ему: поступаю, мол, в полное распоряжение.

— Петренков Николай у вас работает? — спрашивает капитан.

— У меня.

— А сейчас он где?

— Домой отпросился. Тетка у него приезжает из деревни.

— Так вот, три часа назад Петренков ваш задержан на Варшавке с машиной, и в кузове ворованные отопительные радиаторы. Детали, как показал предварительный допрос, похищены с вашей стройки.

Вот так новость! Петренков пришел в бригаду недавно. Здоровый, широкой кости парень, работал неплохо. Но любил, как говорится, заводить волынку — то привязывал-

ся ко мне или Хуснетдинову, будто мы ему не все дни записываем, то еще по какой-нибудь выдуманной причине бывал недоволен, частенько ему хотелось получать больше, чем зарабатывал. Петренков ходил в тельняшке, и ребята прозвали его сперва «матросом». Но после того, как он себя лучше раскрыл, переименовали в «ловкача». Так за ним это прозвище и осталось. Тем более что он в избытке поставлял факты для подтверждения такой репутации. Капитан попросил позвать Хуснетдинова. Тот, конечно, и ведать не ведал об этих радиаторах. Только сделался меловым, как всегда в таких случаях. А капитан, видать, не очень верит Исхаку.

— Капитан,— сказал я,— Хуснетдинов врать не умеет. Если сказал, что ничего об этом не знает, значит, на самом деле не знает.

Капитан на меня посмотрел с некоторым недоверием: мол, все вы тут одним лыком шиты. Но я рассказал некоторые дегали из биографии нашей бригады, и капитан заметно подобрел.

Оказалось, что Петренков все утро к своей афере готовился. Заранее отпросился домой. Со своим дружком-шофером приготовил машину и, выбрав удобный момент, погрузил эти самые радиаторы.

Как же переживал этот случай Хуснетдинов! Можно было подумать, будто он сам украл радиаторы либо по крайней мере являлся в этом соучастником. На третий день я заметил у него в волосах седой клок.

— Что с тобой, Исхак? — испугался я.

Он ничего не сказал, только грустно посмотрел на меня.

Произошло это несколько лет назад, но мы эту историю до сих пор помним.

Или такой был случай. В день зарплаты один монтажник хорошо подпил с крановщиком. Наутро только я собрался снимать с него стружку, как он посмотрел на меня побито и говорит:

— У меня, бригадир, деньги пропали.

— А где они были?

— В чистом оставлял.

Чужих в нашей бытовке не бывает, значит, на кого-то из ребят тень падает. Но на кого? Не обыск же учинять.

— В другой раз умней будешь,— ответил я и парня предупредил: — Еще раз напешься, выгоним из бригады.

— Да чтобы я еще раз,— пообещал монтажник,— ни в жисть себе не позволю.

Домой мы ехали в одном автобусе, и монтажник, забывшись, вытацил из кармана десятку. У Саши Поботкина глаза на лоб.

— Ты же подонок! — сказал он.— Обворованного из себя представлял. Говори, откуда деньги? На всех тень бросил. Сойдем с машины — поговорим.

Похоже, Поботкин действовал не одним убеждением. Потому что на другой день монтажник пришел на работу с покривившейся скулой и шепнул Саше:

— Ну, у тебя и ударчик.

Я подумал-подумал и решил не мешаться в это дело. Уж больно позорно повел себя тот монтажник. Как выяснилось, он боялся жены и решил свалить вину за пропавшие деньги на товарищей. Заодно еще и в заначке десятку-другую заиметь.

Он и сейчас у нас в бригаде. А фамилию я его не называю, потому что, в общем, он стал человеком и подобных историй с ним больше не случалось.

Я специально отобрал острые конфликтные ситуации из тех, которые произошли у нас за много лет. Хотелось подкрепить фактами высказанную выше мысль о том, что никто не создает для нашей бригады тепличные условия. И если все-таки мы уже много лет идем впереди, то происходит это не само собой. Время от времени в бригаде меняются люди. Но дух коллектива, какой-то особый климат, атмосфера, что ли, приподнятая, которая сразу же бросается в глаза всем, кто знакомится с бригадой, остается и передается по традиции новичкам. Поэтому редкие у нас не приживаются.

Обо мне часто пишут в газетах. Фоторепортеры тоже охотней всего меня снимают, как я ни стараюсь их переадресовать. Но без всякого кокетства скажу — ничего я один без своих ребят не стою. А из всех заслуг, которые мне обычно присваивают, считаю

главным достижением то, что, похоже, сумел найти верный подход к людям и сколотить коллектив, создать в бригаде обстановку, в которой людям дружно работается и весело живется.

Более всего я дорожу мнением о себе моих товарищей. Помню, сперва они меня звали за глаза «бугром». А потом это прозвище как-то само собой уступило место другому: «большой». Когда я узнал об этом, то обрадовался так, словно получил еще одну награду.

По общественным и иным делам мне приходится порой оставлять на некоторое время бригаду. И я радуюсь, когда узнаю, что без меня дела идут так же, как и при мне. Уверен, что если бы по какой-то причине мне пришлось оставить ее совсем, то и тогда бы бригада продолжала греть. И кто-то другой, Хуснетдинов или Поботкин, вполне справился бы с бригадирской должностью.

И наши почины чаще всего — плод коллективного размышления. Помню, как-то задумались мы с Хуснетдиновым: все ли нами уже сделано для того, чтобы будущим новоселам лучше жилось в наших домах? Поговорили на другой день с ребятами и решили, что будем отныне выдавать новоселам вместе с ключами от квартир гарантийные обязательства-паспорта. Впрочем, я несколько упрощаю, ведь мы и раньше думали о качестве своей работы. И не только думали, но и делали немало.

С чего же это начиналось? Быть может, первый шаг мы сделали еще в юго-западном районе, когда ввели персональную ответственность за каждую смонтированную деталь. Воспользовались тем, что на заводах их стали маркировать, и распространили начатую в заводских цехах борьбу за улучшение качества сборных изделий на монтажные площадки.

Затем последовала другая интересная инициатива. Мы предложили принять на себя обязанности государственной приемочной комиссии и сдавать построенные корпуса непосредственно жилищно-эксплуатационным конторам. Разумеется, с гарантией.

В предпусковые дни на большинстве тогдашних строек можно было наблюдать безрадостную картину. Со всех сторон кричат: «Давай!», «Жми!». «Как-нибудь, лишь бы быстрее...»

Остановиться бы на минуту и задуматься над тем, что потом самим же придется все это исправлять. Так нет же, не до этого строителям. К ним уже мчится государственная комиссия. Большинство дефектов, которые она может обнаружить, известно наперед. Но строители попытаются скрыть все, что удастся.

Все заранее знают, что к акту о приемке будет приложена простыня с перечнем недоделок. Да и те, что удастся утаить, все равно выползут наружу. Глядишь, после такой успешной сдачи месяц целый придется вести вполсилы монтаж нового корпуса. Другая половина бригады остается на сланном доме и сводит концы с концами.

В общем, это нам надоело, и мы решили: будем сами себе контролерами, сами за все ответим. Конечно, был у нас план, как всего этого добиться. Я до сих пор жалею, что нам тогда не разрешили в полной мере провести эту идею в жизнь. Ведь позже так сдавало свои корпуса целое управление треста «Мосжилстрой».

В строительстве, как известно, все начинается с нулевого цикла. От него, точно от почтама, отсчитываются все расстояния. И если наврала нулевика, ошибутся и остальные.

Как мы раньше нули принимали? Придем и, даже не взглянув на них толком, начинаем свой путь вверх. Привычка такая была, да ждать результатов обмера и геодезических съемок чаще всего было некогда. Но тут мы прикинули, что от такой спешки больше теряем. И перестали брать непроверенные фундаменты. Оказывается, не ахти какой товар подсовывали нам нулевика. Мы держали марку, делали вид, что нам торопиться некуда, и терпеливо дожидались, пока нуль предстанет в достойном виде. Нулевика сперва поломались, попробовали на нас жаловаться, что развели мы, мол, волокиту на монтажной площадке. А после свыклись с нашими требованиями. Собразили, что самим дешевле обойдется, если сразу сделать как надо.

Так же и с остальными субподрядчиками поладили: с электриками, сантехниками, штукатурами, малярами и прочими. Стали друг для друга контролерами и большую

часть дефектов обнаруживали и устраняли задолго до прихода государственной комиссии.

От этого оставался уже один шаг до гарантийных паспортов. И мы сделали этот шаг на Нагорных улицах.

Впоследствии мне не раз приходилось в целях пропаганды объяснять истоки нашего почина. И всегда я начинал с того, что вот купишь часы в магазине за тридцатку и тебе вместе с ними выдают гарантию на год, а то и больше. Дом же обходится государству в сотни тысяч, а гарантии на него никакой. Разве это нормально?

Вот мы и решили, что будем вручать каждому из новоселов еще и персональное гарантийное обязательство. «Если в течение года,— торжественно обещали мы,— в какой-либо из квартир обнаружится тот или иной изъян, то бригада, виновная в нем, немедленно и без оплаты устранит тот дефект». Из обязательства новосел узнавал, кто мы есть, находил в нем наш адрес и телефон и как бы получал приглашение потрясти нас, если что в его доме окажется не так: плохо пригнаны плитуса или паркет, неплотно прикрываются оконные рамы, отстают обои, появляются пятна и разводы на потолках. Так нашим главным контролером становился сам новосел.

Мне приходилось слышать, как в иных бригадах нас после этого стали называть чудаками. Дескать, сами ищем на свою голову приключений, будто их без того в нашем деле не хватает. Но я уже говорил, что вижу в этом немалые выгоды и для строителей.

Новоселу, получившему гарантийный паспорт, было достаточно знать, какая бригада допустила брак в работе. Дальнейшие подробности его не интересовали. Зато они интересовали нас. Ведь чаще всего в дефектах бывает повинна не вся бригада, а один или несколько строителей, причем сплошь и рядом даже не из монтажной бригады, а из коллектива наших субподрядчиков, так называемых смежников. Словом, полностью устранить обезличку возможно лишь в том случае, если бригадиру точно известно, что конкретно сделал каждый рабочий.

В сборном домостроении долгое время слабым местом оставались стыки между панелями и блоками. Обычно каждый стык конопатила вся бригада «гуртом». Начиная одна из работниц. Продолжала тот же стык другая. А заканчивала третья. Попробуй дознайся потом, кто из них повинен, что шов прохудился и потек под осенним дождем. Заделывать его приходилось всем вместе. Теперь мы сказали работницам:

— Получай стык и сама забивай его паклей от подошвы и до макушки.

Первое время я сам много крутился около стыков и на всякий случай пугал девчат:

— Смотрите, девчата, у меня в книжке все записано. Полнейший ажур с учетом. В случае чего нависите после в люльке как бракоделы.

— Эй, бригадир,— скажет, бывало, Анна Митина или Прасковья Валетова.— Тrepаться выучился, а условий не создаешь. Сам конопать такой паклей.

В меня летели пучки колючей и жесткой, как солома, пакли, сплошь из сорной травы кострики.

Что делать? Я девчат утешал, а сам выбирал парня понадежней, который мог постоять за себя, и посылал его с этой паклей на завод.

Штукатуры после новых перемен тоже поуменьли. Уже не забивали швы чем попало, а подбирали цемент требуемой марки с необходимой добавкой.

Судьбу первого в столице дома с гарантийным паспортом государственная комиссия вопреки традиции решила не в пустой квартире, а посреди двора при изрядном скоплении жителей.

— Как оценим фундамент? — спросил председатель.

— Твердое «хорошо», — сказал один из членов.

— Монтаж стен?

— Тоже «хорошо».

— Перекрытия?

— Тоже...

В общем, дом был принят на «ура». И вдруг в этот мажорный строй врубилась скептическая фраза жителя соседнего корпуса.

— Повезло мужикам,— сказал он про будущих новоселов.— Огребли на год гарантию. В случае чего душу можно вытряхнуть из строителей.

Как видите, новосел больше уповал на гарантийный паспорт, нежели на авторитет комиссии и монтажников, хотя дом собирала известная и уважаемая бригада.

Но прошло немного времени. Выданы были уже гарантии примерно на полсотни корпусов, и мы явственно ощутили, как выросли в глазах новоселов, вошли в авторитет.

Впрочем, вскоре и другие тресты стали давать гарантии на свою продукцию. Такие отношения строителей с эксплуатационниками и жильцами просуществовали несколько лет. Но что-то теперь о них не часто вспоминают. А ведь в условиях экономической реформы есть прекрасные возможности материально стимулировать высокое качество, выделить необходимые средства для выполнения гарантийных обязательств...

Но мне пора заканчивать эту часть рассказа. Поэтому скажу только об одном важном событии в жизни моей и моих товарищей, которое как бы подводит итоги этого этапа. Я имею в виду Указы 1963 года о награждении строителей Москвы. Списки открывали Ламочкин и Масленников, которым было присвоено звание Героев Социалистического Труда. Среди награжденных орденами и медалями я тоже нашел немало знакомых. Обнаружил и свою фамилию. Меня отметили орденом Ленина. В общем-то, предполагал, что попадем в Указ — так много мы сделали за последнее время в столице, и слышал к тому же, что наградные листы уже посланы. Но все равно радовался и волновался не меньше, чем в первый раз. Ведь это орден Ленина, высший орден.

7

Невеселым был повод, собравший нас под одной крышей на этот раз. Смотрю вокруг: стоят мои бывшие учителя и давнишние знакомцы-каменщики: Королев, Леонтьев, Якутин, Устинов. Много и монтажников: Масленников, Мизонов, Павел Смирнов и другие. Вiju и инженеров из трестов, из главка.

Печально льется над залом дома культуры «Созидатель» траурная мелодия Шопена. На высоком постаменте задрапированный в красное гроб, утопающий в цветах. Много венков с лентами, чуть ли не от всех московских строительных организаций. Одна за другой встают у гроба смены почетного караула. Встаю в караул и я. С моего места мне хорошо видно лицо покойного, но я все еще не могу поверить, что не придет он больше к нам на стройку и не раскатится по этажу его густой окуающий бас.

Сегодня мы хороним нашего товарища, старейшего из знаменитых столичных каменщиков Петра Семеновича Орлова. Еще раз все увидели, как много друзей было у покойного. А я подумал, что все мы, каменщики, и монтажники, и инженеры, так или иначе испытали на себе его влияние, многое переняли от него и многому научились.

— Разве это не выражение нашего общественного строя,— сказал у гроба Орлова товарищ из нашего парткома.— Рядовой каменщик сделался провозвестником научной организации труда на стройке. Стал лауреатом Государственной премии.

— Наш земляк был Семеныч, из села Порецкого,— прибавил к этому Леонтьев.— У нас вся деревня по такому делу, каменщики мы все. А он из нас первый был. Самолечно миллион двадцать кирпичей уложил. Не меньше. Если составить их вместе и перевести на квадратные метры, получится стоквартирный дом. Сколько рекордов поставил Семеныч, но больше себе в заслугу засчитывал, что тысячу других каменщиков хоть части своего умения научил.

После похорон помянули мы, как полагается, Петра Семеновича, поговорили о том, что он любил и что не любил.

— Памятник ему из кирпича полагается,— говорил за столом Леонтьев.— Своими руками его сложу.

Но вскоре разговор наш незаметно повернулся от смерти к жизни.

— Я в спутнике тружусь, в Зеленограде,— похвалился Леонтьев,— дома там ставим Москве на зависть.

— Где вам с Москвой равняться? — живо возразил Якутин — Спутники вы и есть, отраженным светом пробавляетесь.

— А я, ребята, на старости лет в Монголию прокатился,— вмешался в разговор Устинов.— Город посередке степи строил. Ихних ребят с мастерком и кельмой знакомил. Ничего, сообразительные малые.

— Да, идут годы,— вздохнул Королев.— Жизнь на месте не стоит.

Незадолго до этого он вышел на пенсию и еще привыкал к своему новому положению.

Так они и вели разговор в привычной для себя манере, знакомой мне еще по дому на улице Горького, будто не разлучались мы и не было за плечами прожитых лет...

Но жизнь шла своим чередом. На стройках появилось огромной важности новшество — экономическая реформа. Наше управление переводилось на новую систему планирования и экономического стимулирования в числе первых в столице.

Не буду излагать суть реформы, кто сейчас этого не знает. Расскажу о наших конкретных делах. Новый счет бережливости мы открыли с традиционного источника — экономии материалов. Разумеется, для нас это вечный источник, мы и раньше этим делом занимались, но теперь приступили к решению той же задачи с новых позиций.

Процентов восемьдесят с лишним в стоимости материалов составляет у нас сборный железобетон. Это не кирпич и не раствор, сборные детали экономить куда сложнее.

— Меньше, чем нужно, на дом не поставишь,— скептически отнесся к нашей идее Саша Поботкин.

— Оно так,— подтвердил Щербина — Только мы их не меньше, а больше с завода берем. Нам с тобою брак суют, а мы его принимаем и вешаем себе на шею. Добренькие мы с тобой, Сашка. И складываем детали, где придется, а потом таскаем их с места на место. Да будь он хоть грижды бетон с железом, все равно у него ребра захрустят.

— Святые слова, Тимофеич,— поддержал я его.

С моего благословения Щербина долго путешествовал по площадке, соображая, как лучше и верней принимать и хранить детали. При этом он пребывал в отличном настроении — сам в своем доме наводит порядок.

Предложенный Степаном Тимофеевичем план меня, в общем, устроил. Но я увидел и некоторые недосмотры.

Щербина (характер у него корявый — если упрется, бульдозером с места не своротишь) то и дело закипал в ответ на критику. Но все же, когда и для этих деталей были найдены почти идеальные места, остыл и согласился. Долго мы с ним лазили по площадке, выбирая, куда перекинуть площадные марши, где пристроить капиталки. Когда все заводские конструкции стали раскладывать в строгом порядке, отпала нужда в «избыточных поставках». А результат наших со Щербиной дебатов получил в соответствующих печатных источниках имя: «Опыт образцового складирования и хранения деталей промышленности».

Доля остальных материалов не превышала у нас пятнадцати процентов. Однако теряли на них еще больше, чем на бетоне. Взяться и тут каждую копейку считать. Именно копейку. Раньше-то мы этим не слишком много занимались. В ходу были лишь кубометры, килограммы, штуки. А ведь для любого, не только для монтажника, это куда менее ясные категории, нежели рубли и копейки.

Словом, взглянули мы на старое по-новому. И уже не только бригадир или звеньевые проявляли интерес к сохранности материалов. Как-то шел я по этажу и заметил, что молодой плотник примеряется к доске-трехметровке, хочет отхватить от нее малую часть. Я было собрался втык сделать, но Поботкин меня опередил. Положил ему руку на плечо и ласково сказал:

— Не по правилам играешь, голубчик. Для этого обрезки имеются. Еще замечу, без разговоров с поля удалю.

Так мы сберегали государственные, а значит, и свои деньги. Остается добавить, что с переходом на новую систему планирования и экономического стимулирования выполнение норм выработки возросло у нас на тридцать процентов...

Переезжали мы на очередную стройку не совсем обычно. К этому времени бригада впервые обзавелась недвижимостью. Впрочем, не знаю, годится ли тут это слово. Какая же это недвижимость, если к ней колеса приделаны. И вся она запросто кочет с места на место на прицепе у бульдозеров или на трейлерах.

Я имею в виду новые наши бытовки. Ведь раньше как было: уже стройка кончалась и надо на новое место перебираться, а бытовки еще не сданы. Да и делали их огромными: человек на двести, попробуй устройся в такой удобно.

А теперь у каждой бригады появился свой вагончик. Новшество очень для нас подходящее. А если поглядеть на него с точки зрения экономической реформы, то оказывается — за два года оно сберегло только нашему управлению сто тысяч рублей. К этому придется приплюсовать еще хорошее настроение и иные немаловажные факторы, которые всегда несет с собой хорошо устроенный быт.

Кран сгрузил бытовки, расставил их на отведенном месте, и мы приступили к освоению нового района Коньково — Деревлево.

Тут самое время сказать о том, что вскоре я был избран депутатом Моссовета. Должен заметить — это звание было мною добыто в буквальном смысле собственными руками. Округа, в котором баллотировалась моя кандидатура, на предыдущих выборах не существовало. Он состоял исключительно из новых домов, и немалую часть их построила наша бригада. Об этом писалось в расклеенных повсюду листовках с моей биографией. Говорили об этом избирателям и агитаторы. Как видите, по сравнению с другими кандидатами мое положение было несколько более сложным. И все-таки избрали меня почти единогласно — значит, не так уж плохо мы строили.

В установленные дни я вел прием. Обращались ко мне главным образом с просьбами о предоставлении жилья. Тогда я еще не умел отличить тех, кто действительно нуждался в помощи, от прочих, полагая, что смогу облагодетельствовать всех разом. Собрал грудю заявлений, двинул с ними в Моссовет. Там мне напомнили, сколько мы ежегодно вводим жилья и как растет число новоселий, напомнили, что квартир у нас ровно столько, сколько мы их построили. Сказали и о том, что существует строгая очередность на предоставлении жилья, которую никто не вправе нарушить. Так я по-новому ощутил смысл слов о том, что жилищная проблема — самая острая. Конечно, это не помешало нам детально разобраться с каждым из заявлений и помочь, кому можно было.

Что и говорить, нелегко принимать по жилищным делам: словно самому себе отказываешь. Но если уж приперло у человека, то приходится порой в лепешку расшибиться — но помочь.

Но не только с жильем приходят к депутату. Однажды ко мне явился немолодой уже человек с руками металлста и пожаловался на строительные недоделки. По-винна была в них, к счастью, не наша организация, — схалтурили ребята из соседнего управления.

Попросив у металлста перечень недоделок, я просмотрел его и сказал решительно:

— Примем немедленные меры!

— Хорошо бы. А то я уже сколько хожу. Сам бы сделал. Так ведь стыки, черт в них поймет.

— Темное дело, — подтвердил я.

На другой день после смены мы с Хуснетдиновым, захватив необходимые инструменты и материалы, отправились по указанному адресу.

Открыла нам женщина.

— Мы по поводу недоделок, — объявил я.

— Иди, Ваня, опять комиссия, — устало позвала она мужа.

Хозяин узнал меня.

— А-а, товарищ депутат! Прошу к столу. Пока суд да дело, чайком побалуемся, — засуетился он.

— Благодарим, — отказался я. — Чаек потом

Раскрыли мы чемоданчики и без долгих разговоров принялись за дело.

— Да что вы, ребята, — смутился хозяин. — Это я так. Я ведь к вам только за содействием.

— Зачем же мне бумаги писать по этому поводу? — бодро ответил я — Трудное это для меня дело. Самому легче исправить.

Хозяин надел комбинезон и принялся нам помогать. Через два часа с недоделками было покончено. Завершилось все это угощением, и нам с Хуснетдиновым пришлось слегка нарушить известную заповедь.

А наутро я приготовил своим коллегам счет за произведенный ремонт, попутно высказав все, что я о них думаю. В ответ получил официальное письмо, в котором сообщалось, что виновные строго предупреждены, что намечено организовать курсы по повышению квалификации и создан общественный пост по контролю за качеством.

Пришлось мне как депутату выполнить и коллективную просьбу товарищей по работе. У нас тогда с заданием плохо получалось. Главк гнал все средства и силы на вводные объекты, не думая о закладке фундаментов. Последствия подобной «забывчивости» мы могли легко предвидеть — после жестокого новогоднего штурма окажемся у разбитого корыта. Вот мне и было поручено внести по этому поводу запрос самому начальнику «Главмосстроя». Наказ избирателей — святое дело. Собрал нужные данные и отправился на прием. Начальник встретил меня нерадостно.

— Работал бы лучше, — посоветовал он, узнав о цели моего прихода. — А твоя бригада вкалывает, а ты слоняешься по коридорам. Своим умом надо жить, а не под-казчиков слушать.

— А я своим и живу, — ответил я. — Если нулей не дадите, одна нам дорога — в мичуринцы, груши околачивать.

— Ладно, вызову кого надо, — пообещал начальник. — Иди, иди, работай.

— Значит, обещаете? — переспросил я. — А то неудобно. Я же от избирателей...

— Помогу, помогу.

Вскоре после этого меня увидел управляющий грестом и сокрушенно попросил:

— Ты не ходи к нему больше, а то еще хуже получается. Все равно мне же по зубам попало.

Я выглянул в окошко. В некотором отдалении от монтируемых коробок вгрызались в землю экскаваторы и кран разгружал фундаментные плиты.

— Черт с ними, с зубами, — сказал я. — Зато с нулями будем.

— Так-то оно так, — болезненно скривился управляющий...

Разумеется, депутатская деятельность моя не исчерпывалась только этими делами. Я был членом градостроительной комиссии и участвовал в подготовке важных для нашего города решений. Возглавлял группы депутатов, проверявших качество строительства.

Я пробыл в звании депутата один срок, а потом коммунисты столицы избрали меня членом горкома партии.

8

Сдвинуты в сторону столы. Вдоль стен проектного зала — подрамники с красивыми рисунками, схемы, планы, таблицы. Руководитель восьмой мастерской Института типового и экспериментального проектирования Натан Абрамович Остерман, которого я хорошо знаю еще по девятому кварталу, приглашает садиться.

Гаснет свет, и на стене, меняясь один за другим, появляются цветные диапозитивы. Сперва общий вид. Два шестнадцатизэтажных корпуса, перегнутых посередине, будто раскрытый альбом в обложке из стекла, бетона, металла. Между этими корпусами плашмя положен третий, на крыше его плещется озеро.

— Новый тип кровли, — поясняет Остерман, — и вместе с тем источник свежести и прохлады, приятный для глаза вид.

Это дом нового быта, который будет строиться в экспериментальном квартале 10 «С» Новых Черемушек! Для краткости его называют ДНБ. Есть у него и еще одно имя — «каракатница», которое навеяно объемно-пространственным решением комплекса и пришлось особенно по вкусу журналистам.

В какой-то мере я был уже наслышан об этом готовящемся эксперименте, в котором должны были решаться как социальные, так и архитектурно-гидростроительные проблемы. О нем говорили на пленуме горкома партии.

Конечно, такой комплекс представляет интерес для всякого строителя. Но для меня он значил нечто больше. Ведь строить его собирались поручить моей бригаде.

Шелкнули выключатели, и в зале сделалось снова светло. Переходя от подрамника к подрамнику, Остерман как бы вел нас по будущим корпусам. Проектировщики разместили в них 1756 квартир на одного, трех и четырех человек. В отличие от других домов планировка квартир не была заданной раз и навсегда. Внутренние перегородки складывались, как меха у гармони. За какие-то доли минуты можно было превратить комнаты в просторный зал, а потом так же легко вновь поделить их.

— Кухонь в квартирах не будет совсем,— продолжал Остерман,— их заменят кухонные шкафы, двухконфорочные электроплиты, вмонтированные в стену, мойки, полки и небольшой холодильник. Передние сократятся в размере даже по сравнению с привычными типовых домов.

«Начинается»,— испугался я, адресуясь к бывшему своему опыту. Но Остерман как бы предвидел наши сомнения и постарался тут же опровергнуть их. Оказывается, на каждом этаже предусмотрена столовая на 10—15 мест с небольшой кухонькой, в которой пища будет приготавливаться из полуфабрикатов. На повара придется не более шестидесяти едоков, и он сможет учесть их вкусы, привычки. Кроме того, в общественном блоке кафе-ресторан с зимним садом и домовая лавка с отделом кулинарии.

Более половины всей площади предназначалось для помещений общественного назначения: домашней поликлиники, двух клубов (один — с научно-техническим уклоном, другой, как это говорится, из мира прекрасного), детской, в которой можно будет оставить детей на попечение нянь. Всевозможные холлы и помещения для курильщиков, столовые, помещения бытового назначения щедро разбросаны по всему дому.

Общественный центр дoзвeршался библиотекой-читальней, спортивным залом, который легко трансформировался в киноконцертный, плавательным бассейном, мастерскими для любителей — столяров, слесарей, электриков и т. д.

— А как со стоимостью? — спросил я, ошеломленный столь необыкновенной щедростью архитектора.

— Стоимость одного квадратного метра полезной площади,— ответил Остерман,— окажется примерно той же, что в других домах. Советские архитекторы и ученые,— продолжал он,— планируют поэтапное изучение типа жилищ будущего на дистанции до 2000 года, и дом нового быта — лишь малая частица этой проблемы. Он не претендует на безусловность решения. Наряду с исследованием перспектив развития жилища, домов с так называемой развитой системой обслуживания в эксперименте на первый план выдвигается его социальная сущность — создание особой психологической атмосферы, способствующей воспитанию чувства коллективизма, гражданственности.

— Не рановато ли принимаемся? — выразил опасение кто-то из присутствующих.— Когда еще такой быт на поток поставим?

— Не столько рано, сколько поздно.— убежденно произнес Остерман.— При огромном размахе жилищного строительства в нашей стране у нас еще крайне мало поисковых работ.

Меня подкупала энергия и решительность, с которой авторы атаковывали давно осточертевший всем так называемый домашний быт, и теперь еще отнимающий уйму времени, особенно у женщины. Но в глубины социальных проблем, связанных с этим экспериментом, я тогда лезть не стал, потому что гораздо больше меня увлекла архитектурная часть проекта ДНБ, вообще весь комплекс вопросов, связанных с монтажом здания. На это были свои причины. Вот уже много лет мы монтировали сборные типовые дома, и, в общем, они мало отличались один от другого. Те же серии, элементы, та же технология. Мы достигли высоких темпов в их монтаже, неплохого качества. Однако мне и моим ребятам хотелось попробовать свои силы на интересном индивидуальном объекте, где все будет в первый раз: непривычные конструкции, современные материалы, неожиданные технические решения.

И вот, как бы в награду за свое долготерпение, мы получили крупный индивидуальный объект. Да еще какой. Ребята сразу же загорелись. А я решил на всякий случай их поугаать:

— Непривычные конструкции, сжатые сроки, заведомая неэкономичность, уменьшение заработков.

— Перебьемся,— ответил за всех Поботкин.

Рационализаторская работа уже давно стала моим своеобразным хобби. Не давали скучать бризу и мои ребята. За семь лет они внесли более четырехсот предложений.

В общем, архитекторы не зря приглашали нас в соавторы. Ребята сразу в такой раж вошли, что впору было на них недоузки набрасывать. Только и слышал вокруг: «Тут поменять надо и тут тоже...», «А по-моему, так верней...», «Переменить бы местами»...

Корпуса, как известно, проектировались индивидуально, но это не освобождало авторов от заботы о том, чтобы максимально использовались индустриальные детали. Видимо, в погоне за сборностью авторы предусматривали, что этажи будут перекрываться плитами заводского изготовления. Но едва я взглянул на чертеж, как тотчас понял, что ничего хорошего от этого решения ждать не приходится. Плиты имели сложную конфигурацию — ни один из заводов таких деталей не выпускал и за них не возьмется. Так и случилось. Авторам пришлось менять сборный бетон на монолитный. Но в нашем случае монолит тоже не сулил ничего, кроме лишней мороки. Пришлось бы подавать бетон наверх, ставить на каждом этаже подпорки, сколачивать сложную опалубку, и все это ради перекрытий, которые будут спрятаны от человеческого глаза.

— Может, свой полигон откроем? — предложил я Натану Абрамовичу. — И сборность соблюдаем, и от монолита уберемся.

Выглядело это экспромтом. Но прежде чем сказать Остерману эти несколько слов, мы в бригаде несколько недель думали, перебирали различные варианты, пока не остановились на этом. Дело в том, что прежде мы уже создавали подобные полигоны. Правда, задачи их были проще. Но раз выходило тогда, выйдет и теперь, решили мы.

Получив от авторов «добро», тут же приступили к созданию на площадке собственного небольшого завода. Плотники сколотили деревянные щиты и, пригнав их друг к другу, составили из них форму, повторяющую точь-в-точь будущее перекрытие. В нее заливался жидкий бетон, вставлялись строповые кольца также собственного производства. Качество оказалось отличным.

Не буду рассказывать о других наших поправках к проекту, чтобы не перегружать повествование технологическими подробностями. Уточню лишь, что только за год мы сберегли на этой стройке более тридцати тысяч рублей.

В общем, монтировали мы эти корпуса себе в удовольствие. Но у дома нового быта была одна большая беда — полная незащитность перед строительным начальством. У строителей полным-полно заранее запланированных «пожаров»: каждый год двенадцать раз месяцы кончаются, четыре — кварталы, про конец года уже не говорю — всякий знает, что это такое. Кроме того, есть еще праздники и прочие знаменательные даты. Мимо них тоже так просто не пройдешь. Это я все вел речь о так называемой периодике, «пожарах», повторяющихся из года в год. А ведь, кроме того, «пожары» и без плана занимают. Сыплется на голову нашего начальства будто из рога изобилия директивы и распоряжения об ускорении и убыстрении... Выворачивайся как хочешь. Все срочно, все немедленно, только с одним новым бытом как будто можно подождать.

Я недаром повел речь о «пожарах». Когда работаешь на объекте и там начинается «пожар», он как-то не так заметен. Просто приходится прибавить в скорости и смекалке, только и всего. А вот на ДНБ мы познали московские «пожары» во всей их прелесть. Началось с того, что Исхак Хуснетдинов поднялся ко мне на четвертый этаж и как бы между прочим произнес:

— Завтра на Загородное шоссе поедем.

— Может, ненадолго? — спросил я с некоторой надеждой.

· Но Исхак и тут меня не утешил.

— Так кран велели валить,— только и сказал он.

Ну, если и кран еще валить, то это уж надолго. И точно — два месяца мы монтировали «горящий» девятиэтажный корпус. Наконец снова валим кран и перебираемся обратно на ДНБ.

Собираю ребят перед сменой и такую примерно начинаю речь. Коль нам не дают на ДНБ спокойно работать, должны мы наше руководство перехитрить. А хитрость наша может быть лишь одна: скорей поднять этот самый дом нового быта. Ребята полностью меня поддержали, заметив, правда, при этом, что бригадир у них слишком хитрый стал.

Так сообща и хитрили. Добрались до десятого этажа. И снова ласковый голос снизу (на этот раз начальник участка) ко мне взывает: «Эй, Затворницкий, спускайся». — «Куда теперь?» — «В Беляево-Богородское». — «А кран?» — спрашиваю. «Валить будем».

«Пожар» в Беляево-Богородском был затяжным — предновогодним. Но мы особо не роптали: сами понимали — годовой план надо выполнить. Москвичи, можно сказать, сидят на чемоданах, ждут, когда мы поставим «горящий» корпус.

Кажется, как раз с этого «пожара» послали меня лечиться в Карловы Вары. Поездка эта совпала с важнейшим событием в моей жизни.

В то утро я проснулся, как всегда, рано. Отпил из стакана местной минеральной воды и стал собираться на процедуры. Вдруг длинно и прерывисто зазвонил телефон. Я удивленно снял трубку: «Кто бы это мог быть?»

— Владимир Андреевич? — спросил из трубки мужской голос. — «Вечерняя Москва» вас приветствует.

У меня отлегло от сердца. Интервью по телефону. Это я могу.

— Владимир Андреевич,— продолжал журналист.— Мы только что заслали в набор Указ о присвоении вам звания Героя Социалистического Труда. Ставим на первую полосу. Все вас поздравляю.

Я слушал его и не знал: верить или нет. Правда, еще до поездки я слышал stories, что представляли меня на Героя. Как ни таится начальство, а в таком деле всегда происходит утечка информации. И все же не верилось.

— Что бы вы хотели передать москвичам в связи со своим награждением? — последовал вопрос.

— Разве с ходу сообразишь? — ответил я, волнуясь.— Передайте всем мою великую благодарность. Бригаду поздравьте. Это их заслуга. А ответ мой известный: будем строить быстрее и лучше.

Из Москвы пришло много телеграмм: из горкома, главка, треста, от ребят, от Масленникова, от Полины с Людкой и другие. Я получил поздравительный адрес и от пильзенских строителей.

К этому же времени относится памятное для меня заседание пленума городского комитета партии. Я сидел в зале и внимательно слушал сперва доклад, потом прения. Сам я на пленумах еще ни разу не выступал. Как-то все не решался. Но вот на трибуну вышел наш начальник главка, с которым у нас и до этого не раз происходили крутые диалоги на текущие строительные темы, и сказал, что на стройках столицы не хватает десяти тысяч рабочих. Взять их в Москве неоткуда, уверял он, и просил разрешения пополнить городские монтажные и прочие подрядные организации за счет набора в других областях.

Накануне пленума я как раз изучал этот же самый вопрос. Готовил для горкома профсоюза материалы об укомплектовании строек кадрами. «Нужно поделиться своими выводами,— подумал я, слушая выступление начальника главка.— Заодно и остальное выскажу, что давно накипело. Насчет снабжения, штурмов, дорог и прочих наших бед». Написал записку с просьбой дать слово и пустил ее по рядам в президиум. Меня почти сразу позвали к трибуне.

— Вот вы просите еще десять тысяч человек,— начал я.— А они у нас есть. В среднем на стройках столицы каждый день не выходит на работу по болезни пят-

надцать тысяч строителей. Проверка, произведенная горкомом профсоюза, показала, что значительная часть этих больничных листов — результат невнимания к бытовым условиям на производстве, халатного отношения руководителей строительно-подрядных организаций к охране труда и технике безопасности.

Глотнул из стакана воды и продолжал в том же духе, пока не выпалили все приготовленные заряды. Когда сходил с трибуны, мне дружно хлопали. В перерыве начальник главка нашел меня и обиженно проговорил:

— Что? Нажаловался на начальство и доволен. Не мог ко мне с этим зайти?

— Так заходили,— напомнил я.— Сколько раз к вам из горкома профсоюза с этими вопросами заходили. А вы не реагируете.

— Можешь быть спокоен, теперьотреагирую,— ответил начальник.

Стройка ДНБ между тем медленно, но упорно подвигалась. Как-то после очередного нашего возвращения с «пожара» к нам наверх поднялся Остерман и, удовлетворенно потирая руки, проговорил:

— Скоро, Володя, комиссию будем звать.

Потом задумался и прибавил:

— Помнишь, как мы с тобой впервые строили в девятом квартале дома с отдельными квартирами Большой бой пришлось тогда выдержать. Как это отдельные, говорили нам, когда такая нужда в жилье? К чему такая роскошь? А сейчас это уже не роскошь, а норма. Может, и время домов нового быта ближе, чем мы полагаем?

Натан Абрамович Остерман казался бодрым и энергичным, был полон полемического задора. Откуда было знать, что я в последний раз вижу этого известного архитектора, с которым много поработал вместе, и что скоро появится его портрет в траурной рамке. Не довелось ему увидеть свое последнее детище, поднявшееся в полный рост.

Как раз в эти месяцы бригаду долго не срывали с ДНБ. Я уже думал, что пробуду на этой стройке до конца. Однако нам удалось подняться лишь до четырнадцатого этажа, и заканчивали ДНБ уже другие бригады. В разных районах появились новые прорывы, и нас, как водится, бросили туда. Недаром наши ребята смеются — мы мастера прорыва.

9

Еще неделю назад здесь был пустырь. У края оврага сиротливо коробились оставленные жильцами одноэтажные бараки. Ничто не нарушало покой этих мест.

Тишина разорвалась мгновенно. Собравшись с силами, город начал еще одно наступление в сторону кольцевой дороги — на этот раз в направлении Чертанова. Оно развивалось широким фронтом и было, говоря военным языком, эшелонированным в глубину. Сначала город выплеснул из себя бульдозеры, грейдеры и экскаваторы. Они пробили по целине первые дороги. Затем потянулись, словно ходы сообщения, неглубокие узкие траншеи. Люди в брезентовых робах начинали их трубами и кабелями. В этом планомерном и стремительном натиске и в самом деле было нечто от военной организованности.

Там и тут зажелтели глинистые котлованы. Экскаваторы расширяли их, черпая полной горстью тяжелый грунт и с гулом обрушивая его в железные корыта самосвалов.

Следом за «нулевиками» во втором эшелоне двинулись мы, монтажники. Надежный панелевозный мост связывал нас с тылами — конвейерами мощных заводов, с которых непрерывно сходили стены, перегородки, потолки и другие части домов.

Чертаново стремительно набирало высоту. И вот уже я стою на четырнадцатом этаже. Отсюда хорошо видно, как развивается наступление. Уже не одни самосвалы и панелевозы тянутся по широкой бетонной полосе, связывающей Чертаново с городом. Я вижу мебельные фургоны, грузовики со шкапами, кроватями, телевизорами. Подтягивается третий эшелон — новоселы. И на месте недавней передовой мирно покачиваются детские коляски, скачут верхом на палочках мальчишки, старательно чертят свои класы девочки. И первые деревца выпускают клейкие листочки там, где вчера была вздыбленная и развороченная земля. На отвоеванных у пустыря территориях занимается новая жизнь.

Многое нужно для того, чтобы она оказалась устроенной и удобной. Об этом позаботится четвертый эшелон. Школы, детские сады, ясли, гастрономы, поликлиники — конечно, проектировщики предусматривают все это в точном соответствии с существующими сегодня нормами. И пусть они не столь щедры, как в ДНБ, этого было бы вполне достаточно, если бы не застревал в дороге четвертый эшелон.

Но в Чертанове и этот отстающий эшелон немножко подтянулся по сравнению с прежними временами. Я вижу красивые и светлые школьные корпуса, аккуратные годки для дошкольников. Их-то мы на этот раз сдали когда полагается.

Радуюсь и расправляю плечи. Но тут же мрачней. Смотрю в одну сторону, в другую. Пока еще редковато попадаются на глаза вывески магазинов, аптек, столовых. Все же подзадержалась изрядная часть четвертого эшелона, растянулась в пути, забуксовала. Но я верю, на этот раз ненадолго.

Что бы там ни говорилось, а мы не стоим на месте. Ведь каждая следующая большая стройка начинается с того места, на котором завершалась предшествующая. С высоты мне хорошо видны и каждый отдельный дом, и все они вместе, как видят их на макетах маститые члены градостроительного совета при Главном архитектурно-планировочном управлении.

Дома как бы повзрослели, прибавили в росте, раздались в плечах, распрощались с подростковой угловатостью и неоформленностью. Дома сделались солидными, основательными. И достигается это не возвратом к отвергнутой моде на «монументальность» и помпезность, а средствами современной архитектуры, строгими, лаконичными и вместе с тем содержательными.

Стало больше разных домов. И хоть главенствуют среди них «девятиэтажки» из вибропрокатных панелей, засилье этих зданий не столь ощутимо, как в былых одноразмерных пятиэтажных застройках. Вон впереди устремились ввысь 14-этажные башни из серого шероховатого керамзитобетона. Для них найдены отличные пропорции. В хорошем ритме решен фасад: лоджии, фонари, лестницы, отделка панелей.

С высоты семьсот первого этажа, с высоты пройденного опыта далеко видать. С такой высоты можно заглянуть в прошлое, увидеть и будущее.

Было время — Москва начиналась подмосковными деревушками, огородами, глухими заставами, полосатыми будками и деревянными шлагбаумами, одноэтажными кабаками и трактирами. Позже, уже в наши годы, на окраинах выросли разрозненные поселки, колонии неказистых оштукатуренных и деревянных барачков. А между ними были пустыри, свалки, овраги, железнодорожные подъездные пути.

Сейчас все это сводится к единому знаменателю, собирается в единый большой и современный город. Новая Москва начинается не с окраин, а с проспектов: Ленинского, Пролетарского, Волгоградского, Севастопольского, Кузюзовского. И уже не окраины уступают центру в комфортабельности, коммунальных удобствах, внешнем облике, благоустройстве, а, наоборот, центр — окраинам.

Есть у зодчества одно неоспоримое преимущество. Оно само пишет свою историю деревом, камнем, бетоном, стеклом. Впрочем, преимущество ли это? Быть может, совсем наоборот, тяжкая ноша и колоссальная ответственность не только перед живущими, но и перед будущими поколениями. Как поют парни из ансамбля архитекторов «Кохинор»: «Не исправишь, что испортил, что построил, не сломать...»

Да, разное таит в себе красноречивая немота московских камней. На Беговой улице стоят маленькие дома с садиками. Не думайте, что это наследие далекого прошлого. Появились они уже в советское время по некоему проекту города-сада. Его авторы не подумали о том, что для осуществления их затей площадь Москвы пришлось бы увеличить в десятки, а может, и сотни раз. Были и другие странные проекты. Однако не этими вывихами определялось развитие столицы в советский период. Москва с самого начала развивалась как социалистический город.

Работа над планом реконструкции Москвы началась еще при жизни Ленина и по его личному указанию Весной 1918 года через несколько дней после переезда Советского правительства в Москву Владимир Ильич пригласил к себе известного архитектора Ивана Владиславовича Жолтовского и выслушал его доклад об основной идее этого плана. Она заключалась в том, чтобы развивать новое жилищное

строительство в юго-западном направлении — в район Воробьевых гор, Новодевичьего монастыря, где господствуют ветры, дующие с полей, где самый здоровый климат, самое высокое место и много лесов. Ленин согласился с идеей плана и уделил большое внимание озеленению города.

А два года спустя Ильич выступил перед депутатами Московского Совета и говорил о том, что столица должна стать примером для всей страны. Он поставил задачу очистить Москву от грязи и запущенности.

Ильич заглядывал далеко вперед, и многие из его мыслей о новой Москве осуществлялись уже на моих глазах и при моем участии. Мы выполнили ленинский завет и превратили свой город в один из самых чистых и благоустроенных.

Но, пожалуй, значительней всего итоги жилищного строительства. Всего лишь три года нужно нам сейчас, чтобы возвести столько квартир, сколько было построено за триста лет царствования династии Романовых...

С высоты только что законченного дома я вижу за леском бетонное полотно кольцевой автострады. Теперь она стала границей Большой Москвы, которая по своей территории впятеро превосходит Москву дореволюционную.

Я смотрю на нее и пытаюсь представить, каким станет мой город через десять, через двадцать, через тридцать лет. Мне довелось участвовать в обсуждении технико-экономических основ нового Генерального плана развития Москвы до двухтысячного года, знаком и с самим планом, который уже разработан.

Размах этого плана волнует меня, как, впрочем, и всякого другого москвича. Но, кроме того, я еще и строитель. И превыше всего меня, конечно, интересуют дома, которые придут на смену тем, что мы возводим теперь. Не могу сейчас в точности сказать, какими будут здания восьмидесятых годов. Окончательный ответ на этот вопрос дадут новые градостроительные эксперименты, уже заложенные в натуре: квартал 10 «С» Новых Черемушек, экспериментальное строительство в районе Тропарева. Знаю только, что будет соблюдено чувство меры, жилой дом не будет стараться переплюнуть соседа своей высотой, пренебрегая целесообразностью и экономикой. Новый план отдает преимущество девятиэтажной жилой застройке. А дома в четырнадцать — шестнадцать и более этажей будут возводиться на основных направлениях с учетом градостроительных и экономических соображений.

И еще одна деталь, которая многое проясняет в облике будущих домов. Выпущен каталог унифицированных индустриальных деталей, на основе которых могут быть созданы здания, различные по количеству этажей, конфигурации, протяженности, внутренней планировке. Кажется, приходит время и для красоты, которую все мы, причастные к строительству, так долго и упорно откладывали на потом.

Впрочем, дом восьмидесятых годов не вывести из одних сегодняшних представлений о нем. Для этого потребуются изрядная работа воображения. Но я не тороплюсь, потому что своими глазами увижу Москву восьмидесятых годов и буду ее строить. Мне сейчас сорок один год. Это же прекрасный возраст для человека, для строителя...

Так думал я, стоя на крыше своей очередной новостройки. Тем временем мои ребята готовились к переезду, прибирали крышу, снимали временные ограждения, складывали инструмент. Работа была нехитрая, и ребята позволили себе расслабиться. Но тут я вижу: зашевелились они побыстрее да постарательней. Не начальство ли к нам пожаловало? Нет, это Исхак Хуснетдинов появился на крыше и ведет за собой молодого паренька. Новичок пришел в бригаду, и ребята мои хотят показать ему, что они не умеют прохладиться.

Хуснетдинов приблизился:

— Принимай новичка, Владимир Андреевич.

— Приму, коли не шутишь.

— Вы Затворницкий? — спросил новичок, ничуть не робея перед начальством. — Здравствуйте, я вас знаю.

— Откуда же ты меня успел узнать?

— Мы вас в училище проходили, — ответил паренек.

— Как зовут? — спрашиваю.

— Володя.

— Выходит, тезки мы с тобой. В каком году родился?

— В пятьдесят первом.

Я быстренько прикинул: где я тогда был? Вроде бы на Песчаных. Кажется, я там и детскую колясочку видел, голубенькую такую, с брезентовым верхом.

— Москвич? — спросил я. — Где родился?

— В Сокольниках. А что?

— Да так просто, — а сам подумал: жаль, конечно, мог бы ты, Володя, родиться в пятьдесят первом году в том самом доме на Песчаной, который я для тебя построил. Вполне приличный получился бы конец для моего очерка.

— Что там движется? — спросил я.

— Панелевоз марки НАМИ-790.

— И что же он везет?

— Блоки фриза БВ номер 24, но это нерентабельно. Едут с недогрузом. — И поглядел на меня с укоризной: чего это я задаю ему столь примитивные вопросы.

— А катали что такое — знаешь?

— Что-то древнее, — ответил Володя с улыбкой. — Мы этого не проходили.

— Древнее, говоришь? — вмешался Хуснетдинов. — А я вот эти тачки, между прочим, своими руками на этажи закатывал. Выходит, и я древний?

— Так я не про вас. — Володя смутился лишь на мгновение. — Вы с тех пор, наверно, сами переквалифицировались?

— Он бы в пионеры хотел переквалифицироваться, — хохотнул Поботкин, — да возраст не позволяет.

— Если ты такой грамотный, тогда скажи, — продолжал Хуснетдинов, — как рассчитать планировку внутри квартала?

— Это сложно. Тут компьютеры нужны.

— Ишь ты, — восхитился Борис Лисов — Он и про компьютеры знает.

— Ну а как с выбором? — спросил я. — Окончательно решил на верхотуре обожноваться или только в гости пожаловал?

— В институт убежит, — засмеялся Поботкин. — Такую он на своем компьютере программу жизни рассчитал.

— Об институте пока не думаю. Вот и ваш бригадир институтов не кончал.

— Оказывается, ты меня в самом деле проходил? — снова удивился я. — А как мою дочку зовут? Такого вопроса вам на экзамене не задавали?

— Это только про космонавтов сообщают, — живо парировал Володя.

— Тогда правильно его завербовали, — заключил Хуснетдинов. — Хороший вербовщик — это, брат, великое дело.

— Что такое вербовщик? — удивился в свою очередь новичок.

А я подумал не без зависти: с компьютерами он запанибрата, а что такое вербовщик — слыхом не слыхивал. И подумалось, что парень обоснуется в бригаде, будет строить не только Москву восьмидесятых годов, но и увидит ее на рубеже веков.

Мы помолчали, смотря вдаль и любуясь неповторимой панорамой столицы. Великий город жил и обновлялся. Нельзя дважды увидеть одну и ту же Москву: каждый день, каждый час в ней рождалось что-то новое.

— Трогаем, ребята! — скомандовал я своим.

Мы спускались вниз для того, чтобы снова начать путь вверх, приступить к монтажу семьсот второго этажа.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

И. И. СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ

★

ПЕРЕД ОКТЯБРЕМ

Иван Иванович Скворцов, принявший литературный псевдоним Степанов, родился 24 февраля (8 марта) 1870 года под Москвой в семье мелкого конторского служащего.

После окончания учительского института за революционную пропаганду И. И. Скворцов-Степанов был выслан в Тулу. Впоследствии в ответах на анкету X съезда партии Иван Иванович на все вопросы, связанные с началом партийной и пропагандистской работы, ставил всюду одну и ту же дату — 1896 год. Это была переломная веха в жизни молодого революционера.

Близко знавший Ивана Ивановича с юношеских лет В. Д. Бонч-Бруевич вспоминал, что после II съезда партии в Женеву к В. И. Ленину из далекой Сибири пришла весть о том, что И. И. Скворцов-Степанов — «твердый, последовательный большевик». «Я сейчас же сообщил об этом Владимиру Ильичу, и он очень обрадовался, что такой теоретически образованный товарищ, испытанный социал-демократ, встал на позиции большеинства».

До конца дней своих И. И. Скворцов-Степанов оставался верным большевиком-ленинцем. Путь его был сложным: ему доводилось ошибаться, в частности по аграрному вопросу. Ленинские критические замечания сыграли решающую роль в его дальнейшей работе.

В годы, предшествовавшие Октябрьской революции, И. И. Скворцов-Степанов проделал огромную работу, ставшую одной из главных заслуг его перед партией. Он перевел на русский язык «Капитал» Карла Маркса. В. И. Ленин считал этот перевод лучшим из всех тогда имевшихся.

С первых же дней Февральской революции И. И. Скворцов-Степанов — в боевом строю московских большевиков. Он — редактор «Известий Московского Совета», член Военно-революционного комитета. О своей работе в Москве Иван Иванович рассказывает в публикуемых ниже воспоминаниях, которые начал писать в 1925 году по предложению Истпарта — Комиссии ЦК по истории партии и Октябрьской революции.

Период, который описывается в воспоминаниях, был заполнен развернутой пропагандистской работой московских большевиков. Это были месяцы, когда большевистская партия взяла курс на мирное развитие революции. В мемуарах И. И. Скворцова-Степанова воссоздана обстановка, в которой большевики пропагандировали свои взгляды, завоевывали массы.

Положение в Москве после победы Февральской революции было своеобразным, сложным. К концу мая 1917 года из семисот депутатов Московского Совета двести тридцать были большевиками. Однако фракция большевиков, самая крупная, уступала по числу депутатов эсеро-меньшевистскому блоку. В то же самое время в районных Советах влияние большевиков было гораздо сильнее, чем в Моссовете. Прошедшие летом 1917 года выборы в Городскую думу показали, что за большевиками шла самая передовая, политически сознательная часть как пролетариата Москвы, так и ее воинского гарнизона. Но многие трудящиеся города еще переживали мелкобуржуазные иллюзии, шли на поводу у эсеров и меньшевиков.

Воспоминания И. И. Скворцова-Степанова рисуют нелегкую, кропотливую, полную героических будней революционную деятельность московских большевиков. Особенно трудные дни настали, когда реакция перешла в наступление после расстрела июльской демонстрации в Петрограде.

Воспоминания И. И. Скворцова-Степанова печатаются с некоторыми сокращениями. Рукопись воспоминаний хранится в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Автор намеревался продолжить свои мемуары, довести их до победы Великого Октября. К сожалению, ему этого не довелось сделать.

На II Всероссийском съезде Советов И. И. Скворцов-Степанов по предложению В. И. Ленина был назначен народным комиссаром финансов, но приступить к своим обязанностям не смог ввиду сложившейся в Москве обстановки.

В годы гражданской войны И. И. Скворцов-Степанов руководит издательством «Коммунист», Госиздатом, много пишет. Его научно-популярная книга о плане электрификации страны вышла с предисловием Владимира Ильича.

Замечательные качества большевика-ленинца И. И. Скворцов-Степанов проявил и в дальнейшем, когда он, выдающийся партийный публицист, начиная с 1924 года становится одним из руководителей советского газетного дела. Сначала Иван Иванович назначается членом редколлегии «Правды», а с мая 1925 года и до конца жизни работает ответственным редактором «Известий».

Одновременно с газетной и пропагандистской работой И. И. Скворцов-Степанов в последние годы жизни руководил Институтом В. И. Ленина, был одним из редакторов Большой Советской Энциклопедии, основателем журнала «Новый мир». Иван Иванович видел этот журнал литературно-публицистической трибуной в первую очередь тех писателей, которые воспевают новый, нарождавшийся тогда социалистический мир, которым дороги ростки будущего в сегодняшних буднях.

Скончался Иван Иванович Скворцов-Степанов 8 октября 1928 года. Похоронен он на Красной площади в Москве.

Советская общественность отметила в марте 1970 года столетие со дня рождения И. И. Скворцова-Степанова.

Публикацию подготовили Н. Д. Черников и Ю. П. Шарпов.

I

К омиссия по истории РКП прилагает особые усилия для того, чтобы получить возможно больше воспоминаний о событиях 1917 года. Всякий пожелает ей полного успеха. Но многие усомнятся, удастся ли ей получить более ценный материал, чем были получены к первой и ко второй годовщинам октябрьского переворота.

Нелегко отдаваться воспоминаниям в наступающее время, когда каждый месяц, а иногда и неделя изменяет всю мировую обстановку, хотя изменяет ее все в одном и том же направлении. Вся жизнь складывается так, что некогда вспоминать прошедшие времена и в особенности некогда писать о них. А вытягивать их из памяти удается не без труда. Вся теперешняя обстановка до такой степени не похожа на условия, существовавшие в конце 1917-го и в первой половине 1918 года, что только после значительного напряжения памяти удается перенестись к временам, когда мы были еще так наивны, так неопытны и так слабы от недостатка не только внутренних сил, но и доверия к собственным силам.

Мне думается, что есть еще причина, почему воспоминания непосредственных участников таких огромных событий, как октябрьские 1917 года, часто оказываются очень отрывочными, несколько бледными и не особенно содержательными. Эту причину я установил из разговоров со многими товарищами. Конечно, моменту действия, выступления всегда предшествует большая внутренняя работа. Приходится преодолеть сомнения, взвешивать доводы за и против, опять колебаться, опять раздумывать. Вся партия и каждый ее член проходят через эту полосу сомнений и колебаний. Но вот наступает момент действия, выступление началось. Всякий член партии занимает свое место и действует. И выходит это таким образом, как будто действует не он, а что-то действует в нем и через него. Внутренний счетчик подвел итог, получается какой-то удивительный, своеобразный автоматизм в действиях. Встречаясь с новым положением, работник быстро принимает решение — без сомнений, без колебаний, даже как будто без обдумывания. И обычно шаги, принятые в таком состоянии, оказываются правильными — необходимым политическим или стратегическим выводом из того большого решения, которое уже принято партией и усвоено всеми партийными работниками.

Но как раз потому, что шаги предпринимаются быстро и сознание совершенно не задерживается на них, они не оставляют длительных следов и быстро улетучиваются из памяти. Впоследствии, когда другие участники событий напоминают о них, память начинает работать и в смутных очертаниях восстанавливает прошлое.

II

Я не знаю, удастся ли мне еще когда-нибудь засадить себя за воспоминания. Поэтому воспользуюсь случаем и начну свой рассказ не с сентябрьских, а с мартовских событий и даже с еще более раннего времени.

К концу 1914 года в Москве возникла небольшая группа, в задачи которой вошла борьба против социал-патриотических настроений, распространяемых меньшевиками. В эту группу входили М. С. Ольминский, П. Г. Смидович, С. Н. Смидович, В. П. Милютин, В. П. Ногин, В. А. Обух, В. И. Яхонтов и я¹. Собирались мы у Смидовича, Е. К. Малиновской² и Обуха. Из дальнейших резолюций, которые должны были послужить канвой для агитаторов и пропагандистов, и из статей, которые мы писали, кажется, некоторые были только отбиты на машинке в количестве десяти — двадцати экземпляров. Попытки теснее связаться с рабочими и попытки самих рабочих создать Московский комитет неизменно кончались провалами. По-видимому, виновником этого был главным образом разоблаченный в 1917 году провокатор Жорж (Романов).

Заграничная большевистская литература доходила до нас в малом количестве и с большим запозданием. Вся она быстро передавалась рабочим и зачитывалась до того, что превращалась в клочья.

Меньшевики могли открыто выступать с пропагандой своих воззрений. Так, например, к осени 1915 года В. Левицкий³ сделал определенно оборонческий доклад в Юридическом собрании. Ему возражали Знаменский⁴, Смидович и я. Из возражавших дальше всего «зарвался» П. Г. Смидович. Он очень недвусмысленно сказал, что рабочий класс должен противопоставить империалистической войне революцию и что нашим требованием было и остается Учредительное собрание.

У меня до сих пор стоит в ушах тот веселый хохот, которым разразились кадеты и меньшевики обоего пола, переполнявшие зал. Стоит ли, мол, серьезно относиться к такому безнадежному сумасброду! Эвона он куда махнул!

У меньшевиков скоро появился оборонческий журнал «Дело», они выпускали свои и переводные оборонческие брошюры. У нас ничего не было. И тем не менее мы ясно видели, что решительное большинство рабочих не на их стороне. Не скрою, мы с большой радостью узнавали, что рабочие не хотели признать за меньшевиками исключительного права на свободу слова и шумной демонстрацией, а затем массовым уходом прервали осторожно-оборонческую лекцию Кафенгауза⁵.

Осенью 1915 года мне удалось получить разрешение на прочтение нескольких лекций в Народном доме на Семеновской улице (близ Таганки). Я назвал их «Из истории торговли». Это были лекции об империализме торгово-капиталистической эпохи. Аудиторию составляли исключительно рабочие. Впоследствии я убедился, что они хорошо поняли мои намерения: лекции о старом империализме укрепляли их в оценке империализма промышленно-капиталистической эпохи.

¹ М и л ю т и н Владимир Павлович (1884—1938) — член КПСС с 1910 года, экономист, заместитель председателя Коммунистической академии, в 1918—1921 годах — заместитель Председателя ВСНХ. О б у х Владимир Александрович (1870—1934) — член КПСС с 1894 года, врач по профессии, в 1919—1929 годах — заведующий Московским отделом здравоохранения. Я х о н т о в Валериан Иванович (1877—1926) — член КПСС с 1917 года, член редакции большевистской газеты «Наш путь», член Малого Совнаркома, с 1922 года — член коллегии Народного комиссариата юстиции.

² М а л и н о в с к а я Елена Константиновна (1875—1942) — член КПСС с 1905 года, член исполкома Московского Совета, секретарь художественно-просветительного отдела Моссовета, комиссар московских театров, директор Государственного академического Большого театра (1920—1924, 1930—1935).

³ Под этим псевдонимом, а также под псевдонимом Г. Ракитин выступал публицист В. О. Цедербаум (р. 1883), брат Ю. О. Мартова.

⁴ З н а м е н с к и й Андрей Александрович (1886—1943) — член КПСС с 1909 года, в мае 1917 года — член МК партии, в октябре 1917 года — заместитель председателя Благущее-Лефортовского ВРК; в годы гражданской войны — член Реввоенсовета 10-й армии.

⁵ К а ф е н г а у з Лев Борисович (1885—1940) — экономист и статистик, член партии кадетов, после Октября — начальник Центрального отдела статистики ВСНХ (1920—1930).

«Легальные возможности» для большевиков осязались самые жалкие. Тов. Ольминский редактировал орган печатников и бил войну, выясняя обостряющуюся экономическую разруху, к которой она привела. Но, как выяснилось в 1917 году, через орган печатников до Ольминского стали добираться провокаторы (Николаев и др.), которые, впрочем, довольно быстро возбудили его подозрения.

Мы все стремились продолжить дело, которое наши товарищи начали за границей. Нас парализовала, однако, мысль о цензуре и полный недостаток денежных средств. Большевики при их линии, столь приятной для «культурного общества», по этой части не знали стеснений: издатели — и издатели с хорошими капиталами — были к их услугам. А мы были в таком положении, что приходилось не только писать статьи, но и добывать средства в порядке «самообложения» — урезок из своих очень и очень скромных заработков.

В таком порядке нам удалось напечатать в Саратове сборник «Под старым знаменем», авторами в котором были члены московской группы и, кроме того, из саратовцев — Г. И. Ломов (Опкоков). Великим ободрением для нас было, когда мы узнали, что заграничные товарищи, и прежде всего Ленин, правильно оценили условия, в которых мы работаем, самым сочувственным образом отнеслись к нашему сборнику и обещали свое участие в дальнейших.

Удача со сборником «Под старым знаменем» окрылила наши мечтания. Все чаще стали возвращаться к мысли поставить периодическое издание, добыв на него средства из выручки от сборника и от повторных «самообложений». На этом деле с нами хотели связаться питерцы Ольминский, хорошо знакомый с питерскими отношениями, с самого начала почувствовал тревогу: не припутался ли к этому делу Лютеков (Черномазов, Мирон)¹, который по деятельности в «Правде» был для него окончательно выясненным человеком. К счастью, от нас не скрыли, что за литературными планами Питера действительно стоит Черномазов Ольминский и я ультимативно поставили вопрос: мы будем участвовать под неременным условием полного отстранения Черномазова. Дело расстроилось, так как питерец, который приезжал к нам, в то время еще не раскусил Черномазова.

С конца 1916 года Ольминский повел подготовительные шаги к постановке нелегальной печатной техники. Уже в 1917 году, по раскрытии охраночных архивов, стало известно, что вся наша группа была взята под самое тщательное наблюдение и что, если бы не революция, мы все скоро послужили бы материалом для большого пропеца.

III

Числа с 25 февраля мы начали получать сведения о разворачивающейся в Петербурге революции. Е. Д. Кускова² каждый день сообщала мне по телефону, что ей передавали из Питера, а я немедленно передавал Смидовичу, Ольминскому, своей сестре в Люблин. Передачи имели сжатый, почти телеграфный характер. События разворачивались так быстро, что, передавая о них по телефону, я раз-другой натолкнулся на недоверие: уж не шучу ли я шутики?

28 февраля московские трамваи стояли. К вечеру мне пришлось сделать пешком хороший конец: от Смоленского рынка к Чистым прудам и обратно. На обратном пути, часов в семь, я часто встречал большие группы солдат, перемешавшихся со штатской публикой. Схватывая на быстром ходу отдельные замечания, я убеждался, что речь идет о событиях в Питере. Кое-где начали останавливать и забирать автомобили. Москва отдикалась. Это бесконечно радовало меня, «патриота Москвы» с 1905 года.

Придя домой, в Трубниковский переулок, я узнал, что назначено собрание нашей

¹ Черномазов — провокатор, с мая 1913 года по февраль 1914 года — секретарь редакции «Правды». В 1917 году разоблачен как секретный сотрудник Петербургского охранного отделения.

² Кускова Екатерина Дмитриевна (1869—1958) — буржуазная общественная деятельница и публицист, в середине девяностых годов сблизилась с группой «Освобождения труда», но вскоре встала на путь ревизии марксизма. В 1922 году была выслана за границу, где стала одним из самых активных деятелей белой эмиграции.

группы на квартире Смидовича. Квартира мне сильно не понравилась: за последнее время и она и сам Смидович в своих передвижениях были под явным усиленным надзором. Но делать было нечего: солидных квартир вообще не было в распоряжении большевиков, с начала войны двери последних солидных квартир захлопнулись перед ними.

Едва выйдя из дома, я увидел, что за мной следует несомненный «хвост» в виде маленького человечка в большой бараньей шапке. Прodelал некоторые «контрольные опыты». Да, дело ясное. Дошел до Арбата. Здесь улыбнулась удача: с остановки как раз двинулся трамвай в Дорогомилово. Вспрыгнул на моторный вагон, увидел, что «хвост» вскочил на прицепной, и, рассчитывая, что он пойдет на переднюю площадку, чтобы следить за мной, разыграл комедию, будто ошибся номером трамвая, быстро пошел вперед и соскочил на довольно быстром ходу. Пропустив трамвай мимо себя, я убедился, что никто не прыгнул следом за мной. Мой «хвост» проследовал в Дорогомилово, а я, радуясь удаче, свободный от провожатых, пошел по Плющихе к Смидовичу.

Здесь я узнал, что решили собраться и уже собираются на другой квартире, у В. А. Обуха. К нему, кроме постоянных членов группы, пришли, между прочим, Г. К. Голенко¹, Землячка и двое рабочих, представители только что возникшего Московского комитета.

Мы еще не успели обменяться новостями и приступить к делу, как нам сообщили, что товарищи требуют кого-нибудь из нас в помещение Земско-городского союза в Камергерском переулке. Никто не знал, для чего мы понадобились и кто, собственно, нас вызывает. Предположим, что кадеты ищут контакта с нами. Решили отправить меня. Я быстро изложил линию, которой намерен держаться, и с большой неохотой ушел, как мне думалось, от настоящей работы на бесплодные разговоры.

После долгих блужданий по огромным и пустым — было уже часов одиннадцать ночи — помещениям Земгора я наконец встретился с запоздавшими М. В. Буровцевым, А. А. Додоновой, П. И. Кушнером², двумя членами Московского комитета и еще двумя-тремя товарищами, фамилий которых я не знал. Меня засадили писать наказ для членов возникающего Совета рабочих депутатов и соответствующее воззвание.

Я закончил работу часам к четырем утра и обязался в наступающий день первого марта сидеть на квартире, выжидая, пока меня не поставят на определенную работу.

Часов в пять-шесть вечера Ольминский по телефону известил меня, что сейчас за мной придет автомобиль и отвезет на Маросейку, в помещение Земгора, где я получу определенное назначение.

Действительно, вскоре перед моей квартирой появился большой грузовик, переполненный вооруженными солдатами и вызвавший сенсацию во всем переулке.

Я, жена и ее две подруги, которые искали революционной работы, с трудом протискались среди солдат, переполнявших грузовик. Солдаты у бортов стояли, опустившись на колени и грозно взяв винтовки наперевес. Солдаты в середине, как и мы, вынуждены были стоять, так как из-за тесноты нигде было присесть, и столь же грозно сжимали винтовки в руках. Но я убежден, что эта странная подвижная крепость оказалась бы беспомощной перед нападением пяти-шести хладнокровных стрелков: ее экипаж, или гарнизон, был слишком велик для того, чтобы сражаться.

По Арбату двигались толпы публики, больше всего было солдат и рабочих. Чем

¹ Голенко Георгий Константинович (1872—1942) — член КПСС с 1905 года; с 1915 года — член Московского комитета РСДРП, после Февральской революции заведовал издательством большевистской газеты «Социал-демократ», был членом ее редколлегии, после Октября — на партийной и советской работе.

² Вуровцев Михаил Васильевич (1889—1954) — после Октября заведующий отделом труда в Моссовете, член коллегии МОНО, в 1921—1922 годах — заведующий отделом национальных меньшинств ЦК РКП(б); в 1923—1924 годах примыкал к троцкистской оппозиции, в 1937 году исключен из партии. Додонова Анна Андреевна (1878—1969) — член КПСС с 1903 года, в 1917 году — в штабе Красной гвардии (в Моссовете). Кушнер (Кнышев) Павел Иванович (1889—1968) — член КПСС с 1905 года, активный участник Октябрьской революции, член исполкома Моссовета (сентябрь 1917 года), публицист, профессор Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова.

ближе к центру, тем гуще становились они. Начиная от здания Думы, автомобиль еле тащился, подавая нескончаемые гудки. От Лубянской площади вниз широким потоком стройно лились армейские части с наскорю сделанными красными флагами. Были здесь и орудия.

На Маросейке — помнится, дом № 7 — я разыскал Ольминского, Землячку, Голенко, Соловьева и после недолгих переговоров по телефону получил предложение: ехать в типографию «Русского слова» (Тверская, 48) и войти в редакцию «Известий Московского Совета».

Внизу, дожидаясь автомобиля, я встретил сбегавшего сверху Плескова¹, который, едва поздоровавшись, яростно набросился на меня: «Уймите вы ваших большевиков». Тогда я не знал партийной окраски Плескова и по некоторым встречам и признакам считал его за кадета. Поэтому, нисколько не интересуясь, чем провинились в его глазах мои товарищи, я насмешливо ответил ему в тон: «Подите уймите ваших кадетов».

Напрасно воображают, будто только период пролетарской диктатуры восстановил меньшевиков против нас. Они с самого начала были настроены воинственно во всех отношениях: и в международных и в межпартийных делах.

Редакция «Известий» помещалась в глубине владения Сытина, в верхнем этаже того дома, где помещается наборная и машинное отделение, и занимала крохотный уголок огромного грязного стола, сколоченного из толстых досок, промасленных, прокопченных и насквозь пропитанных типографским металлом.

Кроме меня, в редакцию входили еще М. М. Попова², с мужем которой, В. С. Поповым³, я раньше неоднократно встречался по партийным делам, и Светлов-Кац, сделавший впоследствии лидером советской группы эсеро-максималистов.

На лестнице и в нижней комнате стояла большая охрана: человек двадцать солдат. Она не снималась в течение нескольких дней. Я не знаю, от чего она должна была и могла ли бы нас охранить. В типографию входили свободно, без всяких пропусков. Присутствие стражи увеличивало сутолоку и общую усталость и осложняло продовольственное положение, которое вообще было тяжелое. М. М. Попова как-то и откуда-то ухитрилась доставать хлеба и колбасы для общего продовольствия.

Трудно было работать. Мы были не только редакторами и единственными сотрудниками, но и выпускающими и корректорами. На первых порах приходили к нам студенты и предлагали свою помощь. Мы посвящали их в тайны корректорского искусства. Но через два-три часа молодой человек начинал скучать, открывал, что он должен отлучиться на короткое время, и уходил для того, чтобы больше не появляться. Было куда любопытнее летать на автомобилях с неопределенными поручениями и во всевозможных направлениях.

2 марта, часов в восемь утра, получив из-под машины первые экземпляры первого номера «Известий», я поплелся домой к Смоленскому рынку. В это утро и в следующие, идя домой после целой ночи писания и правки статей, я каждый раз видел, что молодые люди, так быстро и в таком неисчислимом количестве нахлынувшие на революцию, но потом столь же быстро отхлынувшие от нее, с веселым и деловым видом мчатся на автомобилях. И все редакторы находились в таком же положении, как я, — им некогда было найти ходы к средствам передвижения. Мне думается, что некоторые из этих бойких молодых людей, «первых работников революции», в непродолжительное времени доехали до Колчака и Краснова, а теперь пребывают у Врангеля.

Кажется, числа второго или третьего часов в десять ночи в типографию пришли взволнованные наборщики и рассказали, что с крыши большого дома у Никитских ворот стреляли спрятавшиеся там городовые и что сейчас была стрельба на Тверской и несколько человек ранено. Я пришел в бешенство и отвел душу в свирепой статье. А, Романовы еще топорщатся? Пора объявить их окончательно низложениыми!

¹ Плесков Владимир Абрамович (р. 1882) — после II съезда РСДРП меньшевик.

² Попова (Костеловская) Мария Михайловна (1878—1964) — член КПСС с 1903 года, в октябре 1917 года — в штабе Красной гвардии (в Моссовете).

³ Попов-Дубовский Вениамин Серафимович (1874—1942) — брат писателя А. С. Серафимовича, член партии, журналист, сотрудник газеты «Правда» со дня ее основания (в двадцатые годы — член редколлегии и заведующий литературным отделом).

Но в редакцию зачем-то зашел И. И. Егоров¹ и, просмотрев статью, заявил, что он — товарищ председателя Московского Совета и предлагает мне статью отложить, так как она идет дальше состоявшихся до того времени решений Совета.

Я не знал пределов своих полномочий и, несмотря на все старания, никак не мог связаться с товарищами. Пришлось статью «отложить».

Оставаясь в таком неопределенном положении, мы выпустили пять номеров.

IV

Начиная с шестого номера, «Известия» получили оформленную редакцию. Московский комитет выдвинул мою кандидатуру, и Совет назначил меня главным редактором. Благодаря Л. М. Хинчуку², который тогда был председателем Совета и постоянно всеми зависящими от него мерами укреплял мое положение, я получил совершенно исключительные полномочия: не пускать той или иной статьи, хотя бы за ее напечатание высказались два остальных редактора.

Эти остальные были избранниками меньшевиков и эсеров Совета. Меньшевики провели сначала Киппена³, который, однако, не мог работать в газете, и заменили потом Б. С. Кибриком⁴, который оставался в звании редактора до моего ухода, но фактически редко вмешивался в ведение газеты, притом по большей части не для предварительной цензуры, а для укоризны за напечатанное мною.

Редакция перешла в Капцовку. В одной из комнат, где был отдел связи и еще какой-то, нам отвели стол средней величины, который представлял и кабинет редактора, и помещение секретаря, и корректорскую, и контору, и т. д. Комната была всегда переполнена. Молодые люди обоего пола порхали в комнату и из комнаты, слонялись из угла в угол, сидели на окнах и столах, грызли подсолнухи, насвистывали, иногда хором исполняли «Марсельезу» и почти всегда о чем-то кричали и спорили до хрипоты в горле. Когда я спросил их, что они, собственно, делают, они вразумительно отвечали, что обсуждают, что и как им делать в дальнейшем. Не скажу, чтобы этот ответ уяснил мне смысл их толчеи в Капцовке в данное время.

Я легко примирился бы с существованием этих людей, обремененных обдумыванием, на что им употребить себя, если бы они не вторгались в редакцию. Но тщетны были все мои просьбы! То подлетает один и берет перо «на одну секунду» — и забывает возвратить его. То подсказывает другой и просит дать ему лист бумаги и т. д. На яростные заявления, что мой стол должны оставить в абсолютном покое, милые люди недоумевают, как это можно проявлять такое нетоварищеское отношение к ним.

Не удивительно, что в эти дни один из работников «Известий» дошел до кровохарканья и что все мы вздохнули легче только в начале апреля, когда перебраться в бывший генерал-губернаторский дом, в комнаты 27—28. В таких же условиях существовала первое время и редакция «Социал-демократа»⁵.

Таковы были первые шаги нозой рабочей печати.

«Известия» недолго печатались в типографии «Русского слова». Действие священных прав буржуазной собственности было приостановлено только на короткое время, пока существовала угроза со стороны феодально-окрашенной, чисто и непосредственно романовской контрреволюции. Упрочив Временное правительство и министерство Род-

¹ Егоров Иван Иванович — меньшевик, в мае 1917 года член президиума исполкома Моссовета.

² Хинчук Лев Михайлович (1868—1944) — в РСДРП с 1903 года, меньшевик; в большевистскую партию вступил в 1920 году; председатель Московского Совета, затем председатель правления Всероссийского центрального союза потребительских обществ, член ВЦИК.

³ Киппен Григорий Абрамович (р. 1881) — в 1917 году председатель МК РСДРП (меньшевик).

⁴ Кибрик Борис Соломонович — один из лидеров московских меньшевиков, член президиума Московского Совета.

⁵ «Социал-демократ» — газета, орган Московского бюро Центрального Комитета и Московского комитета РСДРП; выходила с 7 марта по 31 декабря 1917 года; вышло 246 номеров. В газете было напечатано 27 статей, речей и документов В. И. Ленина.

зянко, Гучкова, Львова, Милюкова, рабочий класс и массовое крестьянство в лице меньшевистско-эсеровских Советов начали разоружаться и возвращать оружие своим классовым противникам. Все наилучшие газетные типографии были переданы по принадлежности: «Русскому слову», «Русским ведомостям», «Утру России». После долгих и мучительных поисков Г. С. Егорэв, заведовавший технической частью «Известий», — теперь он тоже в могиле — остановился на типографии акционерного общества «Московское издательство» (Петровка, 26). Это была жалкая, сильно поношенная и потрепанная типография. При величайшем напряжении едва удавалось довести тираж газеты до 150 тысяч экземпляров, причем газета регулярно опаздывала к утренним поездкам, да и к московским газетчикам иногда поступала к полудню. Часто бывало, что печать получалась неопишимо грязная, и я, автор статей, с трудом разбирал, по докладке и воспоминанию, что напечатано. Несмотря на жалкий тираж, мы все время были под страхом, что придется сократить его еще больше. Мы знали, что Сытин, «Русские ведомости» и т. д., обладавшие огромными запасами ротационной бумаги, предусмотрительно законтрактовали все производство бумажных фабрик на большое время вперед. На рынке удавалось находить лишь ничтожные количества и очень скверной бумаги. А в это время буржуазные газеты пожирали целые горы бумаги. Несколько раз поднимался вопрос о разверстке наличного количества и будущего производства газетной бумаги, о нормировке тиража буржуазных газет на известном предельном уровне; но почти ничего не получалось от таких разговоров.

Еще тяжелее было положение «Социал-демократа», самые первые номера которого были встречены бешеным обстрелом всей буржуазной печати. С «Известиями», как органом Совета — учреждения, наводящего трепу даже неопределенностью своих политических притязаний и функций, — все же приходилось считаться, тем более что за Советом стояли все три главные левые партии. Напротив, «Социал-демократ» был одинок, как представляемая им партия, и со всех сторон наталкивался на нескрываемую вражду. С ним можно было не церемониться, против него можно было поддерживать газеты эсеров и меньшевиков.

При всем своем внешнем спокойствии и выдержке, теперь тоже покойный В. Н. Подбельский, заведовавший хозяйственно-технической частью «Социал-демократа», был всегда озабочен. Несмотря на его настойчивость и энергию, для «Социал-демократа» с явным презрением отвели типографию, которая никак не могла выпускать более 40—50 тысяч экземпляров газеты небольшого формата. Мало того: постоянно требовали, чтобы «Социал-демократ» очистил и эту типографию, которая была нужна для другой, более «полезной» газеты. По временам ненависть к большевикам доходила до пароксизма. Тогда назначали короткий срок для выселения. Ответ был один: на улицу не выселимся. Давайте другую типографию. Однажды назначили день, когда «Социал-демократ» будет выдворен принудительно. Редакция апеллировала к рабочим и заявила, что для защиты прав газеты на существование явятся две роты солдат. Это был довод серьезный, и противникам пришлось вернуться к прежнему душемотательному «честью просить». Никто не сомневался, что объединенные противники не упустили бы ни одного благоприятного для них случая и, как только условия позволили бы им быть посмелее, фактически уничтожили бы «Социал-демократа». Издавайте, мол, газету, мы ничего против этого не имеем. И не наша вина, что для вас не находится типографий.

Это гнусное лицемерие называется в буржуазном обществе «свободой печати».

Подбельский, Егорэв, редакция, все товарищи поставили ребром вопрос о приобретении собственной типографии: иного выхода тогда не предвиделось в сколько-нибудь близком будущем. Начались сборы. Они пошли хорошо. Сумма их считалась сначала десятками тысяч, а потом стала исчисляться сотнями тысяч. Сомневались, однако, чтобы мы, идя таким путем, сколько-нибудь быстро и удовлетворительно решили бы типографский вопрос. Получить машины из-за границы было невозможно, а в России, при громадном росте типографского дела, все сколько-нибудь сносное оборудование было захвачено капиталистической печатью.

Бумажный вопрос был для «Социал-демократа» еще тяжелее, чем вопрос типографский. Типография могла выпустить жалкое количество экземпляров, вышедших

притом до чрезвычайности поздно. Но и для такого количества бумаги не хватало. Приходилось еще больше сокращать тираж, чтобы отсрочить полное прекращение газеты. Но и так случалось, что газета не выходила по два-три дня вследствие отсутствия бумаги. В такие дни в наших кругах все волновалось: удалось ли выкурить газету из последней типографии? А противники не особенно скрывали свою радость.

Несколько раз Г. С. Егоров и В. Н. Подбельский прибегали к героическим мерам. Узнав, что на каком-нибудь складе имеются запасы бумаги, задерживаемой явно со спекулятивными целями, они, захватив с собою грузовики и товарищей-солдат, забирали бумагу и впоследствии рассчитывались за нее. Мы были такими отверженными и отпетыми и за нами числилось так много ужасных «эксцессов», что такие самочинные действия проходили, в общем, неотмеченными. К тому же «Известия» тоже были вынуждены время от времени добывать бумагу таким способом.

И на мелочах сказывалось, что «Социал-демократ» был парией газетного мира. Разносчики всех газет пользовались правом ехать на передней площадке моторного вагона. Подавляющее большинство трамвайных служащих и рабочих шло тогда за социалистами-революционерами. Осуществляя «свободу» печати, вагоновожатые и кондуктора попросту ссаживали газетчиков «Социал-демократа». И эсеры, которые теперь так распинаятся за свободу печати для контрреволюции, тогда ни словом не обмолвились в своих газетах, ни единой строкой не протестовали против бесправного положения рабочей печати.

Иногда не мешает напомнить о прошлом. По этому прошлому рабочие и крестьяне увидят, по каким свободам тоскуют капиталисты и их служащие.

V

В «Известиях» я не мог подвергать прямой критике программу и тактику меньшевиков и эсеров. Но в довольно широких границах я мог развивать чисто большевистские воззрения и критиковать противников, не называя, какую партию я имею в виду. У нас было ничем не нарушаемое согласие с товарищами из Московского комитета и Совета. Формально советскую, межфракционную газету они признавали фактически своей, большевистской газетой. Атмосфера полного товарищеского понимания удивительно повышала работоспособность.

Уже в марте поставлен был вопрос об особой комиссии, которая выработала бы аграрную платформу для Советов. Но уже в этом месяце я успел напечатать ряд статей, о которых Л. М. Хинчук, усмехаясь, отозвался, что они предрешили работу комиссии. Эти статьи, как и статьи по некоторым другим вопросам, напечатанные в «Известиях» за первые три месяца, впоследствии вышли отдельными книжками в нашем партийном издательстве.

Таким образом, у «Известий» за этот период существовал постоянный боевой союз с «Социал-демократом». Но наш общий тираж составлял каких-нибудь полтора-дваста тысяч экземпляров. Что значила эта величина по сравнению с полутора миллионами экземпляров «Русского слова» и не менее чем с миллионом остальных чисто буржуазных газет и с несколькими тысячами мелкобуржуазных, то есть эсеровских и меньшевистских?

Чем дальше шло время, тем иступленнее становилась травля, развернувшаяся на страницах буржуазных газет и их подголосков, против большевиков. Кампания превратилась в сознательно клеветническую. Заведомая ложь на миллионах листов каждый день пускалась в оборот среди публики. Не успевали мы высказать одну мысль, как ее сменяла очередная новая. Стены домов и заборов пестрели листками, которые рассказывали о резолюциях против нас, будто бы принятых на гарнизонных собраниях, которых в действительности никогда не было. Еще и теперь кое-где можно найти остатки этих листов — так много их было. Пронесшиеся по улицам и площадям автомобили, наполненные нарядами дамами и франтоватыми офицерами, разбрасывали и эти листки, и многие другие с бахвальством и угрозами Колчака, с погромным науськиванием на большевиков.

Запасы бумаги и типографские средства у этих господ были положительно без-

границы и неистощимы. Что мы могли поделать против этого похода лжи и клеветы с нашими газетами, при их крошечных тиражах и при отсутствии средств, бумаги и типографий для листовок и брошюр?

Когда я был на заседании исполнительного органа Совета — конституция последнего несколько раз изменялась, и я не знаю, как назывался в данное время исполнительный орган, — Л. М. Хинчук сообщил мне, что внизу собираются представители всех периодических изданий Москвы, чтобы договориться между собою, и что я должен принять участие в совещании как представитель «Известий».

Для меня было ясно, что источник лжи и клеветы — не плохая информация, а ловкая и довольно привычная политика наших противников. Так как шло заседание, то я торопливо и шепотом спросил Хинчука: «Я не буду с ними церемониться. Прямо скажу, что такое они». Хинчук, занятый ведением собрания, как потом выяснилось, не понял меня и утвердительно кивнул головой. А я после этого полагал, что получил вполне определенную директиву.

Спустившись вниз, я увидел, что представители почти всех московских газет уже в сборе. Председательствовавший П. Н. Малянтович¹ открыл собрание изложением его задач: наладить взаимное осведомление и хотя бы некоторое взаимное понимание, чтобы предотвратить дальнейшее падение литературных нравов.

У меня было несколько иное представление о литературных нравах этих господ. За семь-восемь лет до того времени в погоне за сенсациями московские газеты обратились к быту зарубежных и русских большевиков, которых они всегда ненавидели. Дождем посыпались глупые выдумки. Один господин — три копейки за строчку — старался перекозырять другого. Исключили из партии целый ряд товарищей, других поставили под угрозу исключения, назвали много имен, которые, собственно, не были псевдонимами и носители которых жили в России.

Я обратился в редакции некоторых газет с письмом, в котором указал на все неприличия их поведения, равносильного прямым услугам охранке, и на измышленность их сообщений. В конце письма я пообещал при первой же возможности заклеить их деятельность.

Некоторые газеты не унялись. На мое счастье, это была полоса, когда мы издавали в Москве газету типа еженедельника — я забыл ее название: слишком много бывало таких газет, недолговечных по вине властей. В этой газете я напечатал статью, в которой надавал жестоких оплеух этим низким наймитам: называл их приживальщиками капитала, выдумщиками-провокаторами, сотрудниками охранного отделения. Я считал своим долгом выступить за товарищей, лишенных возможности защищаться. Я заявил, что беру полную ответственность за эту статью, и подписал ее не псевдонимом, а своей настоящей фамилией. Экземпляры газеты были доставлены во все редакции.

Жалкие ничтожества промолчали — единственное, что они, накрытые со своими «добрыми литературными нравами», могли сделать.

Взяв слово после П. Н. Малянтовича, я в достаточно яростных выражениях напомнил всю эту историю и заявил, что не верю в плодотворность подобных совещаний. С этой публикой нельзя договариваться — напрасно думают, будто они преподносят свои измышленные сообщения по незнанию. Здесь идет борьба, и мы будем вести ее. Мы счастливы, что революция развязала нам руки, и на каждый удар мы будем отвечать ударом.

Трудно описать, что здесь поднялось. Все повскакали со своих мест, начались истерические выкрики, набрасывались на бедного Малянтовича за то, что он разом не осадил меня, — хотя, признаюсь, при моем тогдашнем настроении это было бы нелегко. Даже благочестивый Минор² утратил свой иконописный вид. Я достиг блестящего

¹ Малянтович Петр Николаевич (1870—1939) — адвокат, министр юстиции Временного правительства; после Великой Октябрьской социалистической революции — член Московской коллегии защитников.

² Минор Осип (Иосиф) Самойлович (1861 — ?) — член партии «Народная воля», в 1905 году редактировал газету «Новая жизнь».

результата: против меня все объединились, за исключением представителя «Социал-демократа» (помнится, это был Н. Н. Овсянников), который, заявив, что и он не видит возможности прийти к взаимному пониманию, вместе со мной оставил собравшихся.

Совещание было расстроено, точнее говоря — разбежалось: до такого белого каления были доведены участники.

Положение обострялось. Развязность клеветников все возрастала. Буржуазия не могла простить Советам вмешательства в деятельность Временного правительства и свержения нескольких министров. Газеты эсеров поддерживали ее низкие выпады, меньшевики в лучшем случае молчали.

Вынужденные соблюдать внешнюю видимость абсолютной «внефракционности», «Известия» не могли прямо вступить в бой с нашими противниками. Но мне очень хотелось сказать, что революция только что начинается и что она еще может найти совершенно другой язык. Это я постарался выразить своими статьями о Марате, которые начались в апреле, с пасхального номера «Известий», и впоследствии вышли брошюрой.

Я скоро убедился, что статьи дошли по адресу и были поняты. А когда с приходом Ильича разразился небывалый до того времени визг и вой, я в первомайском и ближайших номерах «Известий» закончил статьи и показал, что буржуазия всегда стремилась уничтожить истинных революционеров и передовых борцов эксплуатируемых классов, уверяя, будто они — агенты заграницы...

Непосредственным результатом для меня было то, что Б. С. Кибрик все чаще стал появляться в редакции и все чаще выражал огорчение по тому поводу, что не может целиком отгнуться редакционной работе. Я знал, что ищут заместителя, который был бы больше литератором, чем Кибрик, следовательно, мог бы больше писать и «соопределять» физиономию «Известий». А тут я еще начал серию статей, которые потом вышли в партийном издательстве под названием «Кто богатеет и кто разоряется от войны» и в которых показал, что Временное правительство продолжает военную и финансовую политику самодержавия. Кибрик и меньшевики в Исполкоме, не рискуя отрицать, что общая точка зрения этих статей правильная, говорили, что они «однобоко» выражают воззрения Совета, и требовали статей в защиту «займа свободы». Я отвечал, что не могу защищать то, что отвергаю. У меня получилось впечатление, что отношение московских меньшевиков к займу несколько хмурое и они, не представляя, как можно было бы пропагандировать его, предпочли бы сделать это чужим пером. Так и вышло, что в «Известиях» были официальные объявления о займе, но ни одной статьи в его защиту.

К маю удалось привлечь нескольких товарищей к постоянному участию в «Известиях» и к заведованию отделами. В «Известия» вошли Н. Л. Мешеряков¹, которого вызвал из Сибири, В. Н. Максимовский², тоже только что возвратившийся из ссылки, В. В. Оболенский-Осинский³. В отдел внешней политики я затащил В. П. Волгина⁴, объединенца в то время, с которым, однако, мы сразу сработались. Словом, большевики, которые с самого начала бросили много сил на работу в Советах, не щадили сил для того, чтобы надлежащим образом поставить «Известия».

У меньшевиков нередко обнаруживалась некоторая робость перед Советами. В

¹ Мешеряков Николай Леонидович (1865—1942) — член КПСС с 1901 года, главный редактор Малой Советской Энциклопедии, заместитель главного редактора Большой Советской Энциклопедии, член-корреспондент Академии наук СССР.

² Максимовский Владимир Николаевич (1887—1941) — член КПСС с 1903 года. Осенью 1913 года был членом редакции газеты «Наш путь»; подвергался арестам и ссылке. После Октября — на партийной и советской работе. В 1920—1921 годах входил в группу «демократического централизма», в 1923 году примыкал к новой оппозиции. После XIV съезда партии порвал с оппозицией.

³ Осинский Н. (Оболенский Валериан Валерианович) (1887—1938) — член КПСС с 1907 года; в 1921—1923 годах — заместитель наркома земледелия.

⁴ Волгин Вячеслав Петрович (1879—1962) — член КПСС с 1920 года, историк и общественный деятель; с 1918 года — профессор Московского университета по кафедре истории социализма; с 1930 года — академик.

период ликвидаторства они выдвинули идею «широкой рабочей партии», идею организации «сермяжных масс». Теперь перед ними была форма, наилучшим образом приспособленная к тому, чтобы втянуть самые широкие массы в революционную борьбу. Казалось бы, только радоваться. Но вместо того меньшевики, приставленные для надзора за моей деятельностью в «Известиях», в разговорах со мною не раз выражали тревогу. И этой тревоге они придавали характер опасений за судьбу партии: что станется с нею и к чему она вообще, если Советы делаются фокусом, в котором сосредоточивается политическая борьба? Не угрожает ли партиям растворение в массе и утрата всякой политической определенности? Не окажется ли социал-демократия на повзду у социалистов-революционеров, вся идеология которых приспособлена к настроениям мелкобуржуазных и полупролетарских слоев, которые через солдатскую массу приобретают господство в Советах? И не придется ли социал-демократии в Советах равняться по социалистам-революционерам, так как иначе не получилось бы устойчивого большинства и Советы были бы осуждены на полное бессилие. И чем дальше, тем чаще меньшевики жаловались, что социалисты-революционеры на фабриках и заводах начинают забивать социал-демократию, как потом оказалось — меньшевистскую социал-демократию.

Они исходили из невысказываемого предположения, что революция уже произвела весь социальный сдвиг, какой была способна произвести в данный исторический момент. Им казалось, что остается только чисто парламентскими способами закрепить этот сдвиг и, строго держась в рамках программы-минимум, сделать из него некоторые законодательные выводы. Им чужда была мысль, что Советы могут превратиться в орудие дальнейшего развития революции. Они не подозревали, что последовательно революционная партия использует Советы и складывающийся в них блок соглашательских элементов для революционной критики всякой половинчатости и соглашательства. Но предчувствие того, что произошло впоследствии, у них во всяком случае было. Поэтому, предостерегая от грядущего засилья эсеров, фактически они уже в то время боялись в первую очередь большевиков. Выступления последних уже успели отравить радость меньшевиков, что наконец-то они дожили до широкой рабочей организации.

На первой московской городской партийной конференции, где я был докладчиком по нескольким пунктам порядка дня, я указал на это кажущееся противоречие. Большевики, томившиеся в свое время по растворению в широкой массе, испугались этой массы, когда она выступила на сцену, и нехотя, скупо отдавали свои силы обслуживанию Советов, помышляя о том, как бы сузить их функции и уйти целиком на обслуживание своей тесной организации. Напротив, мы, «узкие партийцы», оказались патриотами Советов, последовательно и стойко отражающими все покушения на них.

VI

Возвращаясь к «Известиям». Итак, нам удалось привлечь к газете достаточные литературные силы. Все мы быстро сработывались между собою, и все соглашались, что это — чрезвычайно ценная позиция и что ради сохранения ее за собою можно отказаться от внешней видимости «фракционности». МК не требовал от нас напечатания большевистских заявлений, — иногда мы отклоняли напечатание даже большевистских сообщений и объявлений о собраниях, съездах, принятых резолюциях и т. д. Но делали это только затем, чтобы не печатать соответствующих объявлений меньшевиков и эсеров и не воспроизводить всяких резолюций протеста, выносимых будущими объединенцами, которые в период организации предавались мечтаниям о том, чтобы разбить нашу организацию и перетянуть из нее большинство членов. Недаром многие из них сначала выступали как большевики, желающие направить свою партию на путь истинный.

Но уже ясно было, что большинство в Совете готовится принять против нас серьезные меры. Межфракционные отношения в Петербурге, а затем и в Москве все более обострялись. Большевики и эсеры все чаще поднимали в московском исполкоме вопрос

о положении «Известий» и все настойчивее требовали от меня статей, которых я не мог писать. Исув¹ с мрачной решительностью заявлял, что меньшевики и эсеры должны дать действительных редакторов. А некоторые из эсеров ставили вопрос с великой упорностью. Так как все не находилось редакторов, которых можно было бы послать для моего обуздания, то ставился вопрос о превращении «Известий» из политической газеты в информационный листок, причем рекомендовался тип петербургских «Известий». Большевики насмешливо отвечали, что не видят оснований карать Совет за недостаток литературных сил у других фракций.

Наконец-то эсеры отыскали усердного редактора. Сначала они предполагали Гельфгота. Но, при яркости его оборонческой физиономии и при большой примитивности его самого правого соглашательства, введение его в редакцию «Известий» было бы замаскированным способом их уничтожения. Поэтому от его кандидатуры эсеры воздержались, а провели Л. М. Арманд².

До того времени она работала исключительно в области кооперации, по части народных домов и прочей кооперативной культуры. Сомневаюсь, чтобы даже среди эсеров было много таких совершенно неполитических голов, как была у нее. Но партия приказала ей быть редактором политической газеты, и она послушно каждый день аккуратно приходила в редакцию.

Первым делом она — лично всегда производившая на меня впечатление удивительно милого и искреннего человека, что не помешало мне искреннейшим образом возненавидеть ее как моего палача-цензора, — заявила о своем неодобрении общему курсу, усвоенному газетой, и с особым порицанием отметила статьи о Марате, так как они, по ее убеждению, способны пробудить в массах дурные инстинкты.

Раз партия делегировала ее для активной работы, то она стала приносить статьи. Тема их была одна и та же: о пользе народных домов, о вреде ханжи и политуры, в особенности в такой политической момент, когда... и т. д. Статьи были очень хорошие, красноречивые и настолько убедительные и бесспорные по содержанию, что, как я признавался товарищам, после их прочтения неожиданно ощущал ужасную тягу именно к ханже и политуре. Я пустил в газете несколько таких статей, внутренне оправдываясь тем соображением, что их действие на злых большевиков несколько не убедительно, так как они предназначены для добрых мальчиков с эсеровской психикой. А когда за этими статьями от нее же поползли новые статьи такого же высокого политического содержания и я отказался от их напечатания, мне наставительно было указано, что в таком случае следует перепечатать превосходные статьи о воззваниях по тому же предмету из петербургских «Известий».

Раза два приносились статьи других авторов о войне, о «займе свободы» и т. п. К счастью, они были таковы, что мне было легко разнести их и отказаться от напечатания.

Так мы пришли к тому положению, что Арманд фактически превратилась в цензора надо мной. Она стала приходить в редакцию исключительно с той целью, чтобы прочитать мои статьи перед отправкой в типографию. Ну, и тут мне приходилось до последней возможности напрягать самообладание, чтобы удержаться от бурного взрыва. Я стал относиться к Л. М. Арманд, как вообще относятся к цензорам. Когда мне инкриминировалась известная фраза и предлагалось ее вычеркнуть или редактировать, я злорадно предлагал редакцию, внешне близкую к предложенной мне, но в действительности только усиливающую мою мысль в общем контексте. И я не один раз с мстительным торжеством убеждался, какой милый, хороший, симпатичный человек эта Арманд и какая у нее неполитическая голова: она простодушно соглашалась на мою новую формулировку.

¹ Исув Иосиф Андреевич (1878—1920) — меньшевик, член МК меньшевиков, член исполкома Моссовета.

² Арманд Лидия Марьяновна (1884—1931) — член партии эсеров, журналист и педагог, после Октября — заведующая опытной школой-колонией МОНО в г. Пушкине Московской области.

Но зато в редакцию зачастил Кибрик. Видно, он тяготился своими цензорскими обязанностями, но, подчиняясь своей партийной дисциплине, нес их. Писать становилось все труднее, наше дальнейшее пребывание в газете явно утрачивало смысл и значение.

Наконец разразилось, и разразилось по сравнительно мелкому поводу. Керенский, политически очень немудрящий человек, к тому же совершенно не разбирающийся в финляндских отношениях, к половине мая выступил с грубым окриком по адресу финляндских социал-демократов и угрожающе напомнил, что в Финляндии имеются крупные русские вооруженные силы.

Я написал статью, в которой в самых мягких парламентских выражениях отмечал недопустимую провокационность такого выступления, если оно имело место, и высказал мнение, что Советы должны потребовать от Керенского объяснений по этому поводу. Кибрик явным образом огорчился самой темой статьи, но соглашался на ее напечатание, если бы я добавил слова: «и мы надеемся, что он, как заявлял тов. Церетелли, сумеет дать удовлетворительные объяснения». Укреплять веру в Керенского верою в Церетелли — это было для меня слишком уж много. Кибрик, возможно получивший головоломку от своей фракции за недостаточно строгую цензуру, упорствовал на своем. Я спустился вниз и заявил Хинчуку, что требую отставки.

Конечно, товарищи, указавшие мне, что я должен был предварительно испросить разрешение на такой шаг у МК, формально были вполне правы. Но, во-первых, цензура последних недель довела меня до белого каления, а во-вторых, положение складывалось слишком ясное. Когда через несколько дней в МК по моей просьбе поставили вопрос об «Известиях», то единодушно признали, что история с ними — одно из проявлений той обостренности в отношениях к большевикам, которая усиливается во всех Советах, в том числе и в Московском. Единогласно же признали, что, потребовав отставки, я поступил правильно, что следует отказаться от назначения заместителя мне в «Известия», предоставив меньшевикам и эсерам составлять редакцию, как им вздумается, и вместе с тем сняв с меня всякую ответственность за направление газеты. 26 мая вышел последний номер «Известий», составленный при моем участии.

В противоположность Петербургскому Совету Московский Совет, в значительной мере благодаря председателю Хинчуку, никогда не возвышался до дикой травли против большевиков и не объявлял их вне закона. Он всегда остерегался полного и бесповоротного разрыва с ними. И в данном случае меньшевикско-эсеровское большинство не рискнуло превратить «Известия» в газету по своему образу и подобию. Не знаю, что играло здесь большую роль: осторожная политика Хинчука или просто недостаток литераторов, которые сумели бы справиться с газетой. Во всяком случае на мое место был назначен не меньшевик, не эсер, а объединенец, В. П. Волгин, вполне определенный интернационалист, который, конечно, расходился с большевиками в вопросах тактики, но относился к ним более или менее спокойно и беспристрастно. Так как Волгин был не большевик, то он по временам мог позволить себе выступления против все дальше развертывавшегося позорного похода на большевиков, не гнушавшегося самыми низкими способами и не отголкнувшего даже таких грязных рук, как руки Алексинского¹. Большевики и эсеры были недовольны и той газетой, какую она сделалась при Волгине. Но его вынуждены были терпеть, так как иначе пришлось бы признать, что «Известия» превращаются в чисто фракционную газету. А читатели и без того уже были насыщены газетами меньшевиков и эсеров. К нему не приставили даже цензоров. Фактически Волгин был единоличным редактором.

Больше всего колебалось его положение, когда «Социал-демократ» одобрительно цитировал «Известия». Волгин стороной просил по возможности не делать этого.

¹ Алексинский Георгий Алексеевич (р. 1879) — в начале своей политической деятельности социал-демократ, социал-шовинист; стоял на контрреволюционных позициях, впоследствии меньшевик. В июле 1917 года сфабриковал с военной контрреволюцией фальшивые документы, оклеветал В. И. Ленина и большевиков. С апреля 1918 года — эмигрант.

VII

Погромная агитация против большевиков развертывалась все шире. «Митинги» на улицах не прекращались даже ночью. Наиболее черносотенная агитация велась у памятника Пушкина в начале Тверского бульвара и у памятника Скобелева, где теперь стоит обелиск, то есть против самого здания Совета.

Часов с четырех вечера на этих пунктах уже собирались маленькие кучки, которые ждали, когда придет какой-нибудь оратор. Ждать приходилось недолго. На пьедестал взбирался какой-нибудь офицер, который неизменно заявлял, что он только что с фронта. И нет сомнения, что некоторые из них действительно лишь недавно были на фронте и, быть может, провели на фронтах уже много месяцев. Они были измучены еще в романовские времена, еще тогда пережили все муки этой подлой войны, затеянной и направляемой мерзавцами и бездарностями. В особенности тяжелое впечатление производили офицеры, которые были ранены и, видимо, мучились над вопросом, ради чего перенесли они все эти страдания. В их голосе с самого начала звучала истерика, и все их речи были сплошной истерикой. Им мучительно было признать, что их молодые жизни искалечены понапрасну и что после февральского переворота смысла в войне не сделалось больше, чем было до него. Они, по большей части мелкобуржуазные интеллигенты и патриоты, беспомощно плелись за Керенским, за Тучковым, за Милюковым и хотели уверить себя и других, что только злокозненные большевики своей агитацией, своей беспощадной критикой мешают быстрому и счастливому завершению войны, которое придаст ей смысл и оправдание.

Но гораздо чаще появлялись другие фигуры — свеженькие, чистенькие, в мундирах с иголочки. Это были штабные, адъютантики, «земгусары», «окопавшиеся в тылу». Тем не менее и они, рекомендуясь публике, заявляли, что сию секунду приехали с фронта и через минуту опять едут на фронт. И разумеется, они приносили самые грозные вести с фронта. Довольно безответственной агитации! Фронт ждет снарядов и пополнений. Если вы сами не умете смутьянов, фронт вышлет сюда силы, которые положат конец бесчинствам и безделью в тылу.

Еще чаще появлялись «самые настоящие» матросы и солдаты из тех, кого настроили Колчак и другие. Они уже прямо угрожали погромом. Бывали случаи, когда товарищи узнавали в этих храбрых солдатах и матросах помощников присяжных поверенных. Да и речи их нередко были совсем не матросско-солдатские.

Здесь же выступали и штатские: адвокаты, приказчики и конторщики, представители «третьего элемента», литераторы. Фигуры, которые я замечал в былые времена в черносотенных демонстрациях, составили с сотрудниками из «Утра России» и «Русских ведомостей» единую фалангу «войны до победного конца».

...Самое простое и убедительное срабужение было одно: большевики — агенты Гогенцоллернов, как и германская социал-демократия во все времена была их вассалом, коварно подготовившим благоприятные условия для германского наступления. Марксизм был просто орудием для Гогенцоллернов, так как он борьбу с войной возлагал на других, а себе оставил «приятные войны». Все доводы резюмировались в двух словах: «запломбированные вагоны».

Неопытные товарищи пытались выступать на уличных митингах с возражениями, но дело оканчивалось с первых же фраз. «Большевик! Агент Германии! Кто такой? Есть ли у него документы? Позвать милицию! В комиссариат!» Забирали и вели. Комиссарами милиции были большею частью присяжные поверенные и их помощники, которые еще во время войны потеряли все заработки: количество «хлебных» гражданских дел резко сократилось, даже крупнейшие адвокаты оказались на безработном положении и существовали займами и сбережениями от прошлого. Уже с 1915 года они устремились в Земский и Городской союзы, в «Северпомощь», в военно-промышленные комитеты — вообще нашли заработок в различных формах обслуживания войны. Публика вообще патриотическая, тесно связанная по своим профессиональным делам с буржуазией новыми заработками, она была еще больше укреплена в своем патриотизме.

Рабочие появлялись на уличных митингах только к вечеру, в семь-восемь часов,

но, измученные, истощенные и продовольственным положением, и сверхурочными работами, уходили уже в десять — одиннадцать часов. Это была демократическая, равная для всех свобода собраний. Господствовала на митингах досужая публика, обыватели, которые причисляли себя к эсерам и меньшевикам только для того, чтобы не числиться кадетами или октябристами: это было бы слишком уж недемократично. Настроение солдат, обрабатываемых партией «Земля и воля», еще не обнажившейся как партия «земли и пули», еще не успело определиться.

В три, в четыре часа ночи речи еще продолжались. Здесь оставалась уже исключительно «чистая публика», которая могла спать до полудня и дольше. Клеветнические выкрики возвышались до визга.

VIII

С первых же дней борьбы против империалистической войны мы нашли неожиданных сторонников. Это были толстовцы направления Трегубова и Горбунова-Посадова¹.

Это направление, демократическое в противоположность некоторым другим, барственным, и теперь «приемлет» большевизм (коммунизм), но, конечно, приемлет по своему, «по-толстовски».

Надо отдать им справедливость: они с самого начала почувствовали и поняли, из каких источников вытекала грязная травля, поднятая против нас. И они не колеблясь стали рядом с нами. Они предлагали свое содействие для распространения «Социал-демократа», когда это было довольно рискованно. Они просили, чтобы мы выделяли им значительное количество экземпляров — чего мы, при ограниченности тиража, к сожалению, не могли делать. И они неустанно вели агитацию на улицах, не смущаясь тем, что публика, с нашей точки зрения, была неподходящая.

Как-то раз я набрел на такой диспут в Леонтьевском переулке. В центре небольшой толпы — человек пятнадцать — двадцать, кухарки, дворники, модистки, несколько солдат, оппонент адвокатского вида, явно припертый к стене и потому все более нервничающий, — стоял прямой, высокий, крепкий старик с сивыми волосами и с умным, терпеливым, слегка насмешливым, совсем не «толстовским» лицом. Он сыпал цифрами и не затруднялся перед самыми каверзными вопросами оппонента.

IX

Приближались июльские дни. Отношения все более обострялись. Обе стороны чувствовали, что столкновение неминуемо.

Популярность Керенского среди обывательских масс достигла зенита. Не Керенский пользовался исключительной популярностью, как виднейший представитель эсеров, а эсеры светили отраженным светом, падавшим на них от Керенского. Их платформа — это был Керенский, и ничего больше.

Эсеры назначили всероссийский сбор на нужды своей партии. С финансовой точки зрения, при той поддержке, которую они получали от американских миллиардеров, и при довольно широком использовании государственных ресурсов, это было более или менее излишне. Главное заключалось не в усилении денежных средств, а в агитации за партию.

Знаменательно, что сборщики, стоявшие на углах улиц и проходившие по вагонам трамваев и поездов, чаще всего приглашали жертвовать «за партию Керенского». Их партия потеряла даже свое название. Понятно, что, потеряв Керенского, она все потеряла.

В июне отношения сделались ясными. Керенский — это подчинение целям «наших доблестных союзников», это продолжение войны в единении с союзнической буржуазией, это прежде всего немедленное наступление.

¹ Трегубов Иван Михайлович (1853—1931) — писатель и публицист, исследователь сектантства. Горбунов-Посадов Иван Иванович (1864—1940) — писатель, издатель, последователь учения Л. Н. Толстого.

Последнее преследовало не только стратегические, но и внутренние политические задачи. Оно началось в те самые дни (17—18 июня), когда, согласно молве, должны были выступить большевики. Оно должно было в победоносном порыве не только отбросить неприятельские армии и приостановить переброску германских армий на франко-бельгийский фронт, но и затопить нас в бурном патриотическом потоке, который ожидался следом за известиями о блестящих победах на нашем фронте.

Летом 1920 года во время поездки по Западному фронту я встретил несколько красноармейцев из рядовых и командного состава, которым пришлось принять участие в «наступлении Керенского». Трудно представить себе более преступную авантюру. Артиллерийская подготовка была настолько ничтожная, что солдаты, лишь оставив горы товарищей на проволочных заграждениях, могли двигаться дальше. Первые успехи, которые поторопились ознаменовать в тылу патриотическими манифестациями, стоили колоссальных жертв и неизбежно в ближайшие же дни сменились полным разгромом.

В эти и в июльские дни я вошел в редакцию «Социал-демократа». Наша оборона всегда оставалась «активной обороной». И в данном случае мы с самого начала называли наступление Керенского кровавой авантюрой и отречением революции от принципов, провозглашавшихся меньшевиками и эсерами и служивших им для одурачения масс.

В Москве никто из нас не хотел выступления. Товарищи из МК в высшей степени трезво оценивали положение. Впоследствии мы узнали, что петербургские товарищи тоже считали его преждевременным. Не мы начали его — оно началось. Конечно, своей агитацией мы подготовили для него психологическую основу. С другой стороны, нашим противникам очень хотелось загнать нас в подполье. Разгромленную попытку своего наступления на фронте они постарались повернуть против нас. «Легионы смерти», «ударные батальоны», «колчакские матросы», «корниловские казаки», юнкера, офицеры, в небывалом количестве появившиеся в тылу, николаевские жандармы, переполнившие контрразведочные учреждения и по самой своей природе больше всего интересовавшиеся разыскиванием «внутреннего врага», — вся эта толпа жаждала решительных действий, которые устранили бы большевиков, единственную помеху укреплению господства собственников, прикрытого соглашателями. Кто здесь «начал» — вопрос второстепенный. «Началось» потому, что должно было начаться.

Погром, разразившийся в Питере и коснувшийся даже М. Горького (ему тоже временно пришлось скрываться!), не распространился на Москву. Некоторые товарищи, как всегда бывает в таких случаях, может быть, излишне нервничали. Кажется, числа 5 июля около четырех-пяти часов вечера несколько товарищей прибежали в б. Капшовское училище, где тогда ютилась и редакция «Социал-демократа», и МК, и сообщили, что обработанная погромная толпа от памятников Пушкина и Скобелева сейчас придет сюда. Мы немедленно привели себя в «осадное положение»: оставили в помещении только мужчин, учли вооружение — два-три дрянных револьвера, — начали звонить по телефону в дружественные нам воинские части.

Погромщики не являлись. Сделалось темно. Я добился у товарищей разрешения прогуляться к погромщикам. У памятника Скобелева стояла большая толпа. Здесь «работали» старые офицеры и чиновники. Злобно указывали на здание Совета. Обрушивались на эсеров и меньшевиков, которые, не изгнав нас из Советов, прикрывают таким образом германских агентов. Особенно выделялся один запальчивый старичок. Когда какой-то солдатик стал ему возражать, старичок вскинулся на него: «Ты еще молод, а потому помолчи». Я пустил по его адресу ядовитую насмешку. Старичок вскипел и потерял голову: «Я столько-то лет верой и правдой служил царю и отечеству!» Разразившийся вокруг заразительный хохот показал мне, что старичок проиграл дело. Он конфузливо покинул место сражения. «Погромщики» были нисколько не страшны. Я ушел только после того, как один господин из «Раннего утра» стал громко приставать ко мне с провокационными вопросами о моей недавней редакторской деятельности в «Известиях». Во всяком случае у меня получилось вполне определенное убеждение: если бы в этой толпе дело дошло до свалки, еще не известно, кто выйдет бы победителем. Скорее всего мы.

Возвратившись в Капцовку, я узнал, что в шесть-семь часов к зданию Совета придут «наши» воинские части. Стали ждать. Вот подходит небольшой отряд. Нет, не наши. Идет во двор Совета для охраны перетрусивших эсеров и меньшевиков. Ждем долго, упорно. Вот команда самокатчиков — верно, не менее сотни. Спрыгивают с велосипедов и выстраиваются перед Советом. Оттуда выходит член солдатского президиума, эсер, и отводит их во двор Совета — опять-таки для его охраны. Я вспомнил 1905 год, конец ноября или начало декабря, когда наши представители, допущенные в заседание Городской думы, заявили, что сейчас на площадь придет революционный полк. Тогда никто не пришел. Над нами много смеялись.

Так и в июле 1917 года, через двенадцать лет, мы все еще ждали, что придут революционные полки. И опять товарищи ошиблись в оценке темпа движения. И на этот раз мы ждали тщетно. Когда стало смеркаться, оставили площадь со щемящею думой: что-то делается в Петербурге? Не предает ли Москва красный Петербург своей неподвижностью?

Но в оценке направления движения товарищи не ошибались. Полки, охваченные революцией, пришли к нам — не в 1905, а в 1917 году, и не в июле, а в октябре...

Уже в июне Керенский закрывал одну большевистскую газету за другою: «Солдатскую правду», «Окопную правду» и т. д. Трудно припомнить все названия, которые приходилось принимать этим газетам при попытках возобновления. С июля усиленные гонения обрушились на питерскую «Правду», наш центральный орган. Я не знаю ни одного случая, когда меньшевики и эсеры выступили бы с открытым протестом против этих систематических нарушений «демократических свобод». Они спохватились только после октябрьского переворота, когда свободы были отобраны у контрреволюционной печати.

В июле и в Москву пришло распоряжение Керенского закрыть «Социал-демократ». Оно не было выполнено только вследствие возражений Хинчука и Верховского, тогдашнего командующего Московским военным округом. Но мы знали, что бумажку во всякий момент могут вынуть из-под сукна. Мы все чаще подумывали о том, что нам, быть может, придется на некоторое время уйти в подполье. Я неоднократно говорил с В. Н. Подбельским на ту тему, что, пожалуй, не мешало бы запастись техникой на такой случай.

X

Выборы в Городскую думу, состоявшиеся в начале июля, прошли под впечатлением июльских событий и июльской авантюры на фронте. Против нас все выступали единым фронтом. Наши листки и плакаты немедленно заклеивались или просто срывались. В день выборов, пройдя от Каланчевской площади до Совета, я не нашел ни одного уцелевшего плаката № 5 (под этим номером шел наш список). От них оставались только клочки. Врачи, адвокаты, учителя, торговые служащие, почтово-телеграфные чиновники, печатники, в значительной степени трамвайщики и т. д. — все были против нас. Везде красовались приглашения голосовать за № 3 (эсеры), с расточительным изобилием вели расклейку кадеты — денег у них было много: еще в 1920 году я находил на некоторых стенах обрывки их плакатов. Очень много было № 4 (меньшевики), сильно работали народные социалисты. И все они не трогали плакатов друг у друга. А вот наши уничтожали общими силами, если же нельзя было уничтожить, то фальсифицировали: цифру пять переправляли на три и т. д. Красноречивее всего был один листок: «Граждане! Не голосуйте за список № 5: это — большевики!!!» В нем ярче всего выразилось «священное единение» против большевиков.

Эсеры получили 58 процентов общего количества поданных голосов; этой победы все ожидали. Кадеты получили только $17\frac{1}{2}$ процента; это тоже было естественно. За нас голосовало всего 11,4 процента — тоже понятная вещь. Но меньшевики получили всего 11,8 процента — этого совершенно не ждали ни мы, ни сами меньшевики. Они все время насмешливо смотрели на нас и, рассчитывая на разных «служащих», полагали, что не особенно далеко отстанут от эсеров. Они не учли, что при неразличимости их тактики от эсеровской они с самого начала отдавали эсерам все политически не проясненные головы.

При общем количестве гласных 200, наша фракция состояла всего из 22 товарищей. Не враждебна нам была только крошечная группа объединенцев, составлявшая пять-шесть человек. Остальные: кадеты, эсеры и меньшевики — во всех острых вопросах выступали с замечательной сплоченностью. Думские меньшевики очень далеко заходили в безусловной поддержке борьбы Временного правительства против крестьян и рабочих. Когда мы заставили Думу прямо ответить на вопрос, как она относится к смертной казни для солдат, введенной правительством Керенского и стремившейся превратить армию в послушное орудие империализма, они зашли так далеко в борьбе с нами, что меньшевистский Московский комитет нашел необходимым отмежеваться от выступления своей думской фракции. Меньшевистская фракция почти сплошь состояла из крайних правых меньшевиков, отчасти из таких, в которых мы до того времени никак не подозревали уклона к социал-демократии. По своей политической невинности они слишком уж неосторожно раскрывали истинное существо соглашателей.

Наша численная слабость нас не смущала. Мы чувствовали за собой растущую силу. И это придавало всем нашим выступлениям решительность и активность. Мы меньше оборонялись, чем наступали.

Любопытно было первое же заседание представителей думских фракций, своего рода «совещание старейшин» («сенъерен конвента»), преследовавшее чисто информационные и технические задачи. Оно состоялось перед самым открытием Думы. Узнав, что открытию будет предшествовать молебен в здании Думы, мы запросили, как это согласуется с тем пунктом программы эсеров, который требует отделения церкви от государства. Оказалось, с их программой легко согласуется: среди гласных есть верующие и им предоставляется быть на молебне, а неверующим отсутствовать. Я полагал, что сами верующие могли бы устроить молебствие для себя в какой-нибудь соседней церкви. На заседании своей фракции я предложил в первом же заседании Думы решительно протестовать против таких повадок, но остался со своим предложением в меньшинстве.

На том же совещании я и тов. Волин, представлявшие нашу фракцию как председатель и секретарь, поинтересовались, какие места отводят нам эсеры в зале заседания. Председательствовавший на совещании А. М. Беркенгейм¹ заявил, что нас посадят рядом с кадетами, так как мы, конечно, следом за ними самая правая фракция Думы. Это было не только мстительно, но и глупо, что мы и доказали ссылками на программы и тактику партий. Эсеры не уступали. Мы категорически заявили, что наша фракция войдет в заседание Думы только для того, чтобы заявить энергичный протест против хозяйского произвола эсеров и затем покинуть заседание. Председательствовавший в совещании Беркенгейм, посмотрев на часы, заявил: «Из-за каких-то глупостей уже на два часа задержали открытие Думы». Мы в бурной форме протестовали против такого поведения председателя и потребовали взять эти слова обратно. В конце концов Беркенгейм подчинился этому требованию, а потом, видя, что у нас слово не разойдется с делом, эсеры согласились на естественное размещение фракций: правый сектор заняли кадеты, здесь же приютились эсеры, весь центр, далеко раздавшись в обе стороны, заняли эсеры, на левом секторе внизу сидели меньшевики, выше один ряд заняли объединенцы, а на самом верху разместились наша фракция. Нас признали Горой, монтаньярами революции XX века, что подтвердилось и нашим поведением в Думе, и всеми позднейшими событиями.

¹ Беркенгейм Александр Моисеевич (1880—1932) — эсер, председатель продовольственного комитета Московского Совета, с 1922 года — эмигрант.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НАУКА О ЛИТЕРАТУРЕ СЕГОДНЯ

М. БАХТИН

★

СМЕЛЕЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Редакция «Нового мира» обратилась ко мне с вопросом о том, как я оцениваю состояние литературоведения в наши дни. Конечно, на такой вопрос трудно дать категорический и уверенный ответ. В оценке своего дня, своей современности люди всегда склонны ошибаться (в ту или другую сторону). И это нужно учитывать. Постараюсь все же ответить.

Наше литературоведение располагает большими возможностями: у нас много серьезных и талантливых литературоведов, в том числе молодых, у нас есть высокие научные традиции, выработанные как в прошлом (вспомним хотя бы Потебню или Веселовского), так и в советскую эпоху (можно упомянуть Тынянова, Томашевского, Эйхенбаума, Гуковского и других), есть, конечно, и необходимые условия для его развития (исследовательские институты, кафедры, издательские возможности и т. п.).

Но, несмотря на все это, наше литературоведение, как мне кажется, в общем, по-настоящему не реализует этих возможностей, не отвечает тем требованиям, которые мы вправе к нему предъявить. Редка смелая постановка общих проблем, мало открытий новых областей или отдельных значительных явлений в необозримом мире литературы, мало настоящей борьбы научных направлений. Литературоведение, в сущности, еще молодая наука, оно не обладает такими выработанными и проверенными на опыте методами, какие есть у естественных наук, поэтому ослабление борьбы направлений и боязнь смелых гипотез неизбежно приводит к трюизмам и штампам; в них, к сожалению, у нас нет недостатка.

Таков, на мой взгляд, общий характер литературоведения наших дней. Но никакая общая характеристика не бывает вполне

справедливой. И в наши дни выходят, конечно, неплохие и полезные книги (особенно по истории литературы), появляются интересные и глубокие статьи, есть, наконец, и большие явления, на которые моя общая характеристика никак не распространяется. Я имею в виду книгу Н. Конрада «Восток и Запад», книгу Д. Лихачева «Поэтика древней русской литературы». Это — в высшей степени отрядные явления последних лет. Заметным явлением стали и «Труды по знаковым системам», выпуск четвертый (направление молодых исследователей, возглавляемых Ю. Лотманом), хотя они и вызывают споры в научной среде.

Если же говорить о моем мнении по поводу задач, стоящих перед литературоведением в первую очередь, то я остановлюсь здесь лишь на двух задачах, связанных только с историей литературы прошлых эпох, притом в самой общей форме. Вопросы изучения современной литературы и литературной критики я вовсе не буду касаться, хотя именно здесь больше всего важных первоочередных задач. Те две задачи, о которых я намерен говорить, выбраны мною потому, что они, по моему мнению, назрели и уже началась их продуктивная разработка, которую надо продолжить.

Прежде всего литературоведение должно установить более тесную связь с историей культуры. Литература — неотрывная часть культуры, ее нельзя понять вне целостного контекста всей культуры данной эпохи. Ее недопустимо отрывать от остальной культуры и, как это часто делается, непосредственно, так сказать, через голову культуры соотносить с социально-экономическими факторами. Эти факторы воздействуют на культуру в ее целом и только через нее и вместе с нею на литературу.

У нас на протяжении довольно долгого времени уделялось особое внимание вопросам специфики литературы. В свое время это, возможно, было нужным и полезным. Следует сказать, что узкое спецификаторство чуждо лучшим традициям нашей науки. Вспомним широчайшие культурные горизонты исследований Потебни и особенно Веселовского. При спецификаторских увлечениях игнорировали вопросы взаимосвязи и взаимозависимости различных областей культуры, часто забывали, что границы этих областей не абсолютны, что в различные эпохи они проводились по-разному, не учитывали, что как раз наиболее напряженная и продуктивная жизнь культуры проходит на границах отдельных областей ее, а не так и не тогда, когда эти области замыкаются в своей специфике. Особо нужно подчеркнуть, что между отдельными областями культуры в пределах эпохи может иметь место не только взаимодействие, но и борьба: единство культуры эпохи — явление очень сложное и непохожее на простую гармонию; оно больше похоже на незавершенный в пределах эпохи спор.

В наших историко-литературных трудах обычно даются характеристики эпох, к которым относятся изучаемые литературные явления, но эти характеристики в большинстве случаев ничем не отличаются от тех, какие даются в общей истории, без дифференцированного анализа областей культуры, их борьбы и их взаимодействия с литературой. Да и методология таких анализов еще не разработана. А так называемый «литературный процесс» эпохи, изучаемый в отрыве от глубокого анализа культуры, сводится в некоторых работах к поверхностной борьбе литературных направлений, а для нового времени (особенно для XIX века) — порой и просто к газетно-журнальной шумихе, не оказывавшей существенного влияния на большую, подлинную литературу эпохи. Могучие глубинные течения культуры (в особенности низовые, народные), действительно определяющие творчество писателей, остаются нераскрытыми, а иногда и вовсе не известными исследователям. При таком подходе нельзя проникнуть в глубину больших произведений и сама литература начинает казаться мелким и несерьезным делом.

Задача, о которой я говорю, и связанные с ней проблемы (проблема границ эпохи как культурного единства, проблема типо-

логии культур и другие) очень остро встали при обсуждении вопроса о литературе барокко в славянских странах и особенно в продолжающейся и сейчас дискуссии о Ренессансе и гуманизме в странах Востока; здесь особенно ярко раскрылась необходимость более глубокого изучения неразрывной связи литературы с культурой эпохи.

Названные мною литературоведческие работы последних лет — Конрада, Лихачева, Лотмана и его школы, — при всем различии их методологии, одинаково не отрывают литературу от культуры, стремятся понять литературные явления в дифференцированном единстве всей культуры эпохи. Здесь следует подчеркнуть, что литература — явление слишком сложное и многогранное, а литературоведение еще слишком молодо, чтобы можно было говорить о каком-то одном «единоспасающем» методе в литературоведении. Оправданы и даже совершенно необходимы разные подходы, лишь бы они были серьезными и раскрывали бы что-то новое в явлении литературы.

Даже если нельзя изучать литературу в отрыве от культуры эпохи, не следует и замыкать литературное явление в одной эпохе его создания, в его, так сказать, современности. Мы обычно стремимся объяснить писателя и его произведения именно из его современности и ближайшего прошлого (обычно в пределах «эпохи», как мы ее понимаем). Но при этом мы боимся отойти во времени далеко от изучаемого явления.

Такое изучение (из условий и задач современности), конечно, совершенно обязательно, но оно не может охватить всей полноты изучаемого явления, и прежде всего тех его моментов, которые связаны с так называемой «содержательностью формы». Ведь произведение уходит своими корнями в далекое прошлое. Великие произведения литературы готовятся веками, в эпоху же их создания снимаются только зрелые плоды длительного и сложного созревания. Пытаясь понять и объяснить произведение только из условий его эпохи, только из условий ближнего времени, мы никогда не проникнем в его смысловые глубины. Замыкание в эпохе не позволяет понять и будущей жизни произведения в последующих веках, эта жизнь представляется каким-то парадоксом. Произведения разбивают грани своего времени, живут в веках, то есть в большом времени, при этом часто (а великие произведения — всег-

да) более интенсивной и полной жизнью, чем в своей современности. Говоря несколько упрощенно и грубо: если значение какого-нибудь произведения сводить, например, к его роли в борьбе с крепостным правом (в средней школе это делают), то такое произведение должно полностью утратить свое значение, когда крепостное право и его пережитки уйдут из жизни, а оно часто еще увеличивает свое значение, то есть входит в большое время. Но произведение не может жить в будущих веках, если оно не вобрало в себя как-то и прошлых веков. Если бы оно родилось все сплошь сегодня (то есть в своей современности), не продолжало бы прошлого и не было бы с ним существенно связано, оно не могло бы жить и в будущем. Все, что принадлежит только настоящему, умирает вместе с ним.

Жизнь великих произведений в будущих, далеких от них эпохах, как я уже сказал, кажется парадоксом. В процессе своей посмертной жизни они обогащаются новыми значениями, новыми смыслами; эти произведения как бы перерастают то, чем они были в эпоху своего создания. Вспомним, что произошло с Шекспиром. Мы можем сказать, что ни сам Шекспир, ни его современники не знали того «великого Шекспира», какого мы теперь знаем.

О том, что каждая эпоха открывает в великих произведениях прошлого всегда что-то новое, говорил в свое время еще Белинский. Что же, мы примышляем произведениям Шекспира то, чего в них не было, модернизируем и искажаем его? Модернизации и искажения, конечно, были и будут. Но не за их счет вырос Шекспир. Он вырос за счет того, что действительно было и есть в его произведениях, но что ни сам он, ни его современники не могли осознанно воспринять и оценить в контексте культуры своей эпохи. Смысловые явления могут существовать в скрытом виде, потенциально, и раскрываться только в благоприятных для этого раскрытия смысловых культурных контекстах последующих эпох. Смысловые сокровища, вложенные Шекспиром в его произведения, создавались и собирались веками и даже тысячелетиями: они таились в языке, и не только в литературном, но и в таких пластах народного языка, которые до Шекспира еще не вошли в литературу, в многообразных жанрах и формах речевого общения, в формах могучей народной культуры (преимущественно карнаваль-

ных), слагавшихся тысячелетиями, в театрально-зрелищных жанрах (мистерийных, фарсовых и других), в сюжетах, уходящих своими корнями в доисторическую древность, наконец, в формах своего мышления.

Шекспир, как и всякий художник, строил свои произведения не из мертвых элементов, не из кирпичей, а из форм, уже отягченных смыслом, наполненных им. Впрочем, и кирпичи имеют определенную пространственную форму и, следовательно, в руках строителя что-то выражают.

Особо важное значение имеют жанры. В жанрах (литературных и речевых) на протяжении веков накапливаются формы видения и осмысления определенных сторон мира. Для писателя-ремесленника жанр служит внешним шаблоном, большой же художник пробуждает заложенные в нем смысловые возможности. Шекспир использовал и заключил в свои произведения огромные сокровища потенциальных смыслов, которые в эту эпоху не могли быть раскрыты и осознаны в своей полноте. Сам автор и его современники видят, осознают и оценивают прежде всего то, что ближе к их сегодняшнему дню. Автор — пленник своей эпохи, своей современности. Последующие времена освобождают его из плена, и литературоведение призвано помочь этому.

Из сказанного нами вовсе не следует, что современную писателю эпоху можно как-то игнорировать, что творчество его можно отбрасывать в прошлое или проецировать в будущее. Современность сохраняет все свое решающее значение: без нее не было бы этого творчества. Научный анализ может исходить только из нее и в своем дальнейшем развитии все время должен сверяться с нею. Произведение литературы, как мы ранее сказали, раскрывается прежде всего в дифференцированном единстве культуры эпохи его создания, но замыкать его в этой эпохе нельзя: полнота его раскрывается только в большом времени.

Но и культуру эпохи, как бы далеко эта эпоха ни отстояла от нас во времени, нельзя замыкать в себе, как нечто готовое, вполне завершенное и безвозвратно ушедшее, умершее. Идея Шпенглера о замкнутых и завершенных культурных мирах до сих пор оказывают большое влияние на историков и литературоведов. Но эти идеи нуждаются в самых существенных оговорках и критике. Шпенглер представлял себе культуру эпохи как замкнутый круг. Но

единство определенной культуры — это открытое единство. Каждое такое единство (например, античность), при всем своем своеобразии, входит в единый (хотя и не прямолинейный) процесс становления культуры человечества. В каждой культуре прошлого заложены огромные смысловые возможности, которые остались неосознанными и неиспользованными на протяжении всей исторической жизни данной культуры.

Античность сама не знала той античности, которую мы теперь знаем. Существовала школьная шутка: древние греки не знали о себе самого главного — они не знали, что они древние греки и никогда себя так не называли. Но ведь и на самом деле, та дистанция во времени, которая превратила греков в древних греков, имела огромное преобразующее значение: она наполнена раскрытиями в античности все новых и новых смысловых ценностей, о которых греки действительно не знали, хотя сами и создали их.

Мы должны подчеркнуть, что говорим здесь о новых смысловых глубинах, заложенных в культурах прошлых эпох, а не о расширении наших фактических материальных знаний о них, непрерывно добываемых археологическими раскопками, открытиями новых текстов, усовершенствованием их расшифровки, реконструкциями и т. п. Здесь добываются новые материальные носители смысла, так сказать тела смысла. Но между телом и смыслом в области культуры нельзя провести абсолютной границы — культура не создается из мертвых элементов: ведь даже простой кирпич, как мы уже говорили, в руках строителя что-то выражает своей формой. Поэтому новые открытия материальных носителей смысла вносят коррективы в наши смысловые концепции и могут даже потребовать их существенной перестройки.

Есть очень живучее, но одностороннее и потому неверное представление о том, что для лучшего понимания чужой культуры надо как бы переселиться в нее и, забыв свою, глядеть на мир глазами этой чужой культуры. Конечно, известное вживание в чужую культуру, возможность взглянуть на мир ее глазами есть необходимый момент в процессе ее понимания; но

если бы понимание исчерпывалось одним этим моментом, то оно было бы простым дублированием и не несло бы в себе ничего нового и обогащающего. Творческое понимание не отказывается от себя, от своего места во времени, от своей культуры и ничего не забывает. Великое дело для понимания — это «вненаходимость» исследователя — во времени, в пространстве, в культуре — по отношению к тому, что он хочет творчески понять. Ведь даже свою собственную наружность человек сам не может по-настоящему увидеть и осмыслить в ее целом, никакие зеркала и снимки ему не помогут; его подлинную наружность могут увидеть и понять только другие люди благодаря своей пространственной внеаходимости и благодаря тому, что они другие.

В области культуры «внеаходимость» — могучий рычаг понимания (в неразрывной связи с проникновением «изнутри» путем вживания). Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже (но не во всей полноте, потому что придут и другие культуры, которые увидят и поймут еще больше). Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, «чужим» смыслом: между ними начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур. Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины. Без своих вопросов нельзя творчески понять ничего другого и чужого (но, конечно, вопросов серьезных, подлинных). При такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются.

Что касается моей оценки дальнейших перспектив развития нашего литературоведения, то я считаю, что эти перспективы вполне хорошие, так как у нас огромные возможности. Не всегда хватает нам только научной исследовательской смелости, без которой не подняться на высоту и не спуститься в глубины.



Г. КУНИЦЫН

★

СПЕЦИФИКА ИСКУССТВА

(Заметки и полемика)

Есть проблемы марксистской теории, марксистской эстетики, — в том числе и важнейшие — о которых наша литературная наука говорит непростительно мало. Тем временем среди теоретиков, относящихся к марксизму, мягко говоря, отрицательно, часто обнаруживаются люди, предлагающие свое, но уже явно не марксистское решение таких проблем... факт, который не может оставить нас равнодушными.

Известно, что советскими литераторами и философами очень много интересного сказано о разработке Марксом, Энгельсом, Лениным учения о решающей классовой, политической, партийной обусловленности искусства, о том, что искусство отображает интересы тех или иных социальных слоев.

Но достаточно ли обстоятельно нами исследованы те исключительно важные аспекты марксистско-ленинского учения, которые ярко характеризуют основоположников научного коммунизма как мыслителей, неизменно учитывавших в анализе социальных факторов всю сложность специфики эстетического познания и преобразования жизни? Достаточно ли решительно (и аргументированно) противостоим мы тем из зарубежных идеологов, которые пытаются объявить «односторонним» вообще весь марксизм-ленинизм как науку? А ведь иные из них идут и дальше — пытаются говорить о противоречиях на этот счет, существующих якобы внутри самого марксизма-ленинизма.

Нужно сказать, что идеологические противники наши далеко и далеко не все не-

вежды. Немало среди них таких, которые изучают марксизм упорно — для того, чтобы как можно более искусно его фальсифицировать. Ныне за рубежом широко ведется целая теоретическая кампания по противопоставлению Ленина—Марксу, Маркса — Энгельсу и даже Маркса — Марксу... Пытаются представить дело так, будто Ленин вообще не признавал эстетических критериев, а был исключительно политиком, рассматривавшим искусство лишь с узко «утилитарных» позиций. Маркс в таких суждениях предстает лишь как экономист. А Энгельс, мол, хотя и «шире» смотрел на вещи, но и это уже не спасает дела: положения Энгельса выходят за рамки собственно марксизма...

Такова схема этих фальсификаций. Диву даешься, как все-таки много еще желающих обвинить марксизм именно в узости, в «утилитарности» — и прежде всего в том вопросе, который мы поставили в центр своей статьи. В чем дело? Неужели же и впрямь эстетические проблемы объяснены в марксизме недостаточно четко, а по-сему возникают поводы для подобного разночтения и превратного толкования? Есть ли хотя бы какие-либо основания для того, чтобы видеть различие между эстетикой Маркса — Ленина, с одной стороны, и эстетикой Энгельса — с другой?

Особый случай, чтобы ответить на это самым решительным «нет», чтобы поговорить об этом более подробно, у нас имеется: 28 ноября сего года исполняется сто пятьдесят лет со дня рождения Фридриха Энгельса. Этот юбилей широко отмечается советской и мировой общественностью. К

важнейшим положениям, к существенным деталям марксистского учения ныне приковано самое пристальное внимание. И любое из этих положений подтверждает органическое единство эстетических взглядов Маркса, Энгельса и Ленина. Если твердо стоять на почве фактов, то нетрудно заметить, что дело идет не о принципиальных различиях, а всего лишь о своеобразном разделении труда между Марксом и Энгельсом, разделении, которое только отчетливей подчеркивает, сколь общим их детищем был марксизм в целом, сколь едино, в неразрывном соавторстве, они выработали и всю систему своих эстетических взглядов, основы революционного искусствovedения и литературоведения.

Главный вклад Энгельса — соратника Маркса — в науку об искусстве, бесспорно, состоит в том, что Энгельсом была обстоятельно рассмотрена общественная роль искусства во взаимодействии и причин и следствий. Здесь Энгельс весьма плодотворно развил то, что они начали вместе с Марксом еще в их молодые годы.

Произошло это в основном уже после смерти Маркса. К этому времени учение марксизма распространилось по всей земле. Однако именно тогда же над ним нависла серьезная опасность вульгаризации и фальсификации со стороны различного рода «примкнувших» к нему мнимых друзей и различных охотников до «моды» — даже в такой области, как теория. К новому течению потянулись и любители непременно «предельной простоты» и «ясности». Простоты там, где все чрезвычайно сложно!

«Вообще для многих молодых писателей в Германии, — писал Энгельс 5 августа 1890 года К. Шмидту, — слово «материалистический» является простой фразой, которой называют все что угодно, не давая себе труда заняться дальнейшим изучением, то есть приклеивают этот ярлычок и считают, что этим вопрос решен. Однако наше (Маркса и Энгельса. — Г. К.) понимание истории есть прежде всего руководство к изучению, а не рычаг для конструирования на манер гегельянства. Всю историю надо изучать заново, надо исследовать в деталях условия существования различных общественных формаций, прежде чем пытаться вывести из них соответствующие им политические, частноправовые, эстетические, философские, религиозные и т. п. воззрения. Сделано в этом отношении до сих пор немного, пото-

му что очень немногие люди серьезно этим занимались. В этом отношении нам нужна большая помощь, область бесконечно велика, и тот, кто хочет работать серьезно, может многое сделать и отличаться. Но вместо этого у многих немцев из молодого поколения фразы об историческом материализме (ведь можно все превратить в фразу) служат только для того, чтобы как можно скорее систематизировать и привести в порядок свои собственные, относительно весьма скудные исторические познания (экономическая история ведь еще в пеленках!) и затем возмнить себя великими. И тогда-то и может явиться какой-нибудь Барт и взяться за то, что в его среде, во всяком случае, сведено уже к пустой фразе»¹.

Да, «область бесконечно велика»... И вместе с тем как опасно в этой области упрощенчество и «конструирование на манер гегельянства!» Было сказано это Ф. Энгельсом, конечно, не только в связи с П. Бартом, изложившим свои вульгаризаторские взгляды в книге «Философия истории Гегеля и гегельянцев до Маркса и Гартмана включительно» в 1890 году. Подобный бартовскому грех случился, к слову сказать, позднее и с самим К. Шмидтом, к которому Энгельс здесь адресовался. И не только у немцев было это. Не менее грубым оказалось российское вульгаризаторство. Г. В. Плеханов в свое время подверг уничтожающей критике В. Шулятикова, опубликовавшего в 1908 году от имени марксиста крайне вульгаризаторскую книгу «Оправдание капитализма в западноевропейской философии (От Декарта до Э. Маша)». В этой книге явления культуры прямо и непосредственно «выводятся» из способа производства. «В самом деле, утверждать, что «все без остатка философские термины» служат для обозначения общественных классов, групп, ячеек и их взаимоотношений, — значит доводить чрезвычайно важный вопрос до той простоты, которая может быть характеризована эпитетом «суздалская». Этот эпитет обозначает собою не какой-нибудь «общественный класс»... а просто огромную умственную дубоватость»². Так писал Плеханов

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 37, стр. 371.

² Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения. Госполитиздат. М. 1957, т. III, стр. 322.

Полностью солидаризируясь в этом вопросе с оценкой, данной Плехановым, В. И. Ленин написал на полях названной книги В. Шулятикова против мест, где идеология и культура тракуются как пассивное, автоматическое, рабское отражение интересов отдельных классов, следующие, еще более решительные заключения: «неверно!», «экий вздор!», «ребячество»¹.

Вульгаризаторский подход к идеологии, к культуре, конкретно к искусству впоследствии стал весьма частым и отнюдь не стихийно возникшим бедствием. Сначала, еще до Октябрьской революции, появились работы А. Богданова (В. Шулятиков был его последователем), в которых за культурой не признавалось, в сущности, никакой самостоятельной роли. После революции А. Богданов идейно возглавил пролеткультовское движение, начисто отрицавшее общечеловеческие ценности в какой бы то ни было культуре и считавшее всякого писателя, кто не происходит из рабочих, социально чуждой социализму силой. Особенно же откровенное отражение это нашло в известной статье В. Плетнева «На идеологическом фронте». В. И. Ленин резко критиковал и эту статью. Против утверждения, где В. Плетнев проводил мысль, что пролетарская культура может быть создана лишь людьми, вышедшими из рядов пролетариата, В. И. Ленин написал: «Архификция»².

Следует сказать, что именно утверждения, подобные шулятиковским, богдановским, плетневским, — а их было немало в прошлом, — чрезвычайно способствовали распространению недоразумения даже среди тех, кого не назовешь недругами нашими и кто берет на веру случайно попавшееся слово в работах многочисленных и бездарных эпигонов марксизма, чуждых творческому духу этого учения. Берутся эти слова на веру, и рождается нелепейшее утверждение, что, мол, и сами Маркс, Энгельс, Ленин «выводили» искусство якобы «непосредственно» из экономики!

Верить в такой поклев на марксизм коекому в буржуазных странах куда как выгодно и приятно; однако в этойкой «шулятиковщине» нас обвиняют подчас и те, кого

мы у себя издаем. Вот что пишет, например, известный швейцарский литературовед в напечатанной у нас книге: в марксизме, утверждает он, «социальной и экономической обусловленности литературы придается настолько исключительное значение, что она превращается в простую функцию — орган или продукт — социально-экономических закономерностей, причем обычно такие закономерности устанавливаются заранее в виде схематически упрощенных тезисов какой-либо определенной политической доктрины». А далее продолжается все уже «по логике» этого самого измышления: «Решающим опровержением марксистской литературно-критической концепции является тот факт, что марксисты игнорируют или отрицают поэтический феномен как таковой, что рассмотрение литературы служит в их понимании интересам чуждой этому предмету аргументации. Если они рассматривают Веймар 1800 года как исторически (т. е. согласно марксистскому графику движения истории) «отсталый» мир, то это, может быть, и правильно применительно к истории развития социализма, но не имеет уже ни малейшего отношения ни к Гёте, ни к его творчеству, ни к истории литературы. Вопрос об историческом раскрытии литературного творчества как такового может быть поставлен и решен только в другой плоскости»¹.

Существенно, что противника себе М. Верли в данном случае вымыслил только частично. Тему для его измышления могли дать, скажем, работы В. Перверзева, которые М. Верли, судя по всему, считает ортодоксально марксистскими. Читал он, видимо, и рапповцев. Материал для подобного рода «критиков» всегда может отыскаться.

А вот проблема уже, так сказать, чисто внутренней, наша.

В нынешнем году в некоторых юбилейных статьях, посвященных ленинскому идейному наследию, не без удивления можно было встретить утверждения, согласно которым литература и искусство всегда были и являются почему-то непременно сознательными выразителями той или иной классово-политической позиции...

¹ «В. И. Ленин о литературе и искусстве». «Художественная литература». М. 1960, стр. 541, 547, 548.

² Там же, стр. 573.

¹ М. Верли. Общее литературоведение. Издательство иностранной литературы. М. 1957, стр. 179, 182. Разрядка моя.

Может, пожалуй, показаться, что, при всей такой прямолинейности, в принципе это все же верное утверждение. Скажем, ведь советская литература действительно партийна, причем партийна она именно в том смысле, что наши писатели и на самом деле сознательно отстаивают позиции социализма и коммунизма, те позиции, которые органичны именно для революционного рабочего класса. В известном смысле верными подобные утверждения являются и применительно к современной реакционной буржуазной литературе и искусству: эти последние не менее сознательно защищают противоположные нам классовые позиции, в этом ныне суть их реакционной буржуазной партийности.

Однако же такие утверждения, если они принимают глобально обобщающий характер (а так ведь и случается весьма нередко), оказываются крайне ошибочными. В конечном счете они — как это ни печально и ни огорчительно для всех нас — повторяют то, что когда-то утверждал незадачливый «пролетарский» теоретик В. Шулятиков: они исходят именно из рабской, нерасуждающей подчиненности всякого вообще художника тем или иным классовым интересам (гезис, вызвавший у Ленина столь энергичный протест!).

Заметим, что подчас и в нашей печати иным суждениям придается форма безапелляционности, после чего всякий разговор о необходимости дифференцированного подхода к явлениям художественного творчества становится как бы излишним: аксиому не обсуждают, ее надлежит заучивать... Именно в таком категорическом стиле сравнительно недавно в статье «Знамя партийности», опубликованной в «Советской культуре» 5 мая 1970 года, Н. Абалкин писал: «Со времени Эсхила и до наших дней искусство было и остается партийным».

Остановимся на этом утверждении, подчеркнув еще раз, что это определенная и многими разделяемая концепция. Если понимать под «партийностью» то, что понимал В. И. Ленин, а Н. Абалкин ссылается именно на Ленина, то ведь приведенное выше утверждение с неизбежностью должно быть расшифровано следующим образом: поскольку партийность, по Ленину, есть непременно сознательная борьба

за интересы определенного класса, то, следовательно, тот же Эсхил именно сознательно отстаивал интересы класса рабовладельцев...

Так ли это было в действительности? Оказывается, не так.

Во-первых, Эсхил в свои древние времена не мог иметь еще никакого представления о том, что он выражает какие-либо классовые интересы, хотя искусство его, конечно же, по объективному смыслу, классово. Еще и еще раз подчеркнем: В. И. Ленин считал партийными художниками лишь тех, кто утверждает партийные интересы действительно сознательно, то есть защищает их, поняв и приняв как свои личные. В. И. Ленин так и писал о партийности всякого идеолога: «раз он понял» взаимоотношения между классами, то он уже «не может не становиться на сторону»¹ какого-либо из этих классов. В этом и проявляется на практике его партийность. Она заключается прежде всего в политическом выборе.

Далее. В. И. Ленин, развивая важнейшие положения марксистской эстетики, никогда не стоял на той точке зрения, что вообще всякое искусство и всегда, во все времена, было партийно (продолжим мысль: а посему, значит, был партиен и Эсхил). Напротив, именно Ленин указал на то, что партийность как социальное явление, характеризующееся всецело сознательным отстаиванием определенных классовых интересов, возникла в период глубоких классовых противоположностей, а говоря точнее, в эпоху буржуазных революций, получив наивысшее развитие в современную эпоху.

В. И. Ленин рассматривает партийность как «спутник и результат высокоразвитой классовой борьбы»². Временем появления и проявления такой именно классовой борьбы он считает периоды социальных буржуазных революций, время, в которое возникла и развивалась та или иная революционная ситуация, и, конечно, пору самой социальной революции.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 547—548.

² «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М. 1967. стр. 91.

Если Маркс и Энгельс показали, что прогрессивный непролетарский класс выступает от имени всего общества и объективно и на первых порах как бы маскирует свои собственные узкоклассовые интересы (так это было с нарождавшейся в свое время буржуазией), то Ленин, развивая далее их положение, указывает, что в эпоху буржуазных революций массы и значительная часть интеллигенции еще не осознают классового характера этой революции. «Классовый характер буржуазной революции проявляется, поэтому, неизбежно в «общенародном», неклассовом, на первый взгляд, характере борьбы всех классов буржуазного общества против самодержавия и крепостничества»¹. О том же в свое время писал и Энгельс: «Буржуазная сторона требования равенства была резко, — но еще в виде общечеловеческого требования, — сформулирована впервые у Руссо»².

Ну, так какая же это партийность? Это — неосознанная классовость!

В классовом обществе сознание людей, как известно, классово. Но отчетливо осознанного понимания этой классовости даже и ныне еще нет у многих идеологов и художников буржуазного общества. Что уж и говорить о давно прошедших временах.

Понимание этой своей классовости у людей как раз и появляется в эпоху буржуазных революций. Именно здесь впервые происходит процесс сознательного проникновения в суть классовых противоположностей.

Маркс ведь прямо указывал на то, что вовсе не он открыл существование классов и классовой борьбы. Это сделали буржуазные идеологи. Конкретно — историки французской реставрации Минье, Гизо, Тьери. А также социалисты-утописты — прежде всего Сен-Симон. Близки к этому были, кроме того, английские экономисты А. Смит и Д. Рикардо. Именно с тех пор, как такое открытие — в буржуазную, повторяю, эпоху — было сделано, и можно вести разговор о сознательной классовой борьбе. Именно с этой поры, с момента открытия существования классов и классовой борьбы, мы имеем право считать искусство или

творчество тех или иных (далеко не всех) художников партийным: люди осознанно встали на защиту интересов своего класса, сознательно участвуют в борьбе классов.

Что же касается именно античности, то здесь и вовсе дело обстоит не так, как это представляет себе Н. Абалкин. Ясно, что и в античности искусство и общественное сознание носили классовый характер. Существовали там опять же и партии, и партийная борьба. Тем не менее все это не было именно той партийностью применительно к искусству, о которой мы читаем у Ленина и которую Н. Абалкин тем не менее увидел в творчестве Эсхила. То была борьба партий внутри одного и того же класса — класса рабовладельцев. Ленин же борьбу в идеологии и искусстве понимает прежде всего как межклассовую борьбу.

Если в позднейшие времена и ныне в обществе политическая борьба в искусстве, как и вообще в общественной жизни, носит преимущественно межклассовый характер (а внутриклассовая борьба имеет — перед лицом классового противника — второстепенное значение), то в греческой и римской античности идеологические столкновения были именно внутриклассовыми.

А борьба рабов с рабовладельцами? Не кто иной, как именно Энгельс, убедительно показал, что в том обществе была одна классовая идеология — идеология рабовладельцев. Было и развивалось их классовое искусство. Но собственно «рабской классовой идеологии» не было, никто ее не защищал и защищать сознательно не мог. Почему? Потому только, что рабы как класс не имели будущего, они не боролись и не могли бороться за свое именно классовое, именно «рабское» будущее. Идеология рабов была, при всей ее бесспорной классовости, лишь инобытием рабовладельческой идеологии. «Рабство, — писал Энгельс, — там, где оно является господствующей формой производства, — превращает труд в рабскую деятельность, т. е. в занятие, бесчестящее свободных людей. Тем самым закрывается выход из подобного способа производства...»¹. Этот выход не может состояться иначе, как че-

¹ «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М., 1967, стр. 91.

² К. Маркс и Ф. Энгельс Сочинения, т. 20, стр. 636 — 637.

¹ «К. Маркс и Ф. Энгельс. Об искусстве», «Искусство». М. 1967, т. I, стр. 269. Разрядка, кроме первого слова, моя.

рез переход рабов в совсем другое классовое состояние. То есть они, рабы, когда им удавалось освободиться, пытались сделаться рабовладельцами же или возвращались в свои первобытнообщинные и варварские племена. Более того, как отмечает Энгельс, «рабство было в той же мере необходимо, в какой и общепризнанно»¹. Оно было «общепризнанно» и самими рабами.

Если обратиться теперь вновь к потревоженному Н. Абалкиным Эсхилу и его современникам, то их борьба (то что можно было бы назвать внутриклассовой партийностью, то есть отстаиванием ими позиций той или иной партии внутри общего для них рабовладельческого класса) вообще не оказала сколько-нибудь значительного воздействия на их искусство. Эсхил и Еврипид принадлежали к разным партиям. Но они выражали в конечном счете одну идеологию и одну классовую позицию. Замечу попутно — это очень важно для нашей темы, — что к тому же в творчестве Эсхила и Еврипида, поскольку это великие художники, было многое и помимо тогдашней их идеологии. Всем известно, что искусство — не только идеология, а еще и объективное знание о мире. И как раз то, что было у них помимо их рабовладельческой идеологии, что выходило за неизбежно узкие рамки их класса, — это-то и включается всеми последующими поколениями в вечный фонд культуры, в тот фонд, без овладения которым, согласно Ленину, нельзя стать настоящим коммунистом.

Следует сказать, что и известное ленинское положение о партийности философии, утверждающее, что нынешняя философия партийна так же, как две тысячи лет тому назад (а именно на него, как я понимаю, и ориентировался Н. Абалкин в своем суждении об искусстве), в действительности содержит совсем иной смысл, чем полагают некоторые его толкователи. Да, партийность философии — как борьба партий материализма и идеализма — и в самом деле существовала уже две тысячи лет тому назад, но это была гносеологическая партийность. На это В. И. Ленин прямо указывает в книге «Материализм и эмпириокритицизм», когда, имея в виду две линии, две партии в философии, пишет: «...неумение понять и ясно представить

борьбу двух коренных гносеологических направлений, — вот что преследовали, травили Маркс и Энгельс в течение всей своей деятельности»¹.

Следует сказать, что борьба своих гносеологических направлений, своих художественных течений, которые тоже часто назывались «партиями» (так называли их, например, Гёте, Гейне, Белинский, Роллан и многие другие), существовала с древних времен также и в искусстве. Но политическая партийность и здесь (при всем ее специфическом выражении в разных областях творческой деятельности) имеет своим истоком именно эпоху буржуазии. Сначала это было выражением в искусстве борьбы аристократии и буржуазии, потом буржуазии и пролетариата.

Касаясь, в частности, новейшей философии, В. И. Ленин уже прямо говорил о политической ее партийности, но, разумеется, наряду с гносеологической.

О политической партийности античных мыслителей как о сознательном выражении определенной классовой позиции у классиков марксизма-ленинизма нет ни где ни слова. Ее тогда просто не было.

Выделим теперь обобщающую мысль обо-бо: партийность советского искусства и литературы — это бесспорно сознательная борьба авторов за социалистические и коммунистические идеалы, за интересы советского общества.

Все так. В данном пункте все согласны.

Ну, а в чем же все-таки объективный критерий правильной оценки самих этих интересов? Ведь если такого критерия у нас не было бы, то мы не могли бы и оборониться от субъективизма, от всякого рода односторонности? Что бы мы в таком случае противопоставили таким буржуазным теоретикам, как цитированный нами выше М. Верли? Ведь защита классового интереса именно как интереса всегда связана не только с идеологией, с теоретическими концепциями, но и с социальной психологией, а психология, ясное дело, вовсе не всегда является достаточно надежным оплотом для истины. Хуже того, всякая фетишизация, вульгаризация классового интереса — это практически и есть отстаив-

¹ «К. Маркс и Ф. Энгельс. Об искусстве» «Искусство». М. 1967, т. I, стр. 268.

¹ «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М. 1967, стр. 67. Разрядка моя.

вание, оправдывание не только экономического, но и всякого другого автоматизма в воздействии общества на искусство и литературу.

Вроде бы заколдованный круг получает...

Ответ на этот животрепещущий вопрос мы находим в работах Энгельса, где все это объясняется в высшей степени научно. Логическое развитие этой теории основоположников марксизма дано в дальнейшем в трудах В. И. Ленина. Он, кстати, не просто раскритиковал В. Шулятикова, В. Плетнева и пролеткультовцев (в отношении упоминавшегося нами В. Переверзева это позднее сделал А. Луначарский) за вулгаризацию марксизма, но выдвинул — и это главное — определение критерия партийности, являющегося в остром идеологическом споре гарантией успешной борьбы против вулгаризации.

Но начиналось это все же с Энгельса, который сформулировал поразительный по лаконичной точности закон познания (всякого, а не только теоретического). «...Наше субъективное мышление и объективный мир подчинены одним и тем же законам, — писал он, — и... поэтому оба они не могут противоречить друг другу в своих конечных результатах, а должны согласоваться между собой»¹.

В этом-то все и дело: «должны согласоваться между собой». Если этого не происходит потому, что путь к истине просто не найден (но поиски его все же идут), — перед нами обычная ошибка, заблуждение. Если этого нет потому, что автору почему-либо не нужна истина и он ее намеренно прячет, — перед нами сознательная фальсификация. Сознательное искажение истины марксизм отбросил как свой антитипод. Для нахождения же подлинной истины им предложена научная методология. В социальных вопросах она основывается на том, что революционному пролетариату, являющемуся выразителем объективного хода общественного развития, нужны только объективная истина в науке и в практике, только полная и высокохудожественная правда в искусстве. Маркс и Энгельс более чем беспощадно «травили» тех, кто почему-либо отрицал необходимость

сочетания пролетарского классового интереса с правдой, с истиной.

В. И. Ленин в решении данного вопроса шел в направлении дальнейшего уточнения теории соотношения классового интереса и требований объективного хода развития. Известное рассуждение В. И. Ленина об отличии марксизма от объективизма в работе «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве» сводится в конечном счете к тому, что коммунистическая партийность, обязывающая «при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы», наилучшим образом обеспечивает марксизму подлинную объективность. Эта партийность проявляется не в том, что марксист заранее конструирует свое понимание классового интереса и подчиняет ему освещение действительности, а, напротив, «вскрывает классовые противоречия и тем самым определяет свою точку зрения»¹. То есть как раз и получается, что наш классовый интерес и состоит в раскрытии объективной истины, в достижении художественной правды, а эта истина и правда именно тем, что они, истина и правда, служат революционному классу и революционному преобразованию. Соединение классового интереса с объективной истиной, с художественной правдой — это и есть соединение его с подлинно общечеловеческим интересом.

Вот тут-то, однако, вновь начинаются критические баталии. Странно, но факт: некоторые наши авторы стараются избегать термина «общечеловеческое», вместо того чтобы разъяснить его марксистский смысл. Так, в уже упомянутой статье Н. Абалкина, где нет никакой оговорки о том, что ведь существует и марксистско-ленинское толкование общечеловеческого, говорится следующее: «Иным литературным и театральным критикам кажется возможным пользоваться в оценке и анализе художественных явлений не критерием партийности, а расплывчатым критерием «общечеловеческих» эстетических категорий».

Но почему же непременно «расплывчатым»? Мы знаем и программное (содержащееся в Программе КПСС) партийное их понимание: коммунистическое — это выс-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 1-е, т. XIV, стр. 343.

¹ «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М. 1967, стр. 84.

шая ступень общечеловеческого. Подлинный интерес рабочего класса — это построение коммунизма, то есть утверждение общечеловеческих идеалов. И коммунистическая партийность в этом свете — это совсем новый этап в развитии партийного сознания вообще: она одновременно связана и с классовым интересом, и с общечеловеческим. Да ведь и на нынешнем этапе, в наших классовых интересах, тоже проявляется общечеловеческий интерес.

Вернемся, однако, к главному положению нашей статьи, к мысли о том, что начинатели учения о коммунизме, впервые в мировой науке раскрыв основные причины социального прогресса, связанные с тем или иным экономическим базисом, со всей определенностью указали при этом на отсутствие какого бы то ни было автоматизма во взаимодействии экономики и культуры.

Так, Маркс в экономических рукописях 1857—1858 годов обратил внимание на то, что определенные периоды расцвета искусства «не находятся в соответствии с общим развитием общества, а следовательно, также и с развитием материальной основы последнего...». В противном случае, скажем, древнегреческое искусство должно было бы непременно уступать по своему художественному совершенству всему последующему искусству. То же самое было бы в этом случае и с творчеством Шекспира, которое, при наличии некоей автоматической зависимости искусства от поступательного развития общества, должно было бы непременно стоять ниже не только поэзии Байрона и Шелли, но и творчества Б. Шоу. Этого никто, однако, не утверждает. Более того, известно, что при последующем общественном развитии некоторые формы искусства (например, эпос в своем классическом виде, составивший целую эпоху в мировой истории) даже и вообще «никогда не могут быть созданы, как только началось художественное производство, как таковое». В связи с этим, заключает Маркс, «в области самого искусства известные значительные формы его возможны только на низкой ступени развития искусств»¹.

М. Верли в своем «Общем литературоведении», обвиняя марксистов в следова-

нии теории экономического «автоматизма», указывает на то, что, мол, если Германия в начале XIX века действительно была «отсталой» страной «применительно к истории развития социализма», то это-де «не имеет уже ни малейшего отношения ни к Гёте, ни к его творчеству, ни к истории литературы», ибо «вспрос об историческом раскрытии литературного творчества как такового может быть поставлен и решен только в другой плоскости». В какой именно плоскости он должен быть решен, этого М. Верли прямо не говорит. И никто другой, кроме марксистов (если не считать обычно весьма общих заявлений буржуазных эстетиков о наличии специфических законов в развитии искусства), не пытается найти эту весьма для данного случая необходимую «другую плоскость».

А эта «плоскость» и в самом деле имеется. Причем именно марксизмом — и как раз применительно к эпохе Гёте — был поставлен вопрос о несоответствии высочайших достижений в художественном творчестве и в философии Германии экономическим и иным важным факторам, свидетельствующим о страшной отсталости немецкой жизни во второй половине XVIII и начале XIX века.

Вспомним потрясающую характеристику, которую дал Германии названного периода Ф. Энгельс: «Это была одна отвратительная гниющая и разлагающаяся масса. Никто не чувствовал себя хорошо. Ремесло, торговля, промышленность и земледелие страны были доведены до самых ничтожных размеров. Крестьяне, ремесленники и предприниматели страдали вдвойне — от паразитического правительства и от плохого состояния дел. Дворянство и князья находили, что, хотя они и выжимали все соки из своих подчиненных, их доходы не могли поспевать за их растущими расходами. Все было скверно, и во всей стране господствовало общее недовольство. Ни образования, ни средств воздействия на сознание масс, ни свободы печати, ни общественного мнения, не было даже сколь-нибудь значительной торговли с другими странами — ничего, кроме подлости и себялюбия; весь народ был проникнут низким, раболепным, жалким торгашеским духом. Все прогнило, расшаталось, готово было рухнуть, и нельзя было даже надеяться на благотворную перемену, потому что нация не имела в себе силы даже для того, чтобы

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 736.

убрать разлагающийся труп отживших учреждений»¹.

Казалось бы (согласно приписываемой марксистам теории «автоматизма», экономического «диктата» над явлениями культуры), что же еще такое неожиданное и новое может применительно к этой убийственно обрисованной обстановке сказать дальше Энгельс? Ведь это к нему, как к одному из создателей марксизма, адресованы обвинения М. Верли. Но М. Верли, как и многие из его западных коллег, вряд ли читал Энгельса. В противном случае, зная, что именно говорится вслед за приведенными здесь словами, он не стал бы возлагать столь тяжкую вину на марксизм. Впрочем, кто знает?

А говорится Энгельсом дальше следующее: «И только отечественная литература подавала надежду на лучшее будущее. Эта позорная в политическом и социальном отношении эпоха была в то же время великой эпохой немецкой литературы. Около 1750 г. родились все великие умы Германии: поэты Гёте и Шиллер, философы Кант и Фихте, и не более двадцати лет спустя... Гегель»².

Значит, даже и позорная эпоха в социально-экономическом отношении вовсе не всегда преграда прогрессу в искусстве.

Трудность развития искусства новейших времен, однако, увеличивается не только в силу усложнения и «повзреления» всей жизни позднейших обществ и народов. При капитализме эта трудность возрастает еще и оттого, что «капиталистическое производство враждебно известным отраслям духовного производства, например искусству и поэзии»³. С одной стороны, казалось бы, экономика далеко ушла вперед. И Маркс в «Теориях прибавочной стоимости» иронизирует над теми, кто (как, например, Шторх) считал, что на основе экономики и искусство должно «скакнуть вверх». «Так как в механике и т. д. мы ушли дальше древних, то почему бы нам не создать и свой эпос». Такие попытки даже и делались. Взамен «Илиады» появилась в известный момент вольтеровская «Генриада» Маркс говорит в связи с этим об «иллюзиях французов XVIII века», когда классицизм, как явление

во многом подражательное, оценивался в художественном отношении выше греческого искусства. «Мы, новые, полагали во многих случаях, — с горькой иронией писал об этом Лессинг, — что мы далеко превзойдем их (древних. — Г. К.), если превратим проложенные ими узкие аллеи в проезжие дороги, даже если бы при этом уже существующие более короткие и безопасные дороги превратились в тропинки наподобие тех, что проходят через лесную чащу»¹. С другой же стороны — в этом вся суть, — как раз сама капиталистическая экономика увеличивает несоответствие между собой и современным ей искусством. Капиталистическое разделение труда, неся в себе неизменно большие возможности для развития цивилизации, с не меньшей неизбежностью начинает дробить, разрушать человека, в том числе и художника как цельную личность. Появляются произведения на потребу рынка, на заработок и т. п. Поэтому, если, например, Мильтон, как пишет о том Маркс, «создавал «Потерянный рай» с той же необходимостью, с какой шелковичный червь производит шелк», то есть «это было действительное проявление его природы», то некий «лейпцигский литератор-пролетарий, фабрикующий по указке своего издателя те или иные книги»², с самого начала подчинен капиталу.

Выше мы упоминали о несоответствии между развитием экономики и искусства, когда высокоразвитая капиталистическая экономика сопровождается деградацией в развитии художественной культуры. Маркс весьма убедительно критиковал тех буржуазных идеологов (в данном случае имеется в виду опять же Шторх), которые считали, что «неразвитые нации заимствуют свои духовные капиталы из зарубежных стран, подобно тому, как материально неразвитые нации заимствуют отсюда свои материальные капиталы». Согласно подобного рода утверждениям легко можно прийти до мысли, что если, скажем, в нынешних условиях США являются экономически самой богатой капиталистической страной, то и ее искусство должно быть выше, чем во Франции, Италии или Японии. В действительности же дело об-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 561—562.

² Там же, стр. 562.

³ Там же, т. 26, ч. 1, стр. 280.

¹ Готхольд Эфраим Лессинг. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. Гослитиздат М. 1957, стр. 67.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 26, ч. 1, стр. 410.

стоит совсем по-иному. Причем не в последнюю очередь потому, что к США сейчас особенно хорошо прилагается положение Маркса, согласно которому «даже высшие виды духовного производства получают признание и становятся извинительными в глазах буржуа только благодаря тому, что их изображают и ложно истолковывают как прямых производителей материального богатства»¹. А таким «прямым производителем» очень и очень часто выступает так называемая буржуазная «массовая культура», то есть суррогаты искусства, тем не менее приносящие (как раз по причине «массовости») издателям, продюсерам, антрепренерам огромные доходы.

Как видим, и в данном случае уровень экономики и уровень культуры не находят ся в очевидном соответствии.

2

От чего же конкретно в тот или иной момент зависит упадок или расцвет художественного творчества в классовом обществе?

Вернемся вновь к контрасту, который охарактеризован Энгельсом в его высказываниях о Германии конца XVIII — начала XIX века. Ведь он, этот контраст между упадком экономическим и расцветом в литературе и философии, совсем иного порядка, чем тот, о котором говорилось выше применительно к древнегреческой цивилизации. Но он-то как раз не единичен. Аналогичные обстоятельства складывались не однажды в разных странах. Не похоже ли положение было, к примеру, в России, причем почти на протяжении всего XIX века?

Герцен в 1857 году со свойственным ему публицистическим блеском писал о тогдашней России, об эпохе Николая I: «...это задержка, это остановленное дыхание, нравственное недоумение». После разгрома декабристов в России к тому же и вообще «меньше ума сделалось в обороте, общество стало пошлее, потеряло возникавшее чувство достоинства...»². В самом деле, отмена позорнейшего крепостного права происходит только в 1861 году, а уже и до того русская литература выдвигает такое со-

звездие гениальных писателей всемирного масштаба, какого не бывало в течение столь исторически короткого времени нигде. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Л. Толстой, Достоевский, Тургенев, Салтыков-Щедрин, Чехов... И наряду с ними уникальная по масштабу мысли и галанту плеяда русских литературных кригиков — Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Писарев...

Историческая обстановка, отсталость российской экономики находились в вопиющем противоречии с тем, что русская литература приобрела в XIX веке всемирное значение. Весьма жалкое состояние было тогда в самой экономике. Известно, как об этом писал В. И. Ленин в книге «Развитие капитализма в России» и в других более ранних работах.

Общественные отношения пришли в резкое противоречие с убыстрявшимся развитием производительных сил. Это привело к глубочайшему кризису. И тем не менее, как указывал Герцен, именно русская художественная литература, причем больше всего именно во времена мрачной николаевской действительности, была тогда трибуной, с высоты которой народ — через своих заступников, коих он по своей неграмотности и читать-то не имел возможности, — мог заставить услышать «крик своего негодования».

Какой уж тут «автоматизм»?..

Объяснение этой противоположности между состоянием социально-экономической жизни и художественного творчества вытекает из той же методологии, которую применил Маркс в анализе «несоответствия» между экономикой и искусством древних греков. «Трудность заключается только в общей формулировке этих противоречий, — напомним мысль Маркса. — Стоит лишь определить их специфику, и они уже объяснены»¹.

В данном конкретном случае «наиболее общая формулировка» дана Энгельсом в обстановке, когда особенно много развелось вульгаризаторов учения марксизма. Они не уловили в этом учении очень важного момента — того именно, что в период разработки Марксом и Энгельсом исторического материализма и экономической науки им приходилось вести главную борьбу против идеализма в понимании истории, идеализма, настаивавшего на своем осно-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 26, ч. I, стр. 282

² «Колокол», вып. I, 1857—1858, Лондон. Издательство АН СССР. М. 1962, стр. 29, 30.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 736.

ном заблуждении: «идеи правят миром». Поэтому Маркс и Энгельс чаще всего писали о том, что, напротив, не идейная, а экономическая сторона является решающей во взаимодействии, ею определяется все общественное развитие. Вулгаризаторы же, ухватив лишь наиболее часто применявшуюся часть аргументации, доводили ее (и до сих пор доводят) до нелепости. В 1890 году в письме к И. Блоху Энгельс впервые выступил против таких вулгаризаторов, а после он уже не оставлял без внимания этот аспект идейной борьбы.

Важна, например, следующая, до сих пор актуально звучащая мысль из этого письма:

«...согласно материалистическому пониманию истории в историческом процессе определяющим моментом в конечном счете является производство и воспроизводство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали. Если же кто-нибудь искажает это положение в том смысле, что экономический момент является будто единственно определяющим моментом, то он превращает это утверждение в ничего не говорящую, абстрактную, бессмысленную фразу. Экономическое положение — это базис, но на ход исторической борьбы также оказывают влияние и во многих случаях определяют преимущественно форму ее различные моменты надстройки: политические формы классовой борьбы и ее результаты — государственный строй, установленный победившим классом после выигранного сражения, и т. п., правовые формы и даже отражение всех этих действительных битв в мозгу участников, политические, юридические, философские теории, религиозные воззрения и их дальнейшее развитие в систему догм. Существует взаимодействие всех этих моментов, в котором экономическое движение как необходимое в конечном счете прокладывает себе дорогу сквозь бесконечное множество случайностей (то есть вещей и событий, внутренняя связь которых настолько отдалена или настолько трудно доказуема, что мы можем пренебречь ею, считая, что ее не существует). В противном случае применяя теорию к любому историческому периоду было бы легче, чем решать простое уравнение первой степени»¹.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 37, стр. 394—395.

Здесь достаточно определенно и ясно выражена мысль о взаимодействии всех моментов в развитии, в котором экономическое движение лишь в конечном счете прокладывает себе дорогу сквозь множество «случайностей». На ход «исторической борьбы», что особенно важно, оказывают влияние и даже определяют в ней немало — различные надстроечные факторы. Среди них Энгельс, как видим, пока еще не называет искусство. Но в 1894 году в письме В. Боргиусу он говорит и об искусстве, не оставляя уже никаких оснований для кривотолков.

«Политическое, правовое, философское, религиозное, литературное, художественное и т. д. развитие, — пишет Энгельс, — основано на экономическом развитии. Но все они также оказывают влияние друг на друга и на экономический базис. Дело обстоит совсем не так, что только экономическое положение является причиной, что только оно является активным, а все остальное — лишь пассивное следствие. Нет, тут взаимодействие на основе экономической необходимости, в конечном счете всегда прокладывающей себе путь»¹.

Здесь-то мы и находим ту самую «общую формулировку», которую для подобных обстоятельств социологического анализа считал необходимой Маркс и которая помогает уяснить, почему, в частности, искусство не впадает в прямую и очевидную зависимость от экономики. Оно, как это и наблюдалось в Германии конца XVIII — начала XIX века и в России в XIX веке, будучи во взаимодействии «на основе экономической необходимости» с другими надстроечными явлениями, занимает в этом взаимодействии такое место, когда на него более непосредственно, чем «экономическое движение», оказывают влияние эти надстроечные факторы. И здесь вновь приходится напомнить о том, что как раз более или менее значительная удаленность различных весьма важных видов искусства от базиса во многом обуславливает и его большую, чем, скажем, у вырастающей, в сущности, из самого этого базиса политики, «самостоятельность» по отношению к экономической основе общества. **О том, собственно, и говорит Эн-**

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 39, стр. 175

гельс в письме к Боргиусу. «Чем дальше удаляется от экономической та область,— пишет он,— которую мы исследуем, чем больше она приближается к чисто абстрактно-идеологической, тем больше будем мы находить в ее развитии случайностей, тем более зигзагообразной является ее кривая»¹.

К искусству это диалектическое разъяснение «прилагается», разумеется, весьма не просто. Дело в том, что искусство к «чисто-абстрактно-идеологической» области никак относиться не может, ибо отображает жизнь, а жизнь обладает конкретностью проявлений. Но тем не менее и искусство неизбежно (хотя и чрезвычайно сложно) связано с этой областью, причем связано достаточно прочно: оно ведь и стало возможным именно потому, что у его создателей имеются в составе его общей системы взглядов определенные эстетические воззрения. Реализацией этих воззрений в немалой мере оно безусловно и является — при всех взаимных и частных с ними «несоответствиях». Отсюда и искусству свойственна — не меньше, чем любой другой форме идеологии,— указанная Энгельсом «zigzagобразность» в его исключительно сложном развитии. Забегая несколько вперед, скажем, однако, что эта «zigzagобразность» оказывается тем большей, чем в искусстве меньше дурного «идеологизма». (Под таким именно идеологизмом Маркс и Энгельс понимали все то, что связано прежде всего с различными предрассудками и ограниченностью времени, с тем, что вольно или невольно противоречит истине. В. И. Ленин ввел позднее понятие «научная идеология», имея при этом в виду идеологию марксистскую. И не кто иной, как Ленин, разоблачил суть тлетворного влияния всякой реакционной идеологии в развитии культуры. В своей теории «двух культур» он показал, что реакционная идеология ведет к созданию антикультуры — антипода социалистической и демократической культуры.)

Несоответствие в развитии экономики и искусства Германии конца XVIII — начала XIX века или России XIX века (особенно в эпоху царствования Николая I), как бы

ло нетрудно понять, является кажущимся. Здесь нет автоматизма в их взаимосвязи, а конечный результат уходит своими глубокими корнями так или иначе во все общественно-экономическое развитие этих стран на данном этапе, но этого не хотая замечать наши критики типа М. Верли.

Что, собственно, происходит в это время? С точки зрения марксизма только то, что в противоречие в названных странах названного периода — раньше всех других составных частей сложного общественного механизма — вступили между собою производительные силы и производственные отношения (напомним: совокупность последних и составляет экономический базис). Экономика отстала — конечно, не абсолютно, не по сравнению, скажем, с уровнем Древней Греции, а только по сравнению с теми производительными силами, социальной формой развития которых она в данный момент является. В производительных силах Германии и России все большую роль тогда играл рабочий класс, хотя он и был малочислен, а не крестьянство, которое было пока решающим производительным классом, но уже теряло свое значение. В сфере собственности на средства производства все большее место занимала буржуазия и обуржуазившиеся помещики, а не феодалы с их натуральным хозяйством, крепостничеством и рутинным состоянием техники. Тем не менее в политике по-прежнему господствовали феодалы, крепостники. Типичное положение для времени, когда один общественно-экономический строй отжил, а другой только входит в жизнь.

Такие эпохи в марксизме, кстати, как раз и называются эпохами идеологической подготовки революции, в такие времена и проявляется в общественном сознании политическая партийность. В самом отчетливом своем виде это наблюдалось, скажем, во Франции в XVIII веке, когда там дело шло к буржуазной революции 1789—1793 годов.

В анализируемых нами случаях отчетливости в разграничении общественных сил еще не было, но и здесь, и на этом этапе, все же достаточно хорошо просматривается обострение классово-борьбы, с одной стороны, между нарождавшейся буржуазией и дворянством, а с другой — между крестьянством, стремившимся встать на

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 39, стр. 176.

буржуазный путь развития, поддерживавшим его молодым рабочим классом и тем же дворянством.

Именно обострение классово-борьбы и является тем определяющим фактором, который, будучи порожденным отставанием отдельных важных, ранее господствовавших сторон экономического базиса, а вместе с тем, однако, и появлением его новых, революционных сторон (в данном случае изжили себя феодальные производственные отношения, нарождаются буржуазные), вынуждают к жизни наиболее глубокие и всеобъемлющие политические конфликты, наиболее развитые классовые противоположности, превращающиеся порой в революционную ситуацию и даже в революцию. Это, в свою очередь, означает, что если и не непосредственно уровнем развития экономики, воздействующей на сознание ступень не впрямую, то безусловно уровнем развития классовых противоположностей определяется в эксплуататорских обществах (о социализме речь впереди) степень интенсивности движения всех форм общественного сознания, в том числе и искусства. В первую голову политика, глубже всего политика и раньше всего политика — особенно в ее объективных, не зависящих от уровня классовой осознанности проявлениях — вот тот пункт, без анализа которого, применительно к каждому конкретному случаю, невозможно объяснить, почему в экономически отсталых странах художественное творчество нередко оказывается процветающим, а там, где положение стабилизировалось на современном уровне, искусство не поднимается подчас выше заурядности. Не этим ли объясняется, почему самые великие писатели были одновременно и крупнейшими выразителями каких-либо социально-классовых проблем? Не этим ли объясняется, что появлялись самые большие гении художественной культуры в условиях эксплуататорских обществ именно там, где историей подспудно готовились или совершались крупнейшие социально-экономические перевороты? Ведь не только Л. Толстой создавал свои самые значительные произведения в то именно время, когда в России жизнь дворянства, пусть и без насильственного свержения феодализма, «переворачивалась», а жизнь буржуазии, жизнь обуржуазившихся крестьян и помещиков «только укладывалась». Если обратиться

ко всемирной литературе, то не только Л. Толстого, но и всех других истинно крупных художников выдвинула своя, особая эпоха социальных противоречий. И Данте, и Достоевский, и Пушкин, и Гёте, и Бальзак — все они ведь тоже были просто немислимы без отображения «каких-либо существенных сторон» (Ленин) своей чрезвычайной глубокими социальными переменами эпохи. По Ленину, этими существенными сторонами являются такие стороны, которые наиболее глубоко и до чрезвычайности сложно связаны с главными классовыми противоречиями времени.

Поскольку, однако, во всяком противоречии есть две существенные стороны, то всегда есть также и такие художники (обычно их даже численно больше), которые отстаивают в своем творчестве консервативные позиции. Если они делают это именно в творчестве, то гениев среди них быть не может, ибо защищать реакционные взгляды невозможно без помощи лжи, а она с подлинным искусством, как известно, несовместима. Писатель с реакционными политическими взглядами может, конечно, создать и великие вещи в искусстве, но лишь тогда, когда, как уже сказано, он ошибочно пытается помочь милому его сердцу реакционному классу подлинной правдой о нем, а не ложью. В этом случае писатель просто не видит реакционности этого класса, как и своей собственной. По существу — как это было, например, даже с Бальзаком, Достоевским — такие писатели по своим личным политическим симпатиям консервативны, а объективно, отражая правду, они — иногда неосознанно и непоследовательно — стоят на почве подлинного прогресса.

Таким образом, существует совершенно доказанное положение: в антагонистических классовых обществах великое искусство может существовать в своих наиболее характерных проявлениях главным образом на основе отображения (при всех самых сложных опосредованиях) глубоких классовых противоречий. К тому же если учесть, что такое искусство выступает именно на стороне социального прогресса, то здесь требуется еще и известное критическое отношение мастера к «уходящим» общественным группам, ко всему, что так или иначе мешает утверждению лучших идеалов

Но как быть в этом случае — с античностью? Древние греки здесь в известном смысле оказываются исключением. Впрочем, это поддается объяснению.

Почему все-таки древнегреческое, а во многом и древнеримское (и всякое другое искусство в условиях классического развития рабовладения) не только не стремилось отражать, но и не отражало основное классовое противоречие эпохи? Почему оно сознательно оставляло в стороне, в частности, самые уродливые и в то же время самые характерные явления современной ему общественной действительности? Видимо, лишь потому, что общественно-экономическая формация, в условиях которой развивалось это искусство, только вышла, только-только развилась из первобытнообщинного строя, где еще не было классовых противоречий, ибо не было и классов, но где человек другого рода и племени часто вовсе не считался за человека. Став членами классового общества, общества рабовладельческого, люди тем не менее не поднялись на тот уровень экономического и социального прогресса, такого вопроса и не существовало. Раб не человек — и все. Этот взгляд обосновывался самыми великими умами античности — Платоном, Аристотелем, самыми крупными художниками. Аристофан в «Лисистрате» даже и идею равенства отстаивает с помощью того аргумента, что у одних вот рабов много, а у других и прислуги нет... Ну, а поскольку было именно такое всеобщее убеждение, то какая же могла быть тогда в искусстве речь об основном классовом противоречии? Лишь у Еврипида и у более поздних писателей появляются проблески, но только, конечно, проблески мысли о том, что и раб существо, способное все же иметь человеческое достоинство.

Таков был взгляд на вещи, на что нами уже указывалось, не только у рабовладельцев, но и у рабов. Никто по поводу рабовладения угрызениями совести не мучался. Собственно, такого вопроса и не существовало. Раб не человек — и все. Этот взгляд обосновывался самыми великими умами античности — Платоном, Аристотелем, самыми крупными художниками. Аристофан в «Лисистрате» даже и идею равенства отстаивает с помощью того аргумента, что у одних вот рабов много, а у других и прислуги нет... Ну, а поскольку было именно такое всеобщее убеждение, то какая же могла быть тогда в искусстве речь об основном классовом противоречии? Лишь у Еврипида и у более поздних писателей появляются проблески, но только, конечно, проблески мысли о том, что и раб существо, способное все же иметь человеческое достоинство.

Древнее общество в его собственном понимании общественной жизни, как бы замкнулось в рамках лишь жизнедеятельности

рабовладельцев и других «свободных» — тех, кто не раб. Эти люди и действительно были в достаточной мере свободны. Внутри класса рабовладельцев, конечно, имелись свои противоречия, носившие безусловно политический же характер, но это были опять же внутриклассовые противоречия — в известном смысле наподобие, пожалуй, тех, выразителями которых в условиях, скажем, нынешних США являются демократическая и республиканская (обе буржуазные) партии.

Производительный класс, причем, в сущности, единственный производительный класс, оказался за пределами внимания искусства. Исключить рабов из своего эстетического сознания — и как людей, и как класс, — древнегреческое и римское общество тем самым как бы вынесло в своем сознании главный классовый конфликт за собственные пределы. Поэтому оно в идеологии практически замкнулось в кругу хотя и мнимо неклассовых, мнимо «общенародных», но все же во многом абстрагировавшихся «от злобы дня» проблем. К тому же, когда в греческих государствах (а их поначалу было много) устанавливалось еще и демократическое правление, это ощущение «полного единства» в таких обществах (поскольку рабы не признаются за людьми) становилось чуть ли не поголовным. В такой обстановке и социальные теории, и искусство могли обращать главное внимание действительно на совершенствование, а не на ниспровержение существующего общества.

Отсюда культ красоты и гармонии в обществах и государствах древних греков, а также и ранних римлян. Отсюда и учения, наподобие платоновского, отрицающие познавательную функцию искусства, которое исследует жизнь в ее полной сложности, и признающие лишь его воспитательную функцию. Причем эта функция понималась тогда как воспитание человека на прекрасном изображении лишь прекрасного же.

Лессинг отмечает: «Известен закон филян, повелевавший художникам при подражании облагораживать человеческую натуру и запрещавший им, под страхом наказания, уродовать ее. Этот закон не был против плохих художников... закон этот просто воспрещал применение недостойных приемов искусства, состоявших в достиже-

нии сходства путем преувеличения неприятных черт оригинала»¹.

Известно, что и в греческой литературе ранних столетий господствовали в последнем итоге те же каноны. Греки верили в «вечную справедливость» общества, в котором якобы нет органически присущих ему пороков, а есть только действие рока. Характерно, что в «Илиаде» и «Одиссее» Гомер, мельком и нейтрально упоминающий рабов, которых тогда, в переходную эпоху к рабовладению, было не так и много, тоже почти все пороки (за исключением отрицательного изображения Терсита и женов Пенелопы) выносит за пределы общества. У него и добро и зло творится первоначально в замыслах и действиях богов Олимпа, а потом людьми, которые, собственно, ни за что не в свете, а в известном смысле они даже и идеальнее богов. Такими они предстают в гениальных гомеровских творениях.

Была, конечно, в греческой античности сатира, были и художники-обиденники, была, наконец, величайшая трагедия, где нередко изображались наряду с высокими делами и ужасные преступления. Была классическая комедия. Но и это все является великим и в известном смысле «недосягаемым» образцом опять же потому, что в совершенстве выражает «детское» заблуждение греков в связи с их полным отстранением в искусстве и в идеологии от проблемы рабства. Классовость здесь воплощалась наиболее определенно как раз в этом — весьма полном, но и в самой малейшей мере еще не осознанном — игнорировании проблемы классов.

3

Маркс писал, что древнегреческое искусство, как и детство, никогда не повторяющаяся ступень. Но в марксизме-ленинизме есть также и критерий повторяемости. Это — объективная закономерность: все повторяется — на новой, разумеется, основе. В противном случае не было бы развития. Возможно, повторится когда-нибудь и тот эстетический идеал, согласно которому надо отображать в искусстве по преимуществу прекрасное. Но повторится — на иной почве. И не раньше,

чем создастся такое положение, когда никакая категория людей не будет, хотя бы в чем-либо, иметь меньше, чем у других, возможностей к совершенствованию своей человеческой личности, когда не будет никаких классов и социальных групп, отличающихся по своему месту в производстве и в распределении, — когда будет построен коммунизм. Это произойдет потому, что при коммунизме вообще не останется людей, являющихся «агентами» (Маркс) самого процесса производства. Человек, как писал Маркс, станет вместо этого «надзирателем» и «регулятором» научно преобразованного процесса развития подчинившихся ему природной и общественной стихий. Вопрос о классовых противоречиях исчезнет уже не иллюзорно как у древних греков, а потому, что исчезнет деление общества на классы. Вопрос о разоблачении социального строя исчезает потому, что на реальной основе постепенно исчезает сама проблема социальной несправедливости, заменившись проблемами подлинно общечеловеческими. Уже и греки доказали, что трагедии имеют место всегда, ибо всякая жертва в рядах появляющегося нового и прогрессивного в борьбе со старым и консервативным трагична. Останутся и в будущем трагедии, и драмы, и комедии — все виды и жанры искусства. Разве что еще новые появятся. Они, вероятно, не будут и менее острыми, ибо не может быть менее острым и волнующим искусство, если центральным объектом его останется сложный и беспокойный по своей природной сути человек. А останется именно человек...

И все же глубоко заблуждаются те, кто готов уже и теперь потихонечку (и под самыми различными предлогами) свернуть в художественном творчестве классово-политическую проблематику, представить дело так, будто уже и на данной стадии в советском обществе, поскольку социальный строй у нас в принципе справедлив, отпала необходимость самой серьезной критики различного рода недостатков, а взамен появилась необходимость немедленного перехода искусства к такому идеалу красоты, в котором прекрасное изображение может соответствовать лишь прекрасному же объекту. По существу своему это есть не что иное, как неосознанный призыв к социальной пассивности. Против него наша партия предостерегала художников всегда и самым определенным образом.

¹ Лессинг. Лаокоон, стр. 82.

Вместе с тем, когда задумываешься над объективным смыслом рекомендаций отдельных критиков, которые исходят из необходимости отображать в искусстве по преимуществу положительное (причем и тогда, когда это означало бы, попросту говоря, зажмуриться перед сложностью жизни), — невольно приходит на память эпизод из Г. Ибсена: тролли предлагают Пер Гюнту малость помять ему левый глаз. «Ты будешь, правда, слегка косить после этого, — успокоительно прибавляет их глава, — но все, что ни представится твоему взору, покажется тебе прекрасным и отрадным».

История знала, разумеется, немало случаев, когда художники шли и на такую операцию. Но советская литература, в ее вершинных проявлениях, тем и достигла своего величия, что ей не свойственно подобное косоглазие! Она, наша литература, возникла как выражение новой, полной, бескомпромиссной, революционной правды и тем самым утверждала новый социальный строй.

Не существует ведь на свете такой правды, которую вредно было бы знать людям, а научно преобразующим мир. В противном случае при чем тут была бы наука? Невозможно представить существование такой обстановки, когда в общественном развитии останется только одна сторона противоречия, выражающая собой лишь само движение общества вперед, то есть положительная, а другая, отрицательная сторона, выполняющая тормозную роль, исчезнет.

Эти прописные истины приходится повторять здесь только потому, что до сих пор появляются время от времени высказывания, как-то странно толкующие, казалось бы, совершенно бесспорные вещи. Вот, к примеру, одно из подобного рода умозаключений:

«Подчеркнем важную мысль: отрицательное не имеет в советской действительности такой распространенности, как при капитализме. Оно находится в ином соотношении с главной тенденцией общественного развития. Сфера воздействия отрицательного при социализме сужается благодаря победе положительного».

Это пишет В. Новиков в статье «Видеть диалектику жизни»¹.

¹ «Вопросы литературы», № 4, 1969, стр. 18—19. Разрядка моя.

Диалектику жизни надо, конечно, видеть. В. Новиков тут прав. Но лучше видеть ее можно тогда, когда следуешь диалектике марксизма. Да и Гегель бы тут борозды не испортил. В. Новиков же, видимо, больше полагается на собственную интуицию. И вот к каким любопытным заключениям она его порой приводит:

«...Положительное приобретает у нас значение всеобщности и в искусстве стало мерой прекрасного; положительное при изображении нашей жизни выступает как своего рода фокус, в котором находят преломление все многообразные лучи жизни. Поэтому изображение положительного героя, раскрытие красоты и величия советского человека — строителя коммунизма является задачей номер один для советского искусства»¹.

Еще Энгельс указывал, что нет такой истины, в которой не было бы известной доли заблуждения, и нет такого заблуждения, в котором не было бы известной доли истины. «...Познание, притязающее на безусловную истину, — в ряде относительных заблуждений»², — писал он. Об этой способности заблуждения к маскировке знают все.

В самом деле, если говорить о первом высказывании В. Новикова, то совершенно справедливо: отрицательное действительно не имеет в советском обществе такой распространенности, как при капитализме. А г а г о н и с т и ч е с к и х классовых противоречий у нас уже нет. Но ведь В. Новиков делает этот вывод для того, чтобы тут же двинуться дальше, к утверждению, что «сфера воздействия отрицательного при социализме сужается». Автор абсолютизирует свое наблюдение, ибо его цель состоит в доказательстве мысли, что положительное у нас вообще когда-нибудь раз и навсегда возьмет да и одержит наконец полную победу над отрицательным. Непременно полную. Непременно навсегда. А это, да простит меня В. Новиков, называется в марксизме метафизикой. Как говорится, из песни слова не выкинешь...

Дело-то ведь в том, что ни положительное, ни отрицательное никогда не находятся в статике и никогда не существуют в изо-

¹ «Вопросы литературы», № 4, 1969, стр. 22. Разрядка моя.

² К Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 86—87.

ляции друг от друга. Это — азбука. Ликвидируются одни отрицательные факторы в жизни общества, нарождаются другие. Меняется при этом, конечно, их суть. Вместе с ликвидацией одной противоборствующей стороны в противоречии неизбежно ликвидируется и другая: перестает существовать эксплуататорский класс, перестает вследствие этого существовать и эксплуатируемый класс. Исчезает, скажем, буржуазия как класс, то постепенно и пролетариат перестает быть классом. Короче говоря, ликвидировать можно только данное конкретное явление, тормозящее развитие, то есть «снять» (Гегель) данное противоречие. Но никогда не будет такой ситуации, чтобы исчезли вообще все тормозы в развитии. И это говорит отнюдь не о «неискоренимости» какого-то конкретного зла, а только о неискоренимости противоречий. Содержание их меняется, но без противоречий нет и шага вперед.

Надо ли говорить, что в марксистской философии под «отрицательным» подразумевается отнюдь не всегда только зло, а именно все отжившее, устаревшее.

«...По отношению к «2-му», отрицательному положению «диалектический момент» требует указания «единства», т. е. связи отрицательного с положительным, нахождением этого положительного в отрицательном. От утверждения к отрицанию — от отрицания к «единству» с утверждаемым, — без этого диалектика станет голым отрицанием, игрой или скепсисом»¹, — так учил В. И. Ленин.

У В. Новикова получается, что «тезис» непременно должен уничтожать собою «антитезис». Для «синтеза» в данном случае остается одна, положительная сторона противоречия. Но какой же это, скажите, синтез? Что в нем, собственно, синтезируется?

«Положительное и отрицательное, — иронически писал Энгельс о подобной методологии, — абсолютно исключают друг друга; причина и следствие по отношению друг к другу тоже находятся в застывшей противоположности. Этот способ мышления кажется нам на первый взгляд совершенно очевидным потому, что он присущ так называемому здравому человеческому рассудку. Но здравый человеческий рассудок, весьма почтенный спутник в четырех стенах

своего домашнего обихода, переживает самые удивительные приключения, лишь только он отважится выйти на широкий простор исследования»¹.

Можно сказать, что вторая из приведенных выше выписок из статьи В. Новикова является как раз таким выходом на «широкий простор исследований» «Здравый» смысл» автора здесь проявляется достаточно ясно. Правда, В. Новиков не пользуется слишком прямолинейно принципом: «да — да, нет — нет; что сверх того, то от лукавого». Что верно, то верно. Более того, им делаются попытки отмежеваться от односторонности, подвергается суровой критике, например, теория «бесконфликтности». Но это, оказывается, вовсе ничего не значит, ибо в георетической части автор как раз и защищает именно то, из чего исходит данная пресловутая теория.

Обратимся к конкретным его утверждениям. Ну, что, в самом деле, значит в наше время сказать то, что говорит В. Новиков: «Положительное приобретает у нас значение всеобщности и в искусстве стало мерой прекрасного»? К тому же оно, этакое положительное, еще и «своего рода фокус, в котором находят преломление все многообразные лучи жизни». Фокус-то, может быть, и фокус, но ведь отрицательная сторона противоречия в этом случае просто-напросто изымается из объективного закона единства и борьбы противоположностей. Разве отрицательное — как одна из двух сторон противоречия, движущего общество вперед (в том числе, разумеется, движущего и наше общество), — не имеет, если принять терминологию В. Новикова, значение той же самой «всеобщности»?

Пишется им все это, бесспорно, с самыми благими намерениями: автор очень хочет видеть изображение преимущественно положительного в искусстве. Но что этого из нас, советских людей, не хочет? Все мы за утверждающий пафос. Дело только в том, что никакой положительный герой в искусстве просто невозможен без изображения его борьбы за положительные наши идеалы, за идеалы коммунистические. А когда эта его борьба находит художественное воплощение, то бороться ему приходится именно против отрицательных сторон дей-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 208.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 204.

ствительности, против недостатков. Какой же смысл призывать к художественному воплощению образа положительного героя без противостоящих ему отрицательных? На фоне чего и в борьбе с чем он будет положителен?

Звать художников надо, видимо, все-таки к воплощению всей полноты борьбы за коммунизм. В ней, в этой полноте, — сама правда. Та именно правда, которая, по гениальному замечанию В. И. Ленина, не должна зависеть от того, кому она должна служить. Ее нельзя «дозировать»: о «положительном» столько-то, об «отрицательном» столько-то... Всё — о том и о другом. Всё — о целом явлении, и всё о человеческом характере. Тогда и предстанет перед нами в литературе и искусстве настоящий герой нашего времени — действительно активный борец за новое общество. Тогда, и только тогда, наша художественная культура будет и дальше крепить своей жизнеутверждающий пафос.

Ее жизнеутверждение должно основываться (в лучших ее произведениях это многократно подтверждено) на изображении утверждающего характера самого социалистического развигия общества, а отнюдь не на голых декларациях, как это свойственно творчеству малоталантливых литераторов. Жизнеутверждающий характер советскому художнику буквально «задан» тем, что жизнеспособна молодая наша социальная система, породившая и писателя, и его героев. Защитить, утвердить ее, нашу систему, — это и означает отобразить ее такой, какова она есть.

Но продолжим рассмотрение приведенных выше положений статьи В. Новикова. Автор говорит, что положительное «в искусстве стало мерой прекрасного». Однако что же означало бы для нас действительное принятие концепции В. Новикова? Не менее, как то, что пришлось бы признать «мерой прекрасного» в искусстве уже не только художественное соответствие изображения, включающего в себя идеальное соответствие художественной формы большому содержанию, но еще и простые добрые намерения художника, если даже они и не нашли воплощения. Однако, согласно представлению о положительном как о мере прекрасного (не просто в жизни, что было бы справедливо, а именно в искусстве), даже образ Григория Мелехова неизбежно оказался бы эстетически ниже, чем, скажем,

образ Бунчука или чем образ комиссара Лихачева и других положительных персонажей того же «Тихого Дона». Ведь этот образ тоже не может, по В. Новикову, быть «мерой» прекрасного в художественном творчестве.

За создание же образа Грацианского — рядом с образом Вихрова — надо было бы создателю «Русского леса» и просто поставить на вид... Кстати, интересно, «мерой» чего является, скажем, образ Клима Самгина?

Когда читаешь статьи, специально посвященные анализу текстов работ классиков марксизма-ленинизма (статья В. Новикова именно такова), удивительно бывает видеть, как из этих текстов извлекается явно не тот смысл. Кажется, что их авторы, кроме марксизма-ленинизма, знают еще «что-то», чего ты, зачарованный непосредственным содержанием марксистско-ленинской классики, не видишь. А как раз в этом «что-то» все дело! Это ведь очень серьезно — как читать, как комментировать.

Довольно характерный пример. В. Новиков проводит мысль, что писатель, чтобы изобразить все величие социализма и коммунизма, должен видеть и наше будущее. Что ж, в общем, верно. Но на том он опять-таки не останавливается. Ему хочется, чтобы в искусстве непременно воплотилось это наше будущее. Поскольку же такую необходимость (если говорить не о фантастике) доказать явно трудно — ведь и будущее в художественном творчестве должно иметь совершенно конкретное выражение, — В. Новиков пробует даже в данном случае «опереться» на Ленина. Он цитирует из Ленина: «Перед тем, кто хочет изобразить какое-либо живое явление в его развитии, неизбежно и необходимо становится дилемма: либо забежать вперед, либо отстать. Середины тут нет... Если при этом точно указать обстоятельства... тогда в подобном забегании вперед нет никакой ошибки».

Далее следует комментарий В. Новикова к этим словам: «Под «забеганием» вперед Ленин понимал отнюдь не отрыв от действительности. Он подразумевал умение художника подходить к явлениям с точки зрения перспектив развития».

Заметьте: речь идет об умении художника...

Читается это поначалу, надо сказать, с захватывающим интересом: каждое ленин-

ское слово об искусстве вроде бы известно, а тут целая эстетическая концепция, причем необычная для Ленина, а ты встречаешься с ней впервые.

В. Новиков между тем продолжает интриговать читателя: Ленин, сообщает он нам, «указал и условие, при котором художник может верно угадать перспективу развития,— это глубокий анализ причин и обстоятельств возникновения того или иного факта, события»¹.

Опять — художник...

Но постойте, как же так, а как быть в этом случае с тем широко известным ленинским высказыванием, которое касается замысла романа «Дело Артамоновых»? Еще до революции В. И. Ленин сказал М. Горькому: «Отличная тема, конечно,— трудная, потребует массу времени, я думаю, что Вы бы с нею сладили, но — не вижу: чем Вы ее кончите? Конца-то действительность не дает. Нет, это надо писать после революции, а теперь что-нибудь вроде «Матери» надо бы»².

Как видим, Ленин выступает здесь решительно против «забегания» вперед в искусстве. Когда же речь шла об «утопическом» романе в разговоре с А. Богдановым, тогда он действительно советовал фантазировать.

В чем же дело? Почему же этот текст исследователь оставляет без внимания?

Оказывается, ленинская цитата, из которой В. Новиков выводит все свои заключения о художественном изображении будущего, взята им из книги «Развитие капитализма в России» и относится к теоретической, публицистической литературе... Ни о каких художниках там нет и упоминания. Ленин пишет, что это он сам лично совершил некоторое забегание вперед, заявив, что в российской державе капитализм уже получил большое развитие. Но в этом забегании, мол, беды для него нет, ибо тенденция-то все же такова, что капитализм развивается и будет развиваться³. Эти-то ле-

нинские слова В. Новиков и преподнес как совет художникам!

Возможно, после всего сказанного и не стоило бы обращать внимания на то, каким образом В. Новиков обходится с текстом моей статьи «Искусство и политика», опубликованной в журнале «Искусство кино» в 1968 году (№ 4). Но, пользуясь случаем, скажу два слова и на «личную» тему.

В рассматриваемой статье В. Новиков утверждает, между прочим, что Г. Куницын борьбу с социальным самодовольством, «которое якобы и породило бесконфликтность в советском искусстве, провозгласил задачей социалистического искусства вообще». Далее В. Новиков и вовсе приписывает мне, что будто бы в качестве задачи советского искусства я признаю только эту «одну сторону дела».

Так определено мое понимание главного назначения социалистического искусства.

На самое существенное место из статьи «Искусство и политика» мой оппонент как раз и не обратил ни малейшего внимания. Между тем там о задаче социалистического искусства недвусмысленно говорится: «Быть художником, знаменем которого является ленинизм,— это значит, руководствуясь общемировозренческими идеями и политикой

общинная деревня превращалась и превратилась в деревню мелких аграриев». К слову «превратилась» у В. И. Ленина дана сноска. Приводя здесь ее, мы опущенные В. Новиковым при цитировании фразы выделим разрядкой. «Если нам скажут, что мы забегаем вперед, выставляя такое утверждение (то есть употребив глагол «превратилась» в совершенном виде по отношению к незакончившемуся капиталистическому развитию русской деревни.— Г. К.), то мы ответим на это следующее. Перед тем, кто хочет изобразить какое-либо живое явление в его развитии, неизбежно и необходимо становится дилемма: либо забегать вперед, либо отстать. Середины тут нет. И если все данные показывают, что характер общественной эволюции именно таков, что эта эволюция зашла уже очень далеко (см. II главу), если при этом точно указаны обстоятельства и учреждения, задерживающие данную эволюцию (непомерно высокие подати, сословная замкнутость крестьянства, отсутствие полной свободы мобилизации земли, передвижения и переселения),— тогда в подобном забегании вперед нет никакой ошибки» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 321—322)

¹ «Вопросы литературы», № 4, 1969, стр. 14. Разрядка моя.

² «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М. 1967, стр. 641.

³ Впрочем, пусть читатель сам рассудит, правомерна ли метода В. Новикова в подходе к ленинскому тексту. Вот полный отрывок из работы «Развитие капитализма в России», данный В. Новиковым в избирательном сокращении: «Доброму народнику и в голову не приходило, что, покуда сочинялись и опровергались всяческие проекты, капитализм шел своим путем, и

марксистско-ленинской партии, смело и самостоятельно выдвигать назревшие проблемы жизни и средствами своего искусства помогать их решению, обогащать партию и массы художественно осмысленным общественным, общенародным опытом. Не иллюстраторы (тем более не конъюнктурщики), а новаторы, идущие в общем строю бойцов за коммунизм, в ногу с народом и партией.— вот кто действительно способен двигать и движет советскую культуру»¹.

В. Новиков при цитировании преспокойно опустил также и ту мою оговорку, что оно, это социальное самодовольство, может ныне существовать лишь у определенной части людей, причем «как только пережиток, хотя и с примесью или даже в оболочке альтруизма...»².

Чем-то эти строки помешали моему оппоненту...

Что касается первых лет революции, то тогда социальное самодовольство, или комчванство, как называл его Ленин, являлось и в самом деле серьезнейшей опасностью.

Применительно к художественной литературе в 1925 году в резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» сказано буквально вот что: «Против капигулянтства, с одной стороны, и против комчванства, с другой — таков должен быть лозунг партии». А далее, кстати, прямо касается нашей с В. Новиковым профессии: «Марксистская критика должна решительно изгонять из своей среды всякое претенциозное, полуграмотное и самодовольное комчванство»³.

Ныне многое изменилось. Но, по правде говоря, все то, что здесь заставило меня возражать В. Новикову, никак не располагает к выводу о полном исчезновении у нас проблемы социального самодовольства. Он же, В. Новиков, как раз и подтверждает, лучше любого, своими рассуждениями о незначительности всякого рода «тормозных» факторов в нашем развитии, что за ликвидацию данной проблемы до конца надо еще продолжать борьбу.

А теперь закончу основную мысль данной главы.

Будучи лишь низшей стадией в построении коммунизма, социализм должен служить важнейшим стимулом как в утверж-

дении добытого и завоеванного, так и в устранении препятствий на пути к бесклассовому обществу. Отношение к критике своих недостатков есть не только показатель зрелости партии, о чем писал В. И. Ленин, но также и общества в целом и отдельных его граждан. Критикующий себя имеет будущее. Нам ли от этого отказываться? Ведь в условиях социализма и сама критика недостатков — фактор, бесспорно, утверждающий!

4

Энгельс во втором письме к Конраду Шмидту (27 октября 1890 года) писал: «Там, где существует разделение труда в общественном масштабе, отдельные процессы труда становятся самостоятельными по отношению друг к другу. Производство является в последнем счете решающим. Но как только торговля продуктами обособляется от производства в собственном смысле слова, она следует своему собственному движению, над которым в общем и целом главенствует движение производства, но которое в отдельных частностях и внутри этой общей зависимости следует опять-таки своим собственным законам, присущим природе этого нового фактора. Это движение имеет свои собственные фазы...»

Так и с денежным рынком. Как только торговля деньгами отделяется от торговли товарами, она приобретает — при известных условиях, определяемых производством и торговлей товарами, и в этих пределах — свое собственное развитие, имеет особые законы и фазы, которые определяются ее собственной природой»¹.

Принцип ясен. Он имеет всеобщее значение. Энгельс все более убедительно ведет логическую нить, переходя вскоре к надстроечным явлениям, к более частным вопросам. «Общество порождает известные общие функции, — пишет он далее, — без которых оно не может обойтись. Предназначенные для этого люди образуют новую отрасль разделения труда внутри общества. Тем самым они приобретают особые интересы также и по отношению к тем, кто их уполномочил; они становятся самостоятельными по отношению к ним... Новая самостоятельная сила, правда, в общем и це-

¹ «Искусство кино», № 4, 1968, стр. 2.

² Там же, стр. 5. Разрядка моя.

³ «Советская печать в документах». Политиздат М. 1961, стр. 75, 76.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс Сочинения, т. 37, стр. 415—416. Разрядка моя.

лом должна следовать за движением производства, но она, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на условия и ход производства в силу присущей ей или, вернее, однажды полученной ею и постепенно развивавшейся дальше относительной самостоятельности. Это есть взаимодействие двух неодинаковых сил: с одной стороны, экономического движения, а с другой — новой политической силы (речь идет о возникновении государства.— Г. К.), которая стремится к возможно большей самостоятельности и, раз уж она введена в действие, обладает также и собственным движением»¹.

Энгельс писал и об идеологических сферах, каждый раз особо оттеняя специфику того или иного вновь возникшего взаимодействия, той или иной сферы разделения труда: «Что же касается тех идеологических областей, которые еще выше парят в воздухе — религия, философия и т. д., — то у них имеется предысторическое содержание, находимое и перенимаемое историческим периодом»... Так, например, философия, как особая область разделения труда, в каждый данный исторический момент «располагает мыслительным материалом, который передан ей ее предшественниками и из которого она исходит»².

То же самое, в принципе, наблюдается и в области искусства и литературы, не говоря уж об эстетических воззрениях, тесно связанных с воззрениями философскими и политическими. Именно этим, по Энгельсу, объясняется, что «страны, экономически отсталые, в философии все же могут играть первую скрипку: Франция в XVIII веке по отношению к Англии, на философию которой французы опирались, а затем Германия по отношению к первым двум». А затем, добавим мы, и Россия — уже по отношению к первым трем. «Но как во Франции, так и в Германии, — продолжает Энгельс (мы вновь добавим: и в России), — философия, как и всеобщий расцвет литературы в ту эпоху, была также результатом экономического подъема»³.

Нет ли здесь, однако, некоего противоречия? Вначале ведь утверждалось, что эконо-

номическая отсталость Германии конца XVIII — начала XIX века и в России XIX века не помешала расцвету их философии и литературы. Причем в отношении Германии это заявление сделал Энгельс же, а сейчас приводятся его слова о том, что расцвет этот был результатом, в сущности, экономического подъема.

Это лишь по видимости парадоксально. В первом случае Энгельсом под экономикой подразумевалось развитие в основном хозяйства¹ этих стран (оно и в самом деле было крайне отсталым), а также то, конечно, что были отсталыми феодальные производственные отношения — в сравнении с передовыми странами. Во втором же случае под экономическим подъемом имеется в виду по преимуществу быстрое развитие как раз буржуазных производственных отношений — более быстрое в Германии и в России, чем когда-либо до этого, — развитие тех отношений, которые с точки зрения марксизма и составляют в их совокупности экономический базис буржуазного общества. Развитие же именно буржуазных производственных отношений внутри тогдашнего феодального общества, естественно, вело к буржуазной революции, к крупнейшему политическому конфликту. На основе этого именно конфликта и был достигнут расцвет в некоторых идеологических областях деятельности. Он, этот расцвет, следовательно, произошел по двум главным причинам: с одной стороны, его определяла в связи с происходившим развалом феодализма обострение классовый борьбы, на что и указывалось ранее как на непосредственно воздействующий на все формы идеологии фактор, а с другой — наличие оставшегося от предыдущего развития «мыслительного материала», известных достижений и традиций в художественном творчестве названных стран.

Выходит, что один из важнейших факторов, определяющих расцвет искусства, носит, при всей его этой важности, все же преходящий характер. Отнюдь не всегда

¹ Интересно, что вся буржуазная эстетика, приписывающая марксизму теорию об «автоматическом воздействии» экономики на культуру, как раз всегда отождествляет понятие «экономика» с понятием «хозяйство», в то время как «экономика» нередко означает «экономический базис», который — тоже, впрочем, не автоматически! — действительно определяет развитие всего общественного сознания.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 37, стр. 416—417. Разрядка в двух последних случаях моя.

² Там же, стр. 419. Разрядка моя.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 37, стр. 420.

социально-политические обстоятельства складываются благоприятно для развития «мыслительного материала». Между тем другой фактор может оказаться (при всей его встречающейся недооценке) весьма и весьма долгодействующим. Собственно, он действует всегда: это как раз наличие оставшегося от предыдущего развития «мыслительного материала» вообще, а также конкретно и художественного «материала».

Весь вопрос, следовательно, в том, что именно остается от предыдущего развития. В области науки в качестве предпосылки всякого прогресса является ранее достигнутый уровень, «предысторическое содержание». Так дело обстоит и в художественной культуре. Маркс как-то заметил, что верования предков как кошмар довлеют над грядущими поколениями. В этом действительно нетрудно каждому убедиться. Довлеют и верования, и предрассудки, и устаревшие традиции и т. д. Но вместе с тем в художественной культуре основным ее наследием является все же высочайшее искусство, то искусство, которое не довлеет над последующими поколениями, а, напротив, возвышает их над чертой всякой заурядности, всякой житейской и иной грязи. Это как раз то самое искусство, которое Маркс применительно к древнейшим грекам и к Шекспиру считал «нормой и недостижимым образцом». Но одновременно с этим, как известно, под «нормой» Маркс понимал именно то, что такое искусство наилучшим образом выражает «свою эпоху». Оно является своеобразным ее документом, ее художественным эквивалентом, а следовательно, оно несет в себе какое-то весьма важное «запечатленное мгновение» из жизни своего времени, всю ту «удвоенную» тогдашними людьми действительность, которая, однако, не умерла с ними вместе, а, напротив, через посредство создания ее они увековечили себя. Увековечили, в частности, так, что мы о них из этого искусства знаем самое главное. Но увековечили они себя еще и тем, что через эту культуру, через это искусство, через этот «мыслительный» материал, через оставленный ими материально-предметный мир и через, конечно, непосредственно рожденные ими поколения они сделали возможным и наше цивилизованное бытие. Культура как айсберг, подводная часть которого (культурное наследие) не просто преобладает, но постоянно накапливает это пре-

обладание: на поверхности же здесь всегда только одна эпоха.

Как же все это называется? Общечеловеческое. Это — те именно богатства культуры всего человечества, без овладения которыми действительно ведь нельзя создать культуру коммунизма. Ничего «расплывчатого» в этом определении не содержится.

«Как же тогда быть с собственно классовой природой культуры?» — пожалуй, спросят нас. «Ну, а как быть с ее относительной самостоятельностью?» — в свою очередь спросим мы.

Законданного круга здесь нет.

Создается культура разными классами. По природе она поэтому всегда классовая. В каждый данный момент появляющиеся произведения искусства к тому же часто преследуют и сознательно классовые цели. Это уже известно. Вместе с тем во всякой подлинной культуре заключен и некоторый общечеловеческий смысл — как раз то, что, по терминологии Энгельса, для последующих эпох составляет «предысторическое содержание». Такой это пласт, который навечно «залег» в пирамидальном остове культуры.

Сочленение классового интереса с объективной истиной возможно лишь до тех пор, пока тот или иной класс играет в социальном развитии прогрессивную роль. Но если класс играет прогрессивную роль, то и его классовый интерес во многом приобретает общечеловеческий характер. Уже и о буржуазии на ранней стадии ее развития, на стадии ее революционности, Энгельс пишет, что «в борьбе с дворянством» она «имела известное право считать себя также представительницей интересов различных трудящихся классов...». Сама себя она представляла представительницей «всего страждущего человечества»¹. Что же касается рабочего класса, то он уже с полным историческим правом не только объявляет себя выразителем идеалов всего человечества, но и борется за создание общества без классов.

Рабочий класс по исторической закономерности превращает борьбу за такую общечеловеческую в жизни и культуре в свой главный классовый интерес. Вот что следует всем нам помнить.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 19, стр. 191, 190.

В марксизме как науке существует, кстати, два основных терминологических ряда для обозначения социальных явлений — классовый и гносеологический. Есть классовая природа общественного сознания, в том числе искусства, и есть гносеологическая их природа. Есть объективный ход истории. И есть отражение объективного хода истории — оно идет через интересы классов, партий, групп, отдельных индивидов. Интересы классов, партий, групп, личностей приобретают объективную значимость тогда, когда они совпадают с объективной истиной, приспосабливают реальность художественной правды.

В мире сейчас существует всего лишь один класс — пролетариат, и лишь одна партия — партия пролетариата, которая в программных стратегических и тактических своих действиях стремится опереться на научное знание в объяснении жизни общества и его переустройстве. Исторически это последний класс и это последняя партия. Идеология здесь возводится в степень науки, и потому, в строгом смысле, она перестает быть идеологией. Не в последнюю очередь на этой научной основе В. И. Ленин и создавал нашу Коммунистическую партию, на этой основе он руководил ею. На этой же основе КПСС официально подтвердила на своем XXIII съезде необходимость осуществления принципа научного подхода ко всем решаемым проблемам в хозяйстве и культуре.

В марксистско-ленинской общественной науке считается элементарным (в смысле — абсолютно необходимым каждому) понимание того факта, что объективная истина, как достигнутая цель всякой науки, сама по себе классового характера не имеет. Она по сути своей общечеловечна. Классовая объективная истина — это, как говорил В. И. Ленин в случаях чьей-либо грубой ошибки, «сапоги всмятку».

Но как только иные литераторы касаются не объективной истины, о которой Маркс, Энгельс, Ленин так четко высказались, а объективной правды, как сразу же начинают говорить о «двух» правдах, а то и больше, чем о двух... Между тем ведь и объективная истина одна и объективная правда одна. Разница лишь в том, что категорией истины в ее подлинном смысле мы пользуемся в науке, а категорией художественной правды в искусстве. Так называемый «здравый смысл», который во все вклады-

вает свой особый «смысл», в данном случае не в счет. Истина — абстракция, с помощью которой раскрывается суть явления. Правда — обозначение реальных событий. Художественная же правда — художественное воплощение жизни в ее конкретно-чувственном проявлении.

Применение и истины и правды, конечно же, всегда классово. Одни социальные силы пытаются с помощью их укрепиться, другие, напротив, их обходят. Но объективный характер науки и великого реалистического искусства от этого не меняется — они служат в полную меру только и только революционному преобразованию общества.

Итак, можно уже назвать главный фактор, обеспечивающий относительную самостоятельность искусству. Это его собственная специфика как социального явления.

Искусство, кроме того, что живет под воздействием общества, развивается по своим собственным законам. В этом Энгельс усматривал основу вообще всякой относительной самостоятельности. Искусство как именно искусство во все времена «выживало» всецело за счет того, что было правдивым, что давало людям объективную художественную информацию о «времени» и о «себе», а главное — что оно при этом (очень часто поэтому) доставляло им эстетическое наслаждение. Напротив, искусство, выходящее за пределы своей специфики, наказывалось забвением потомства — если даже и было обласкано современными ему социальными кредиторами.

Весьма убедительно указал на специфику подлинно эстетического воздействия искусства Г. В. Плеханов: «...нет эстетического наслаждения там, где при виде художественного произведения в нас рождаются лишь соображения о пользе общества; в этом случае есть только суррогат эстетического наслаждения: удовольствие, доставляемое этим соображением. Но так как на эти соображения наводит нас данный художественный образ, то является психологическая aberrация, благодаря которой мы считаем причиной нашего наслаждения именно этот образ, между тем как на самом деле оно причиняется вызванными ими мыслями и, следовательно, коренится в функции нашей логической способности, а не в функции нашей способности созерцания. Настоящий художник всегда обращается именно к этой последней способности, между тем как тенденциоз-

ное (здесь в смысле узкоутилитарное, «дурно тенденциозное», как сказал бы Добролюбов.— Г. К.) творчество всегда старается вызвать в нас соображения об общей пользе, т. е. в последнем счете действует на нашу логику»¹.

Остающийся от прошлых времен мыслительно-художественный материал, следовательно, учит художников устойчивости в борьбе со всякой фальшью в искусстве.

Сюда, однако, следует отнести и ту объективную закономерность, которую М. Горький называл «сопротивлением материала» авторскому произволу. Поскольку убивание искусства подлинного в процессе его создания возможно лишь руками самого автора, если он под давлением обстоятельств или по личному убеждению отходит от художественной правды, то закон «сопротивления материала» оказывается в таких случаях по существу первым форпостом в борьбе за спасение искусства, то есть уже и объект изображения как бы «защищает» себя. Ведь законы отражения и законы развития самой действительности одни и те же. На это указывал Энгельс.

Да, великое искусство зависит от политики и нравственно-психологических ломок. Зависит в том смысле, что оно участвует в этих битвах, отображает свою эпоху во всех ее реальных противоречиях. Оно увлекает нас, как писал Ленин о Толстом, «бесстрашием в стремлении дойти до корня». Оно при этом неизбежно выражает — сознательно или неосознанно — определенные классовые позиции. Поскольку оно часто этого не сознает, то людям, которые им занимаются, «кажется, что они разрабатывают независимую область» (Энгельс).

Таким образом, зависит настоящее искусство — больше всего и главным образом — от прогрессивной, от революционной политики. Под политикой, когда речь идет об искусстве, нами понимается, конечно же, то, что понимал В. И. Ленин, когда употреблял данный гермин: политика — это «отношение между классами»², постоянный процесс сложнейшего взаимодействия между различными социальными слоями во всех сферах жизни. В самом искусстве политика — это, в сущности, художественное отображе-

ние — через конкретные человеческие характеры и ситуации — самых многообразных классовых отношений.

Настоящие художники, отрицая свою «связь с политикой» (высказываний такого рода предостаточно), чаще всего принимали за политику различные формы политиканства в искусстве. В этом случае они действительно могли в глазах своих читателей и зрителей выглядеть «независимыми» от тех или иных практических политических интересов. Да не только в глазах обычных читателей и зрителей. В «Божественной комедии», которую Энгельс считал насквозь пропитанной «партийным духом», Данте убежденно рисует себя человеком вне какой-либо партии, свободным от политики. Кант, как известно, стоял на позиции, что гений в искусстве связан с политикой (но под политикой понимал, если отвлечься от его абстрактной терминологии, низкий социальный утилитаризм). Даже Белинский, для которого чрезвычайно важен был «принцип класса», однажды все же высказался в том смысле, что гений стоит вне партий в искусстве; но Белинский имел в виду, оказывается, не партии отдельных классов и не сами классы, а литературную групповщину, литературные школы.

5

Марксизм не ограничился указанием на «относительную самостоятельность» идеологической надстройки, а пошел дальше, вступив в своих доказательствах в сферу, которая вдоль и поперек исхожена самыми различными разновидностями идеалистов. Они, однако, так и не поняли материальной основы общества. Это сделал марксизм, преодолев в теории метафизическую разорванность между сознанием и бытием. Мало того, именно из возможности обратного воздействия сознания на экономический базис Маркс, Энгельс, Ленин построили свое учение — тактике и стратегии пролетариата и его партии в подготовке и свершении революции, о партийном руководстве революционным процессом, о коммунистическом строительстве и воспитании.

Во втором письме Энгельса К. Шмидту сказано: «Обратное действие государственной власти на экономическое развитие может быть тройкого рода. Она может действовать в том же направлении — тогда развитие идет быстрее; она может действовать

¹ Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения, т. V, стр. 365—366.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 72.

прогив экономического развития — тогда в настоящее время у каждого крупного народа она терпит крах через известный промежуток времени; или она может ставить экономическому развитию в определенных направлениях преграды и толковать его в других направлениях... во втором и третьем случаях политическая власть может причинить экономическому развитию величайший вред...»¹.

В направлении прогресса обществу помогает двигаться, естественно, лишь искусство подлинное, искусство великое. Оно-то и отображает наиболее существенные стороны своей эпохи. Когда в этом же направлении работали и государство, и господствующая в каждый данный момент политика, то подлинное искусство помогало жить именно официальному строю. Оно не стыдилось такой близости позиций с ним. Таковы искусства, вдохновляемые первыми буржуазными революциями, — до момента, пока революционный класс постепенно не становится тормозом общественного развития, уступая знамя прогресса другим социальным силам. Например, драматургия Бомарше или живопись Давида носили открыто и сознательно политический характер. Французское искусство и литература в числе своих лучших представителей перешли в оппозицию к классу буржуазии в основном лишь в середине XIX века. Если же государство и господствующая в каждый данный момент политика, отражая интересы класса, по существу уже переставшего возглавлять общественный прогресс, тем не менее стремились представить себя носителями прогресса, подлинно великое искусство смело занимало критическую позицию по отношению к ним.

Но вот принципиально новая страница истории.

И вот что важно отметить. Как выше уже говорилось, характер противоречий при социализме меняется — следовательно, неизбежны и серьезные изменения в самом развитии искусства. В чем они состоят? В прежние эпохи искусство, как правило, имело своей главной задачей критику существующего социального строя. Что же касается социалистической формации, то ее историческая судьба такова, что она всемерно должна развиваться, чтобы органично перейти

в свою высшую стадию — коммунизм. Эта формация, следовательно, не должна просто изжить себя, а должна перерасти в более высокое качество. Ничто, конечно, не вечно. Но границы коммунистической формации во времени сейчас видеть никто и ни в какой мере еще не может. Не исключено, что коммунизм будет таким строем, который лишь откроет собой целый ряд новых, безантагонистических формаций, подобно тому как существовал ряд антагонистических формаций... Сейчас же, в нынешней ситуации, когда искусство имеет главным своим пафосом утверждение идеалов коммунизма, критические тенденции искусства отнюдь не уменьшаются, они теперь тоже направлены на утверждение, на укрепление и развитие основ социализма. Вот почему партия постоянно указывает в своих решениях на необходимость именно утверждения — утверждения коммунистических идеалов. Но не принесет никакой пользы нашему общему делу тот, кто поймет это упрощенно — как необходимость нашему искусству «смириться» над имеющимися у нас недостатками и несовершенствами. В центр внимания художника встает вопрос, как закрепиться на позициях все той же полноты правды, ибо отобразить в наших условиях жизнь художественно правдиво — это, собственно, и есть утвердить какую-то важную коммунистическую позицию, нанести удар по какому-то злу...

Между прочим, когда в литературоведении говорится об обратном воздействии искусства, то это почему-то все еще вызывает как бы чувство некоего теоретического риска. Не потому ли, что данный вопрос в нашей печати по сей день не затронут сколько-нибудь основательно? Между тем у искусства как у формы общественного сознания, поскольку оно в конечном счете вторичное явление, не существует никакого другого воздействия, кроме обратного. Так же, впрочем, как у экономического базиса по отношению к надстройке нет никакого другого воздействия, кроме прямого, то есть кроме воздействия первичного. Впрочем, это — особый разговор.

Искусство имеет по меньшей мере две основные функции — познавательную и воспитательную. Без познавательной ценности искусство не может правильно воспитывать. Чернышевский справедливо утверждал: искусство должно обладать авторитетом «нравственного приговора» над явлениями

¹ К Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 37, стр. 417

действительности. Передовое искусство всегда и было таковым.

Художественно-творческий процесс обусловлен, как и все общественное сознание, развитием экономических, классовых, политических противоречий и противоположностей в классовом обществе. Только проявляется это, конечно, бесконечно многообразно и сложно. Составной (и направляющей) частью всего обратного воздействия общественного сознания на развитие социальных отношений, на формирование коммунистической формации и ее главного субъекта — человека будущего, нового человека — является партийное и государственное руководство развитием советской культуры. В отличие от воздействия на художественное творчество, осуществляемого буржуазными партиями и государствами в основном по классовому инстинкту самосохранения, политика Коммунистической партии Советского Союза в области искусства имеет возможность в полном объеме базироваться на научных принципах, разработанных В. И. Лениным применительно к самым сложным социальным обстоятельствам. Ленинские принципы руководящего влияния на художественно-творческий процесс — важнейший фактор, помогающий при правильном его использовании целенаправленно формировать результаты именно обратного воздействия советского искусства на жизнь общества.

В научном руководстве заключено, следовательно, весьма важное условие «относительной самостоятельности» искусства. Только научное руководство и способно обеспечить условия для максимальной активности художественного творчества в коммунистическом строительстве. Эта активность происходит из того, что, испытывая на себе влияние общества — политическое, философское, нравственно-психологическое и т. п., —

искусство остается при этом эстетической ценностью, удовлетворяющей ту потребность самого этого общества, которую может удовлетворить только оно.

Следовательно, вся суть и весь смысл научного руководства в сфере художественного развития общества заключается в том, чтобы обеспечить полный простор для проявления объективно присущей искусству специфики, для развития утверждающего пафоса советской художественной культуры. Один из важнейших элементов специфики литературы Ленин, как известно, видел в том, что она способна оплодотворить «последнее слово революционной мысли человечества». Она выполняет эту свою задачу лишь тогда, когда автор талантлив, когда он по взглядам революционен или по меньшей мере в важнейших вопросах жизни прогрессивен.

Размышляя над сложнейшими и еще далеко не изученными как следует научными проблемами, связанными со специфическими особенностями эстетического познания и преобразования действительности, повторяя в наши дни слова мудрейшего из людей: да, эта «область бесконечно велика», — оставляя при этом широко открытыми двери для новых споров и полемик, мы тем не менее заканчиваем статью утверждением, которое считаем несомненным: Энгельс, славный юбилей которого мы празднуем, обосновал в своих работах ту важнейшую мысль, согласно которой искусство отстаивает интересы прогрессивного социального строя и свою самостоятельность прежде всего своей спецификой.

Марксизм-ленинизм приобрел на таком выводе многое — эту его позицию в конечном счете не может не поддерживать все подлинное, что есть в художественной культуре человечества.



ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Лебедева. Странствие по дорогам времени.— **В. Шитова,** Необременительные уроки психологии.— **Лев Озеров.** Читая Блока и о Блоке.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Б. Мейлах. Проблемы психологии научного творчества.— **Ю. Рубинский.** Жизнь великого трибуна.

Литература и искусство

СТРАНСТВИЕ ПО ДОРОГАМ ВРЕМЕНИ

Аскад Мухтар. Чинара. Роман в легендах, рассказах и повестях. Перевод узбекского. «Дружба народов», №№ 1, 2, 3, 1970.

Название нового романа Аскада Мухтара откровенно символично — это становится ясно с первых строк. Писатель выбрал символ весьма выразительный, хотя и не новый в литературе. Думается, автор в данном случае и не искал новизны. Скорее наоборот: он искал и хотел подчеркнуть близость избранного им образа к самым естественным, самым привычным образным представлениям людей, живущих там, где растут чинары... Да что там «живущих» — любой, кто бывал в Средней Азии, на Кавказе, в Закавказье и смотрел на эти величественные темнолистые деревья, наверняка настраивался на философский лад и задумывался о вечности жизни и неистребимости ее корней, о преемственности поколений и связи времен.

Литература всегда стремится исследовать и выразить эту связь; в нашей литературе последних лет такое стремление проявляется все четче и определенной и оказывает влияние на поиски новой формы выражения, так своеобразно заявившей о себе, например, в «Моем Дагестане» Р. Гамзатова. Писатель, имеющий замысел подобного рода, должен обладать не только знанием истории, но и большим жизненным

опытом, не только пониманием исторических и социальных закономерностей, но и чувством перспективы, не говоря уже о богатом воображении, умении ориентироваться в разнородном материале, — иначе он не сможет поставить рядом предка и потомка, не увидит в современности и продолжения былого, и одновременно отрицания многих черт его.

Роман Аскада Мухтара интересно читать. Не претендуя здесь на анализ или оценку всего того, что было создано узбекским писателем до «Чинары», хочется сказать, что Аскада Мухтара с самого начала его работы в прозе отличало умение увидеть в жизни значительное, своеобразное и использовать это в сюжете произведения. В «Чинаре» такое умение доведено до высокой степени, а композиция этого «романа в легендах, рассказах и повестях» (именно так определил автор жанр своего произведения) могла бы, пожалуй, послужить поводом для особого разговора.

А между тем основа композиции «Чинары» проста, как и название книги. Это роман-путешествие, роман о странствии героя, который связывает собою воедино все многообразие и обилие «легенд, рассказов и

повестей». составляющих произведение. Но как говорится, старая погудка здесь сыграна на новый лад. Отдавая дань традиции (напомним, что в старой «восточной» прозе жанр «путешествия» и жанр «романа в новеллах» были чрезвычайно, если не сказать преимущественно, распространены), автор поворачивает ее по-новому, а где-то и пародирует ее, иронизирует над ней — слегка, почти незаметно. Но, конечно, одного этого было бы далеко не достаточно, чтобы роман Аскада Мухтара приобрел остро современное звучание и широкий размах, обусловившие значительность, «весомость» произведения. Аскад Мухтар обычно стремится взять из действительности не только нечто своеобычное, как об этом уже было сказано выше, но современное, актуальное — и конфликтное, драматичное. Этой своей писательской традиции он остался верен и в новом романе. Происходит взаимодействие приема и содержания: литературная форма открывает свои ранние, быть может, не замеченные или забытые грани, а содержание произведения по-новому освещено в несколько непривычном «обрамлении».

Творчески решить подобную задачу весьма не просто. И в решении ее автору прежде всего помогает гот герой, которого он отправил в странствие на вполне современных средствах передвижения — на «газике», на самолете, наделив при этом весьма почтенным возрастом. С Ачилом-бува мы встречаемся на первых страницах романа, когда старику исполнилось девяносто четыре года, а в эпилоге ему должно вот-вот стукнуть сто три.

И как по-картинному красив старый Ачил, когда, отправляясь навещать детей, внуков и правнуков, вместе с приехавшим в гости из-за границы племянником Азимджаном он прощается с гысчелетней чинарой, что растет в родном кишлаке.

Казалось бы, что может быть традиционнее, чем этакий восточный патриарх, пожелавший «навести ревизию» тому, как живут его многочисленные и широко разбросанные по земле потомки? Тем более что и внешностью он наделен в романе подчеркнута традиционной, и читатель, соответственно, ждет от Ачила определенного (и давно знакомого по литературе) поведения. Но автор — и это одна из самых больших удач романа — в данном случае избежал подводных камней дурной литературщины Штами опасен прежде всего тем, что осно-

ван-то он обычно на чертах, реально существующих; случайно открыв роман Аскада Мухтара на той странице, где речь идет о встрече Ачила-бува с пастухом, в отаре у которого старик заметил овец, больных яшуром, и указал пастуху на это и научил, как поступать дальше, — читатель мог бы подумать, что имеет дело еще с одним представителем обширной группы «беспокойных старичков», каких немало в нашей литературе. Но по отношению к герою Аскада Мухтара эта мысль была бы ошибочной.

Ачил-бува, несмотря на то, что ему приходится выполнять функции некой сюжетной скрепы, — совершенно естественный человек, и притом человек очень привлекательный. При этом автор не боится показывать те черты Ачила-бува, которые могут считаться традиционно литературными, потому что у Ачила есть эти черты на самом деле. Но самым любопытным в Ачиле, если говорить об авторском замысле и его воплощении оказывается то, что он человек современного, «молодого» образа мыслей.

Вся жизнь Ачила с давних пор связана была с будущим, с «деланием» этого будущего своими руками, и это будущее стало настоящим не только для его детей и внуков, но и для него самого. Трезвый и честный ум, отсутствие предрассудков как результат громадного житейского опыта, доброе и мужественное сердце, спокойная уверенность — все эти качества Ачила суть проявление лучших сторон народного духа. И принципиально важным для произведения оказывается в этой связи отношение Ачила к истории своего народа как к основе будущего.

Избранная Аскадом Мухтаром форма повествования дает ему возможность свободно проникать в разные эпохи, в разные области жизни, касаться множества тем и проблем. В романе говорится о многих из потомков Ачила-бува, но, кому бы из них ни был посвящен очередной «рассказ», это лишь эпизод из жизни человека, эпизод более или менее протяженный во времени, и почти в любом эпизоде так или иначе присутствует Ачил, и о его жизни узнаешь постепенно все самое главное.

Как ни значительны эти встречи в личном, так сказать, плане, куда более важны общественные, социальные ситуации, в которых эти встречи происходят. И в этом отношении роман Аскада Мухтара — сугубо современный роман. В нем множество кон-

фликтов и социальных столкновений, в нем отражено сложное многообразие общественных связей. Если бы автор, предположим, идя на поводу у традиции старой описательной прозы, попытался подробно рассказать обо всем этом, произведение его разрослось бы на тысячи страниц. Но Аскад Мухтар умеет раскрыть сюжетно важное в точно найденных деталях. Там, где существует тесная художественная связь таких деталей, читатель за лаконичным упоминанием может разглядеть широкую картину.

Правда, не все в романе в равной степени удалось писателю. Некоторые главы оказываются неорганичными в произведении; в некоторых автор чересчур увлекается фабулой, отдавая дань интригующей занимательности; кое-где он говорит несколько сентиментальнее, нежели то позволяет хороший вкус. С моей точки зрения, не вполне органичен в романе эпизод, где дочь Ачила, врач Умида, мать семерых детей, рассказывает отцу о том, что случилось с нею во время международного симпозиума. Само по себе происшествие драматично: Умида увидела на трибуне симпозиума немецкого врача Бергера, которого она помнила со времени войны, когда была переведена в больницу из концлагеря для военнопленных. Тогда этот врач производил изуверские эксперименты над военнопленными. Невозможно ни в какой степени оспаривать «право присутствия» подобной темы в романе, но Аскадом Мухтаром эта тема решена, повторяю, не вполне органично: описание «западной действительности» схематично, схематичен и самый сюжет, который завершается убийством доктора Бергера.

Мелодраматизирован и почти приключенчески усложнен и еще один эпизод — история нравственной и физической гибели Акбарали, внука Ачила, причем и здесь поднята чрезвычайно важная проблема о мере ответственности человека перед людьми.

Но в большинстве глав Аскад Мухтар нашел ту гармоническую соразмерность, тот единственный сплав из слов, мыслей, фактов, действий, который делает литературу литературой. Многочисленные действующие лица, насыляющие роман Аскада Мухтара, живы, содержательны и характерны, — исключение составляет, пожалуй, тот самый Азимджан, приезд которого и послужил поводом для путешествия Ачила-бува. Азимджан прошел по страницам романа блед-

ной и невыразительной тенью, так и оставшись всего лишь «повсдом для поездки».

Страницы, посвященные сыну Ачила Ариффу, занимают в романе одно из центральных мест. Это человек уже немолодой, прошедший сложный и нелегкий жизненный путь. Он образован, эмоционален, ему глубоко чужд чиновничий подход к работе, к людям, к их отношениям. Косность, казуха, общественное лицемерие вызывают у Арифа мгновенную реакцию гнева. Именно эти черты его натуры обуславливают постоянные споры Арифа с секретарем обкома Марией Васильевной, женщиной сильной и благородной, но, как не без оснований кажется Ариффу, теряющей живую связь с реальной обстановкой и реальными условиями существования людей.

Особенно знаменателен с этой точки зрения разговор Марии Васильевны и Арифа после областной конференции. С докладом на конференции выступала Мария Васильевна; доклад не понравился Ариффу, и Мария Васильевна знает это. Они сидят у нее дома, и вначале не клеится разговор. Она просит: «Никаких разговоров о делах». Но оба понимают, что такая просьба бессмысленна, и начинают спорить именно «о делах». И Ариф, который совсем недавно стал секретарем райкома, но успел уже своими глазами увидеть многое из того, о чем докладывала Мария Васильевна, обвиняет ее: «...ты говорила, что восемь тысяч патриотов переселились из горных кишлаков в степь, но умолчала, что почти одна десятая часть этих переселенцев сбежала. Ты говорила, что эти люди вдохнули жизнь в голую степь, но умолчала, что угасла жизнь горных кишлаков. Ты сказала с трибуны, что семь колхозов, созданных руками богатырей, дали государству дополнительно столько-то тысяч тонн хлопка, но умолчала, что эти совхозы до сих пор убыточны, а жизнь этих чудо-богатырей дехкан до сих пор не налажена. Ты знаешь, как трудно строить коммунизм, но представляешь дело так, будто построить его не сложнее, чем вытащить попавший в тесто волосок... В каждом хорошем деле есть свои трудности... А в твоём докладе их нет. Но самое страшное это то, что мы, люди с мест, сидящие в зале, знаем истинное положение дел, но все равно слушаем тебя и аплодируем».

Трудно переоценить остроту и своевременность подобного упрека, трудно отве-

тить на него тому, кто его заслужил, — если, конечно, отвечает не завзятый лицемер и демагог. Мария Васильевна — человек сердечный и совестливый, но, выслушав тираду Арифа, она отвечает ему так, что становится очевидно — «обаяние» условно-бюрократического, лицемерного суетумудрия оказало на нее известное воздействие: «Наша обязанность вести агитацию, пропаганду достижений среди народа. Это ты тоже не признаешь?» И, отлично чувствуя, чего стоит такой ответ, присоединяет к нему аргумент куда более сильный и весомый: «...если будете только красиво размышлять, будете ходить да «чувствовать», а совхозы в течение этого года не станут рентабельными, мы вас снимем с работы...».

«Странный вы, оказывается, «райком», Ариф-ака», — говорит Ариф редактор районной газеты. Наверное, и он в чем-то прав, но на поверку «странность» Арифа главным образом заключается в его естественности, в его желании непосредственно соприкоснуться со всем комплексом обстоятельств, который предлагает ему действительность. Ариф, пожалуй, самый прямой наследник жизненных принципов Ачила-бува; особенно это ощутимо, когда читаешь эпизод о том, как Ачил в свое время выполнил партийное задание — организовать борьбу с нашествием саранчи на поля Узбекистана, а организовывать-то надо было в районе, где хозяевами положения во многом оставались басмачи. Нужно было проявить и оперативность, и осмотрительность, и непредвзятость, и смелость — и Ачил оказался на высоте.

Ариф слабее своего отца, менее целен по человечески, но, наверное, рано было бы выносить о нем окончательное суждение, хотя Ачил судит его по-отцовски сурово: «всего лишь хороший человек». В эпилоге романа, когда Ачил через девять лет после

описанных в книге событий собирается в очередное путешествие, он говорит односельчанам, собравшимся в чайхане под той же вечной чинарой:

«Совсем недавно мне хотелось написать книгу прощания. Это была бы печальная книга. Теперь я бы хотел написать другую — книгу свиданий. Я долго живу и не помню, чтобы что-нибудь повторилось. В неповторимости жизни — залог вечности. Я бы хотел написать о своих встречах с большими людьми...»

— Что значит большой человек, бува?

— Большой человек тот, кто может отказать от власти и денег, чтобы остаться человеком...

— Значит, бедный не может быть большим?

— Может, если предпочтет остаться бедным, но человеком...»

Если судить Арифа по этому мудрому каиюну, высказанному тем же Ачилом-бува, придется признать, что встреча с ним — это встреча с большим человеком, сыном современности, с человеком, который должен находиться во главе угла.

Роман Аскада Мухтара — произведение чистое и благородное по мысли, произведение остро современное и полемическое, особенно там, где автор страстно выступает против косности и невежества, против бюрократической узости и обывательщины.

Вложив в старую, традиционную форму романа-путешествия судьбы наших современников, в которых читатель все время ощущает напряженность времени, его не просто разрешимых проблем, выплеснув на страницы множество интересных сведений о жизни своего народа, Аскад Мухтар сделал серьезный шаг и на пути развития новых форм нашей прозы.

Л. ЛЕБЕДЕВА.

★

НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ ПСИХОЛОГИИ

В. Токарева. О том, чего не было. Рассказы. «Молодая гвардия». М. 1969. 238 стр.

Виктория Токарева, предлагая вниманию читателя свою первую книгу, имеет право повторить одно старое литературное изречение о человеке, который «пьет из своего стакана» («пусть маленького, но своего», — продолжим это изречение до конца).

В сборнике есть прежде всего определенность манеры, определенность того, что называют «литературной походкой». Со своим ритмом — словно бы четко и с удовольствием постукивающими каблуками модных высоких дамских сапожек, — с тем ритмом движения, который подсказывает взгляду —

скорому, хваткому — его уверенную бегучесть. Так и кажется, что Виктория Токарева первой книгой именно что прошлаась перед читателем. Прошлаась, неся тот самый «свой стакан», из которого она сама пьет с удовольствием.

В. Токаревой не отказать в точности слова. Вот, например, как хорошо у нее получается запись телефонного разговора двух подруг:

«— Ты на свадьбу ко мне приедешь?

— У меня разлад мечты с действительностью.

— Что?!

— Я хотела бы подарить тебе шубу, а могу только зубную щетку.

— Привези щетку, у моей как раз отломилась ручка...»

В. Токаревой не занимать способности подмечать. Вот она заметила, что орел в зоопарке похож на уцененную деревянную статуэтку, какие продаются в посудно-хозяйственных магазинах, и что цифра четыре какая-то скучная и своими очертаниями напоминает стул. Она умеет почувствовать, как детские волосы взмокли от возни и стали похожи на ошупь на перышки, может забавно обнаружить в строчке из учебника физики: «Когда в катушке тока нет, кусок железа неподвижен» — стихотворный метр.

Она знает, как надо сегодня поступить, чтобы почти из ничего возник портрет («...тот современный тип внешности, о котором можно сказать «уродливый красавец» или «красивый урод». Он не особенно удачно задуман природой, но точно и тщательно выполнен: точная форма головы, вытянутая шея, вытянутые пальцы, вытянутая спина. Все вытянуто ровно на столько, на сколько положено, ни сантиметра лишнего». Или про одну девушку говорили: «Ничего особенного, но что-то есть», а про ее подругу: «Вроде все хорошо, но чего-то не хватает»).

Она и суть человека порой сумеет определить цепко и внятно. Вот преподавательница литературы, «инструктор по Диккенсу»: на самом деле от нее было бы куда больше пользы и она сама была бы куда счастливее, если бы была «поваром в заводской столовой, кормила голодных мужчин», потому что, по свидетельству ее дочери, «превосходно готовит, помногу кладет и красиво располагает еду на тарелке».

Одним словом, В. Токарева умеет писать и занимательно, и остроумно, и узнаваемо.

Мало того, В. Токарева предлагает свою объединяющую книгу тему — тему интересную и, безусловно, живую. Сборник назван ею «О том, чего не было» — на самом деле он о том, что непременно, рано или поздно, по той или иной причине должно быть с людьми.

А быть с ними должно вот что. В какой-то неведомый, заранее никому не известный день почти каждому из героев Токаревой — врачу неотложки, конструктору, художнику-прикладнику, преподавателю по классу фортепиано, студентке, учителю французского языка в средней школе — внезапно и остро придется столкнуться с самим собой, осознать в себе или обнаружить перед другим свое собственное, истинное «я».

В. Токарева строит это столкновение-открытие всякий раз одинаково — беря героя в некий недвижно-обыденный миг его так или иначе, но уже устоявшейся жизни и бросая навстречу неожиданному, «остраняющему» все вокруг и прежде всего самого человека. Неожиданному, которое может иметь любой облик — от фантастического, вроде купленной в ларьке шапки-невидимки за рубль шестьдесят, или фокусника, способного исполнить любое ваше желание, и до самого что ни на есть заурядного, вроде соседа по лестничной площадке, о котором известно только то, что он зануда и что его зовут Женя.

Рассказ, которым открывается сборник и который дал ему свое название на обложку, — это, пожалуй, лучший из рассказов В. Токаревой, потому что он разрабатывает эту общую тему с умной усмешкой и острым началом романтической иронии.

Врач неотложки Дима добивается своего: получает в собственность тигра, которого еще мальчиком захотел в зоопарке и о котором мечтал всю свою скучную — оттого, видимо, скучную, что не было этого самого тигра, — жизнь. Мечта материализуется — тигренок гоняет по полу Димин стетоскоп, рвет когтями обивку кресла и оставляет на полу «лужи неправильной формы». Потом исполненная мечта начинает Диму тяготить, и он пытается ее, полосатую, мяукающую, требующую по два кило мяса в день (лучшего мяса, по два рубля), куда-то спроводить.

Дима получил своего тигра и узнал про себя, что тигр ему ни к чему: в самом деле, к чему человеку свой личный тигр? Здесь «встреча с чудом», исполнение мечты не без

яда обнаруживает суть мечтательства инфантильного, капризного, «интересничающего». Это полезная, потому что несущая свежую мысль, встреча.

В других рассказах, увы, не так и не то. Вот «Гималайский медведь». В. Токаревой понравилось сопоставление «человек — животное», и она «сдвинула» жизнь художника Никитина, когда тот, исполняя просьбу своей дочки Наташи погладить гималайского медведя, открыл задвижку и вошел в клетку. Вошел, погладил и остался, потому что медведь не захотел его сразу выпустить назад, тем самым давая возможность посидеть и подумать с новой стороны над своей, никитинской, жизнью. Через сутки с небольшим Никитин выходит из клетки — медведь выпускает его, видимо удовлетворенный, что процесс познания человеком самого себя уже завершен: ведь Никитин и впрямь решил, что кончится его неладная жизнь и он будет выполнять все свои обязанности на работе и в семье.

Вот рассказ «Рубль шестьдесят — не деньги». Это тот, где герой покупает в ларьке у станции метро «Новые Черемушки» вигоневую шапку-невидимку. Он использует этот волшебный предмет, чтобы узнать, как к нему относятся разные люди, и потом бросает ее, эту шапку, в Чистые пруды, когда она сделала для него то же самое, что только что сделал гималайский медведь: успокоила, обнадежила — дескать, ты можешь быть хорошим и все у тебя наявняка теперь будет хорошо.

И тут возникает вопрос: стоило ли устраивать свидания людей с неожиданным, чтобы они, эти свидания, всякий раз приводили к мыслям, в общем, банальным, расхожим, к решениям слишком очевидным? Стоило ли для этого призывать экзотических зверей или чудо-шапки?..

Молодая писательница вновь и вновь эксплуатирует найденный ею ход, превращая в стереотип, опять и опять предлагает одну и ту же трехчастную форму: жизнь до вмешательства «острающего начала» — вмешательство — итог. Итог открытый, бедный, как правило, уже без всякого изящества сформулированный в конце.

Рассказы точно исчерпываются своей фобулой, ни один из них не отягощен возможностью перерасти в повесть, как это бывает с лучшими образцами малого жанра. Их всегда можно пересказать в нескольких простейших фразах. «Зануда» — это про

то, как молодой и некоммуникабельной, как теперь принято говорить, женщине вдруг впервые «больше всего на свете захотелось, чтобы кто-нибудь спросил у нее: как дела? А она бы долго и подробно стала рассказывать про свои дела». «Инструктор по плаванию» — это про то, как девушка, проведя странный большой день со случайным встречным, влюбилась в него, а потом, услышав, как он плоско рассуждает, разочаровалась.

Вот, наконец, рассказ «Закон сохранения». Вопреки мнению автора предисловия к сборнику Юрия Нагибина (который в книжке Виктории Токаревой видит рассказы только отличные, очень хорошие и просто хорошие), позволим себе откровенно сказать: вот этот рассказ — просто плохой.

Фокусник Гия Семечкин, которому надоело каждый вечер вынимать из пустой корзины живую курицу, пришел вершить чудеса на посту литсотрудника журнала «Лампа». Гия делал то, что от него просят: омолаживает своего начальника лет на тридцать, научив того принять эликсир и прыгнуть с седьмого этажа, выдает замуж секретаршу Светлану, устраивает в манекенщики некоего безработного красавца и достает начальнице отдела кадров мешок луковой шелухи для подкормки яблонь. Ничего хорошего из этого не получается — только вот яблоки уродились на славу. Оказывается, чудотворец был неразборчив и отдал свой талант не тому, кому следовало: «Ты берешь ненастоящую любовь, ненастоящий успех и ненастоящую молодость, а хочешь получить настоящее счастье. Берешь пустую корзину и хочешь достать живую курицу. Можно показывать фокусы на сцене, а в жизни показывать фокусы нельзя». Ради этой-то морали автор и обращается к чудесам Гии, пишет об этом манерно, вовсе лишая в этот раз жизненности свой стереотип «встречи с чудом», безвкусно раскрашивая его. Гия падает — или улетает — с балкона: «Высоко, пестро (!) заплывал хор. Вздрогнули звезды и косо полетели по разным траекториям, как огни от бенгальской свечки»...

Писать о том, как человек внезапно обращается к самому себе, чтобы стремительно и остро задуматься над своей жизнью, — это интересно. Истории ломки привычного, истории самооткрытий и выпрямлений душевных «я» писались и будут писаться.

Но здесь читателю единственно предлага-

ется повторить вслед герою «не хочу больше быть некоммуникабельным», «не стану больше показывать фокусы не на сцене, а в жизни», вообще «буду делать хорошо и не буду плохо»... Слишком отчетливо этот инфантилизм авторской мысли, авторского представления о человеке говорит нам о том инфантилизме, от которого так упорно и совсем безуспешно уходит в последние годы наша молодая проза...

Может показаться, что В. Токарева пишет о «легких людях», о тех, кто умеет относиться к жизни просто и не корчить трагических мин. На самом деле это не так. Ее герои не просто нашли некую ироническую интонацию по отношению к трудному и важному — они от этого трудного и важного научились внутренне избавляться, как бы проходить насквозь. Они дают нехитрые, необременительные уроки психологической и нравственной «поверхности», приглашают

жить вскользь по касательной. И происходит это потому, что писательнице, видимо, свойственна какая-то исходная убежденность, что все в жизни и в человеке понятно, определимо в легких словах и в этих словах изживаемо.

Виктория Токарева пишет, что называется, современно, элегантно и вовсе небрежно. Тот стакан, из которого она пьет, изящен, его стенки прозрачны, они способны довольно точно и — если автор того захочет — с забавными смещениями отражать мир и сообщать его краскам четкую яркость. Все дело в том, что же внутри этого стакана, чем он наполнен. Не слишком ли много в его содержимом легких пузырьков? Они приятно щекочат нёбо, но вот стакан выпит — и жажда не элементарной, не сводимой к прописи и к острому словцу правды о человеке тут же возвращается.

В. ШИТОВА.

★

ЧИТАЯ БЛОКА И О БЛОКЕ

А. Горелов. Гроза над соловьиным садом. Александр Блок. «Советский писатель». Л. 1970. 512 стр.

Александр Блок в литературе убедительно обозначил собой целую историческую эпоху. Нынче, в пору, когда отмечается девяностолетие со дня рождения поэта, особенно ясно видно, что огромные тиражи его книг все еще недостаточны. Растревоженная мысль Блока о мире, о человеке в этом мире, о России, ее судьбе, ее будущем находит сегодня самый живой отклик.

Разве только с Пушкинианой сопоставим поток статей, исследований, воспоминаний, сборников, монографий, очерков, посвященных Александру Блоку. Посему я и не посягаю даже на аннотационный перечень их. Я просто делаю заметки на полях одной из книг, посвященной Блоку и возникшей, вероятно, из длительного и ревнивого чтения Блока и раздумий автора над судьбой и сочинениями поэта.

Если считать книгу, в которой 512 страниц, картиной, то ее предваряли этюды. Так, в книге А. Горелова «Подвиг русской литературы» (1937) Блоку посвящена большая глава «Гибель соловьиного сада» (это, очевидно, и первый вариант названия рецензируемой книги), а в «Очерках о русских писателях» (1964) — глава «Сквозь

вьюги». В этих этюдах разбросаны наблюдения и мысли, нашедшие в «Грозе над соловьиным садом» свое развитие и разработку. Во всяком случае этюды о Блоке показывают, что тема для автора не случайна, что она вызревала в нем медленно, но верно.

Существуют у нас литературоведы, которые читают не столько произведения изучаемого ими писателя, сколько работы прежних его исследователей, то есть берут материал не из первых, а из вторых и третьих рук. Так из книги в книгу, из статьи в статью, из диссертации в диссертацию кочуют одни и те же (подчас перерванные и скомканные) цитаты и положения. Так методом почкования плодятся у нас компиляторы.

Меня лично интересуют исследования, обращенные главным образом к текстам самого поэта. А. Горелов прежде всего читает Блока. И интересует его он — поэт. Элементарно? Но этого элементарного обычая не так-то часто придерживаются, и поэтому приходится о нем говорить специально. Можешь с автором книги соглашаться или не соглашаться (читая книгу А. Горелова, испытываешь и то и другое), но ты все время

ощущаешь, что он пристально вглядывается в Блока, сердцем чувствует строки его стихов, поэм, статей, писем.

Портрет поэта дан в движении его стихов и поэм, в смене циклов и книг. Этот динамический портрет Блока прочитывается на фоне времени и в противоречивых связях с ним. Главы книги, следуя за названиями сборников и циклов Блока, создают подвижную картину его творчества (надо сказать, что понятия «цикл» и «книга» у Блока не совпадают; соотношение того и другого — важная, еще не до конца прочитанная страница поэтики Блока).

«Гроза над соловьиным садом» — это напряженная книга, передающая и напряженность творчества самого Блока. Не будучи апологетом Блока, А. Горелов все время настраивается на его волну. Он держит руку на пульсе поэта и сообщает читателю, какова его частота и каково его наполнение. Автор книги не только объясняет, но и приобщает. Это важно. Не надо преувеличивать степени знания и понимания Блока нашими читателями. Такой жанр рецензируемой книги делает ее близкой читателю-неспециалисту, заинтересованному в глубоко прочтении труднейшего поэта.

А. Горелов — и это характерно для его метода — постепенно накапливает материал, постепенно подготавливает читателя и в некий миг, когда этого материала оказывается вполне достаточно, делает неожиданный скачок, и мысль его переходит в новое качество. Размышлять вместе с читателем, а не только преподнести ему готовые выводы — вот к чему стремится автор.

То, что А. Горелов выбрал для себя, как исследователя, метод цикличности, свойственный творчеству Блока, его кружению мысли, дает возможность показать развитие, эволюцию, диалектичность его поэтического пути.

Читая книгу «Гроза над соловьиным садом», мы видим образ Блока на широком историческом фоне, видим и понимаем демократизм поэта, его презрение к барству, корысти, сытости, пошлости, цинизму, мещанству. Не прибегая к приемам дешевой беллетризации, автор добивается присущими ему средствами психологической характеристики Блока. Вот почему, вероятно, одна из труднейших тем Блоконианы — связь личной драмы Блока с социальной картиной времени — получает в книге свое раскрытие и толкование.

Именно такой метод и помогает читателю понять, в чем же сходство «Стихов о Прекрасной Даме» с поэмой «Двенадцать».

Через всю книгу А. Горелова проходит тема любви, глубокой, расширяющей даже границы самой темы. Любовь дана здесь как второе имя творчества. Блокская вера в любовь как «медленное помолодение души» (он пишет так в одном еще не опубликованном письме), как в рождающее самое жизнь начало последовательно и убедительно показана в книге.

«Только влюбленный имеет право на звание человека» — это у Блока не просто фраза, в этом — ключ к его личности и к его лирике. Стихия влюбленности захлестывает все страницы поэта и переходит на страницы книги А. Горелова. Критик показывает, что эта стихия не только в «Стихах о Прекрасной Даме», или в «Кармен», или в «Снежной маске», но и в произведениях, далеких по теме и по настроению от собственно любовной лирики.

В первой своей книге Блок, как анализирует А. Горелов, пытается освободить «таинством любви» вселенную, но, как оказалось в дальнейшем, «здесь никто любить не умеет» (вторая книга стихов), а значит, не умеет и жить.

Для Блока Любовь (с большой буквы) — это средство ухода от страшного мещанского мира, от аморального буржуазного быта и будничной прозы, лишивших человеческий дух окрыленности. Для Блока Любовь — это средоточие высшей красоты мира. А красота для него была не отрешенностью от жизни, а высоким градусом ее кипения. Преклонение перед красотой — высшее оправдание бытия, утверждал Блок.

А. Горелов в своих прежних работах исследовал тему любви у русских писателей. Он показывал зарождение и воспитание чувств, сопряженность жизни сердца с общественной жизнью. Именно такой подход, такой метод анализа стал особенно плодотворным в отношении Блока. А. Горелов проследил, как Блок мерой любви соизмеряет жизнь. Автор книги тщательно исследовал и обратил внимание читателей на редко кем замечаемый цикл «Мещанское житье». В этом цикле мы видим Блока, смотрящего на мир «глазами человека, заданного нуждой». Здесь любовь становится чувством гуманной «сопричастности к людскому страданию». Так для Блока сила любви — это всепобеждающая, преобра-

жающая, всечеловеческая сила. И, конечно же, любовь и красота несовместимы с пошлостью, грязью жизни, обывательщиной, мещанством, то есть со всем тем, против чего обрушивается революция. Вот почему такая трактовка творчества Блока (любовь — наивысшее проявление человеческого в человеке) привела исследователя от «Прекрасной Дамы» к «Двенадцати». Драма Петрухи, способного на чудо любви, поставлена А. Гореловым во главу угла всей поэмы «Двенадцать». Смело и интересно А. Горелов отождествляет и сближает стихи любовного цикла и революционную поэму. Увлекательно следить за тем, как революция 1905 года вдохнула в поэта «многоликость», как вернула его с небес на землю, к реальному миру. Так между двумя революциями складывалось гражданское, поэтическое и художническое мировоззрение Блока. А. Горелов исследует, как же в цветущем, тихом, ароматном «соловьином саду» блоковской поэзии зарождаются буря, ураган, гроза, связанные с революционной атмосферой века.

Убедительно показана в книге очень важная для Блока черта: постоянство привязанностей к определенному кругу сложнейших образов. Так, исследователь явил читателю один из сквозных образов Блока — образ Христа, показал, как эволюционировал этот образ на протяжении всего творческого пути Блока. «Вот он — Христос — в цепях и розах...» — этот образ навеян русской природой, «простым окладом синего неба», светлым и грустным ликом, простиупающим из синевы и из восходящих хлебных злаков дивными полотнами Нестерова. Образ Христа «в цепях и розах» сочетается у Блока с битым камнем по косограм и желтой глиной, то есть с самой Россией. Христос «в цепях и розах» 1905 года и «в белом венчике из роз» в 1918 году связаны органически. И А. Горелову удалось раскрыть эту органичность.

Мне вспоминается актерское прочтение «Двенадцати» мастером художественного слова Верой Бальмонт. Ее Блок зажигает сердца слушателей словом прорицания и озарения. Эпоха, люди, события словно оживают в ее исполнении. Мне показалось примечательным то, как она по-блоковски произносит слово «Христос». Как ни странно, оказывается, даже одно слово может дать почувствовать силу таланта, одно слово может дать почувствовать понима-

ние актером сквозного образа поэта. В этом слове актриса передает доведенный до символа образ. А ведь традиция изображения Христа как русского мученика и подвижника восходит еще к Тютчеву, к такому, скажем, его стихотворению, как «Эти бедные селенья...»:

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.

Блок был влюблен в этот образ Христа, растворившегося в страданиях народа, в пейзаже родного края, объемлющего «скорбь народного страстотерпия» (по словам самого поэта). Блок, как говорит А. Горелов, «не благословлял» революцию этим образом-символом, а лишь «утверждал историческую преемственность». Революция принимала в наследство этическую веру народа. Это интересно, ново и, думается, соответствует настроениям и исканиям Блока.

Поэма «Двенадцать», убеждает нас А. Горелов, — это художественно-честное свидетельство о том, что образы Христа и двенадцати апостолов, начинающих свое новое летоисчисление, властно вторглись через поэзию, через сознание поэта в жизнь. Читатель книги, несомненно, поймет, как происходило развитие этих образов, идей, представлений и чаяний поэта.

Но как бы ни было велико значение «Двенадцати», нельзя сводить все богатство поэзии Блока только к этой поэме. Конечно же, она знаменовала собой новый, особый этап в развитии поэта и обозначила целый рубежный период между старой, дореволюционной и новой, революционной поэзией, она создала линию отсчета для современников и потомков. Никто не собирается умалять значения «Двенадцати». Но надо знать, что духовные искания Блока были сопряжены не только с темой «Двенадцати».

Поначалу казалось, что прежде всего поэма «Двенадцать», и только она, делает Блока близким нам поэтом. Все же остальное — пусть и в разной степени — будет тонуть в мистическом и символическом тумане. Какое, мол, дело революционному народу до всяких там незнакомок, соловьиных садов, снежных масок. Маяковский писал: «Кругом тонула Россия Блока... Незнакомки, дымки севера шли на дно, как идут обломки и жестянки консервов». Будущее русского стиха и русского стиля связывалось

только с «Двенадцатью», породившими множество подражаний и перепевов. Поначалу казалось, что поэзии надлежит как можно скорее уйти из «барских садоводств» — из «соловьиного сада» — по той причине, что соловьиный сад простодушно и ошибочно приравнялся к дворянской усадьбе.

Потом, в сороковые — пятидесятые годы, окажется, что и «Ямбы», и «Итальянские стихи», и «Вольные мысли», и «Возмездие» пригодятся, уже пригодились новым поколениям. Весь классический Блок, якобы навсегда сместившийся в прошлое, оказался рядом с «Двенадцатью». Но, увы, незавершенная поэма «Возмездие» с потрясающим душу вступлением («Жизнь без начала и конца...») лишь упоминается во многих книгах о Блоке — в том числе и у А. Горелова — мельком. А между тем, при всей ее незавершенности, она венчает творчество Блока, дает и всей нашей поэзии перспективу. Пока что исследователи не сумели раскрыть смысл и глубину «Возмездия»... О, это трудно! Поэтому мы пока довольствуемся (довольствуемся ли?) переложениями и глухими упоминаниями. Стоит, стоит вчитаться в поэму, чтобы понять: это одно из самых грандиозных построений века, это поэтическое обобщение эпохальных размеров. Ведь все, отвергавшие стиль и смысл «Возмездия» и «Соловьиного сада», сейчас пришли к ним на поклонение. Подчас старое становится более новым, чем заведомая новизна.

Уже в «Ямбах» погромыхивают грозы «Возмездия». Нежный и ласкающий слух ямба привыкает «дробить камня». Из всех попыток поэтов нашего времени приблизиться к пушкинской душевной свободе и умению определять малое и великое в их исторической связи (наиболее полно и совершенно выразившиеся в «Медном всаднике») я считаю наиболее убедительной поэму «Возмездие», особенно ее пролог и начало первой главы с параллельной характеристикой двух веков («Век девятнадцатый, железный...» и «Двадцатый век... еще бездомней...»).

В своей книге А. Горелов упоминает (но именно упоминает) «Возмездие» и примакающие к этой поэме произведения в стихах и в прозе. В этом автор книги не отходит от сложившейся традиции. Время же показывает, что поэтика «Соловьиного сада», «Итальянских стихов», «Возмездия» в

не меньшей, если не в большей степени, чем поэтика «Двенадцати», оплодотворила современное искусство слова и дала ему далекую перспективу.

В книге А. Горелова прослеживается своя драматургия. Эта драматургия помогает передать сложнейшую духовную драму Блока. Драматические узлы блоковского творчества показаны А. Гореловым в их живой сложности. Что же это за узлы?

Романтизм в первой книге «Стихов о Прекрасной Даме» служит как бы фундаментом для приземления темы поэта во второй книге Блока. Поэтому А. Горелов делает контрастными первую и вторую главы своей книги — и вот уже намечается первый узел духовной драмы Блока: от восторженной неземной любви — к тому, что в этом мире «никто любить не умеет»...

Главы «Снежная маска» и «Кармен» контрастируют с главой «Страшный мир», главой, важной для понимания всего творчества Блока. «Художественная концепция «Страшного мира»... представляет собой один из определяющих, организующих факторов зрелой лирической системы Блока», — к месту А. Горелов цитирует П. Громова.

Автор построил книгу на сочетании творческого и биографического начал. Конечно, это не биография, но это и не литературоведческий трактат. Это книга, в которой автор попытался подсмотреть, как же рождались стихи Блока, как же они написались. Автор постоянно устремлял свой взгляд туда, где ходил, куда ездил, где писал, жил, страдал, любил Блок.

У нас читательский максимализм иногда диктует: так какая же книга о данном писателе или поэте лучше других, «снимает» ли она все предыдущие? В этих воспитанных спортивными состязаниями суждениях мало проку. Почему об Александре Блоке должна быть одна главная (!) книга, а не много самых разных?

А. Горелов полемизирует с другими исследователями Блока, подчас подтрунивает над ними. Но тем не менее его книга не претендует на исключительное место в Блок-ковiane. Достаточно того, что у нее есть свое место. И это место определяется личностью самого исследователя. У него была определенная задача, и он внятно говорит о ней: «Эта книга не академическое исследование. Я попросту очень люблю блоковские стихи, и мне хотелось прочесть их

вместе с читателями, вместе с ними проследить драматический творческий путь поэта». Такое синхронное пристальное чтение критика и читателей и создало книгу «Гроза над соловьиным садом». Интонация доверительного собеседования, противостоящая доктринерству и категоричности, составляет привлекательную особенность книги.

Чувствуется: автор не во всех своих утверждениях уверен. Иные сочтут это недостатком, я же позволю себе с ними не согласиться. Интонация вопросительности, раздумья оставляет место для читательских поисков и размышлений. А это ли не достоинство книги о поэте?

Познание Блока продолжается... Рецензируемая книга даже в спорных своих абзацах и страницах приобщает читателя именно к этому познанию.

Стихотворцы наши на все лады перепевают Блока и имитируют его задумчивую напевность, переносят на свои страницы его туманности, выглядящие подчас у них поднявшейся со дна души мутью. Неосторожное обращение с лирическим подтекстом приводит иногда просто к курьезам. Подражать Блоку трудно, невозможно. Он требует от нас беспощадной правдивости, умения из хаоса извлекать гармонию, требует точности и — открытости.

У наших литературоведов стало обычаем идти на поводу у расхожих терминов. Не избежал этого и А. Горелов. Так, показав всю тонкость и сложность «Стихов о Прекрасной Даме», А. Горелов все же не удержался от того, чтобы назвать их мистическими. Ну, ладно, он их такими считает. Это его дело. Но почему же в одной и той же фразе он дает нам нагромождение противоречивых определений (стр. 98): «В мистических стихах о Прекрасной Даме хоть и проскальзывали ноты сомнения, все же в них сохранялся пафос активности, энергия приобщения к тайне бытия». Итак, мистика, ноты сомнения, пафос активности, энергия приобщения — какой коктейль!

Лиричность высказываний А. Горелова то и дело прерывается обилием иноязычных, трудно воспринимаемых терминов: «экстремизм», «эсхатологические», «эзотерические», «инфернальные», «апокалипсические». Эти и прочие устрашающе-книжные слова никак не вяжутся с Блоком.

Автор книги отдает дань тем, кто путает стих — одну строку — со стихотворением, то есть некоторым количеством стихов. «За два

дня, 3 и 4 января 1907 года, были написаны пять и шесть, всего одиннадцать стихотворений из всего цикла в тридцать стихов» (стр. 209). Надо было: «Тридцати стихотворений». Мелочь? Но в литературном деле мелочей не бывает. Посмотрите, как нечеткая фразировка искажает и самый смысл: «Но почему же иным, таким горько-пронзительным стоном заканчивается стих» (стр. 226), и далее приводится четырехстишие: «И смотрю, и вражду измеряю...»

Числившийся по символизму Блок нынче, слава богу, освобождается от догм школы и рамок ее программ. Он естественно вписывается в круг русских классиков. Вместе с тем он рвется в будущее, предвидя своего внимательного читателя. Чуткий к духовному миру своего современника, Блок вместе с тем всегда соразмерял и сочетал это свое умение с умением слышать зовы вечности, решать проблемы общечеловеческой значимости. Это ставит Александра Блока в самый высокий ряд наших отечественных поэтов. Это и заставляет новые поколения с улыбкой встречать незамысловатые напоминания о «представителе символизма», не преодолевшем буржуазные и мелкобуржуазные стихии, о «господах Блоках»... и — с любовью и признательностью непосредственно обращаться к наследию поэта.

Однако культура нынешнего читателя измеряется не только умением читать и — далее — проникать в тексты самого поэта, но и знакомством с толкователями этого автора. Читатель сегодня уже может выносить свое суждение о разных точках зрения критиков на поэта и занимать ту или иную позицию в споре. Вот почему книги о Блоке расходятся почти так же быстро, как произведения самого поэта.

Среди многих привлекательных сторон творчества Блока едва ли не самой сильной является бесстрашие художника (кстати сказать, сорокалетней давности книга статей А. Горелова так и называлась «Бесстрашие художника»). Бесстрашие правды, красота этого бесстрашия оказались созвучными и умудренному большому житейскому опытом А. Горелову, и совсем молодым читателям Блока. В этом созвучии можно усмотреть веяние времени, музыку которого мы учимся слушать, но, увы, далеко не всегда умеем еще выражать.

Лев ОЗЕРОВ.

Политика и наука

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА

Научное творчество. Под редакцией С. Р. Микулинского, М. Г. Ярошевского.
«Наука». М. 1969. 446 стр.

Вот уже лет двадцать, как в мировую науку вошел все еще непривычный для читателей термин «науковедение». Этим несколько тяжеловесным термином названа новая отрасль, вызывающая растущий интерес как своими теоретическими, так и практическими сторонами. Вопросы, которыми занимается науковедение, — принципы организации научной деятельности и закономерности ее развития — приобрели особую актуальность в наше время, когда роль науки неизмеримо повысилась и в глобальном масштабе, и в жизни каждой страны. Эти вопросы обсуждаются теперь в сотнях книг и статей, на международных конференциях и симпозиумах.

Кроме проблем, которые волнуют специалистов, работающих в той или иной научно-исследовательской области, в сферу науковедения входит и дисциплина, увлекательная для всех, кто так или иначе причастен к творческой деятельности, в каких бы формах она ни выражалась. Дисциплина эта — психология научного творчества. Какова природа творческого процесса ученого? Каковы критерии научного творчества? Какими способами можно познать сокровенный творческий акт, в котором непонятными еще путями сплетаются строгий логический расчет и мгновенное озарение, длительный опыт и интуиция, многократный эксперимент и опережающее его результаты воображение? Какова структура личности ученого, ее типологические признаки и вместе с тем приметы неповторимого своеобразия? Теперь, когда исследования все чаще выполняются группами ученых, возникают и другие проблемы, связанные с психологией научного коллектива. Все эти вопросы (круг их можно значительно расширить) важны не только теоретически: степень их разработки безусловно влияет на эффективность исследовательской деятельности. А между тем освещены они (как это признают и наши ученые, и зарубежные) еще мало. Поэтому представляет несомненный интерес сборник «Научное творчество», подготовленный Институтом истории естествознания и техники Академии наук СССР.

Статьи сборника охватывают четыре аспекта общей темы. В его первом разделе рассматриваются общие проблемы психологии творчества и науковедения. Во второй включены статьи, посвященные методологическим и историко-научным вопросам. Третий включает собственно психологические исследования творчества. В последнем представлены статьи, содержание которых связано с изучением методов обучения и формированием творческих способностей.

Как известно, многие из вопросов психологии научного творчества издавна получали отражение в работах представителей естественных и гуманитарных наук; немало попыток воспроизведения творческого акта и психологического мира ученого содержится также в художественных произведениях русских и зарубежных писателей (причем их наблюдения и догадки иногда более проникновенны, чем те или иные эмпирические описания психологов). Однако превращению психологии научного творчества в дисциплину, основанную на твердой теоретической базе, со своими установленными принципами, мешает весьма слабая разработка ее методологии и методологии. Поэтому авторский коллектив рецензируемого сборника поступил совершенно правильно, подчинив все статьи прежде всего вопросам о путях и методах исследования психологии творчества. При этом редакция предупреждает: трактовка многих вопросов отражает различные точки зрения и носит дискуссионный характер, что вполне понятно при современном состоянии науковедения. Эта дискуссионность несравненно плодотворнее всякого рода навязываемых читателю догматических безоговорочных деклараций (тем более что почти все авторы сборника стремятся аргументированно излагать свои позиции).

Книга открывается весьма содержательной статьей С. Р. Микулинского и М. Г. Ярошевского «Психология научного творчества и науковедение (Вместо введения)». На первых же страницах своей статьи авторы подчеркивают высокую актуальность проблемы и необходимость ее изучения на новых путях, во взаимосвязи раз-

личных дисциплин: «Социально обусловленная потребность в повышении эффективности научных исследований и ускоренном использовании их результатов, в усовершенствовании отбора и подготовки кадров, а также форм организации научной деятельности пробудила к жизни науковедение, возникшее на стыке ряда дисциплин, в том числе психологии с историей и социологией науки, логикой развития науки. История свидетельствует, что нужды практики способны произвести коренную переориентацию как в теоретическом составе знания, так и в стратегии экспериментальной работы. Психологическая теория и психологический эксперимент стали приобретать на почве науковедения новую направленность».

Следовательно, речь идет о комплексном изучении психологии научного творчества, о кооперации различных специалистов, объединенных общими задачами, об использовании разных методов, которые могут помочь раскрытию «тайн» важнейшей отрасли человеческой деятельности — научного познания мира. Действительно, комплексный подход (провозглашенный в 1963 году при обсуждении другой области творчества — художественной — всесоюзным симпозиумом, специально посвященным этому новому направлению¹) отвечает пониманию путей развития научных исследований в современных условиях интеграции различных областей знания на единой философско-материалистической основе. Не ограничиваясь общей постановкой этой задачи, авторы сборника убедительно мотивируют, в частности, нераздельность социологического, логического и психологического аспектов изучения научной деятельности, а также необходимость опираться в этой связи «на конкретный эмпирический материал, как историко-научный, так и относящийся к творчеству современного ученого».

С. Р. Микулинский и М. Г. Ярошевский выдвигают ряд наиболее актуальных аспектов психологии науки, и в их числе проблемы строения и механизмов научной деятельности, изучения основных черт личности ученого и создания на этой основе типологии, которая могла бы стать ориентиро-

вочной основой отбора работников при комплектовании научных коллективов. Задача, связанная со сложнейшей, еще мало разработанной методикой диагностики научных способностей, практически особенно важна.

Невозможно отрицать, что наряду с теми, кто всю свою жизнь посвящает науке, в нее приходит какая-то часть людей, не обладающих необходимыми данными для исследовательской деятельности. Закрепление таких работников в науке ненормально и с точки зрения государственной экономики — затраты средств, и с точки зрения развития самой науки. Не проходит бесследно это обстоятельство и для нравственной атмосферы самих научных коллективов: в нашей печати нередко появляются статьи о конфликтных ситуациях, которые создают такие работники, особенно в случаях, когда их научные данные находятся в обратной зависимости от кипучей энергии, с которой они пробивают свои негодные диссертации.

Проблема диагностики творческих способностей чрезвычайно сложна, и в этой области науки нужна, разумеется, осторожность (на это, например, справедливо указывает М. Л. Монина, предупреждая против переоценки психологических тестов), но не до такой степени, которая исключает самую постановку вопроса. Диагностика способностей существенна и для правильного выбора тем или иным будущим специалистом определенной научной области. (Мне вспоминается выступление на одном из ленинградских симпозиумов известного математика члена-корреспондента АН СССР И. М. Гельфанда, констатировавшего, что неизмеримо возросший престиж «точных наук» имеет и «оборотную сторону» — немало людей, обнаруживающих незаурядные способности к гуманитарным наукам, двинулись все же в математику и физику, не имея для работы в этой области творческих данных.)

Теории научного открытия посвящена в сборнике обстоятельная работа Б. М. Кедрова. Сущность открытий как высшего проявления творческих, созидательных способностей человеческого интеллекта рассматривается Кедровым путем их классификации по масштабности, глубине и широте. При этом, в соответствии с общей установкой сборника, подчеркивается возможность построения будущей теории научного открытия во взаимодействии ряда наук. Отме-

¹ См. «Симпозиум по комплексному изучению художественного творчества. Тезисы и аннотации» (Л. 1963) и сборник «Содружество наук и тайны творчества» (М. 1963).

чая, что генезис и роль открытия не могут быть освещены вне социально-исторического и историко-технического контекста эпохи, Б. М. Кедров указывает также на личные качества ученого, «необходимые для свершения великого открытия: научную смелость, настойчивость в поиске решения, глубокую принципиальность, отсутствие склонности к компромиссам в науке, к приспособленчеству, самокритичность, неспособность «почивать на лаврах» и т. д.»

Свой тезис о связи истории науки с психологией научного творчества Кедров доказывает путем «реставрации» процесса истории менделеевского открытия — построения своеобразного сценария творческого процесса. Сам этот метод увлекателен.

Некоторые аспекты проблемы научных открытий рассматриваются и в статье Н. И. Родного. Здесь, как и в некоторых других материалах, приводятся красноречивые факты из истории открытий. Думается, что сборник выиграл бы, если в него была бы включена также статья, которая хотя бы схематически наметила исторически обусловленную эволюцию процессов открытия на материале некоторых типичных фактов в пределах какой-либо отрасли знания.

Характеристике и анализу трех способов интерпретации научного творчества — при помощи понятий интуиции, путем применения различных способов формализации и, наконец, путем включения процесса научного творчества в предметно-исторический контекст — посвящена статья М. Г. Ярошевского. Показывая, что интуиция (переживаемая в форме внезапного озарения — инсайта) не может быть использована как объект исследования творческого процесса, признавая актуальность и вместе с тем ограниченность формализации (кибернетического программирования) для изучения этого процесса, М. Г. Ярошевский четко формулирует свое понимание проблемы, во главу которой он ставит идеи историзма. По его убеждению, «истинные побудительные силы мышления» лежат в культурно-историческом плане. «Поэтому, — пишет он, — аналитическое изучение того, что осознается субъектом творчества (и что содержится в его самоотчете о процессах, обусловивших генезис открытия, изобретения и др.), требует обращения не к подсознательному, а к «надсознательному», т. е. к системе отношений и факторов, действующих хотя и за

пределами индивидуального сознания, но не в предполагаемой сфере глобальных инстинктивных побуждений, а в сфере взаимодействия личности с миром культуры».

Отсюда вывод: нужны новые методы психологического анализа личности и деятельности ученого — психология должна вступить в содружество с историей науки

В разделе методологическом и историко-научном в этом сборнике помещены статьи, посвященные таким актуальным темам, как роль формирования методов науки в творчестве ученого (В. В. Быков), структурно-статистический подход к научному творчеству (В. В. Максимов), коллектив и научное творчество (И. И. Лейман), коллектив и мотивация творчества (Б. А. Фролов), пути исследования условий творческого процесса (А. А. Малиновский). Некоторые статьи представляют собою заявку на постановку проблемы, но при этом заявку аргументированную. Так, В. Л. Рабинович выдвигает задачу реконструкции «психолого-исторического образа соответствующих культурно-исторических единств» — применения исторической психологии к изучению личности ученого той или иной сколько угодно отдаленной от нас исторической эпохи. Возможность такой реконструкции демонстрируется при помощи любопытной, но, пожалуй, слишком лаконичной психологической характеристики средневекового мыслителя Роджера Бэкона.

В сборнике напечатано несколько статей о соотношении эвристического и психологического моделирования процессов мышления (Я. А. Пономарев, В. Н. Пушкин, Л. Н. Ланда, Д. Б. Богоявленский и другие). Они хорошо вводят читателя в круг вопросов, по которым ведется оживленная дискуссия. Не останавливаясь на этой дискуссии, требующей специального анализа, скажу кратко об одной из важных проблем, которая, к сожалению, лишь мимоходом и вскользь загнута в сборнике, хотя заслуживает пристального внимания.

Должен оговориться, что было бы неправильно требовать от этой книги, ценность и значение которой бесспорны, непомерного расширения круга тем. И все же здесь нельзя было обойти вопрос о связях творческой деятельности в науке и творчества художественного. Об этом в сборнике можно найти лишь несколько фраз. В статье А. А. Малиновского мы читаем: «... для изу-

чения процесса творчества не следует резко ограничивать творчество научное от художественного, ибо целый ряд закономерностей, по-видимому, являются здесь общими, а констатация различий при применении сравнительного метода может только углубить наше понимание процессов, происходящих при возникновении новых научных идей или художественных произведений».

Но это справедливое замечание не получило никакого развития ни здесь, ни в других статьях. А между тем, при всей специфичности искусства, некоторые общие вопросы психологии творческой деятельности не могут быть прояснены, если их рассматривать изолированно от процессов творчества художественного. Как мне представляется, статья А. В. Брушлинского о воображении и трактовка В. С. Библером интуиции, несомненно, выиграли бы, если бы эти авторы привлекли материал из области литературы и искусства, эстетики, психологии художественного творчества.

При коренном различии науки и искусства в этих двух видах деятельности имеются весьма важные точки соприкосновения, поскольку оба эти вида в конечном счете подчиняются общим универсальным законам мышления, общей цели познания мира (хотя творческий акт художника по своему содержанию шире собственно познавательной задачи). Об этом существуют многочисленные признания художников, особенно писателей, например И. Толстого, который назвал работу писателя «опытом в лаборатории», или М. Горького, не раз проводившего параллели между процессами творчества научного и художественного. Чехов в самих этапах работы писателя видел моменты, родственные исследованию жизни ученым, и говорил: «Художник наблюдает, выбирает, догадывается, компокует...»¹.

В творческих процессах ученого и художника воображение и интуиция проявляются по-разному, но занимают весьма существенное место. Упомянутые статьи Брушлинского и Библера отличаются свежестью, в них имеются меткие наблюдения, они направлены против идеалистиче-

ской трактовки воображения и интуиции. Однако, как заметил в том же сборнике Я. А. Пономарев, Брушлинский близок к позиции тех исследователей, которые «отмахиваются» от этих вопросов: он «допускает, что в психологическом смысле мышление действительно выходит за пределы логических законов, имеет известный «остаток». Но данный «остаток» нельзя называть воображением, поскольку неизвестно, каким он подчиняется законам».

В статье Библера, остроумно отмечающей парадоксы интуиции, также сквозит стремление спустить это явление «по ведомству» логики и преуменьшить его значение. Соглашаясь с тем, что проблемы воображения и интуиции еще очень мало прояснены, продолжая критику в этом плане интуитивистских концепций, нужно активизировать диалектико-материалистическое изучение этих явлений на том пути взаимосвязи различных областей знания, на стыке наук, перспективность которого так энергично подчеркивается в ряде статей сборника.

Итак, перед нами труд, который, думается, сыграет заметную роль в дальнейшей разработке проблем научного творчества. Хочется пожелать, чтобы Институт истории естествознания и техники АН СССР, успешно продвигающий эту разработку, кооперировался также и с гуманитарными институтами (до сих пор научное творчество исследуется, за немногими исключениями, в рамках творчества естественноматематического). Далее: как показали результаты всесоюзного симпозиума «Творчество и современный научный прогресс» (где участвовали философы, эстетики, литературоведы, психологи, физики, математики, а также писатели и деятели искусства), процессы творчества должны изучаться не только как локальные — многие закономерности раскрываются полнее, если творческое мышление рассматривать не только в его специфических проявлениях, но и в единстве. Нельзя также забывать, что самоотверженный, самозабвенный труд и ученого и художника воодушевлен не только пылкостью ума, но и поэзией познания...

Б. МЕЙЛАХ,
профессор.

¹ А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах, т. XIV, М. 1949, стр. 207.

Ленинград.

ЖИЗНЬ ВЕЛИКОГО ТРИБУНА

Н. Молчанов. Жорес. «Молодая гвардия». М. 1969. 399 стр.

Книга Н. Молчанова «Жорес» привлекает внимание прежде всего своим главным действующим лицом — своим героем. Это жизнеописание чрезвычайно интересной, своеобразной и противоречивой личности.

Написать яркую и увлекательную книгу о жизни Жореса не просто. Сколько-нибудь полной биографии Жореса в Советском Союзе пока не издавалось. Книга Н. Молчанова — первая попытка создания такой биографии. Ее внешняя сторона не содержит на первый взгляд ничего героического, в ней нет захватывающих и опасных приключений, выпавших на долю многих революционеров, таких, например, как Бланки. Родившись в небогатой, но обеспеченной мелкобуржуазной семье, Жорес рано начал классическую буржуазно-респектабельную карьеру. Благонамеренная, ординарная университетская деятельность, банальный буржуазный брак, мандат левобуржуазного депутата парламента, легко доставшийся ему в двадцать шесть лет... Казалось, не было ничего, что толкало бы Жореса на путь борьбы против столь благосклонного к нему социального строя. Все это как будто плохо вяжется со всем содержанием жизни великого трибуна, пронизанной огромным напряжением мысли и воли, сделавших его тем Жоресом, каким он навсегда вошел в историю. И только мученический конец раскрыл поистине героический смысл жизни этого выдающегося мыслителя, самоотверженного борца за счастье человечества.

Противоречивость, отметившая начало жизненного пути Жореса, остается постоянной чертой всей его жизни, для которой характерны многогранность, сложность, непоследовательность. Эти особенности Жореса можно сравнить, пожалуй, только со сложностью и противоречивостью самой Франции. Портрет Жореса в разные годы как бы непрерывно меняет свои черты, ставя перед тем, кто берет на себя смелость описать и объяснить его жизнь, одну загадку за другой. Разгадать их невозможно без кропотливого изучения индивидуальных особенностей характера Жореса, обстоятельств его жизни в неразрывном единстве с общественной средой, с историческими условиями тогдашней Франции.

Настоящий историк, подобно литератору, должен писать так, как будто он своими

глазами видел то, о чем пишет. Но для этого необходимо глубоко изучить страну, эпоху, людей, их взгляды, быт, нравы. Только так можно справедливо распределить свет и тени, живописуя монументальную фигуру Жореса, воздать ему должное, понять и объяснить его слабости, показать, как, несмотря на эти слабости, он во многом опередил свою эпоху.

Книга доктора исторических наук Н. Молчанова, которая опирается на глубокое, серьезное исследование, написана в жанре популярной научно-художественной биографии. Подобное сочетание, к сожалению, большая редкость. Сколько ценных и глубоких исторических работ, в том числе и биографий, не находят пути к массовому читателю из-за сухого, скучной, псевдоакадемической манеры изложения! В свое время академик Е. В. Тарле с блеском доказал, что историк-биограф не только может, но должен быть глубоким, тонким психологом, в совершенстве владеть литературным мастерством.

Идейное наследие Жореса столь же необъятно, сколь и сложно. Если бы наконец было издано полное собрание его сочинений, куда вошли бы все статьи, речи, книги, документы выдающегося французского социалиста, то потребовалось бы, пожалуй, около ста томов, страниц по четыреста в каждом. Любая из многих сторон жизни и деятельности Жореса вполне заслуживает отдельной серьезной работы. Можно было бы написать о Жоресе — деятеле рабочего движения, о философе, историке, ораторе, борце за мир, о его повседневной жизни и т. д. Несомненно, что каждая из таких книг выиграла бы в подробностях и деталях. Но они неизбежно оказались бы лишь фрагментами, по которым трудно судить о человеке в целом. Чтобы дать ясное и полное представление об исторической роли Жореса, нужна была книга о всей его жизни. Иначе нельзя было бы вскрыть органическую связь и взаимообусловленность бесчисленных граней ума, характера, воли великого трибуна. Правда, ради этого автору пришлось отказаться от подробного разбора многих философских или исторических произведений Жореса, оставить в стороне множество его эпизодических выступлений. Возникает естественный вопрос: насколько

удачно автор отбирает главное, основное и отбрасывает второстепенное? Думается, что в целом это сделано с успехом, хотя нельзя не пожалеть, например, об отсутствии в книге анализа отношения Жореса к движению виноградарей Юга, его защиты знаменитого выступления солдат 17-го полка, о слишком беглом упоминании энергичной деятельности Жореса по преодолению раскола между социалистами и лидерами профсоюзов и т. п.

Жан Жорес был величайшим оратором Франции, и его биограф не может не уделить достойного места ораторскому искусству знаменитого трибуна. Но как заставить звучать давно умолкнувшие уста, дать читателю возможность ощутить магическую силу слова Жореса? Н. Молчанов уделяет сравнительно мало места характеристике или пересказу бесчисленных речей Жореса. В крайнем случае он прибегает к свидетельствам тех, кому довелось его слушать и чьи мнения звучат достаточно авторитетно. Это Р. Роллан, Ж. Ренар, М. Баррес, А. В. Луначарский и другие. Главный принцип автора — предоставление слова самому Жоресу. Широко используя целые выдержки из речей, а иногда отдельные фразы, реплики Жореса, он воспроизводит атмосферу многочисленных ораторских поединков, которые вел Жорес, когда он одной могучей силой своего страстного слова принудил к отставке президента Казимира-Перье. вызвал падение множества реакционных кабинетов, когда он потрясал и восхищал своих друзей, приводя в бешенство и растерянность врагов. Нельзя без волнения читать страницы, посвященные страстной речи Жореса перед рабочими-стекольщиками Альби или его выступлениям на конгрессах социалистов. Чрезвычайно живо, напряженно передана атмосфера знаменитой ораторской дуэли Жореса с Клемансо, беспощадное разоблачение Жоресом ренегатства Бриана. Книга Н. Молчанова в этом смысле может служить полезным пособием для любого лектора, пропагандиста, преподавателя.

Целые главы книги отведены описанию крупнейших политических кампаний, в которых Жорес играл подчас определяющую роль. В частности, подробно рассказывается о деятельности Жореса в сложной, запутанной эпопее «дела Дрейфуса», когда лидер социалистической партии, вопреки ошибочным позициям некоторых своих единомышленников, спас честь французского со-

циализма. Ошибаясь порой в политической оценке этого позорного «дела», он безошибочным моральным чутьем ощутил всю низость и подлость его организаторов, неразрывно связанных с породившим их социальным строем.

Еще более важна борьба Жореса против надвигавшейся угрозы мировой империалистической войны. Это была вершина политической деятельности трибуна, когда он ближе всего подошел к правильной, революционной линии в отношении войны. С огромным личным мужеством Жорес выступал против мутной волны шовинизма, захлестнувшей не только большинство французской буржуазии, но и часть французской социалистической партии. В этой борьбе Жорес и погиб от руки фанатика-убийцы.

Специальная глава рассказывает о поведении Жореса в связи с «казусом Мильерана». Как известно, именно тогда он совершил самую крупную в своей жизни ошибку оппортунистического характера. В этом случае автор справедливо осуждает слабость, непоследовательность Жореса, его податливость к влиянию представителей буржуазной идеологии в рабочем движении, которых было немало среди его окружения. Собственно, в констатации тех или иных ошибочных шагов Жореса нет ничего принципиально нового, во всяком случае для специалистов. Наиболее любопытным в книге Н. Молчанова является то, что он пытается показать корни, причины, обстоятельства этих шагов путем анализа психологии одной — и притом незаурядной — личности, помогая увидеть в частном, интимном, случайном черты общих закономерностей социального развития.

Немало страниц своей книги Н. Молчанов уделяет взаимоотношениям между Жоресом и Гедом. Жорес и Гед стремились к одному социалистическому идеалу, они в равной мере искренне отдавали все свои силы и выдающиеся способности делу рабочего класса. Но в то же время это были очень разные люди во всем, начиная с внешности или темперамента и кончая политическими взглядами. Гуманист Жорес с его всепрощающей любовью к людям, терпимостью уже по складу своего характера грешил оппортунизмом, тогда как Гед, суровый, аскетичный, прикованный раз и навсегда к затверженным формулам, — догматизмом и сектантством. Сопоставление деятельности и исследование отношений этих

двух друзей-врагов — вполне оправданный прием. К тому же в этих отношениях ярко отразилась борьба двух основных тенденций во французском социалистическом движении, которую они помогают понять и объяснить.

Но именно здесь, пожалуй, наиболее спорное, уязвимое место в интересной книге Н. Молчанова. С первой и до последней страницы чувствуется, что автор относится к своему герою с глубокой симпатией. Если даже он и порицает те или иные ошибочные поступки, заблуждения, колебания Жореса, то старается их объяснить, показать, почему Жорес поступал именно так, а не иначе. Иным является его отношение к Геду. Конечно, Гед совершал ошибки, и подчас гораздо более серьезные, чем Жорес. В конечном итоге Гед стал социал-шовинистом, получив портфель министра в реакционном буржуазном правительстве «священного союза», и не понял исторического значения Великой Октябрьской социалистической революции. Но в первый, «героический» период своей деятельности он оказал огромные услуги французскому рабочему движению, явившись по существу основателем социалистической партии во Франции. Между тем автор порой как-то забывает об этом, он явно пристрастен в своем отношении к Жюлю Геду, образ которого оказывается несколько обедненным и схематизированным.

Книга Н. Молчанова, посвященная Жоресу, не оставляет вниманием и его современников. Перед читателем проходят «временные» социалисты, ренегаты Бриан и Мильеран, изменившие рабочему классу, крупнейшие политические деятели буржуазии Вальдек-Руссо, Комб, Клемансо, многие друзья Жореса, в том числе Анатоль Франс, Жюль Ренар. Автор прослеживает все перипетии не слишком счастливой личной жизни Жореса. Но главное — перед читателем предстает пестрый kaleidoscope политической жизни Франции конца прошлого и начала нынешнего века, он сталкивается со множеством политических, социальных, этических проблем той эпохи.

Великий французский социалист был искренним другом народа нашей страны. Горячо приветствуя первую русскую революцию, он писал на страницах основанной им газеты «Юманите»: «Установление власти народа в России будет чудесной гарантией, особенно для нас, для независимости и достоинства нашей страны, для ее мирного и свободного развития».

Объединение в одном лице качеств ученого-исследователя и литератора дало свои плоды. Книга Н. Молчанова является удачным пополнением серии «Жизнь замечательных людей».

Ю. РУБИНСКИЙ,

доктор исторических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

А. НИНОВ. Современный рассказ. Из наблюдений над русской прозой (1956—1966). «Художественная литература». Л. 1969. 288 стр.

В прошлом году журнал «Вопросы литературы» провел дискуссию «Рассказ сегодня». Выступление одного из ее участников озаглавлено «Границы жанра», и в нем ленинградский писатель Андрей Битов размышляет о перспективах развития жанра рассказа, о тех возможностях, которые он получает при соприкосновении с «пограничными» жанрами — письмом, документом, записками, воспоминаниями: «Если посмотреть на прозу в целом, на всю цепочку жанров, то она начнется с документа и кончится документом. Проза начиналась с писем, потом — мемуары, записки, эссе, потом уже — профессионализованные жанры повести, романа и рассказа... а потом кольцо смыкается. Снова заметки, дневники, письма и завещания. И настоящий прозаик проходит этот путь, похожий на собрание сочинений».

Эта дискуссия в «Вопросах литературы» выглядит продолжением книги А. Нинова не только потому, что критик кончает свои наблюдения 1966 годом, а участники дискуссии именно с прозы этого времени начинают разговор, но еще — по сходству анализируемых критиком и прозаиками проблем. Почти половина книги А. Нинова посвящена вопросу: как проза вырастает из документа, из очерка, из дневника или как переходит в документ, в очерк и в дневник. Целая глава посвящена искусству невыдуманного рассказа: воспоминаниям военного моряка и ученого адмирала И. Исакова, книге Е. Драбкиной «Черные сухари», рассказам С. С. Смирнова о героях Брестской крепости, запискам летчика-испытателя М. Галляя. Виктор Шкловский считал, что жанр — это кристалл, через который анализируется жизнь. Рассказ — малый жанр прозы, его территория невелика; тем в большей сжатости и емкости воспринимает художник действительность, тем собраннее его мысль, напряженнее чувство, экономнее эстетические средства.

Невозможно строго очертить границы жанров в литературе — тем более что сам рассказ меняется соответственно индивидуальному дарованию автора и общему течению времени. Границы жанра размыты, рас-

сказ корректируется жизнью; оттого столь важным представляется А. Нинову непосредственное вторжение в рассказ действительности — через документальную, эпистолярную, дневниковую и мемуарную прозу. Рассказ — не статичная и раз навсегда обозначенная единица, а динамичное, меняющееся единство. Поэтому одно из самых интересных мест в книге А. Нинова — глава «О национальной традиции», в которой прослежен «ряд прекрасных изменений» рассказа — от Пушкина до Платонова.

Книга А. Нинова привлекает строгостью идейно-эстетического анализа, тонкостью психологического комментария, обилием материала — здесь произведения М. Шолохова, В. Некрасова, В. Пановой, А. Твардовского, Э. Грина, Л. Вольнского, Э. Казакевича, Ю. Нагибина, В. Богомолова, В. Овечкина и других. С рядом оценок и трактовок можно было бы поспорить: в частности, более сложной представляется мне проблематика рассказов И. Грековой и Ю. Казакова; порою недостаточно выявлена позиция самого критика — критический комментарий кажется суховатым и излишне «объективизированным»; есть несколько подробных «сюжетных» пересказов, лишенных глубокого анализа (о В. Богомоллове, о С. Антонове). Но это не мешает книге А. Нинова быть своевременным и современным, а потому и необходимым исследованием о судьбах и путях сегодняшнего русского рассказа.

Вл. Соловьев,

Ленинград.

★

РУССКИЕ СКАЗКИ В ОБРАБОТКЕ ПИСАТЕЛЕЙ. Вступительная статья, составление и подготовка текстов В. Аникина. «Художественная литература». М. 1969. 384 стр.

В сказку писатель приходит со всем, что он имеет, со своим талантом и культурой. Отсюда и свободное его отношение к традиционным мотивам жанра, к сказочной фантастике и сказочным героям.

Мера этой свободы различна. Она определяется задачей, поставленной себе автором, но также масштабом творческой индивидуальности. Дело может сводиться к отбору и воссозданию того, что уже есть в самом фольклоре, с известным социальным

заострением или подчинением каким-либо дидактическим целям, с эстетизацией сказочного материала, игровым использованием вымысла.

В сборнике, как и в самих народных сказках, есть герой, в котором как бы олицетворены удачливость и успех — все ему идет в руки, любое его «хотение» исполняется, и то, что он «дурак», лишь позволяет ему не замечать препятствий, как не замечает их Емеля, когда давит своей печкой стоящий на дороге народ («По щучьему велению» А. Н. Толстого). Но таков же и удалой герой в сказке Б. Шергина «Судное дело Ерша с Лещом». Как ни различны они на первый взгляд: один глуп и ленив, «целый день лежит на печи, знать ничего не хочет», другой крикун и пройдоха, — оба ломают без разбору и раздумий.

Немало в сборнике и «животных» сказок с родственным содержанием — об изворотливости и хитрости, кто кого обманет, иногда — как слабый выдает себя за сильного и тем побеждает. Усилия писателей в этих случаях идут обычно лишь на расцветивание сюжета и стиля.

Но есть и другие писательские сказки, стандартные ситуации в них неожиданно отзываются живой болью. Таков «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова. Таковы и сказки А. Платонова.

В сказках А. Платонова доброта и самоотверженная любовь перемогают зло, и оно само себя казнит или вынужденно умирает. Но не торжество добра составляет сокровенное их содержание. «Гляди-ко, — думает один из героев А. Платонова, — мне-то плохо, а ей того хуже» («Иван Бесталанный и Елена Премудрая»). Народ знал цену горю, несчастью, одиночеству, отсюда это стремление увидеть в человеке то, чем он

связан с другим человеком, желание, чтобы способность отзываться на чужое страдание была признана высшим свойством человека, его «главным талантом».

Сказки этого типа — не занятный вымысел или хотя бы демонстрация извечного конфликта добра и зла. Они разрабатывают духовное наследие народной сказки, проясняют и развивают ее гуманистический смысл. В них живет убеждение, что сердце — не безделица, и что только его участие придает человеческой жизни настоящую цену. Это и делает их подлинно значительными, независимо от степени сюжетной и стилистической близости к источнику.

Но бывает, что мощная мысль писателя свободно формирует качественно новое явление в жанре сказки, и тогда возникает то, чему нет сколько-нибудь полных соответствий в народном творчестве, тогда фольклорная сказка и ее идеология становятся лишь строительным материалом для оригинальной и целостной художественной концепции, как в «Сказке об Иване-дураке и его двух братьях...» Л. Н. Толстого.

Книга не исчерпывает материал, в ней не нашлось, например, места для ершовского «Конька-горбунка» (есть только присказка), нет сказок В. Жуковского, П. Бажов представлен одной сказкой, многие другие авторы даны ограниченно, вовсе исключена драматическая сказка и т. д.: писательская сказка, даже только на русской народной основе, не вмещается в один том. Но зато наряду с хрестоматийными текстами А. Пушкина, В. Одоевского, В. Гаршина, В. Бианки и других сборник включает сравнительно мало известные сказки Л. Толстого, Д. Мамина-Сибиряка, Б. Бронницына, А. Ремизова, М. Горького.

А. Липелис.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

- В. И. Ленин.** О научной организации труда. 183 стр. Цена 33 к.
Ленинизм живет и побеждает. 615 стр. Цена 1 р. 22 к.
В. Зорин. Некоронованные короли Америки. 368 стр. Цена 80 к.
С. Калашников. О работе В. И. Ленина «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата». 48 стр. Цена 7 к.
А. Куцуналис. Влияние идей В. И. Ленина в Греции. Перевод с греческого. 151 стр. Цена 21 к.
Народный контролер. Справочник. 288 стр. Цена 35 к.
Совершенствовать стиль и методы партийной работы. 230 стр. Цена 53 к.
Справочник пропагандиста-международника. 272 стр. Цена 46 к.

«МЫСЛЬ»

- В. И. Ленин и проблемы политической экономики социализма.** 485 стр. Цена 1 р. 96 к.
В. Афанасьев. Основы философских знаний. 351 стр. Цена 55 к.
Ю. Васильев. Внутрифирменное управление в США. 404 стр. Цена 1 р. 47 к.
Вопросы историографии рабочего класса СССР. 327 стр. Цена 1 р. 26 к.
Критика теоретических концепций Мао Цзэ-дуна. 292 стр. Цена 1 р. 14 к.
Миграция сельского населения. Коллективная монография. 348 стр. Цена 1 р. 34 к.
А. Мкртчян. Рабочее движение в США: современные проблемы и тенденции. 214 стр. Цена 87 к.
Политическая экономика современного монополистического капитализма. В 2-х томах. Том 1. 455 стр. Цена 2 р. 9 к. Том 2. 413 стр. Цена 1 р. 85 к.
В. Радаев. Потребности как экономическая категория социализма. 223 стр. Цена 67 к.

«ЭКОНОМИКА»

- В. Костанов и П. Литвяков.** Баланс труда. 287 стр. Цена 1 р.
А. Маркушевич и К. Дорменко. На экране — товар. 71 стр. Цена 23 к.
Ю. Черняк. Анализ и синтез систем в экономике. 151 стр. Цена 47 к.
Н. Чуб, Р. Максименко и М. Богачевский. Финансы потребительской кооперации. 319 стр. Цена 93 к.
Экономические проблемы научно-технического прогресса. 167 стр. Цена 55 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- И. Аузинь.** Путь к дому. Стихи и поэмы. Перевод с латышского Л. Ждановой и В. Андреева. 110 стр. Цена 38 к.
Г. Бакланов. Пядь земли. Повести и рассказы. 464 стр. Цена 88 к.
А. Бочаров. Василий Гроссман. Критико-биографический очерк. 304 стр. Цена 65 к.
Ж. Грива. Человек ждет рассвета. Перевод с латышского В. Волковой. 328 стр. Цена 58 к.

А. Киреева. Так ли живу? Очерк о творчестве М. Луконичя. 160 стр. Цена 31 к.

Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII вв. Вступительная статья и подготовка текста А. М. Панченко. Общая редакция В. П. Андриановой-Перетц («Библиотека поэта»). 422 стр. Цена 98 к.

В. Соронин. Голубые перевалы. Стихи. 144 стр. Цена 35 к.

Р. Файнберг. Юрий Герман. Критико-биографический очерк. 367 стр. Цена 74 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Веселый. Россия, кровью умытая.— Гуляй Волга. Романы. 703 стр. Цена 1 р. 24 к.

В. Кирпотин. Вершины. Пушкин. Лермонтов. Некрасов. 375 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. Мюссе. Исповедь сына века. Роман.— Новеллы. Перевод с французского. Вступительная статья А. Андрес. 565 стр. Цена 1 р. 3 к.

Х. Рульфо. Равнина в огне. Рассказы.— Педро Парамо. Повесть. Перевод с испанского П. Глазовой. Вступительная статья Л. Осповата. 255 стр. Цена 73 к.

И. Семенко. Поэты пушкинской поры. Батюшков, Жуковский, Денис Давыдов, Вяземский, Кюхельбекер, Языков, Баратынский. 295 стр. Цена 94 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ф. Алиева. Родовой герб. Роман. Авторизованный перевод с аварского В. Михайловой. 319 стр. Цена 57 к.

Д. Костюрин. Две минуты. Стихи. 80 стр. Цена 19 к.

Н. Ладейщиков. Встречи на Байкале. Рассказы и повести. 207 стр. Цена 26 к.

М. Львов. Письмо в молодость. Стихи. 208 стр. Цена 87 к.

В. Немцов. Последний полустанок. Роман. 480 стр. Цена 91 к.

В. Тельпугов. Снежные горы. Рассказы. 207 стр. Цена 55 к.

«ИСКУССТВО»

В. Громов. Михаил Чехов. 216 стр. Цена 1 р. 34 к.

Ю. Лотман. Структура художественного текста. 384 стр. Цена 1 р. 65 к.

Н. Малахов. Социалистический реализм и модернизм. 320 стр. Цена 1 р. 70 к.

М. Матъе. Искусство Древнего Египта. 199 стр. Цена 1 р. 18 к.

В. Стародубова. Бурдэль («Зарубежное искусство XX в.»). 175 стр. Цена 2 р. 12 к.

Экран 1969—1970. Сборник статей. 272 стр. Цена 1 р. 67 к.

«НАУКА»

А. Благодатов. Записки о китайской революции 1925—1927 гг. 250 стр. Цена 1 р. 17 к.

В. Выхухолов. Сингальская литература. Краткий очерк. 200 стр. Цена 59 к.

И. Григулевич. История инквизиции. XIII—XX вв. 447 стр. Цена 1 р. 91 к.

Л. Куприянович. Резервы улучшения памяти. Кибернетические аспекты. 143 стр. Цена 43 к.

И. Латышев. Лицо и изнанка «экономического чуда» Японии. 64 стр. Цена 21 к.

М. Маннай-оол. Тува в скифское время. 117 стр. Цена 53 к.

А. Сидоров. Исторические предпосылки Великой Октябрьской социалистической революции. 221 стр. Цена 1 р. 9 к.

А. Федченко. Ирак в борьбе за независимость. 1917—1969 гг. 315 стр. Цена 1 р. 34 к.

«МИР»

Б. Джадд. Вторичное квантование и атомная спектроскопия. Перевод с английского. 136 стр. Цена 61 к.

Карбонатные породы. Генезис, распространение, классификация. Том 1. Перевод с английского. 396 стр. Цена 3 р. 99 к.

К. Куратовский и А. Мостовский. Теория множеств. Перевод с английского. 416 стр. Цена 1 р. 81 к.

Г. Хирд. Измерение лазерных параметров. Перевод с английского. 539 стр. Цена 3 р. 43 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Баканов и В. Сташис. Новое в уголовном законодательстве. 92 стр. Цена 15 к.

Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия. Сборник статей. 624 стр. Цена 2 р. 31 к.

Права и обязанности молодых специалистов. Сборник статей. 144 стр. Цена 26 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ф. Кузнецов. Беседы о литературе. 319 стр. Цена 80 к.

Миёно Мацутами. Приключения Таро в Стране гор. Повесть-сказка. Перевод с японского. 96 стр. Цена 37 к.

С. Михалков. На родине В. И. Ленина. 31 стр. Цена 24 к.

А. Пайтык. Мальчишки военных лет. Повесть. 112 стр. Цена 31 к.

И. Папанин. На полюсе. 48 стр. Цена 18 к.

Л. Рубинштейн. Музыка моего сердца. 191 стр. Цена 45 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Г. Карев. Плавающий берег. Роман. Одесса. «Маяк». 400 стр. Цена 88 к.

Г. Малышев. Ожидание. Рассказы. Куйбышев. Книжное издательство. 78 стр. Цена 11 к.

К. Михаленко. Служу небу. Кн. 1. «Кукурузники». Повесть. Магадан. Книжное издательство. 287 стр. Цена 38 к.

О Павле Беспощадном — поэте и человеке. Составитель В. И. Демидов. Донецк. «Донбасс». 191 стр. Цена 46 к.

В. Сидоров и А. Шишнин. Рассказы. Куйбышев. Книжное издательство. 63 стр. Цена 7 к.

И. Симонов. Охотники за сказками. Повесть. Ярославль. Верхне-Болжское книжное издательство. 414 стр. Цена 78 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большой (первый зам. главного редактора),
Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Р. Г. Гамзатов, А. А. Куле-**
шов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин,
О. П. Смирнов (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва. К-6. Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 8/X 1970 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 27/XI 1970 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 26,4 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 09684. Зак. 3530. Тираж 160 300 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова Москва, Пушкинская пл., д. 5.

Цена 70 коп.

70636